Цена свободная

23-1-14

ИНДЕКС 73274

ЖУРНАЛ "НАШ СОВРЕМЕННИК"

до конца 1992 года и в 1993 году
предполагает опубликовать следующие произведения:

Дмитрий БАЛАШОВ
**Приднестровский дневник.**

Василий БЕЛОВ
**Год великого перелома**
(третья, заключительная часть романа-хроники).

Леонид БОРОДИН
**Божеполье** (повесть);
**"Статьи из "самиздата"** 60–80-х годов.

Михаил ВОРФОЛОМЕЕВ
**Куст шиповника.** Повесть.

Олег ВОЛКОВ
**Воспоминания.**

Александр ДУГИН
Цикл статей из серии **"Национальная альтернатива".**

Александр ЗИНОВЬЕВ
**Смута.** Роман.

Владимир КРУПИН
**Как только, так сразу.** Повесть.

Станислав КУНЯЕВ
**Сергей Есенин.**
Из серии "Жизнь замечательных людей".

Владимир ЛИЧУТИН
Новый исторический роман.

Юрий ЛОЩИЦ
**"UNION".** Роман.

Николай ПОПКОВ
**Чужая песня.** Повесть
(предисловие Валентина Распутина).

Святослав РЫБАС, Лариса ТАРАКАНОВА
**Похищение генерала Кутепова.** Роман.

Александр СЕГЕНЬ
**Гибель Маркера Кутузова.**
Интересная, но печальная повесть.

Борис СПОРОВ
**Письмена тюремных стен.** Повесть.

**Рассказы** Бориса ЕКИМОВА, Николая КОНЯЕВА, Гария НЕМЧЕНКО,
Михаила ПОПОВА, Виктора ПОСОШКОВА, Николая ШИПИЛОВА,
других авторов.

Наш современник, 1992, № 7, 1–192

НАШ СОВРЕМЕННИК №7 1992

ISSN 0027-8238

# НАШ СОВРЕМЕННИК

*Журнал писателей России*



## №7 1992

### ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

*Журнал "Наш современник" заканчивает публикацию романа Ирины Головкиной (Римской-Корсаковой) "Побежденные", уже ставшего литературной сенсацией этого года. О нем говорят, о нем пишут, редакция "Нашего современника" завалена письмами, в которых читатели единодушно благодарят за этот подарок, называя роман русским вариантом романа М. Митчелл "Унесенные ветром".*

*С радостью сообщаем, что в третьем квартале этого года роман И. Головкиной (Римской-Корсаковой) "Побежденные" выходит отдельной книгой. Ее подготовило к печати МП "Русло" и издательско-полиграфическое объединение "Орбита". Книга издается в твердом переплете, в прекрасном художественном оформлении. Тираж 100 тысяч экз. Ориентировочная цена для оптового покупателя – 70 рублей.*

*Оптовые заказы (от 500 экз. и более) принимаются по адресу: 103750, Москва, Цветной бульвар, 30, МП "Русло"; телефон 928-32-16. Предоплату в размере 50% на оптовые заказы перечислять на расчетный счет 36200898 во Внешэкономбанке, корр. счет 000165004 в ЦОУ Центрального банка России, МФО 299112, ИПО "Орбита".*

# НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз писателей Российской Федерации
и трудовой коллектив редакции

№7 1992





ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ
МОСКВА

## Содержание




Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Технический редактор Л. Л. Ежова. Корректоры С. А. Артамонова, М. В. Масленникова.

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 928-32-16 (заместители главного редактора), 200-24-94 (ответственный секретарь), 200-23-88 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 200-24-76 (отдел писем, корректоры), 921-43-59 200-24-32 (бюро проверки, технический редактор), 200-24-12 (зав. редакцией). Факс — (095) 200-23-05.

Сдано в набор 13.04.92 г. Подписано к печати 23.06.92.
Формат 70×108/16 Бумага типографская № 2. Высокая печать.
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 20,43. Тираж 164 404 экз. Зак. 915

ИПО писателей, 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда»,
123826, ГСП, Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38.








СЕРГЕЙ КУРГИНЯН

# ОТВЕТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

## МЕМОРАНДУМ КЛУБА «ПОСТПЕРЕСТРОЙКА»

События последнего времени еще раз показали, что власти нет. И что сегодняшние псевдоструктуры никаких серьезных проблем решать всерьез не намерены. Преобладают — мелкие дрязги, заботы о сиюминутной конъюнктуре. Хаос — нарастает. Положение стремительно ухудшается. Одновременно подлые, жалкие и суесловные разговоры о «помощи» иностранных войск в решении российских проблем — вот последний писк демократической моды. Дальше — тишина.

Но если бы речь шла лишь о бессилии и низости нашего нового истэблишмента. Не надо иллюзий! Неадекватностью поражен вовсе не он один. Ситуация в нашем обществе такова.

Первое. Нельзя сказать, что российский парламент полностью воспроизводит все дефекты союзной структуры, приведшие к ее самороспуску и гибели союзного государства. Но сходство есть. И это необходимо признать. Сходство состоит в том, что становление сознания и воли парламента происходит в неизмеримо более низком темпе, нежели разрушение российского исторического бытия. Мы наблюдаем все ту же «крепость задним умом» — медленное и неполное осмысление уже произошедшего. Это равносильно политической смерти. Для жизни нужно другое: опережающее реагирование на то, что неминуемо произойдет. Этого нет. Господствует логика полумер. Вот портрет нашей законодательной власти.

Второе. Исполнительная власть — это либо банальная бюрократия, привычно одержимая взяточничеством, либо исполнители злой воли, того самого плана деструкции, о котором мы будем говорить ниже, либо хотя и честные, но потерянные (в полном смысле этого слова!) управленцы-государственники, которые по тем или иным причинам ни к кому не примкнули. По отношению к этому сплаву разнородных элементов слово «власть» — неупотребимо.

Третье. Предприниматели, по всей видимости, смирились с неминуемым поражением и готовы повторить судьбу Терещенко, Львова и Рябушинского. Властью они быть не могут и не хотят (!). Ничего комичнее так называемой «партии предпринимателей», еще одной разновидности ДДР, просто не может быть. Обновленцы обречены на провал.

Четвертое. Политики, лидеры оппозиции (патриотической и неокоммунистической, консервативной и либеральной) как будто скованы параличом. Назревает самое худшее — раскол красных и белых патриотов и коммунистов. Противодействие этому расколу немыслимо без того, чтобы политические шоры, идеологические штампы не были выброшены на свалку истории. Возможно, это сегодня самая главная политическая задача.

Пятое. Интеллигенция пребывает в позорной панике, в маниакально-депрессивных конвульсиях. Она уже просто смешна со своими ничтожными разглагольствованиями и раздутыми претензиями. То, что мы видим с экрана, читаем в газетах, слышим с трибун, по большей части может быть классифицировано лишь в терминах патополитологии и отнесено к категории «агонизирующего сознания».

Шестое. Пример Приднестровья продемонстрировал всей стране, что армия превратилась (по крайней мере в большей части своей!) в никчемное общество потребителей. Бабье в погонах занято лишь социальной защитой самих себя.

Седьмое. Повальное воровство охватило широкие слои общества. Как никогда ранее так называемый «мидл-класс» и даже самые низы общества одинаково побуждаются к воровству, т. е. сознательно растлеваются. (Что не снимает с них ответственности за происходящее. Вопрос об участии и неучастии в баде воров каждому придется решать перед лицом своей совести).

Таким образом, налицо все симптомы распада и деградации общества. Говорят, что ельцинские реформы хороши для 10

КУРГИНЯН Сергей Ервандович родился в 1949 году в Москве. Окончил геолого-разведочный институт и режиссерский факультет Щукинского училища. Главный режиссер театра-студии «На досках». Кандидат физико-математических наук, автор работ по теории управления, президент корпорации «Экспериментальный творческий центр». Живет в Москве.

процентов населения. Но это в лучшем случае полуправда.

Действительная правда о нашей сегодняшней жизни такова. Общество вступило в последнюю стадию системного кризиса — стадию самопоедания. Агрессивные элементы системы, которые почему-то называются «социально активное меньшинство», запрограммированы на выживание за счет съедания самой среды своего обитания. Они действительно чувствуют себя хорошо, потому что есть пища. И они поглощают эту пищу с невероятной жадностью. Но вскоре выяснится, что съеденными оказались, образно говоря, печень, сердце, легкие, мозг нации. Среда рухнет мгновенно и неожиданно для большинства пожирателей. Это будет напоминать обрушение источенного червями старого здания. Вопль червей о том, как хорошо они живут, в недалеком будущем сменится воплем их ужаса и паническим бегством в иную среду обитания. Но убегут не все, не надо иллюзий. Убегут не 10 процентов населения, а несколько сотен наиболее продвинутых, жирных, прожорливых и знатных червей. Вот наш прогноз и наш диагноз происходящего.

Отсюда и наша идея ответного действия. Мы предлагаем свой меморандум. Он является итогом длительной совместной работы. Нам представляется возможным объединить на его базе то, что мы называем контрэлитой — людей, способных вовремя осознать масштаб происходящего и действовать на уровне исторических требований. Такое собирание контрэлиты необходимо начать немедленно. Сегодня поздно спорить об убеждениях. Идеологические пристрастия необходимо отбросить. Более того — необходимо переступить даже через так называемые «классовые» интересы. Задача номер один — совместными усилиями дать отпор тем силам, которые сознательно и безжалостно реализуют программу уничтожения государства и общества. Такие силы есть. И такая программа тоже есть. Это не пустые слова. Сознавая ответственность подобного заявления, мы беремся доказать свою правоту. Доказать ее людям разной идеологии и разного социального статуса.

## 1

Когда заявляется о том, что «курс реформ», осуществляемый Горбачевым, завершен с его уходом, то это либо обывательская наивность, либо откровенная ложь. Никакой разницы между курсом Горбачева и курсом его преемников не существует. Меняются только слова и лица. Суть остается прежней.

Когда заявляется о том, что правительство Гайдара не имеет стратегии, то это опять же либо наивность, либо сознательное желание скрыть от общества действительное положение дел. Стратегии — есть. План — есть. Что касается Егора Гайдара, то он лишь один из заурядных исполнителей одного из заурядных фрагментов этого плана.

Когда заявляют, что курс Гайдара плох тем, что его автор — недостаточно компетентен и что поэтому надо сменить политических игроков, сохраняя те же правила игры, — то это означает очередное лукавство.

За счет ничего не значащих перетасовок теневые лидеры хотели бы сохранять как можно дольше некий не предъявляемый обществу план игры — игры бесчестной, шулерской, антигуманной. Такой план есть. Специалисты называют его «Д-план», или же «План трех Д» — деградации, деструкции, дегенерации. Деградации — поскольку большинство населения обрекается этим планом на нищету и вырождение. Деструкции — поскольку государство Российское в ходе реализации этого плана должно быть ликвидировано. Дегенерации — ибо этот план предусматривает такое воздействие на общественное сознание, при котором разрушение его неизбежно, а значит, неизбежна социальная дегенерация.

Естественно, что подобный план скрывают от общества под завесой красивых слов и патетических жестов. Но этот номер уже не проходит с тем успехом, с каким он проходил даже полгода назад. Все чаще задаются вопросы: в самом ли деле нет концепции или же ее прячут от общества? Почему мы слышим лишь новые идеологические призывы? Почему не прекращается поиск «врагов»? Почему, взяв власть, ведут себя так, как будто находятся в оппозиции?

Ответ один — действительная стратегия, настоящие цели, конкретные меры по их реализации настолько противоречат коренным интересам большинства населения, что их нельзя открыто предъявить обществу.

«Д-план» направлен против всех народов России, против всех слоев ее общества. И если бы они могли, заглянув на год вперед, увидеть, какова их судьба — общая судьба, что ждет завтра и тех, кто сегодня еще наслаждается благами жизни, и тех, кто уже находится в преддверии голода и нищеты, — они бы объединились.

Нации и народности, национальное предпринимательство и «управленцы», аграрии и ученые, большинство рабочего класса и рабочая аристократия — все являются заложниками и потенциальными жертвами этого плана. Им всем поочередно предназначена социальная смерть.

Политики с самой различной ориентацией должны наконец осознать главное — что их дурачат, считая (и не без некоторых оснований) людьми, мягко говоря, недалекими. Сегодня, когда в который раз они с радостью услышали красивые, но пустые слова, мы опять же — в который раз! — предупреждаем их, что все эти слова — блеф. А на деле — будут размыты и спрятаны под все то же «сукно» все конструктивные инициативы, будут подавляться любые проявления воли к действительному государственному строительству, к спасению рушащейся экономики и деградирующего общества. Это происходило, это происходит и это будет происходить не в силу чьей-либо некомпетентности, а напротив — в силу высокой, но деструктивной компетентности, в силу того, что никакие (!) проекты государственного строительства и никакие (!) проекты оздоровления экономики и социальной сферы попросту не нужны. Они не совместимы с «Д-планом», с планом деструкции.

И наоборот, для успеха «Д-плана» крайне желательно, чтобы все политики как можно больше грызлись друг с другом из-за ничего сегодня не значащих мелочей, чтобы их удалось сделать за счет этого управляемыми, покорными и «пластичными».

Наши противники уже сейчас уверены в том, что им это удастся. Они давно уже не считают российских политиков за людей, презирают их и не рассматривают как реальную силу. Пора доказать, что это не так, и, расставив точки над «i», назвать вещи их настоящими именами.

«Д-план» — не блеф, не жупел, с помощью которого мы хотим дискредитировать оппонентов. Это политическая реальность. Это — серьезно. Сегодня этот план уже не слишком прячется даже от советского общества. И его уже практически полностью перестали скрывать за пределами нашей страны. Тем больше у нас оснований описать его во всех ему свойственных качествах, развернуть его во всех измерениях.

В плане философском — «Д-план» базируется на двух основных идеях. Это так называемые «общечеловеческие ценности» в их сегодняшнем виде, означающие беспредельный диктат позитивистской науки, и так называемые «права человека», отчуждающие на деле все действительно человеческие права и провозглашающие абсолютный суверенитет личности — весьма двусмысленную в религиозном и этическом плане идею.

Оба эти понятия достаточно абстрактны и размыты. Их трудно воспринять людям, занятым практической, хозяйственной, трудовой, предпринимательской и даже научной деятельностью. Поэтому эти идеи воспринимаются нами зачастую поверхностно, наивно. Мы отмахиваемся от них, как от пустых абстракций. Мы не сознаем, что за ними кроется. И — делаем при этом самую серьезную политическую ошибку.

На деле эти идеи, эти два принципа давно уже являются предметом острейшей политической дискуссии во всем мире. Эта дискуссия идет не только между Востоком и Западом, ею пронизана вся мировая история. И крайне важно понять, что вплоть до 1985 г. у этих идей не было никаких шансов на гегемонию.

Дело в том, что на этих идеях строится определенный геополитический проект — проект нового мирового порядка. Этот проект не может быть реализован вне этих двух идей, он мертв, если эти идеи не имеют статуса абсолютной истины. Приобретение ими такого статуса означает придание проекту нового мирового порядка характера проекта, не имеющего альтернатив. Это, в свою очередь, можно было осуществить, лишь устранив с арены своего единственного (на государственном уровне) серьезного мировоззренческого конкурента — Россию. Именно в России в течение многих веков формировалось и продолжает формироваться иная версия планетарного развития, иная модель гуманизма, альтернативная той, которая базируется на «правах человека» и «общечеловеческих ценностях» в их сегодняшнем ультралиберальном западном понимании. И именно для России развертывание западного ультралиберального проекта внутри нее самой — это САМОУБИЙСТВО!

Сознавалась ли самоубийственность такого шага теми, кто его пытался и пытается осуществить? Мы говорим — безусловно да. Осознавался и осознается сегодня. И тем не менее этот шаг делается. Он крайне опасен, и важно понять, что речь идет не о пустых абстракциях, а о реальной судьбе России.

В 1917 г. разрабатываемая Россией модель гуманизма была трансформирована в коммунистическую.

В 1985 г. началась дискредитация коммунизма, перешедшая затем в исступленное, истерическое его шельмование. Вопрос сегодня не в качестве коммунистической идеи. Вопрос в другом: почему с такой силой эта идея была атакована? Сегодня двух мнений в этом вопросе не может быть. Сегодня всем уже очевидно, что атака на коммунизм нужна была лишь для того, чтобы лишить Россию ее идентичности, убрать ее в качестве тысячелетнего мировоззренческого конкурента.

Все только началось атакой на коммунизм. А кончится вторым, на этот раз весьма и весьма специфическим «крещением Руси». В этом и состоит мировоззренческая задача «Д-плана», в этом сходство его со всеми планами подобного рода, начиная с Тевтонского Ордена.

«Д-план» изначально базировался на том, чтобы подавить всякие попытки России восстановить свою идентичность, хоть на что-то опереться в своей истории. Его задача — разорвать историческое и социальное время, блокировать процесс самовосстановления; еще раз спросим — ради чего?

В плане геополитическом — восхваление универсального, безальтернативного проекта цивилизационного развития, основанного на «общечеловеческих ценностях» и «правах человека», оборачивается не только диктатом нового мирового порядка. Оно оборачивается экспансией проекта «Север — Юг», предполагающего развитие ряда стран, входящих в мировую элиту (так называемый «Север»), за счет бесконечной деградации всех остальных стран и народов (так называемый «Юг»).

От «общечеловеческих ценностей» и «прав человека» — к новому мировому порядку. От нового мирового порядка — к модели «Север — Юг». Не правда ли, далеко не безопасная «траектория»?

Каково же будет в модели «Север — Юг» место России? Почему никто не отвечает на этот вопрос? Должны ли мы говорить лишь о безнравственности этого проекта по отношению к большинству человечества и рассчитывать тем не менее на некий «гешефт», якобы получаемый Россией в обмен на геополитическое правительство и мировоззренческое самоубийство? Или же место России — в самом «низу» этого пресловутого «Юга», то есть фактически и небытии?

Мы утверждаем, что «Д-план» нацелен именно на второй вариант, связанный с умерщвлением России. И наше утверждение — не голословно.

В самом деле, что означает вброшенная в первые годы так называемой «перестройки» и не теряющая поныне своей актуальности фундаментальная идея, согласно которой мы будем все разрушать «революционно», а строить — не будем, предоставим все «живому творчеству масс». (Теперь это называют «дремлющими силами рынка» или «невидимой рукой». Суть от этого не меняется.)

Эта беспрецедентная идея, которую никто пока что не опроверг, означала и означает запланированный социальный регресс всей евразийской макропопуляции и особенно этносов славяно-тюркской группы. Социальный регресс, моделируемый подобной оригинальной схемой проведения преобразований на территории Евразии, и прежде всего на Российской территории, предполагает отбрасывание России и ее соседей на тысячелетие назад, создание на этой территории своего рода резерваций, социальное, а возможно, и физическое умерщвление ее ключевых этносов.

Мы утверждаем, что в сложившейся ситуации отсутствие серьезных аргументов против нашего обвинения будет означать подтверждение нашего тезиса. А это, в свою очередь, будет означать, что «Д-план» равносилен национальной измене и преступлению против человечества. Что, кстати говоря, не противоречит и объективной реальности, данной нам в ежедневных ощущениях надвигающейся Большой Беды.

Мы никоим образом не хотим замыкаться в высоких теоретических эмпиреях. Но мы не хотим позволить нашим противникам считать нас полными профанами и кретинами, не понимающими их «птичий язык». И потому — продолжаем.

В плане социальной теории.

Идея безальтернативности так называемого «западного» проекта имеет далеко идущие цели. Она, подобно кличу тевтонских рыцарей, освящает силовое и экономическое давление, право навязывать свою модель всем остальным странам и объявлять невеждами и дикарями всех, кто отказывается этой модели следовать.

Но идеи — мало. Нужны конкретные «социальные технологии». И они тоже входят в «Д-план».

Для технологически грамотного разрушения иных, противоречащих «западной», культурно-исторических основ бытия стран, народов и наций, идущих своими путями,— построена так называемая «теория модернизации». Мы утверждаем, что вся перестройка, осуществляемая в СССР, производится по калькам, снятым с этой модернизационной теории, составляющей социальную компоненту «Д-плана».

Так называемая модернизация может, как известно, быть нескольких типов.

Тип первый. Проводимая своей национальной элитой (пример — Эстония).

Тип второй. Проводимая частью своей национальной элиты, которая сможет свергнуть другую часть, отрицающую модернизацию. (Пример — Азербайджан после «сброса» Муталибова).

Тип третий. Проводимая чужой элитой, за неимением своей, национальной, способной осуществить модернизацию, то есть — прямая колонизация. Вот это — уготовано России.

Но и это еще не все. Ибо в третьем типе есть варианты.

Вариант 3-а — предусматривает введение иностранных войск (модернизирующей державы), но сохранение целостности страны.

В варианте 3-б — введение войск и расчленение страны с тем, чтобы (цитируем документы спецслужб) «лишить ее идентичности и тем самым воспрепятствовать ее сопротивлению акции по коренным преобразованиям жизни на данной территории».

Но и это — не есть подлинная суть «Д-плана», уготованного России, ибо мы все чаще слышим вместо слова «модернизация» новый термин «трансформация». Что это значит?

Трансформации, или четвертый тип модернизации, уготованный для непокорных, это социальная технология, ведущая не к тому или иному типу развития, а к социальной деградации населения. Деградации, при которой тем не менее осуществляется большая «совместимость» трансформируемой страны с западной моделью. И здесь речь идет, конечно, только о расчленении и «санитарных кордонах». Но и это еще не все.

Пятый тип — удушение. Считается и теоретически доказывается возможность и целесообразность подобной модели в случае, если нетрансформируемая и немодернизируемая страна оказывает чрезмерное сопротивление попыткам «благодетелей» изменить ее статус.

Тогда «во славу мирового порядка и общечеловеческих ценностей» ее можно и должно подвергнуть «гасящим воздействиям». То есть — постепенному удушению. С тем чтобы она не мешала движению человечества по магистрали мирового процесса, не мешала реализации универсальной модели и установлению нового мирового порядка.

Мы утверждаем, что вся эта теория трансформации известна авторам сегодняшних реформ, являющимся лишь очередными исполнителями очередного этапа «Д-плана». Эта теория разделяется ими, что следует как из применяемых ими моделей, так и в ряде случаев и из их конкретных выступлений за рубежом.

В плане экономической теории — вдруг во всеуслышанье и высокими лицами заявляется, что программа Гайдара — бездарна и разрушительна. В ответ другими, столь же высокими, лицами заявляется, что программа Явлинского, так называемые «500 дней», под знаком которых шло к власти российское руководство,— это преступный план. Аргументированно подтверждается участие в этом плане международных преступных организаций.

Еще недавно подобные заявления означали бы «подкоп» под основы перестроечного процесса, а их авторы зачислялись бы в ранг преступников и прислужников партаппарата. Чем объясняется такой «террариум» в стане вчерашних единомышленников?

Прежде всего — отсутствием конструктивных целей и созидательной идеи. А значит — полной беспринципностью.

Помимо этого — налицо очередная попытка имитировать конфликт там, где на деле есть полное единство в главном, осложняемое, возможно, взаимной ненавистью, ревностью и даже борьбой экономических школ.

Мы заявляем, что перетасовка кадров, смена людей при сохранении идей и концепций — это лишь политическое маневрирование в ходе реализации все того же «Д-плана», плана деструкции. Конкуренция идет лишь за право быть лицом, реализующим этот «Д-план» на данном этапе. А попросту — за право на блага и власть, получаемые в обмен на «деструкторство». На деле мы видим те реальные шаги, с помощью которых борющиеся между собой «команды» деструкторов одинаково намерены разрушать экономику. Эти шаги таковы.

— Искусственное создание дефицита под видом приведения в равновесие спроса и предложения. Иначе говоря, применение ложной монетарной модели в ситуации, когда эта модель заведомо не работает, а лишь «взрывает» и без того плачевную ситуацию.

— Разрушение государственной промышленности под видом приватизации с фактической блокировкой всех конструктивных переходных моделей.

— Создание искусственного валютного кризиса.

— Создание искусственного продовольственного кризиса.

— Обнищание населения до того уровня, когда неизбежно начнется необратимый социальный регресс.

— Уничтожение почти всего индустриального потенциала страны за счет конвертации рубля в условиях, когда не принято никаких мер для конвертации практически всех товаров, кроме сырья.

— Уничтожение всего (!) высокотехнологического потенциала страны с вывозом «мозгов» по демпинговым ценам. Разрушение науки, деградация общества, и в первую очередь интеллигенции, национального предпринимательства и так называемой «рабочей аристократии» города и деревни. Неслыханный по силе удар наносится по всем ресурсам общественного развития.

— Разрушение обороноспособности страны.

— Развал теперь уже российского государства по схемам, абсолютно идентичным тем, которые применялись в Ново-Огареве.

— Искусственно вызванный демографический кризис.

Все эти действия с полной очевидностью можно считать последствиями так называемой «шокотерапии», само заявление о которой и условиях государственной монополии вызывает глубокое недоумение у экономистов, принадлежащих к разным школам и направлениям, весьма далеким от социалистического или коммунистического.

Налицо и очевидная нестыковка реформ, перемена этапов внутри даже заведомо деструктивной модели «шокотерапии», игнорирование плачевного опыта ряда стран Востока и Запада, прошедших через «шокотерапию», игнорирование всей специфики нашего общества, всей советской и российской реальности.

Мы заявляем: ЭТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЛУЧАЙНЫМ. Мы заявляем, что здесь слишком много совпадений, говорящих о сознательной деструктивности и в конечном счете (как ни горько это признать) о национальной измене.

Вот почему мы не считаем нужным анализировать все остальные компоненты того, что называется сегодняшним курсом. Речь для нас идет, как мы уже говорили, лишь об этапе реализации смертельно опасного плана, который напрямую еще боятся предъявить не до конца парализованному обществу.

Вот почему мы считаем необходимым заявить о недоверии всему курсу, а не отдельным его представителям, и о необходимости коренного его изменения.

Мы категорически отвергаем при этом обвинение в реакционности, в стремлении взять идеологический реванш, вернуть страну в лоно коммунистического застоя, подвергнуть общество репрессиям и террору. Мы отвергаем также и обвинение в неспособности предложить обществу альтернативные варианты и концепции его развития. Эта якобы «неспособность выйти за пределы критики и предложить конструктивный вариант развития России» — есть еще одна ложь наших так называемых «демократических» оппонентов, которые, владея фактической монополией на средства массовой информации, делают все возможное для того, чтобы задушить любую идею, противостоящую их «Д-плану».

Предлагая объединиться против «Д-плана», мы одновременно выдвигаем нашу программу, предлагаем альтернативы по всем основным направлениям.

Мы предлагаем основные принципы конструктивного реформирования. Принципы — исходящие из культурно-исторического своеобразия России, необходимости объединить в процессе ее реформ Восток и Запад, традиции и прогресс.

## 2

Мы не можем допустить деградации нашего общества. Мы должны сделать все возможное для того, чтобы не допустить гражданской войны. И мы не приемлем реакцию, реставрацию старого строя.

Номенклатурно-коммунистическая Россия — кончилась. Вместе с ней кончилась и эпоха коммунистической ортодоксии. Прошлое — в прошлом. И все, что в нем было тленного и грешного, не может и не должно быть воскрешено. Вечное же, великое — то, что содержится в идее, которой Россия столь многим пожертвовала, — неистребимо и войдет в новую жизнь. Во всякую новую жизнь.

Россия не приняла бы «красную идею», если бы в ней не было величия и святости. Величие и святость непреходящи, но коммунистической номенклатуре как сословию, как классу, не может и не должно быть возвращено прежнее социальное значение.

Никогда не вернется уже старая жизнь. Произошедший переворот — необратим. И это все должны понять и признать. Это исходная точка для любого действительного консенсуса. Какова же идея, способная сплотить, способная дать импульс действительного строительства новой жизни?

Мы утверждаем, что эта идея — РАЗВИТИЕ. Развитие России, развитие всего общества. И — государство, как гарант такого развития. В стране сегодня борется только две силы — та, которая отстаивает интересы развития, и та, которая сознательно ведет к деградации. Все остальное — от лукавого. И чем скорее мы это поймем, тем скорее объединимся и найдем выход из тупика.

Называя свой план «Планом Р», мы сознательно противопоставляем его «Д-плану» по всем направлениям.

В плане философском — мы отрицаем претензии либеральной теории, основанной на так называемых «правах человека» и «общечеловеческих ценностях», на статус суперидеи XXI века. Мы вскрываем подлинное содержание этих прав и этих ценностей, мы утверждаем, что «права человека», провозглашая абсолютный суверенитет личности, предполагают на деле такую модель самого человека, которая несовместима с высоким смыслом человеческой жизни. Иначе говоря, «права человека» на деле означают торжество концепций крайнего индивидуализма, последствия которого — описаны Достоевским.

Русская философская мысль на протяжение столетий неустанно предостерегала человечество, говоря ему о разрушительности этой модели личности, построенной на крайнем индивидуализме. Западная мысль тоже многое сделала для того, чтобы показать последствия крайнего индивидуализма. Модель человека, предлагаемая в концепции «абсолютного суверенитета личности», — это модель кентавра, полуробота-полузверя. Что касается «общечеловеческих ценностей», то неоднократно было показано, что за этой концепцией скрывается крайний рационализм, что «ценности», заявляющие сегодня о себе как об «общечеловеческих», есть на самом деле всего лишь фантомы позитивистской науки. Той самой, которая ответственна за все беды XX века. Ставить их во главу угла — это значит опять же вести мир в никуда, в глобальное разрушение или невиданный застой, построенный на внеэкономическом принуждении.

Россия противопоставляла, противопоставляет и будет противопоставлять этим двум идеям — не национализм, не провинциальную замкнутость, а другую идею, другой план построения глобальной цивилизации.

В этом смысле альтернативой «правам человека» и «общечеловеческим ценностям» служат:

Во-первых, идея личности, способной вместить в себя свое историческое родовое начало без того чтобы перестать быть личностью. Таким образом, речь идет не о возврате к традиционализму, автаркии, «почвенности», а о новом, постлиберальном этапе эволюции, немыслимом вне идеи персоналистской соборности. Речь идет о наличии в российском обществе и в российских традициях всего того, что необходимо для становления нового типа личности, что как раз и является одной из ключевых проблем XXI века. И мы имеем право говорить о мировой роли разоренной и обнищавшей России в решении этого ключевого вопроса.

Во-вторых, России есть что сказать по части целей и ценностей, поскольку столетиями не прекращался и не прекращается поныне высокий религиозный синтез, поиск мистического и исторического единства религий, поиск нового «Града», «Нового Иерусалима». Русская идея вселенскости глобальна, открыта миру и находится в постоянном интенсивном саморазвитии.

В этом поиске опять же нет ничего провинциального и ортодоксального. Он отвечает духу всех мировых исканий XX века, роль которых трудно переоценить с точки зрения возможных перспектив следующего столетия.

Вся практика российской истории говорит о том, что вопреки стихийному анархизму, вопреки анархизму и склонности к национальному нигилизму, вопреки самоедству русский народ сохранил и продолжает развивать идеи вселенскости и соборности, придавая им новый смысл, крайне актуальный в условиях глобального системного кризиса либеральной цивилизации. Россия остается Держателем новых идей и новых (гуманистических и демократических!) моделей развития человека и общества. Потенциал этих идей воистину неисчерпаем. Актуализация этого потенциала в конце XX века — вот основная надежда всего человечества, поскольку в противном случае можно было бы ставить крест на перспективе дальнейшей содержательной Эволюции.



Итак, в условиях общецивилизационного тупика, краха либеральных ценностей Россия по-прежнему претендует на лидерство во всем, что касается проблемы Нового гуманизма. Прикончить это, атакуя пресловутую «комидею», по меньшей мере наивный замысел, демонстрирующий нам наглядно, что такое амбициозный технократический кретинизм западных контрпропагандистских «мозговых штабов».

Вселенскость высокого русского космизма и соборность постлиберального персоналистско-интеграционного типа личности — вот наши новые вехи, новые ориентиры, способные выдержать конкуренцию «правам человека» и «общечеловеческим ценностям» либерального Запада.

На их основе возможно восстановление потерянной Идентичности, после чего только и может начаться восстановление всей общественной жизни, после чего только и может начаться продуктивное государственное строительство.

В плане социальной теории — отрицание крайнего индивидуализма и позитивистского рационализма предопределило открытия, сделанные в России, предопределило все социальные модели, воспринятые российским обществом.

Принято считать, что отсутствие протестантской этики в России, ее приверженность духу соборности и общинности не позволили состояться российскому капитализму. С этой точки зрения оба эти явления рассматриваются как бедствие, помешавшее России оказаться в «раю» среди «избранных». Одновременно с этим признается, что подобный тип становления фундаментальных предпосылок собственно российского капитализма уже невозможен, ибо время упущено. Отсюда следует необходимость радикальных и жестких модернизаций, которые, конечно, являются злом и имеют ряд негативных последствий, но якобы безальтернативны, поскольку так нелепо и уродливо распорядилась российская история.

Мы категорически отрицаем подобный взгляд на Россию, который призван уничтожить ее идентичность на более широких временных интервалах, нежели исступленная критика коммунистических извращений. Цель при этом все та же, только средства другие.

На самом же деле — Россия изначально не желала идти путем Запада через протестантство, через религиозное реформаторство, поскольку этот путь представлялся ей гибельным в главном — духовном плане. Том плане, который для России был и остается приоритетным. Россия инстинктивно понимали (а российские интеллектуалы обосновывали теоретически) тот факт, что соотношение духовного и материального более сложно, нежели это представлялось позитивистской западной науке XIX и XX столетий. Антибуржуазное сопротивление в России шло на всех уровнях, снизу доверху, включая, как ни странно, саму буржуазию.

И не случайно, что именно в России родилась идея «духовного предпринимательства», которая резко опередила свое время, ибо только с конца 60-х годов XX века нечто сходное начинает появляться на Западе, называя себя «этическая экономика», «психосоциальная экономика», «теологическая экономика» и т. д.

Крайне характерно, что все эти виды западных экономических теорий вообще не развернуты в нашем общественном сознании, где до сих пор господствует одномерный подход к обществу, известный из пресловутой теории «базиса и надстройки». Именно это заблуждение Маркса, им самим в конце жизни осознанное, наиболее энергично навязывается сегодняшнему общественному сознанию, поскольку именно эта идея особенно деструктивна в условиях России. Аналогично этому из всего наследия проклинаемого сегодня Ленина извлечен и «увековечен» лишь один обломок, один фрагмент — ленинская политика в области национальных отношений.

Разумеется, по той же причине — в силу ее очевидной деструктивности для России.

Идея духовного предпринимательства, выдвинутая российскими философами в начале XX века, совершила переворот в сфере социальной и экономической теории.

Современные исследования подтверждают, что соотношение между материальным и духовным опосредовано в обществе с помощью механизмов, намного более сложных, нежели первичный и всеобъемлющий «базис» и рабски зависимая, полностью производная от него «надстройка». На деле можно говорить о двух равноценных сферах — сфере движения материальных ресурсов и сфере движения целей.

К первой сфере относятся механизмы обмена товарами, включая деньги, биржи, банки, всю рыночную инфраструктуру — весь ресурсный материальный аспект производства.

Ко второй сфере относятся все механизмы общения, в первую очередь механизмы договора, средства сравнения потребностей, язык, различные социальные, коммуникативные институты, такие, как религия, государство, наука, культура.

Если первая сфера имеет своим универсальным идентификатором — рынок, то вторая сфера имеет в качестве такого же идентификатора — план. Обе сферы можно считать равнозначными. А их сочетания, их сопряжения, их соподчиненность определяют тип общества, определяют социальную ткань, определяют «правила игры», установки, стереотипы действий, типы стимулов, которые эффективны в данном типе общества, иначе говоря, ВСЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ ДАННОГО ОБЩЕСТВА.

Таким образом, мы получаем фактически опровержение тех основ, которые положены нашими противниками во главу угла при создании теории модернизации. Мы отрицаем эту теорию и как не соответствующую всем научным данным,

полученным начиная с середины XX века, и как инструмент агрессивной экспансионистской политики, которая под видом спасения на деле ориентирована на уничтожение нашей страны и нашей цивилизации.

Универсальная модель эволюции на базе «общечеловеческих ценностей», «прав человека», модель, ориентированная на первичность материальной сферы над сферой духовной, модель, ориентированная на абсолютность тех процессов, которые происходят в сфере обращения товаров, и на возможность превращения всего человека в товар,— не просто безнравственна, она — теоретически несостоятельна и ущербна. И как бы она ни называлась, марксизмом или экономическим детерминизмом в духе «гарвардской школы», — она способна лишь разрушать российскую действительность.

Опровергая универсализм, экономический детерминизм, мы делаем следующий шаг. Вначале вместо «общечеловеческих ценностей» и «прав человека» — вселенскость и соборность. Затем вместо подтягивания всех к одному универсалистскому ранжиру с помощью модернизации и трансформации—собственная модель российского постлиберального общества.

Традиционный для России принцип приоритета духовного над материальным должен быть сохранен. И лишь в условиях такого приоритета в России может быть реализована подлинная демократия, при которой народ будет способен сформулировать заказ власти на управление собой в своих же собственных интересах. Демократия, возвышающая народ, а не превращающая его в массу потребителей, покорно пережевывающих жвачку масскультуры и являющихся объектом непрерывных манипуляций. Вперед, к подлинной демократии — это наш лозунг.

Иного России действительно не дано. В плане социальной теории это означает, что в России продолжает сохраняться приоритет сферы целепрограммирования, сферы коммуникаций и смыслообразования — над сферой обращения материальных ресурсов. Когда Запад делает вид, что такого-де, мол, в принципе быть не может, когда наши «консультанты и наставники» типа Дж. Сакса рекомендуют свои разрушительные рецепты, они тем самым игнорируют уже и реальное устройство современного западного общества, которое сегодня включает, кроме изощренно развитой сферы материального обращения, также и высоко бюрократизированную, сверхрационализированную, технически и информационно оснащенную сферу общения, подкрепленную к тому же мощным государственным сектором экономики.

Они «забывают», что вот уже столетие развитие этого общества идет путем попеременной активизации ресурсной и смысловой сфер, рынка и плана. Все это они хотели бы «оствзить» у себя, в своем обществе, перенеся к нам лишь куцые фрагменты, не имеющие внутренних связей, которые, будучи внедренными, способны только добить до конца общество, государство и экономику. И уж тем более они умалчивают о реальном опыте таких стран, как Япония.

Утверждая объективно необходимый России приоритет сферы целепрограммирования над сферой обращения материальных ресурсов и оговорив при этом то крайне важное обстоятельство, что сфера обращения материальных ресурсов крайне важна, что деформация ее функционирования ведет к обрушению всего общества, включая его духовную сферу, мы можем утверждать, что принципы социальной организации нашего общества должны кардинально отличаться от тех принципов, которые заложены в основу англосаксонского либерального проекта, который с невероятным трудом был воплощен в течение столетий в США и на незначительной части европейского континента. И что всякое «обезьянничание» здесь чревато социальной и политической катастрофой.

Характерно, что наши противники тоже сознают пагубность крушения государственных форм организации социальности, государственной экономики, культуры, идеологии, которые, являясь в нашем типе общества одновременно и формами социальной самоорганизации, рухнув, неизбежно похоронят под собой все общество.

Понимая, что здесь крушение государственности равносильно тотальному необратимому распаду общества, они тем не менее подталкивают его к этому всеми способами, понимая, что гражданское общество еще не возникло, да и не может возникнуть за такие короткие периоды времени, понимая, что весь тип мышления, все ценностные и нравственные установки, вся коммуникационная сфера устроены иначе, чем у них, они торопят, подталкивают, ультимативно требуют.— Чего?..

Мы утверждаем — как можно более быстрого самоуничтожения.

Альтернативой «гражданскому обществу» в нашем типе общества, ничуть не менее перспективном и столь же способном к саморазвитию, может являться только корпоративно-синдикалистское или сословно открытое общество.

Его характерная черта — это многоукладность, причем многоукладность тщательно сбалансированная. Сегодня мы не можем дать ни одному из укладов и ни одному из сословий тотального приоритета. Мы не можем также позволить этим укладам «свободную игру», основанную на «войне всех против всех». Мы не можем искусственно ликвидировать уже возникшие новые общественные уклады, и мы не можем, не подвергая общество смертельной опасности, бездумно и бессмысленно ликвидировать старые. Такая политика и была бы по сути своей возвратом к сталинизму в худших его выражениях, хотя до поры до времени еще шла бы имитация некоей парламентской демократии. Государство обязано делегировать обществу отнятое у него право самоуправления. Но это право должно быть институционализовано в соответствии с реальным устройством нашего реального общества и необходимостью преобразовать незрелую аморфную демократию в открытое сословное общество. Хозяйственные решения должны принимать те, кто осуществляет хозяйственную деятельность, — вот путь к реформам и стабильности. Это означает, что должна быть создана Хозяйственная Палата, в которую пропорционально доле в промышленном производстве должны быть делегированы представители всех экономических укладов и сфер, всех суперкорпораций, реально слагающих наше общество. Их решения в среде хозяйствования являются высшим Законом.

Хозяйственная Палата должна быть наделена особыми полномочиями только (!) в сфере материального производства. Это будет первым и самым важным практическим шагом к организации всего высшего законодательного управления России по аналогичному, сословно-представительному, корпоративному принципу. Производство — производителю!

Одновременно с этим необходимо признать также насущность создания новой информационной сети, способной эффективно управлять информационными потоками, процессами целеполагания в обществе и параметрами его развития. Такая сеть, такая структура и отвечающая ей группа социальных институтов в нашем типе общества обязаны иметь самый высший приоритет.

Инфраструктура, отвечающая требованиям нового этапа развития человечества, а не комические 500 бирж, — вот что нужно России. Государственный разумный протекционизм, целевые проекты и программы для сферы высоких технологий — вот условие большой национальной реформы. Столь же необходимы субсидии для угасающих отраслей.

Форсированная анклавная модернизация немыслима без рынка. Но и рынок без такой модернизации —это путь в никуда.

Столь же необходимо назрел вопрос о выделении в сословие всех лиц, работающих в системе национальной безопасности, включая армию и службы надзора, без чего эрозия этих структур в ближайшее время уже станет необратимой.

Далее — своего законодательного решения требует вопрос о создании купеческих и промышленных гильдий, о сознательном наделении лиц, развивающих производственный потенциал страны, высокими полномочиями, в соответствии с той практикой, которая осуществлялась в России начиная с эпохи реформ Петра Великого.

Такая социальная реорганизация общества, осуществляемая на Чрезвычайном съезде Советов, который должен пройти не позднее ноября 1992 г. и на котором должны быть приняты соответствующие фундаментальные акты и законоположения, только и способна спасти рассыпающееся государство и общество. Никакое «чрезвычайное положение» ни к чему не приведет в рассыпающемся обществе. Это понятно любому здравомыслящему политику.

В организационном плане.

Но решения съезда — это лишь начало пути. Главное — это действия на основе действительного примирения всех политических сил. Нам предстоит радикальное переустройство промышленности, достраивание инфраструктуры.

При осуществлении таких реформ форсированными темпами за счет внутренних ресурсов нам не избежать резкого социального расслоения общества. Но это расслоение может и должно быть организовано в соответствии с интересами всей нации, осознано и признано ею. Нам не избежать драконовских мер в борьбе с преступностью и коррупцией. Но тем важнее защитить инакомыслие, демократию, реальные права человека и гражданина.

Это немыслимо без общенационального согласия. Честно признаться обществу в масштабе неизбежных издержек, прекратить взаимную дискредитацию, отстранить от управления творцов «Д-плана», создать союз всех конструктивных сил всех основных ориентаций и честно поделить издержки, связанные с реализацией программы Большой Реформы,— вот что такое путь к миру и демократии.

В теории управлении обществом существует понятие «мобилизационная модель развития». Мы не будем здесь подробно расшифровывать это понятие, указав лишь, что в том состоянии, в каком Россия сегодня находится, у нее нет никаких альтернатив мобилизационной модели развития.

Мы, естественно, оговариваем и то, что мобилизационная модель развития не имеет никакого отношения ни к чрезвычайному, ни к военному положению. И что путь к ней лежит не через примитивное и грубое насилие (преступное и бессмысленное сегодня), а через стремительное социальное конструирование.

В сфере экономической теории и практики.

Маниакальный экономический детерминизм, господствующий сегодня в общественном сознании, вынуждает нас подробно остановиться на экономической составляющей нашего плана развития.

В самом деле, любому экономисту понятно, что все определяется фундаментальными решениями, принимаемыми и выполняемыми (!) в сфере философско-политической и социально-организационной.

И тем не менее мы предлагаем нашу модель экономических реформ, подчеркивая ее коренные отличия от тех рецептов, которые предлагаются Дж. Саксом и его российскими «учениками». Контуры нашей экономической стратегии таковы.

Мировой опыт показывает, что выбранный российскими властями тип экономических реформ не дал ощутимых позитивных результатов даже в малых странах, не открыл перспектив к самостоя-

тельному хозяйственному развитию. Только одна специфика экономики России — громадная доля промежуточного продукта — уже привела к разрушительным последствиям монетарных манипуляций.

Бесперспективной борьбе с инфляцией только в сфере обращения, имитируемой доморощенными «шокотерапевтами», мы противопоставляем меры, направленные против действительного источника инфляции — сжатия внутреннего рынка, сокращения производства и потребления. Мы против установления равновесия между спросом и предложением на уровне цен, приемлемых для 10% населения. Не может быть стабилизации в стране, 90% жителей которой — люмпены.

Не следует объяснять, кому выгодны спекулятивные цены. Если бы власти боролись с инфляцией, они не раскручивали бы спираль гиперинфляции по цепочке «цена — зарплата».

Программе расхищения государственной собственности под видом «большой» приватизации мы противопоставляем национальную программу согласованного взаимодействия трех структурно-функциональных подсистем, слагающих любую зрелую национальную экономику, — государственной, корпоративной и рыночной. Мы — за контроль над ценами монополистов и ряда ключевых базовых отраслей. Мы — за свободный рынок товаров народного потребления. Но мы — за конкуренцию в области издержек производства, а не в области наращивания цен. Кроме того, нет аргументов против стимулирующей производство роли низких цен, во всяком случае в монопольных секторах.

Искусственно созданный за счет стремительного обнищания народа слой коммерсантов позитивно работать в ближайшее время не способен. Коммерциализованный госсектор — единственный материальный шанс для выживания нашей страны. Мы не верим лукавым ссылкам на «боливийский», «чилийский» и прочие «варианты», ибо в условиях, близких к нашим, в Польше давно уже разразилась бы всеобщая стачка.

Мы отрицаем принцип монетаристов о незнании направлений структурных перестроек хозяйства. Нам эти направления известны, потому что, в отличие от бездомных экспертов МВФ, мы живем на своей Родине, ее хозяйство всегда было и, уверены, останется нашим. Поэтому вместо перекачки средств в криминально-коммерческий сектор мы предлагаем не тотальное разрушение экономики путем «обнуления» счетов, а разработку приоритетов для государственного и коммерческого инвестирования. Только в этом случае можно снизить инфляционную волну, питаемую производственной сферой, и на деле приступить, наконец, к социальной ориентации хозяйства.

Сознавая, что любой успех на пути к рынку не может быть достигнут только рыночным механизмом, мы выступаем за частичную монополию внешней торговли. Только таким образом удастся блокировать утечку валютной выручки от экспорта на заграничные счета, противостоять бесконтрольному вывозу народного достояния. Отказ от такого контроля на деле означает создание искусственного валютного кризиса.

Политика либерализации цен на продовольствие не вызвала роста его производства. Наоборот, по традиции дикого капитализма, для поддержки высокого уровня цен часть продовольствия уничтожается. Дотации сельскому хозяйству, о которых с постоянным укором напоминают, в значительной мере погашаются за счет высоких цен «городской продукции», включающей средства механизации и химизации. «Соревнование» в части подъема цен между городом и деревней «кормит» только инфляцию, а не население страны. Поэтому проведение аграрных преобразований должно осуществляться под государственным патронажем: речь идет, по сути дела, о физическом выживании народа, что бы там ни значилось в рекомендациях МВФ. Не отрицая важность аграрных реформ и будучи сторонниками современного частного землепользования (такого, например, как в Голландии), мы настаиваем на законе об обязательном сельскохозяйственном использовании разобобществляемых земель. Только такой закон и только вкупе с законами о защите национального предпринимательства, национальной промышленности, культуры, науки, образования обеспечит доверие народа к радикальному обновлению аграрного законодательства. Без этого все инновации будут (и должны быть!) отвергнуты как противоречащие коренным интересам нации.

Развитие инвестиционной деятельности и удовлетворительное решение аграрных проблем позволит смягчить социальные издержки и блокировать социальный регресс. Мы считаем, что сегодня группа социально незащищенного населения включает не только пенсионеров и инвалидов, но также — работников здравоохранения, просвещения, науки и культуры. Необходимо срочно создать систему социальной защиты, проведя «замещение» денежных потоков в ущерб паразитирующим на государственной товарной массе коммерческим структурам.

Основываясь на анализе особенностей российской экономики, мы поддерживаем предложения, направленные на интенсивное развитие внутрироссийского рынка с восстановлением традиционных связей не только с государствами СНГ, но и бывшего СЭВ. Мы настороженно относимся к быстрой конвертации рубля, которая может потребовать девальвации и поддержания высокой ставки процента. Но это препятствует целям активизации внутрироссийского рынка и защиты отечественных предпринимателей, имеющих дело с любой формой собственности. Нас не удастся обвинить в антирыночной идеологии. Наоборот, мы обвиняем тех, кто делает бесполезную ставку только на иностранные инъекции, в пренебрежении к развитию отечественного рынка. Протекцию собственной экономике оказывали на разных этапах своей истории самые либеральные страны, в том числе и путем недопущения конвертации валют. Если конвертация рубля состоится, то индустриальный потенциал России в своей лучшей части может перейти в руки иностранных владельцев. Высокая ставка процента и колониальная стоимость труда создают для этого благоприятные условия. В начавшихся финансовых противоречиях между субъектами СНГ первоочередная мера по спасению рубля — не в его конвертации.

Развитие инвестиционной активности на внутрироссийском рынке в сочетании с программой структурной перестройки смягчат и проблему «утечки мозгов», в том числе и из сектора оборонной промышленности. Те, кто подрывают оборону страны и одновременно надеются на зарубежную помощь, делают грубую ошибку — помогают только сильным, если речь идет о мирохозяйственных связях, а слабым — подают милостыню.

Принятый тип экономических реформ на неоднородном пространстве России способствует возникновению региональных социально-экономических противоречий, легко переходящих в политическое противостояние. Эти реформы разделяют имущественно не только население, но и территорию. Внутрихозяйственные связи, помимо политических мер, противостоят разрушению страны. Но для этого неолиберальный тип монетаристских реформ должен уступить место структуралистским принципам реформирования.

Кстати, мы еще раз напоминаем нашим «рыночникам» главную аксиому функционирования производственной сферы. Она состоит в том, что производство имеет инновационный фронт, зрелую сердцевину и угасающий тыл. Инновационные «дети» и уходящие «старики» всегда поддерживаются на государственном уровне.

Тот, кто игнорирует этот закон, в скрытом виде содействует геноциду промышленного производства.

Программа МВФ в промышленности — это убийство «стариков» и «детей», слагающих в совокупности до 70% национального производства.

**В области внешней политики.** Мы должны с отвращением отвергнуть политику двусмысленностей, сателлитства, измены своим вчерашним союзникам. Мы должны вернуться к разумной великодержавности. Кто будет доверять стране-предательнице? Кто поверит обязательствам правительства, которое с такой легкостью топчет прежние обязательства? Россия открыта, но она открыта новому многополярному миру и ждет от него ответной открытости.

**Наши условия.**

Первое. Свобода рук при определении приоритетов российской политики по отношению ко всем высокоразвитым странам мира.

Второе. Выход конкурентоспособной продукции России в сфере высоких технологий на мировой рынок в объеме, отвечающем российским возможностям.

Третье. Соблюдение традиционных зон влияния в различных регионах земного шара с учетом новых геополитических реалий (как то, например: наше экономическое содействие странам Восточной Европы без политических претензий к ним со стороны России в обмен на право определять контуры балканской политики, отвечая за стабильность и мир в этом регионе).

**Наши гарантии.**

Первое. Сохранение демократии и стабильности в Евразии.

Второе. Сбалансированное развитие России за счет мобилизации ее внутренних ресурсов.

Третье. Экономическая и политическая стабилизация юга бывшего СССР.

Четвертое. Мирное разрешение территориальных проблем (на территории бывшего СССР) по кипрскому варианту (принцип «зеленой линии»).

Пятое. Полномасштабная правозащитная реформа.

**В плане военной политики и национальной безопасности.**

Следует категорически отвергнуть те идеологические приоритеты, которые расставлялись в военной политике до 1985 г. Следует со всей определенностью заявить, что нет и не может быть возврата к эпохе идеологической конфронтации. Но столь же категорически следует отвергнуть и новый идеологизированный подход, господствующий сегодня. Мы утверждаем, что под видом деидеологизации идет стремительное нарастание новой, еще более губительной идеологической тенденции.

Она основана на простой смене знаков с «плюса» на «минус» и наоборот, при которой мы теперь выбираем себе «патронов», «друзей и союзников» все по тем же идеологическим соображениям. Это выглядит особенно трагикомично в условиях, когда наши новые «союзники» и «патроны» заявляют о том, что Россия остается для них «врагом № 1», и союз с российскими демократами они поддерживают лишь в той мере, в какой так называемые демократы обеспечивают предельное ослабление «врага № 1», т. е. России.

Одновременно, не приобретя новых друзей, мы рискуем приобрести новых врагов, достаточно сильных для того, чтобы деформировать все наши планы разумного построения общества и государства.

Что означает заявление о «перенацеливании ракет», ошеломившее весь мир? Что означает оно в условиях, когда все наши города, все наши стратегические объекты по-прежнему находятся под прицелом?

И наконец, куда перенацелены наши ракеты? С кем мы теперь собираемся

воевать? С коммунистическим Китаем? С исламским фундаментализмом? Или с «летающими тарелками»?

Ответ на этот вопрос мы не получаем. Но мы видим стремительный развал Вооруженных Сил, отсутствие конструктивной стратегии строительства российской армии, мы видим потерю Черноморского флота, бедственное положение военнослужащих, торговлю оружием, криминализацию сферы военного снабжения, развал военно-промышленного контура, обеспечивающего самое элементарное поддержание военного механизма страны, развал системы ПВО. И в ответ на свои вопросы мы слышим лишь пустые, ничего не значащие слова, за которыми нет и не может быть никаких действий, поскольку речь идет о сознательном осуществлении все того же «плана Д» по отношению к армии. И мы считаем необходимым противопоставить этому другой план. Вот его основные позиции.

Необходимо срочно предъявить те четыре главных фундаментальных принципа, без которых национальная безопасность является пустым словом. Эти принципы таковы.

1. Четкая формулировка целей безопасности государства.

2. Определение и расстановка приоритетов угроз.

3. Разработка собственной военной стратегии.

4. Разработка конкретных оперативно-тактических планов, доктрин и структуры российских войск.

Все это на сегодняшний день игнорируется. С нашей точки зрения, цели национальной безопасности таковы:

— сохранение свободного, суверенного, независимого государства, безопасности его граждан и структур;

— наличие сильной здоровой экономики, как главного условия благосостояния государства и его граждан;

— сдерживание любой агрессии, угрожающей безопасности государства, и осуществление гарантированного ответного удара в случае, если сдерживание потерпит неудачу;

— отслеживание любых угроз государственной безопасности и эффективные действия, направленные на то, чтобы не допустить их осуществления, не доводя дело, по возможности, до вооруженного конфликта;

— поддержание двусторонних и многосторонних договорных отношений, содействующих безопасности государства, его союзников и дружественных ему государств;

— предотвращение распространения военных ресурсов, технологий и вооружений в страны, могущие стать потенциальными противниками или косвенным образом негативно воздействовать на безопасность государства;

— участие в международных органах, отвечающее интересам государства;

— движение по пути к становлению сильной, продолжительно прочной и конкурентоспособной экономики;

— обеспечение себе доступа на внешние рынки, благоприятных условий для торговли, возможности доступа к ресурсам и свободы передвижения;

— обеспечение себе внушительного голоса в мировой политике.

Аксиома международной политики состоит в том, что политический вес государства зависит напрямую от его военного потенциала. Политический вес необходим России не для пустого бряцания оружием и не для насаждения режимов определенного типа за пределами своей территории, а для защиты коренных интересов, в первую очередь — экономических.

Вброшенный в общественное сознание тезис о том, что-де, мол, Россия — это «Верхняя Вольта с оружием», скрывал потаенную цель — вначале убрать оружие, а затем — превратить Россию в «Верхнюю Вольту», то есть попросту уничтожить ее.

В ответ на это мы заявляем о необходимости укреплять систему национальной безопасности, сохраняя при этом предельную открытость миру, но в рамках своих национальных и государственных интересов. А это означает, что понятие «агрессия» не является устаревшим, вычеркнутым из политического словаря. Тем более что доктрина столь любимого нашей нынешней «властью» военного ведомства США отнюдь не снимает с повестки дня возможность агрессии на территорию России. Разумеется, лишь в случае нежелательного разворота событий на территории России, смены политической ориентации, возникновения авторитарного режима и тому подобное.

Возникает ответный вопрос: где гарантия, что не сегодня, но через три года или через пять лет в Соединенных Штатах Америки или любой другой стране, обладающей военной мощью, не возникнет режим или же политический курс, противоречащий национальным интересам России? Пусть это событие и не является высоко вероятным, но даже малая вероятность его предполагает разработку стратегии отпора агрессии. Кроме того, безопасность государства не сводится лишь к военной безопасности в чистом виде. Агрессия может осуществляться гораздо более тонкими методами, направленными на постановку государства в положение Верхней Вольты, лишенной оружия. Такие цели безопасности России, как защита от экономического подчинения, осуществляемого внеэкономическими методами, от военного (в том числе и ядерного) терроризма, локальных военных угроз, реальное проведение собственной внешней политики — предполагает необходимость сильных Вооруженных Сил.

И наконец, биполярное противостояние «Восток — Запад» времен холодной войны сменилось нарастающей многополярностью мира, и количество угроз для России, содержащееся в этой многополярности, — лишь увеличилось. Мир — конфликтен, нарушен этноконфессиональный и геостратегический баланс. А значит, вероятность военных конфликтов нарастает. И мы должны рассмотреть все потенциальные угрозы, все угрозы безопасности, отбрасывая те или иные идеологические предпочтения.

Отбрасывая идеологические предпочтения и идеологические жупелы, анализируя объективно, с позиций защиты национально-государственных интересов сложившийся после распада СССР многополюсный мир, содержащий внутри себя колоссальную энергию геополитических и локальных конфликтов, мы утверждаем, что строительство российской армии должно идти с учетом существования следующих потенциальных угроз национальной безопасности (в порядке их вероятности):

1. Локальные угрозы.
2. США и НАТО (Европа).
3. КНР.
4. Азиатско-Тихоокеанский регион.

Даже самый беглый анализ подобных угроз позволяет высказать утверждение о необходимости строительства мощной российской армии и обозначить следующие

### стратегические задачи военного строительства

— Поддержание стратегического потенциала, основным предназначением которого является сдерживание располагающих ядерным оружием стран от начала широкомасштабных боевых действий против России с использованием ядерного оружия.

— Поддержание сил, способных обеспечить безопасность России в случае возникновения крупного европейского конфликта с участием стран НАТО или крупного вооруженного конфликта с Китаем.

— Поддержание готовности противодействовать локальным угрозам на всех рубежах России и по всем возможным направлениям (фактор бывшего СССР).

— Наличие сил, способных выполнять функции «войск мира» по отношению к возможным и высоко вероятным в настоящих условиях конфликтам внутри России.

Исходя из вышесказанного, нам представляется несомненной необходимость для России армии, как стратегической, так и оперативно-тактической, в объеме не менее двух третей от армии бывшего СССР и в качественном отношении резко превышающей качество войск бывшего СССР.

Особое внимание следует, с нашей точки зрения, уделить структуре кадрового офицерского корпуса, научно-техническому потенциалу армии, ее моральной и психологической подготовленности. Необходимо обратиться к российскому и мировому опыту по социальной поддержке офицерского корпуса, как за счет льгот непосредственно финансовых, так и за счет особых привилегий при наделении землей, а также при занятиях предпринимательством.

В связи с этим нелишним было бы вспомнить о дореволюционных военных традициях России, о традициях японского «самурайства» и о роли этих традиций при осуществлении радикальных экономических и не только экономических преобразований.

### В плане государственного строительства

Мы считаем, что возврата к старому Союзу нет и не может быть. Мы констатируем одновременно полное фиаско так называемого СНГ, его несостоятельность и противозаконность. Вопрос о правопреемстве должен быть рассмотрен во всей его полноте. Бессмысленные, геополитически абсурдные уступки Россией части ее исторической территории в сложившейся ситуации категорически неприемлемы.

Вместе с тем мы предвидим новую, более гибкую и эффективную интеграцию евразийских территорий, ядром которой может быть только быстро развивающаяся Россия. Мы приветствуем все инициативы по вхождению в союз с Россией на федеративных и более плотных условиях. Мы будем рассматривать конфедеративные союзы с точки зрения их соответствия интересам России и принимать решения, исходя из этих интересов. И, разумеется, мы не против дружественных отношений с другими государствами, в том числе и ранее входившими в СССР, коль скоро эти отношения лишены той двусмысленности, которая придана им так называемым СНГ.

**САМА РОССИЯ — ЕДИНА И НЕДЕЛИМА**

**НИКАКОГО «СОЮЗА ГОСУДАРСТВ» НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ**

**НАША ФОРМУЛА ДЛЯ РОССИИ — ЭТО «СОЮЗ НАРОДОВ — ФЕДЕРАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ»**

**НЕТ — ПОЛИТИКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЗМЕНЫ, ВЕДУЩЕЙ К РАЗВАЛУ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА!**

**ВЕЛИКОЙ И ОБНОВЛЕННОЙ РОССИИ — БЫТЬ!**

# ПРОЗА

ИРИНА ГОЛОВКИНА (РИМСКАЯ-КОРСАКОВА)

# ПОБЕЖДЕННЫЕ

РОМАН

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### Глава первая

*Тихими, тяжелыми шагами*
*В дом вступает Командор...*
*А. Блок.*

Торопливо одеваясь, он говорил себе, что это, по всей вероятности, милиция, высчитав, что он и Эдуард явятся на праздники к родным, решила сделать налет и оштрафовать нарушителей.

На его вопрос: «Кто там?» — ответом было: «Откройте, дворник!» Голос и впрямь принадлежал дворнику. Дашков открыл дверь. Пятеро в нашивках и с револьверными кобурами выросли позади бородатой фигуры в старом ватнике.

— Вот гражданин Казаринов, — сказал дворник, виновато моргая.

— Руки вверх! — закричали те и навели свои револьверы. — Бывший князь Олег Дашков, вы арестованы.

Вот она — эта минута! Она все-таки пришла! Уплывают и жизнь и счастье! Ему послышался легкий вскрик — Наталья Павловна, стоя на пороге гостиной, схватилась за косяк двери, как будто боясь упасть... Он рванулся было ее поддержать, но был тотчас же схвачен за плечи.

— Стоять на месте! — рявкнул один. — Оружие есть? Отвечайте! — и торопливые руки стали ощупывать его.

— Оружия у меня нет.

— Вот ордер на обыск и арест — смотрите. Ведите в свою комнату, а вы, товарищ, дворник, подымайте соседей: нам нужен свидетель при обыске.

Там, в спальне, Ася, проснувшись от шума в передней, стояла в халатике, растерянно оглядываясь, и при виде мужа под револьверами застыла на месте с широко раскрытыми глазами, полными ужаса. Ни кровинки не осталось в этом лице. Мадам выскочила из диванной с шумными французскими восклицаниями и тоже остолбенела. Мерцание белой ночи, заливавшее комнату, вытеснил электрический свет, включенный властной рукой. Всех заставили сесть — поодаль друг от друга.

— Начнем с этого угла, — сказал старший и указал на зеркальный шкаф. Среди гепеушников оказалась женщина — она подошла к Асе и стала ее обшаривать. Послушно стоя с поднятыми руками, Ася не спускала с мужа все тех же остановившихся глаз.

— Есть, товарищ начальник! Записка! — воскликнула гепеушница.

— А ну, читай, что там, — откликнулся старший, наблюдая, как двое других перерывают шкаф.

— Читай, я очки позабыла, — женщина передала записку самому молодому из агентов; тот стал читать, запинаясь: «Сегодня на рассвете я долго любовался выражением покоя на твоем лице. Милана твоя очаровательно выглядывала из-под кружев...»

Ася вспыхнула, Олег поднес руку ко лбу; Наталья Павловна и француженка сидели с отсутствующими лицами.

— Читай, чего остановился? — пнула паренька женщина.

Но тот пробормотал:

— Товарищ начальник, тут, видать, дело молодое... на контрреволюцию больно непохоже... читать-то некстати будет...

— Брось, — сказал старший. Записка упала к ногам Аси, и та ее тотчас подхватила.

— Что, взяла? Уличили небось? Не заводи в другой раз шашней, — прошипела гепеушница. Ася с наивным изумлением обернулась. Гепеушница приблизилась к Наталье Павловне и начала теперь ее обшаривать крючковатыми растопыренными пальцами, злобно бормоча: — Давай-ка, карга старорежимная, тебя пощупаем!

Ася встала и сделала несколько нерешительных шагов по направлению к двери.

— Куда, куда, княгиня сиятельнейшая? Изволь-ка на месте посидеть! — крикнула гепеушница. Никогда не слышавшая этого титула в приложении к себе, Ася не обернулась. Это дало Олегу новую мысль.

— Моя жена не знала, что я живу под чужим именем, — сказал он, — вы видели, она даже не обернулась ни на «сиятельство», ни на «княгиню». Не откажитесь подтвердить следствию, я сошлюсь на вас.

Ася озадаченно смотрела на мужа.

— Ася, я не Казаринов, я скрывал свое имя, — продолжал Олег; она все так же молчала.

— Гляди-ка, неужто и вправду не знала? — сказал один.

— Свежо предание, — возразил старший. — Это как понимать, гражданочка, вы что, не знали, за кого выходили? Будто бы уж никогда не слышали, кто он на самом деле?

Гепеушники с любопытством посмотрели на Асю. С полсекунды стояла тишина.

— Знала все, — тихо сказала она, махнув рукой.

— То-то же. Ну да ладно: нам в это дело мешаться нечего. Сядьте и сидите, а вы, арестованный Дашков, не разводите тут плешей. У следователя еще успеете наговориться: там вас не токмо говорить — петь научат.

Двое агентов перешли в комнату Натальи Павловны, остальные продолжали начатый обыск, двигаясь из угла к середине комнаты. Строгость, с которой обыск начался, была несколько ослаблена: Олега уже не держали под дулом, может быть, из-за недостатка людей. Гепеушница приблизилась к кроватке Славчика.

— Возьмите кто-нибудь ребенка, я кровать перетряхну.

Олег, который оказался ближе всех, поспешно подошел, отогнул одеяльце и поднял на руки теплый спящий комочек. Спутанная головка с розовыми щечками упала к нему на грудь, ребенок что-то прошептал, не открывая глаз. Олег отвел рукой темную прядку с его лба и поцеловал

Продолжение. Начало в №№ 1—6 за 1992 год.

кудрявую головку, пока женщина с профессиональным азартом перетряхивала простынки и одеяльце. Темные глаза ребенка открылись:

— Па-па....

Олег сжал обеими руками маленькое тельце. Славчик посмотрел на гепеушников:

— Дяди! Дяди!

В эту минуту женщина вытряхнула из-под подушки плюшевого зайца и отшвырнула его.

— Зая упа, — сказал Славчик и потянулся рукой к игрушке.

— Ничего, зайка не ушибся, зайка у нас никогда не плачет, — сказал Олег. — Покажи, как ты умеешь обнимать папу.

Крошечные ручки в перетяжках обхватили его шею, а губки прижались к его щеке.

— Oh, mon Dieu! — простонала со своего места француженка.

— Дай мне его, — проговорила Ася и протянула руки к ребенку. Что-то надтреснутое, странное и больное прозвучало в ее голосе. Олег догадался — она боится, что ее тоже арестуют, и тоже торопится проститься с сыном.

— Сидеть на месте! — предостерегающе крикнул на Олега старший гепеушник. Ася уронила протянутые руки.

Один из младших сотрудников вошел, спрашивая, как быть со шкафами и стеллажами книг в гостиной и в библиотеке:

— Коли кажинную перетряхивать, мы до следующего вечера отсюда не выберемся. И на хрена им столько этого добра!

— Трясите на выбор одну из трех, — сказал старший и велел идти на помощь им гепеушнице, трудившейся теперь над постелями Олега и Аси. Сам же он все время переходил из комнаты в комнату со строгим и важным видом. Вызванный в свидетели Хрычко без толку толкался вслед за агентами, переминался с ноги на ногу, теребил свой пояс и угрюмо молчал. Ни злорадства, ни ехидства в нем не наблюдалось — скорее плохо скрываемое сочувствие. Только во время чтения несчастной записки он позволил себе улыбнуться весьма недвусмысленно.

Через некоторое время из соседней комнаты опять вышел агент и сказал:

— Там дура эта. Ну, как ее?.. Мунакен. На которую одёжу примеряют. Сами, что ли, будете ее раскулачивать?

— Так называемая «лэди», — ехидно сощурился старший, обводя взглядом Асю, Олега, Наталью Павловну и француженку. — Интересно полюбопытствовать, чем вы ее нафаршировали.

Олег сурово сдвинул брови.

— Ты проговорилась кому-нибудь? — спросил он жену.

— Нет! Нет! — воскликнула она с отчаянием. — Никто не знал! Никто!

— Et ce jeune homme? Ce Gennadi? Il a, donc, vu! [1] — промолвила в нос француженка.

Ася схватилась за голову:

— Gennadi? Oui, il a vu! Mais c'est impossible! Incroyable! Pauvre Hélène! [2]

— Ася! Sois tranquille! Silence! [3] — сказал Олег.

— Семенов, ты что смотришь? Что еще за иностранные разговоры! — сказал, входя, старший агент молодому. — Вы что это там меж собой — курлю-курлю, а? Молчите? Ну, ничего, скоро вас не то что по-французски — по-китайски говорить заставят!

Олег, отвернувшись, смотрел, как настенные часы отсчитывают последние минуты в этом доме.

---

[1] — А этот юноша? Этот Геннадий? Он же видел! (*франц.*).

[2] — Геннадий? Да, он видел! Но это невозможно! Невероятно! Бедная Елена! (*франц.*).

[3] Успокойся! Молчи! (*франц.*).



Около девяти утра обыск гостиной, спальни и библиотеки был, наконец, закончен.

— Ну, теперь сюда, и будем закругляться, — сказал старший агент, подходя к диванной. Француженка вскочила как ужаленная и загородила вход.

— Ордер на обыск? — спросила она.

— Мы предъявляли ордер еще пять часов тому назад. Вы что, с неба, что ли, свалились?

— Вы предъявляли ордер на комнаты Казариновых и Бологовской, а это моя комната. Я — иностранка.

— Иностранка? Латышка, что ли? Или эстонка?

— Я — латышка?! Я — француженка, парижанка! — гневно грассируя, воскликнула мадам. — Вы ответите за все ваши грубости! — и весьма решительно покрутила указательным пальцем перед самым носом старшего агента, да так, что даже оцарапала ему кончик носа длинным и острым ногтем.

— Хватайте эту ведьму! — крикнул тот, хватаясь за нос.

Но Тереза Леоновна уже вошла в раж.

— Только попробуйте! Только прикоснитесь! Вы будете иметь дело с консулом! Сейчас звоню к консулу, сейчас!

— Валяйте, звоните!

Madame подбежала к телефону и схватила трубку, но едва лишь она назвала требуемый номер, как рука агента легла на ее руку.

— Гражданка, успокойтесь. Никто на вашу безопасность не посягает. Оскорбляете пока только вы. Я настоятельно прошу вас удалиться в свою комнату. Вопрос по поводу вас мы выясним в ближайшие же дни. Семенов, что стоишь? Принеси французской гражданке воды.

Француженка с самым воинственным видом прошла в свою комнату и встала перед раскрытой дверью. Семенов поднес ей стакан воды, но она его отпихнула.

— Гражданка, пройдите к себе и закройте дверь, — пытался еще приказывать ей старший.

— Я уже у себя, на свободной территории, и никто не имеет права мною здесь командовать, — возразила Тереза Леоновна. Она была великолепна.

Славчик, проснувшийся снова от шума голосов, потянулся, заворковал и сел на кроватке; но когда он опять увидел «дядей», вдруг нахмурился и затянул жалобную ноту. Один из агентов кивнул Асе в ответ на ее вопросительный взгляд; она подошла к ребенку.

— Агунюшка, мальчик мой! Сейчас мама оденет тебя, а потом согреет тебе молочко. Где наш лифчичек? — Голос вдруг оборвался, и она уткнулась лицом в мягкую шейку ребенка, который топотал по кроватке голыми ножками.

— Так, — неожиданно громко сказал старший агент. — Ну-с!

Все вздрогнули, с ужасом глядя на его поцарапанный француженкой нос.

— Гражданин Дашков, приготовьтесь следовать за нами.

У Олега вырвался вздох облегчения — он один, слава Богу! Асю не берут!

Агент повернулся к Асе:

— Можете собрать в дорогу вашего мужа.

Глядя в ее огромные глаза, Олег сказал, стараясь как можно спокойнее:

— Дай мне, пожалуйста, шерстяной свитер, два полотенца и перемену белья.

Она подошла к нему и стала надевать на него свитер, растягивая последние минуты. Застегивавшие ему ворот пальцы двигались все медленней и медленней, потом совсем остановились, и она прижалась лбом к его груди. Он поцеловал руку, лежащую на его плече.

— Спасибо тебе, дорогая, за любовь, за счастье. Будь мужествен-

на. Если тебя вышлют, постарайся всеми силами устроить так, чтобы уехать с Натальей Павловной и с Нелидовыми — репрессия, наверное, коснется и их. Я верю, что ты сумеешь вырастить наших детей. Я хочу, чтобы они знали судьбу своего отца и обоих дедов, чтобы не было этого безразличия, которого я не выношу, чтобы в дальнейшем... ты поняла меня? Ну, поцелуй меня в последний раз.

Она посмотрела ему в глаза, чтобы он взглядом ответил на ее безмолвный вопрос; он понял и ответил, но не глазами, а вслух:

— Ты не жди меня назад. Путь был безнадежен, ты это знала с самого начала. Ну, вот он и кончился. Перекрести меня.

Жена осенила мужа крестом. Это сразу вызвало злобную реакцию. Опять раздался резкий, сухой голос:

— Гражданка, отойдите, довольно! Арестованный, берите ваши вещи. Отправляемся.

Наталья Павловна тоже перекрестила Олега, мадам опять что-то кричала агентам. Сопровождаемый конвоем, он вышел на лестницу и стал спускаться, намеренно замедляя шаг.

У подъезда стоял «черный ворон». Олег обернулся в последнюю минуту: да, она здесь — стоит на приступке подъезда и смотрит на него, закусив губы. Вот теперь в самом деле это лицо мученицы, а у ног ее — белый шерстяной комок с тремя черными точками — нос и два черных глаза с тем же замирающим, полным тревоги и мольбы взглядом, что и у нее.

— Олег, прощай! Я буду мужественна, буду! Не бойся за сына! — зазвенел надтреснутый голос.

Руки втолкнули его в машину, дверь захлопнулась. Это кончился тот отрывок счастья, который был отмерен для них! Горе России, как темное облако, заволокло и их.

*Помяни за раннею обедней мила друга, светлая жена!*

Ася стояла и смотрела вслед «черному ворону».

— Гражданка, давайте-ка возвращайтесь. Выходить из квартиры запрещается! — повторял кто-то около нее. Не могли оставить хоть на минуту в покое! Куда она убежит, когда дома остался оторвавшийся от нее маленький теплый комочек? Она начала медленно подниматься, держась за перила; войдя в гостиную, опустилась на первый попавшийся стул. Наталья Павловна подошла к ней и привлекла на свою грудь ее голову.

— Дитя мое, ты ради ребенка должна взять себя в руки, — сказала она.

Эти слова «взять себя в руки» Ася с детских лет постоянно слышала от бабушки. Человек, произносивший их, сам настолько владел собой, что имел полное право требовать того же от других. Ася почувствовала, что ожидала именно этих слов, но они ничем не могли помочь ей сейчас: она слишком опустошена и разбита, ничто не доходит... оставьте ее!

Вошел агент — опять тот самый, с царапиной на носу. Он сказал:

— Там гражданочка какая-то прибежала, молоденькая. Очень чувствительная. Только на нас взглянула да и повалилась замертво. Может, вы опознаете да разрешите сюда внести?

Ася вскочила.

— Леля! Она, значит, все знает! Бедная Леля! — и бросилась в переднюю.

## Глава вторая

## ДНЕВНИК ЕЛОЧКИ

*2 мая.* Это то, чего я страшилась всего больше в течение последних трех лет! Теперь для меня потерян последний смысл жизни. Лучше мне было умереть, чем пережить то, что я переживаю! Три года назад, раненная в самое сердце, я оплакивала надежды на собственное счастье; мне



стоило очень больших усилий не пасть духом и удержаться в жизни. Сейчас к моему отчаянию уже не примешивается никаких личных чувств — погибает человек, который был способен на подвиг, который жаждал борьбы и выжидал минуту, чтобы броситься противнику на горло. Он — Пожарский, и вот он погибнет в их застенках! Он погибнет, а эта ничтожная масса, эти жалкие твари — воспитанники коммунистической партии, в которых нет ни чести, ни благородства, ни величия, эти распропагандированные ироды останутся жить! Я вижу впереди полную гибель России — моральное разложение, оскудение... Я вижу ее конец, как черную бездну, кишащую выродками вместо людей! Мне страшно смотреть в эту бездну! Моя вера в великую миссию «последних могикан», которые призваны возглавить великую грядущую борьбу, терпит поражение: таких людей не остается! Единицы, которые еще скрываются, — обречены! Россия не будет спасена или спасется совсем другим путем, а для меня смерть моей мечты — моя моральная смерть! Я — убита.

Ася... Это ее горе, а мое — никому не известно! Я в стороне, как всегда. А между тем силу моего горя даже измерить невозможно... Конец. Бездна.

*3 мая.* Что удерживает меня от самоистребления? Мне хочется до конца искренне ответить себе на это. Прежде всего, еще живет слабая, правда, надежда иметь о нем известие — проштемпелеванное, сто раз проверенное письмо или свидание с Асей... Еще принимают передачи — значит, еще можно что-то для него сделать. Второе — мне жаль Асю! Я стараюсь помочь ей, чем только могу, и это спасает меня от прострации. Мелькает мысль о преступности самоубийства; и православие и теософия одинаково порицают его. Пресечь курс духовного роста и свести к нулю все очистительные испытания настоящего существования — такая возможность удерживает. Допускаю, что за всем этим прячется и звериный, естественный страх смерти. Я его не замечаю, но я не настолько самоуверенна, чтобы исключить вовсе его роль. Вот так и бьюсь изо дня в день, но долго такое состояние тянуться не может.

*4 мая.* Вспоминаю его слова, сказанные в последнюю встречу — он словно простился со мной ими! Я никого не ждала в этот вечер; сначала читала, потом грустила, сидя у окна. Вечер был так прекрасен, что не хотелось ни прибираться, ни шить. Слышу звонок — открываю: чета Дашковых! У него на руках карапуз, который начинает немного походить на своего отца (хотя существо это, прямо скажем, несносное!); она — с букетом ветрениц и фиалок, прехорошенькая в своей соломенной шляпке с большими полями. Были они недолго, и разговор был самый общий — ребенок все время отвлекал внимание; одна только минута была значительна и наполняет меня сознанием удивительных тайн, скрытых за внешней, фактической стороной жизни! Ребенок заявил — «пипи», и Ася вывела его за ручку, а мы остались на минуту вдвоем. И вот он сказал: «Елизавета Георгиевна, у меня давно нарастает в душе желание выразить вам то глубокое уважение, которое я питаю к вам еще с первой печальной встречи в дни нашей юности. Вы настоящая русская женщина — такая, каких описывал Некрасов. Нравственная красота вашего образа всякий раз заново поражает меня», — и он поцеловал мне руку. Поразительно, что это как раз те слова, которыми в моих мечтах оканчивались наши воображаемые встречи. Не хватает трех ничем не заменимых слов — «я вас люблю!», но все остальное — вплоть до ссылки на Некрасова — точно списано со страниц моего дневника. Он точно прочитал тайком и высказал... Разве не удивительно? Что побудило его вдруг заговорить? Предчувствие, что более мы не увидимся? Ведь не эти же пустяки — ветчина и масло, которые я ему подсунула будто бы от Аси? Визит их состоялся 30-го вечером, а на другое утро... Боже мой! У меня заранее было решено уехать первого мая в Царское Село, в парк, чтобы не видеть парада, гулянья, пьянства и прочих прелестей «пролетарского праздника». Но дело в том, что еще вечером я обнаружила сумочку, которую Ася забыла у меня на пианино; там могли быть ключи

и деньги... И вот на другое утро по дороге на вокзал я забежала к ним, чтобы вернуть ридикюль. На мой звонок открыл гепеушник с винтовкой. Очевидно, я очень изменилась в лице, потому что тотчас услышала: «Не пугайтесь, гражданочка, не пугайтесь. Входите и, пожалуйста, нам ваши документики». Хорошо, что всегда ношу их с собой! Я стала открывать мой портфель, но руки мои так дрожали, что я не тотчас смогла это сделать. Ведь я могла предполагать себя арестованной! Это были только две-три минуты, но, Боже мой, сколько я успела передумать! Ужасней всего была мысль, что текущая тетрадь дневника не спрятана и находится в ящике письменного стола, а там упоминается фамилия Олега! Вторая, не менее убийственная мысль была, что он, по всей вероятности, уже арестован — почему бы иначе гепеу засело в этой квартире? И третья мысль — какова будет теперь моя собственная судьба? В моем дневнике есть фразы, которые мне не простятся... Я слышала, как стучит собственное сердце! Через минуту они сказали: «Пожалуйте-ка теперь нам ваш портфельчик». К счастью, в портфеле ничего не было, кроме завтрака и книги для чтения в поезде; а в сумочке у Аси — зеркальца, надушенного платка и засушенной розы. Все это мне тотчас вернули со словами: «Так, гражданка! Аресту мы вас не подвергаем, но отпустить из квартиры в течение нескольких часов не можем. Пройдите во внутренние комнаты и посидите. К телефону и к наружной двери не подходить». С этого момента я успокоилась за себя, тем более что увидела бабу-чухонку, по всей вероятности молочницу, которая сидела тут же с кувшинами, — стало быть, я задержана была в общем порядке: это была засада — хотели кого-то выловить или кого-то поджидали и механически задерживали всех приходящих, чтобы о засаде не стало известно. Но, успокоившись за себя, я еще сильней заволновалась за Олега и Асю, тем более что навстречу мне никто не выходил. Вступив в гостиную, я увидела Наталью Павловну и мадам; француженка пошла мне навстречу со словами: «Oh, quel malheur! Monsieur le prince est arrêté![4]»

Помню: я оперлась о стол и видела, как дрожат мои руки! Наталья Павловна с обычной спокойной корректностью выразила мне сожаление по поводу того, что я попала в засаду, и двумя-тремя словами объяснила происшедшее, говоря, что при обыске ничего не обнаружили и что пришли уже с готовым ордером на арест, так как им стала известна подлинная фамилия Олега.

— Каким же образом это могло случиться? Чей-нибудь донос? — спросила я.

Наталья Павловна ответила: «Не знаю», но ответила после минутного молчания, как будто не пожелала сказать правду. Это оставило во мне неприятный осадок, даже промелькнула мысль — уж не подозревают ли они меня!

Наталья Павловна сидела на диване около Лели Нелидовой, которая лежала с закрытыми глазами, всхлипывая, как ребенок.

— Ну, успокойся, детка, успокойся! — как-то необыкновенно мягко и ласково повторяла Наталья Павловна. Даже странно было видеть эту нежность — естественнее казалось бы утешать Асю. Я нарочно тут же спросила — где Ася? Мне ответили, что у себя со Славчиком и что боялись, как бы не подвергли аресту и ее, но, к счастью, этого не случилось. Я села около самой двери, не желая никому навязывать своего общества и чувствуя, что вся дрожу от нервного напряжения. Гепеушников теперь присутствовало только двое, и они оставались в передней. Наталья Павловна и француженка были очень бледны и осунулись за одну ночь. Леля вдруг села и, поправляя волосы, стала отрывисто говорить: «Мама... беспокоится... ждет. Домой... к маме!» — и снова разрыдалась, припав к плечу Натальи Павловны.

— Ну, перестань, перестань, дорогая, выпей воды! — повторяла

[4] О, какое горе! Мсье князь арестован! (*франц.*).



Наталья Павловна и гладила ее волосы, а мадам держала рюмку с валерьянкой. Это все показалось мне чрезвычайно странно — что за претензия быть в центре внимания, когда в семье такое горе! Заставлять утешать себя людей, которых несчастье коснулось гораздо ближе, — невоспитанность, которой я не ожидала от Лели Нелидовой. Я ведь молчу! Это горе меня касается, во всяком случае, ближе, чем ее. К чему все эти рыдания?

Вошла Ася. Она мне показалась почти восковой, только веки были наболевшие, красные. Мы пожали друг другу руки молча, потом она тотчас же приблизилась к дивану, на котором впору было бы лежать ей, и сказала:

— Опять? Бабушка, что же с ней будет? Ведь это который раз!

Зазвонил телефон, к которому подошел гепеушник; нам слышно было, как он говорил кому-то: «Подойти к телефону не может. Не беспокойтесь, гражданочка, ничего не случилось, а подойти не может. Елена Нелидова? Да, да, здесь есть такая. К телефону не подойдет, сколько же мне повторять-то?» Все переглянулись.

— Сейчас прибежит Зинаида Глебовна, — сказала озабоченно Наталья Павловна.

И действительно: через полчаса она была здесь же, испуганная непонятными словами, и, разумеется, ее тоже задержали. Наталья Павловна увела ее к себе в библиотеку и долго говорила с ней наедине, потом обе опять сидели около Лели, которая все так же или лежала молча, или начинала плакать так, что ее отпаивали водой, но не говорила ни слова. Ася держалась очень сдержанно и молчаливо; мне хотелось узнать у нее несколько подробностей, но видя ее подавленность, я не решилась заговорить. Славчик прибежал с какой-то игрушкой и стал было дергать Лелю, повторяя: «Тетя Леля, смотри — зая!» — но его заставили отойти. Обстановка создавалась чрезвычайно тяжелая. Было уже 3 часа, когда madame вскипятила чайник и пригласила всех за стол, чтобы немножко подбодрить себя чашкой крепкого чая. Лелю, однако, не удалось заставить сесть: она попросту не отвечала, как в столбняке; Ася принесла Славчику кашку, но сама не ела, уверяя, что у нее в горле комок и глотать она не может. Я решилась выпить чашку, потому что все время дрожала, как в ознобе. В эту минуту опять послышался звонок и чей-то испуганный возглас, а в ответ на него все то же: «Не пугайтесь, входите!» Женский голос произнес еще несколько слов, и Наталья Павловна сказала:

— Это Нина! Ах, Боже мой! — взялась рукой за лоб.

— Какая княгиня Дашкова? Почему Дашкова? Я — Бологовская! — послышался уже около самых дверей взволнованный голос Нины Александровны.

— Ну, стало быть, урожденная Дашкова.

— Я урожденная Огарева.

— Постой, постой, товарищ Иванов: она княгиня по первому мужу; а вы не рыпайтесь зря, гражданочка. Из-за чего спорите? Неужели же мы не разберемся? Нам о вас все доподлинно известно — Нина Александровна Огарева-Дашкова-Бологовская, так? Так! Ну и не из-за чего волноваться! А ты, Иванов, не лезь. Товарищ начальник не с тебя, а с меня порядок спрашивать будет. Пойдите в эту дверь, гражданочка, и сядьте там.

На пороге показалась Нина Александровна и, увидев Наталью Павловну, бросилась ей на шею. Они заговорили полушепотом, Нина Александровна плакала. Жизнь абсолютно была выбита из колеи — чувство было такое, что к обычной действительности с ее повседневным укладом мы уже не вернемся вовсе. Прошло еще с полчаса... Вдруг вошел агент, по-видимому старший (который, как мне сказали, распоряжался во время обыска, а потом уходил). Он сказал:

— Кто здесь Нина Александровна Бологовская — бывшая княгиня Дашкова?

— Я, — проговорила княгиня, бледнея.

— Приготовьтесь следовать за нами.

Мы все так и ахнули. Первой нашлась Наталья Павловна — она подошла к княгине и обняла ее:

— Успокойтесь, Ниночка, не дрожите так, дитя мое! Мадам, будьте так добры, дайте Нине Александровне мой чемодан и мешочек с ржаными сухарями, которые у меня приготовлены на всякий случай. А ты, Ася, вынь из моего шкафа перемену белья и два полотенца. У меня только сорок рублей, а деньги обязательно надо иметь при себе... Зинаида Глебовна, дорогая, не найдется ли у вас сколько-нибудь?

Нелидова вынула пятнадцать рублей; княгиня, вся дрожа, поднялась, поцеловала руку Наталье Павловне, потом приникла на минуту к ее груди.

— Господь с вами, дитя мое, — сказала Наталья Павловна.

Потом княгиня повернулась к Асе, взяла ее за виски, молча, долгим взглядом посмотрела на нее, поцеловала и пошла к выходу. Со мной она не простилась. У порога она обернулась и сказала:

— Брат... Мика.... дайте ему знать, — и вышла между двумя агентами.

Очень скоро после этого тот же человек вошел и сказал, что засада снята и мы можем расходиться. Уходя, я незаметно положила тридцать рублей на самоварный столик в надежде, что сочтут своими в этом переполохе. Дома ждала пустота и отчаяние.

*5 мая.* Сегодня была у них и видела Лелю Нелидову. Она страшно осунувшаяся и бледная — не лучше Аси, — но держится теперь вполне прилично. Они все ждут репрессий. Чудовищно страшно чувствовать себя накануне приговора, высылки, разлуки, разоренья... Звонки пугают всех — ждут то вызова к следователю, то повестки с предписанием немедленно выехать, Наталья Павловна торопит с распродажей вещей, Ася бегает на Шпалерную, тщетно стараясь попасть к прокурору... и это все вместе взятое создает крайне удручающую атмосферу. Все почему-то уверены, что опасность грозит в первую очередь Леле Нелидовой. Я слышала, как ее мать говорила: «Я совершенно перестала спать, мне все время чудится, что идут за Лелей». А вчера Наталья Павловна сказала:

— Почему не идет Леля? Уж не случилось ли чего-нибудь? Господи, спаси нас и помилуй! Мать с ума сойдет, если возьмут девочку!

Я или чего-то не улавливаю, или от меня что-то скрывают: аристократическая каста всегда тяготеет к замкнутости, а я чужая! И вот даже то, что я между ними одна не обреченная, уже отъединяет меня от них и, наверное, именно потому в обреченности мне чудятся элементы «похоже». Я жизни себе не представляю без Олега, без Аси и ее семьи. Они и не подозревают, что я приношу к ним в дом полностью все мое сердце! Без них — абсолютное одиночество, и любовь моя никому не будет нужна... Вот так и случается, что человек переносит любовь на животное, а еще смеются над старыми девами и одинокими стариками, которые привязываются к собакам, кошкам и лошадям. Смешного тут, впрочем, ничего нет.

*6 мая.* Француженку сегодня вызывали к консулу: у нее неприятности по поводу ее поведения во время ареста Олега — говорят, она бранила во всеуслышание советскую власть и, кажется, расквасила физиономию старшему гепеушнику. Арестовать ее, конечно, не могут, а вот принудить выехать за пределы СССР отлично могут, и Наталья Павловна очень этого опасается.

*7 мая.* Что делает он в заточении, что думает, что чувствует? Томится ли за свою Родину или его мысли все только о семье? Вспомнил ли меня хоть один раз? «Почти наверное расстрел, — это мне сказала Наталья Павловна и прибавила: — Асе я не говорю, но она и сама, мне кажется, это понимает».

Расстрел... Выведут, завяжут глаза и... такого человека больше не



будет! Пролетариат расправится с аристократом! Впрочем, нет, вздор говорю! Вот когда жгли их майорат и убивали его мать — это была пролетарская месть, а сейчас это идет не с низов, не стихийно, это резвится верхушка во главе со Сталиным; им не нужны люди, они хотят стада баранов, которых «железным посохом» погонят к «неизведанным безднам». Древних имен они боятся не только как знамени, вокруг которого может сгруппироваться оппозиция, — они знают, что это головы, в которых мозги отточены из поколения в поколение, которые отлично разбираются во всем происходящем и не пойдут слепо.

Допросы... Я все знаю. Зять Юлии Ивановны вышел недавно оттуда с отбитой почкой — следователь на допросе! Сначала это были темные слухи, которые ползли, передаваясь шепотом: «Знаете ли, ему отбили почку...»; «Знаете ли, у него переломлены пальцы...» Теперь истязания в тюрьмах перестали быть тайной; об этом знают все! Вчера вечером от беспокойства и тоски я дошла до исступления: я металась по комнате, свет белой ночи за окном изводил, нагоняя невыносимую тоску... потом я как-то вся застыла. Я не могу позволить себе истерику, как Леля, — около меня никто не сядет на диване и некому отпаивать меня водой.

*8 мая.* Гром грянул еще раз! Наталья Павловна получила повестку о высылке в Самарканд в трехдневный срок. Чтобы оттянуть время, заявили, что по состоянию здоровья она ехать не может, и теперь ждут врача от гепеу. С Аси взяли подписку о невыезде — это значит: жди репрессии. Ася страшно волнуется, как она уедет, оставив Олега в тюрьме; однако лица, присоединенные к обвинению только по родству, высылаются обычно после приговора над обвиняемым. Во всяком случае, и я и Леля клялись и божились ей, что будем носить передачи и к прокурору пойдем, на это Ася ответила Леле: «Ты сама под ударом». Почему? Они все недостаточно практичны и много теряют драгоценного времени: надо было давно рассовать по комиссионным магазинам мебель и вещи, а они до сих пор еще ничего не сделали; Ася машет рукой и отвечает: «Все равно», а на что она будет жить? Сегодня у них весь день какие-то споры, чего никогда не бывало: Наталья Павловна, обычно такая выдержанная, даже возвысила голос и почти кричала на Асю: «Сейчас же за рояль! Через две недели выпускные экзамены, а ты не прикасаешься к клавишам! Ты обязана закончить, или ты пропадешь! Подумай о ребенке!» И потом сказала, обращаясь ко мне: «Это все последствия ее глупости: когда была беременна, из кокетства не пожелала сдавать экзамены и задержалась на целый год, а вот теперь может сорвать себе окончание!»

Ася со своею кротостью не возражала ни слова и послушно села к роялю, но, не начиная играть, только приникла лбом к крышке. Я обняла ее, а она сказала: «Не могу играть, не могу!» — и осталась сидеть в том же положении.

Второй предмет недоразумений — собаки: белый пудель — Лада ждет щенят, а тут еще Олег привез из Луги породистого старого сеттера, который пристал к нему на улице. Наталья Павловна, которая, оказывается, несколько практичней остальных, уверяет, что собак необходимо подарить или продать, так как содержать их не на что, а таскать с собой по ссылкам немыслимо, но Ася ни за что не соглашается, я даже не ожидала от нее такого упорства. Сеттер, по-видимому, успел очень привязаться к Олегу и целыми часами воет около входной двери, что производит очень тяжелое впечатление.

*10 мая.* Сегодня опять разговоры о собаках. Ася твердит свое: «Олег так любит его». Я посмотрела на сеттера с длинными шелковыми ушами и тоскующим взглядом, и меня вдруг охватила нежность к этому псу. Я сказала, что готова его взять, и уже вообразила, как буду его любить и беречь, но к великому моему изумлению Ася ответила: «Нет, не могу, не расстанусь!» Как раз в эту минуту маленький Славчик ласкался к ней, и мне пришла в голову совсем новая мысль: у нее ведь остается ребе-

нок — ребенок от любимого человека, ребенок, который уже теперь походит на него, а у меня никого, ничего! Я хватаюсь за собаку, которую он любил, чтобы плакать, когда она будет выть, и даже в этом получаю отказ! Мне стало очень горько, и досада на Асю сегодня весь день преследует меня.

*11 мая.* Эта мадам — симпатичная, добрая, энергичная, живая, но у нее есть склонность к игривости, которая ее не покидает даже в самые трудные минуты. Вчера Ася рано легла, так как очень устала, простояв в тюремной очереди 6 часов; а мадам и Наталья Павловна оставались в гостиной; мадам вертела цветы. Я подошла к ним проститься, и в эту минуту как раз до нас донеслись заглушенные рыдания Аси из спальни. Они переглянулись, и француженка сказала:

— La pauvre petite... Elle est si jeune encore![5]

Зачем такое сопоставление слов? При чем возраст? Было вложено что-то специфическое, какой-то намек... Ей, мол, объятий и поцелуев в этой спальне не хватает... Наталье Павловне, по-видимому, тоже что-то не понравилось в словах француженки: она нахмурилась и встала, говоря: «Пойду успокоить».

*12 мая.* Мадам уезжает завтра. У них полное отчаяние. Ася, которая до сих пор держалась очень мужественно, в этот раз разрыдалась с таким отчаянием, точно она теряет мать. Мадам — всегда очень экспансивная — ревела, как белуга, обхватив шею Аси. Вещи никто не продает, а ведь каждую минуту можно ждать конфискации. Я опять говорила, но до них не доходит. Сегодня Наталья Павловна подозвала меня к себе и говорит: «Дайте мне вас поцеловать за все ваши заботы, моя милая, добрая. Спасибо, что вы нас не оставляете». Эти слова согрели мне сердце, а то я уже начинала думать, не лишняя ли я у них. Я предлагала делать Наталье Павловне инъекции, укрепляющие сердечную мышцу, но она отказалась, говоря: «Сейчас мне чем хуже, тем лучше». Гепеушный врач отложил срок высылки на неделю.

*13 мая.* Не верю, что больше никогда не увижу его, не верю! Эти белые ночи я возненавидела!

## Глава третья

Ася бегом возвращалась со Шпалерной. Она ушла из дома в шесть утра, когда все еще спали, и теперь сквозь всю глубину ее горя пробивались тревоги и заботы предстоящего дня! Завтрак не готов, Славчик, наверное, очень проголодался... он не мыт, не гулял... бабушка тоже не обслужена, в комнатах не прибрано... Как обходиться без помощи мадам теперь, когда весь день — на Шпалерной в бесконечных очередях!

Потерять француженку казалось ей в некоторых отношениях тяжелее предстоящей разлуки с бабушкой. Отношения с Терезой Леоновной уходили корнями к самым первым воспоминаниям. Ее забота всегда окружала Асю со всех сторон, с ней было проще, теплее, ее всегда можно было упросить, с ней можно было покапризничать, она знала все ее вкусы и слабости, например, знала о ее неприязни к молочной пенке, которую мадам тщательно вылавливала потихоньку от бабушки из Асиной чашки. Только мадам умела варить ей яичко именно в мешочек, без жидкого белка; мадам до сих пор ее причесывала, к мадам можно было выбежать полураздетой и сказать: «Застегните мне пуговку на лифчике!» или крикнуть из ванной: «Потрите мне спину!» Наталья Павловна, вся prude[6] и distinguée[7], вносила в отношения строгость и легкую натянутость. Она всегда вызывала у Аси очень большое уважение, но также и то, что называется «страх Божий». Целая вереница запретов и требований, многие из которых никогда не произносились, но предполагались самими собой, определяли отношения; ежеминутно приходилось считаться с желаниями и привычками Натальи Павловны; нельзя было вообразить себя повиснувшей на бабушкиной шее или распорядившейся бабушкиным временем; возражать или просить о чем-нибудь — Боже сохрани! Плакать — ни в каком случае! Простоты в отношениях с Натальей Павловной не было и не могло быть.

[5] — Бедное дитя... Она еще так молода! *(франц.)*.
[6] недотрога *(франц.)*
[7] изысканная *(франц.)*.



Отворяя теперь ключом дверь, Ася думала: «Кажется, madame выбежит и спросит: «Est-tu bien fatiguée ma petite?[8]» и побежит разогревать кофе! Милая, дорогая, родная madame! Она относилась ко мне, как к дочери, — кто же теперь будет любить и беречь ее на старости лет? Во Франции у нее уже никого нет. Как она горько плакала, обнимая своего «дофина»!».

В передней было пусто, и никто не встретил Асю, кроме собак. «Где мой хозяин?» — спросили глаза сеттера, беременная Лада лизнула ей руку. Ася любовно погладила обе толкавшие ее морды и вошла в гостиную — Наталья Павловна в печальной задумчивости сидела одна за обеденным столом.

— Я уже начала беспокоиться за тебя, детка. Мой руки и садись, ты, наверное, устала и проголодалась, — сказала она.

— А где Славчик, бабушка? — спросила Ася, целуя руку Наталье Павловне.

— Прибегала Леля и увела его гулять на Неву. Леля сегодня работает с трех часов.

Ася устало опустилась на стул.

— Бедная Леля! — тихо сказала она.

— У тебя приняли передачу? — спросила Наталья Павловна.

— Нет, бабушка: мы простояли два часа сначала на улице, а потом столько же в здании, потом вышел агент и сказал, что сегодня он будет принимать только для уголовников. Завтра придется идти снова.

— Завтракай, детка: здесь горячая картошка, а я пожарю тебе греночки к чаю. Славчик очень хорошо покушал и, когда одевался, был умницей. Штанишки его я выстирала и повесила в кухне.

— Бабушка, ведь тебе нельзя утомляться, а ты все утро хлопотала.

— Все эти «нельзя» хороши, пока можно! — и, произнеся этот афоризм, Наталья Павловна ушла в кухню.

Раздался звонок; Ася побежала в переднюю, ожидая увидеть Лелю со Славчиком, и невольно подалась назад, увидев перед собой Геню. Сердце у нее забилось со страшной быстротой; не приглашая его войти, она остановилась в дверях.

— Привет, Ксения Всеволодовна! Придется побеспокоить вас, — сказал он, приподнимая шляпу, — я, видите ли, никак не могу добиться встречи с Леночкой. Два раза был у нее на квартире, но меня всякий раз уверяют, что Леночки нет дома и что она будто бы не желает меня видеть, а между тем завтра день, который был у нас назначен для прогулки в загс. Я очень опасаюсь интриг со стороны одной особы: может быть, Леночке не передают, что я наведываюсь, и стараются уверить ее, что я смылся? Удивляюсь бесцеремонности, с которой старшие вмешиваются в дела молодежи! Не откажите передать Леночке эту записку, если увидите ее сегодня, а может быть, найдете времечко и сбегаете к ней, а?

Сердце все так же стучало у Аси, что-то подымалось и застилало глаза, даже ноги вдруг ослабели. Она сделала над собой усилие и сказала:

— Я думаю, вам лучше узнать правду, Геннадий Викторович: тетя Зина передает вам только то, что ей поручает Елена Львовна. Вам лучше не искать больше встреч с Еленой Львовной. Извините, — и захлопнула дверь.

[8] Сильно устала, моя деточка? *(франц.)*.

Когда Ася рассказала, кто приходил, Наталья Павловна еще и отругала ее за излишнюю кротость, прибавив:

— Я не узнаю в тебе Бологовскую!

— Бабушка, не сердись на меня! Разве кротость может быть излишней?

— Даже очень часто, — отрезала Наталья Павловна и прибавила: — Какая, однако, безмерная наглость со стороны этого субъекта!

Через полчаса Леля привела Славчика. Смех и щебет ребенка странно звучали в тишине этих комнат.

— Ну, пошли ручки мыть! Славчик, беги к маме, — и Ася присела на корточки и раскрыла для объятия руки. — Душечка, маленький, бедный мой! — прошептала она, целуя мягкую шейку.

— Звонок! — сказала, настораживаясь, Леля. — Не агенты ли? Ложитесь скорее, Наталья Павловна!

— On me chasse![9] — проговорила старая дама, торопливо подымаясь с кресла и запахивая на себе черную шаль дрожащими руками.

— Нет, нет, бабушка, это не за тобой! Это, наверное, Елочка — она обещала прийти к двенадцати, — поспешно сказала Ася.

— Классная дама — эта твоя Елочка. Прежде про таких говорили — «проглотила аршин». И зачем ходит в скомпрометированный дом? Нам от ее визитов не легче, а себе она хуже делает, — и, говоря это, Леля побежала к входной двери.

— Как? Вы? Сюда? В этот дом? Вон отсюда, гадина! Не то я задушу вас своими руками! Я вам все лицо расцарапаю!

Наталья Павловна и Ася бросились в переднюю на эти исступленные возгласы, обе соседки не замедлили высунуть носы.

— Видали ли вы что-либо подобное, видали? Пудами не вымерить того горя, которое он нам принес, и он является со мной объясняться! Подлый, гнусный! — в бессильном бешенстве кричала Леля, стоя посередине передней.

— Успокойся, успокойся! — воскликнула, бросаясь к ней, испуганная Ася.

— Hélène, Hélène, pas devant les gens![10] — воскликнула Наталья Павловна, выразительно сжимая ей руку.

На пороге двери, которая оставалась открытой, показалась Елочка.

— Что случилось? Не повестка ли? Кто это вышел от вас? Гепеушник?

— Да, да! Гепеушник! Гоните его, гоните! — кричала Леля.

Елочка в изумлении озиралась.

— Никакая не повестка, дались вам эти повестки! Поскандалила малость с молодым человеком; и у благородных, видать, случается! — буркнула ей в ответ Хрычко.

— Пойдемте в комнаты, — сказала Ася.

— Пожалуйста, не думайте, что я опять буду плакать, как плакала тогда. Не надо мне валерьянки. Я теперь уже не плачу! Вот спросите маму, совсем не плачу! — говорила Леля, отстраняя воду.

— Мне жаль, что ни одна из вас обеих не нашла правильного тона с этим человеком, — сказала, опускаясь в кресло, Наталья Павловна. — Мы, очевидно, что-то упустили в вашем воспитании! — и характерное для последних дней выражение глубокой озабоченной скорби легло на ее мраморные черты.

Елочка, не посвященная в тайны этого разговора, почувствовала необходимость направить его в другое русло.

— Наталья Павловна, я принесла вам деньги, — сказала она, — я отнесла в комиссионный магазин те вазы, о которых мы с вами говорили. И, представьте себе, их тут же, при мне, купили! Ими очень заинтересовался элегантный иностранец, который оказался английским послом. Вот девятьсот рублей и квитанция.

— Благодарю вас, благодарю! — сказала Наталья Павловна. — Английский посол? Очень грустно, очень!

— Почему же грустно? — переспросила удивленная Елочка.

— Эти вазы — уникум; они были нашим русским богатством! Если бы их купил русский музей, я бы не сокрушалась! Но наши драгоценности выкачиваются за границу, и мне больно за мою Родину и за то, что я невольно содействую этому.

— Бабушка, ну зачем думать с таких вещах! — воскликнула Ася. — Не все ли равно? Помнишь наши луврские вазы? Их тоже, может быть, обливала слезами французская маркиза, а ты ведь любовалась же ими?

Но Наталья Павловна не удостоила Асю ответом и повернулась к Елочке.

— Вот, вы видите — ни у нее, ни у Лели нет вовсе ни патриотических, ни гражданских чувств! Никакого душевного величия! Это все — кончилось! — с горечью сказала она.

Всегда замкнутая и сдержанная Елочка бросилась на колени к креслу Натальи Павловны и прижалась губами к ее руке.

— Какая вы замечательная! Таких, как вы, больше не остается! — воскликнула она.

Наталья Павловна погладила волосы девушки.

— Спасибо на добром слове! Мои дни уже на исходе, и тем отрадней видеть родные мне чувства в молодом существе. Мне случалось уже ловить их в вас.

Леля и Ася, виновато прижавшись друг к другу, растерянно смотрели на Наталью Павловну и Елочку, и обе подумали одно и то же: в их молодой жизни было слишком много личного горя, чтобы испытывать высокую патриотическую скорбь!

Спустя час, собираясь уходить на работу, Леля заглянула в ванную, где Ася полоскала детское белье. Ася стояла, прислонившись к стене, с руками около лба.

— Что с тобой? — спросила Леля. — Тебе как будто дурно?

— Да... устала очень и замучила тошнота...

— Тошнота? Ты, может быть, в положении?

Ася прижала палец к губам и оглянулась.

— Молчи: я бабушке еще не говорила. Не хочу ее тревожить. Если ей придется уехать — пусть лучше не знает!

Леля опустилась на табурет.

— Ася, да что же это! За что на нас сыплятся все несчастья сразу! Надо скорее аборт — нельзя оставить. Кажется, делают только до трех месяцев... сколько у тебя?

— Про аборт мне не говори: я это делать все равно не буду.

— Не будешь? В уме ли ты! Накануне ссылки и полного разорения... без мужа... Аська, ты бредишь просто!

— Ты, Леля, сначала выслушай: это будет дочка Сонечка... у нас уже все решено. Леля, ты помнишь: у тебя был нарыв на пальце и я водила тебя к хирургу? Там стояло ведро с ватой и кровью... я не могу себе представить, что мой ребенок будет растерзан по жилкам и выброшен в такое ведро.... Это убийство! Не убеждай меня ни в чем, если не хочешь со мной поссориться.

— Нет, буду убеждать! Это слишком серьезно, и времени терять нельзя. Надо в больницу, немедленно в больницу, а то поздно будет!

В эту минуту у двери остановилась Елочка.

— Елизавета Георгиевна, помогите мне убедить Асю, устройте ее в больницу: у нее беременность, а она не принимает мер! Ведь она же пропадет с двумя детьми! Елизавета Георгиевна, помогите нам.

— Замолчи, Леля! Не распоряжайся за меня! Я хочу второго ребенка, понимаешь, хочу!

Елочка молча смотрела на обеих.

[9] Они прямо охоту на меня устроили! *(франц.)*.

[10] Елена, Елена, не в присутствии же посторонних! *(франц.)*.

— Елизавета Георгиевна, что же вы ничего не говорите? Нельзя же допустить.... мы и так погибаем! Не сегодня завтра она поедет в ссылку... хорошо, если с Натальей Павловной или с нами, а может быть, совсем одна... Надо скорей принять меры, скорей! — В интонации девушки звучало отчаяние.

— Мне кажется... — начала Елочка, пропуская слова, как сквозь заржавленную мельницу, — мне кажется, Леля права: я завтра же устрою вас, Ася, к нам на койку, надо в самом деле торопиться...

— Не трудитесь, я не пойду! Сонечка мне горя не прибавит, не в ней мое несчастье! Я обсуждений больше не хочу... кончено!

Леля перед уходом все же сообщила Наталье Павловне. Вечером Наталья Павловна строго поговорила с Асей, но, видя ее непреклонность, сказала:

— Что ж, никто не вправе решать за тебя. Олег Андреевич не осудил бы тебя ни в том, ни в другом случае.

На следующий день к Бологовским явился агент с билетом дальнего следования для Натальи Павловны, а почти по пятам за ним — управдом с известием, что комнаты Натальи Павловны и мадам будут в ближайшие же дни заселены по ордерам и должны быть освобождены немедленно. Ася, поглощенная сборами Натальи Павловны, покорно выслушала сообщение, чувствуя, что не может вникнуть в суть дела, и снова бросилась к чемоданам.

В этот же вечер она вместе с Нелидовыми провожала бабушку. Местом ссылки был назначен Самарканд.

Наталья Павловна вышла из квартиры вся в черном, с опущенной креповой вуалью, держась необыкновенно прямо и величественно кивая направо и налево старым жильцам дома, собравшимся у подъезда. Спокойствие не изменило ей даже на перроне.

— Бог даст, еще увидимся! — говорила она Зинаиде Глебовне. — Как только получите предписание уехать, тотчас же подавайте просьбу назначить вам Самарканд. Вместе мы не пропадем нигде. Если доведется увидеть Олега или Нину, скажите им, что я все время думаю о них и молюсь за них, как за своих детей. Поддержите Асю; что бы ни случилось, она должна сдать выпускные экзамены.

Только в самую последнюю минуту, когда к ее груди припала головка внучки, у нее чуть дрогнули губы и увлажнились глаза:

— Христос с тобой, дитя мое! Не падай духом!

## Глава четвертая

«Товарищ Казаринова, уведомляю вас, что в силу занятости не могу более уделять времени прослушиванию вас у себя на дому» — и великолепный профессорский росчерк.

Вытащив это письмо из ящика и прочтя его, Ася грустно покачала головой — и этот! Человек, чья седая голова напоминала ей бетховенскую. Как он был благовоспитан, изыскан, и на тебе — «товарищ Казаринова». Куда все подевалось? Какая гнусность! Остается только надеяться, что хоть Юлия Ивановна не опустится до такого.

Было утро следующего дня после проводов Натальи Павловны. Лада весело вертелась у ног Аси, будто напоминая: «Уж я-то, во всяком случае, тебя никогда не брошу».

Едва Ася усадила Славчика на высокий стульчик пить молоко, раздался звонок и на пороге появился Мика. Он догадался извиниться за раннее посещение и, не входя в комнаты, отрапортовал, что добился, наконец, аудиенции у прокурора. Аудиенция эта длилась две минуты; прокурор не предлагал посетителю сесть и, держа руку на звонке, удостоил Мику лишь несколькими словами. Нина обвиняется по статье пятьдесят восьмой, параграфы одиннадцатый и двенадцатый; когда же Мика осведомился по поводу Олега, прокурор сердито ответил, что дает справки только самым близким родственникам, и нажал кнопку звонка, которым вызывался следующий посетитель.

— Эдакая подлая морда! С наслаждением бы шею ему свернул! — закончил Мика свой доклад и, метнув на Асю быстрый взгляд, опустил глаза.

Два с половиной года тому назад он каялся на исповеди в страсти к ней; скоро после этого он увидел ее беременной, когда явился к Бологовским с каким-то поручением от Нины. Его эстетическое чувство было оскорблено ее изменившейся фигурой, и он сказал себе, что мужская страсть отвратительна, потому что уродует такие совершенные создания, а его собственная страсть, как легкая птичка, выпорхнула из шестнадцатилетнего сердца. Теперь эта же самая Ася стояла перед ним стройная, как козочка, в темном платье, перетянутом ремешком; тяжелый узел каштановых волос сползал ей на плечи мимо маленького уха, лоб был почти прозрачной белизны, а глаза смотрели печально и очень серьезно; они показались ему темнее и глубже, чем раньше, траурным покрывалом ложились на них ресницы; отпечаток чего-то лучшего, совершенного почудился Мике в ее лице. «Так выглядела, наверное, святая мученица Агния, когда палачи привели ее в Колизей и волосы окутали ее с ног до головы!» — подумал он; понятие высшего женского благородства еще не входило в его мысли — понятие святости было роднее и ближе. «Как бы мне не влюбиться опять, а то ведь тотчас прикинется и начинай сначала! Уйду-ка подобру да поздорову. Господи, спаси меня от искушения!» Он уже повернулся к двери, но Ася сказала:

— Не можете ли вы, Мика, помочь мне передвинуть мебель? У меня отнимают две комнаты.

— Приду, приду сегодня же вечером и товарища приведу — Вячеслава, соседа, он как раз сегодня из отпуска должен возвратиться. Вдвоем мы вам в полчаса все устроим, — и Мика умчался. Он шел по улице и размышлял: «Как хорошо! Работницы на заводе и наши школьные девчонки все дрянь по сравнению с ней: противная у них бойкость. Мэри... Мэри умная, милая, серьезная, но этой как будто ничто земное не касается!»

Ася между тем вернулась к ребенку. Что делать с малышом? Надо бежать к прокурору и в комиссионный магазин, надо переделать тысячу дел, а ребенка оставить не на кого. Отвести к тете Зине? Она помочь не откажется, но она такая усталая... однако другого выхода нет.

— Кушай поживей, Славчик, и поедем к тете Зине — поиграешь с ней в кубички и в мишек. Кончай скорей: кашка сладенькая, ложечка маленькая! Ну, полетели, на головку сели!

Опять раздался звонок; привычная мысль: только бы не повестка о высылке, и сердце опять стучало, пока бежала в переднюю. За дверьми стояла еврейка Ревекка, соседка Лели, вывозившая ее в советский «свет», — тридцатилетняя, цветущая, рыжие пейсики мягкими кольцами выбиваются из-под модной шапочки, надетой набекрень, накрашенные губки приятно улыбаются. Олег окрестил ее «mademoiselle Renaissance»[11].

— Здравствуйте, Ася. Я с поручением от нашей Лелички.

Ревекка всегда была фамильярна и не слишком церемонна. Не ожидая приглашения, вошла в комнату Аси, стала все рассматривать, будто прицениваясь.

— Хорошая у вас комната, Ася, и сколько дорогих вещиц... дедовские, наверное? Я к вам вот по какому случаю: Зинаида Глебовна у нас заболела, ночью «скорую помощь» вызывать пришлось — удушье! Лучше, уже лучше, не беспокойтесь. Сделали укол и тотчас остановили припадок. Однако велели лежать. Леличка наша страшно расстрои-

[11] «мадемуазель Ренессанс» *(франц.)*.

лась, недостаточно ведь она бережет мать, все мы это знаем, люди свои. Вчера опять поскандалила вечером, нам за перегородкой слышно, а как та начала задыхаться — Леля наша совсем обезумела: ворвалась к нам и за голову хватается. Уж мы с мужем ее урезонивали, чтобы хоть ради больной поспокойнее держалась. Просила передать вам, чтобы пришли поухаживать: ей сегодня на работу к десяти часам, а Зинаиде Глебовне велено лежать без движения. Придете? Ну вот и отлично. А что, Асенька, вы не знаете ли: как у нее с этим молодым человеком — Геннадием? Ходил, ходил, да вдруг перестал, а она невеселая что-то... Не придется, что ли, свадьбу праздновать, не знаете? Очень мне нравится ваша комната, Ася, если будете что продавать из этих ваз или канделябр — скажите мне: я куплю за хорошую цену, муж теперь получает достаточно. Ну, а теперь мне пора — в Пассаж хочу забежать, занавески купить тюлевые. Всего! — и Ревекка, еще раз окинув внимательным взглядом комнату, ушла.

Собрав Славчика, Ася отправилась к Нелидовым. Зинаида Глебовна лежала с виноватым видом:

— Ты, мое золото! Вот пришлось побеспокоить нашу девочку! Допрыгалась я! Укатали, наконец, сивку крутые горки! Слыхано ли — в сорок шесть лет стенокардия! Доктор сказал: если отлежусь, еще могу поправиться. Я просто устала. С семнадцатого года ни одного дня покоя. Славчик, подойди ближе — сейчас посмотрел совсем как Олег Андреевич...

Дав нужные наставления, Леля попросила Асю проводить ее до двери. Почему-то горячее обычного простилась со Славчиком. На лестничной площадке она показала Асе бланк:

— Вот оно, «приглашение на бал». В большой дом. Со службы прямо туда. Знает один Бог, вернусь ли. Убийственно, что именно сегодня; доктор сказал мне потихоньку, что второй приступ мама не перенесет. Всё против нас! Не целуй меня — я злая, колючая, меня теперь раздражает каждая мелочь. Если я не вернусь, ты скажешь маме, что я ее люблю безумно и не пережила бы ее потерю. Пусть она мне простит все мои дерзости. Ты и мама — вот два дорогих мне человека, — холодные пальцы схватили руку Аси. — Я помню все сейчас — наши игры в белых нарядных детских, а после мазанку в Крыму... и Сергея Петровича, и потом двух мужчин: твоего Олега и этого мерзавца Геннадия. Ты полюбила человека, я — ничтожество, но ты меня не винишь, я знаю, знаю. Ну, выпусти меня и беги, а то мама заподозрит и начнет беспокоиться. Деньги, все какие есть, я оставила на столе под пресс-папье. До свидания... или — прощай.

Ася вернулась в комнату, где на старой походной кровати, на штопаной наволочке с вышитой белым по белому дворянской короной покоилось милое усталое лицо, обрамленное седеющими, тонкими, как паутина, волосами.

— Ася, о чем вы говорили на лестнице? Не получила ли Стригунчик приглашения к следователю? Бога ради, не скрывай ничего.

— Лежи, лежи, не садись, тетя Зина! Леля говорила, что беспокоится за тебя, и винила себя в раздражительности. Вот и все.

— Милая девочка! Ведь я и сама знаю, что это все у нее от нервов. Так понятно после всего, что она пережила. Смотри, у Славчика чулочек разорвался, дай мне иголку, я зашью.

Заглянула мадемуазель Ренессанс и предложила, что возьмет с собой ребенка, так как шла в Летний сад; Ася замялась было, но Зинаида Глебовна шепнула ей: не бойся, Ревекка Исааковна очень заботлива.

Ребенок послушно ушел с чужой тетей. И в комнате наступила тишина.

— Ася, сядь ко мне на постель, дорогая.

— Ты не спишь, тетя Зина?

— Нет. Я все эти годы вертелась, как белка в колесе. Некогда и думать было, а вот теперь осаждают то мысли, то воспоминания. Ася, если я теперь умру... не перебивай, милая, дай сказать! Если я теперь умру, обещай мне, что никогда не оставишь мою Лелю. Ведь у нее кроме тебя никого. В этой истории с твоим мужем она виновата без вины. Кто же мог знать, что этот Геннадий такой мерзавец! Леля ему не проговорилась: вы обе были одинаково неосторожны с фотографиями.

— Да, тетя Зина, да — я знаю. Леля так выгораживала Олега у следователя, мне даже в голову не приходит винить Лелю.

— Ну, спасибо, милая, спасибо. Я — так, на всякий случай. Леличке очень дорого стоила вся эта история. Ты все-таки была счастлива, Ася, а это очень много значит — первая счастливая любовь всегда оставляет в женщине чарующий след, как ни сложилась бы дальше ее судьба. Под венцом мы все любовались вами: по возрасту, по наружности, по воспитанию вы были идеальной парой. Твоя первая брачная ночь, наверное, навсегда останется для тебя чудесным воспоминанием, а моя Леличка... не знаю, говорила ли она тебе... Подлый, подлый! Еще посмел ее успокаивать — сказал: не бойтесь последствий, я был осторожен в ласке... еще воображал, что мы потом его предложение примем.

— Тетя Зина, ты волнуешься, а тебе это вредно. Ляг, тетя Зина.

Но Зинаида Глебовна не могла успокоиться.

— Ах, как ужасно, что выслали тогда Валентина Платоновича! Все бы могло быть иначе!

Часы шли. Славчик вернулся с прогулки с новым мячиком, и Ася уложила довольного мальчугана спать на фамильный нелидовский сундук. Зинаида Глебовна не засыпала и все что-то говорила.

— Все воспоминания! То отец перед глазами совсем как живой, то муж, то сестра! И это море крестов под Симферополем! Помнишь ты нашу мазанку, Ася? Надо было спускаться по глиняным ступенькам, окна — вровень с землей. Ты спала на одной наре с Лелей. Каждую ночь наведывалось ЧК. Кого они искали — не знаю: никого из мужчин с нами уже не было. Потом пришел выпущенный из ям Серж — бедный Серж! Помню, у него была любимая трость, в которую был заключен трехгранный штык. Чекисты не догадались и не отобрали во время обысков. Я сберегла ему эту тросточку и, помню, все хромала, для вида, чтобы не возбуждать подозрений. Серж так обрадовался, что она нашлась, — он перецеловал мне за нее все пальчики; он был тогда ко мне очень внимателен, бедный Серж. А впереди еще было так много — почти пятнадцать лет мук! Только теперь виднеется конец, но тут мысли о вас, и опять нет покою. Ася, если я теперь умру, не тратьтесь вы обе на мои похороны: ведь это вам рублей триста, а то и больше будет стоить! Наше положение сейчас такое тяжелое! Отдайте меня в морг, а помолитесь дома... Обещай, Ася.

— Нет, тетя Зина, ни Леля, ни я не согласимся на это — все будет сделано как надо. Только не думай о смерти — ты полежишь и поправишься. Попробуй теперь заснуть.

— Что ты! Какой тут сон! Я все о вас думаю: на кого я вас обеих оставлю, да еще без средств, да еще накануне высылки! Хоть бы вас не разлучили... Боже, Боже!

В три часа у Лели заканчивался укороченный рентгеновский служебный день. К этому времени Ася по желанию Зинаиды Глебовны сварила картошку и накрыла на стол. Слушая, как тетя Зина рассказывает Славчику сказку про Красную Шапочку и Серого Волка, она тревожно наблюдала за часовой стрелкой, чувствуя, что начинает дрожать.

— Леличка что-то запаздывает, — проговорила вдруг Зинаида Глебовна.

Ася нервно передернулась от этих слов.

— Странно, что Стригунчика все еще нет, — сказала Зинаида Глебовна еще через полчаса. — Она никуда не собиралась заходить и знает, что я ее жду.

Ася выбежала в темную прихожую и, спрятавшись между пальто у вешалки, закрыла глаза: «Боже, пожалей нас, спаси! Мы погибаем!» Потом открыла дверь на лестницу и прислушалась — тишина! Боа-констриктор засосал, задушил, не выпустил. Все страшней и страшней! Когда уводили мужа, у Аси еще оставались бабушка, мадам, тетя Зина и Леля, теперь она стояла перед страшной пустотой!

Она всегда любила Иисуса Христа. Когда ей было пять лет, она видела Его однажды во сне: зелено, солнечно, тепло-тепло... Он стоял в поле на холме, а рядом с Ним маленький кудрявый барашек. Этот барашек, наверное, была она сама. За богослужением в храме она всегда замирала, когда произносилось Его имя — в одном только слове «Христос» уже что-то благодатное! Что же значит диктатура, чья бы она ни была, перед Его любовью? И что значат все наши страдания перед тем вечным блаженством, которое распахивается впереди!

— Ася, Ася, — послышался слабый, разбитый голос, — поди сюда, скажи мне: в чем дело? Она не на службе, она у следователя? Не лги мне!

Ася припала к рукам Зинаиды Глебовны.

Бьет четыре, бьет пять, бьет шесть часов... Асе давно надо быть дома: собаки тоскуют и воют, в пять должна прийти покупательница на бабушкин трельяж, в шесть — мальчики передвигать мебель... Пропадай всё!

— Посмотри еще раз на лестнице, Ася!

— Я только что выходила — пусто!

— Посмотри еще раз, деточка, пожалуйста!

Опять никого!

— Стригунчик в тюрьме! Стригунчик! А я-то ее не перекрестила, не простилась с ней! Ася, ты помнишь картину «Княжна Тараканова»? Ее изведут, ее изнасилуют, ее — мою девочку, моего ребенка! Это свыше моих сил! Этого я не переживу! Конечно — я ее больше не увижу!

У Аси льются слезы, она целует худые руки и умоляет успокоиться; одновременно что-то бормочет Славчику:

— Мишка сел, Мишка пошел гулять... да, милый, да... вот построй Мишке дом: сюда положи кирпичик и сюда... тетя Зиночка, не волнуйся так... может быть, еще вернется!

Но вот уже вечер, Славчик уже спит, а Стригунчика нет. Белая ночь раскинулась над городом со своим загадочным белым светом: окно раскрыто, и со стороны Летнего сада льется запах цветущих лип, но Зинаида Глебовна жалуется на духоту и боль в груди.

Испуганная ее тяжелым, свистящим дыханием, Ася хватается за нитроглицерин.

— Ну — всё! — говорит в эту минуту Зинаида Глебовна и откидывается на подушку.

— Что ты, что ты, тетя Зиночка! Нет, нет, не все! Вот лизни пробку — сразу лучше станет, — обрывающимся голосом лепечет Ася.

— Стригунчик, Стригунчик, — едва шепчет Зинаида Глебовна.

Ася бросается в сотый раз на лестницу — лестница пуста. Она бежит обратно и, увидев, что Зинаида Глебовна схватилась за грудь и ловит воздух посиневшими губами, бросается стучать к соседке.

— Ревекка Исааковна! Умоляю — выйдите! Я бегу вниз вызывать «скорую».

Ревекка выходит, запахивая на ходу халат, идет к постели. Ася стремглав мчится вниз.

— Кажется, уже не дышит, — говорит ей Ревекка, когда она возвращается.

Ася берет холодную руку Зинаиды Глебовны, смотрит на изменившееся, иное лицо. Где ты, где ты, тетя Зина?



## Глава пятая

Предъявив главному врачу больницы повестку о вызове в большой дом и, разумеется, тотчас получив разрешение отлучиться, Леля вернулась в рентгеновский кабинет. Угрюмая и молчаливая, она машинально выслушивала болтовню молоденькой, курносой и быстроглазой санитарки, которая застегивала на ней сестринский халат.

— Больных много? — перебила она санитарку.

— Со стационара — пятка, плечо и череп, да двенадцать — на просвечивание грудной клетки, а из большого дома — двое на просвечивание кишок; опять тот же конвойный привел, ждут за дверьми.

— Какой «тот же», Поля?

— А тот, которому я приглянулась в прошлый раз — помните, смеялись мы? Я уж ему сказала: коли кишок просвечивание — значит, барием кормить, да смотреть по три раза, засидитесь тут. А он смеется: сколько потребуется, столько и просидим, говорит, время-то казенное!

Леля устало вздохнула.

— Начать придется с них. Достаньте барий, Поля, я приготовлю смесь. Опять проглотили что-нибудь?

— Гвоздей, говорит, наглотались, ну и народец! — усмехнулась Поля.

— Это не с радости делают, Поля! Где сопроводительные бланки? Дайте мне, я занесу в журнал. А рентгеноскопию легких придется перенести на завтра — сегодня я работаю только до двенадцати, санкция начальства уже имеется.

Поля протянула ей бланки со штампом большого дома, Леля бросила на них равнодушный взгляд, но внезапно вздрогнула: Дашков Олег? Что такое? Почудилось или в самом деле он? Пятьдесят восьмая! Кто ж другой?

Она оперлась дрожащей рукой на стол.

— Эй, Елена Львовна, никак дурно вам? — окликнула Поля, доставая порошки из аптечного шкафчика.

— Не дурно, нет, — с усилием ответила Леля.

Она побежала к двери. Вот конвой, а вот и заключенные! Все сидели на деревянной скамье у входа в кабинет со стороны лестницы. Когда она выбежала, один Олег поднялся, остальные остались как были. Он встал, но ни одна черта в его лице не дрогнула — была ли это все та же свойственная ему во всем выдержка или он догадывался, что увидит ее, и приготовился заранее? Глаза их встретились на одну секунду и тотчас, как по команде, разошлись. Но ей выдержки все-таки не хватило: губы ее задрожали так, что она их прикусила, и не могла начать говорить — боялась, что голос сорвется и выдаст ее. Конвойный — рослый, хамоватый парень — заговорил первый:

— Опять к вам меня прислали, товарищ рентгенотехник, с двумя вот молодчиками. Велено просвечивание кишок сделать. Я бланки сдал вашей санитарочке. Ежели возможно, так начинайте уж с нас, чтобы задержать не долго: «черный ворон» ведь дожидается.

Леля тщательно старалась овладеть собой и все еще не решалась заговорить. Она перевела глаза на второго заключенного: по типу уголовник, грубые черты, взлохмаченная голова с низким лбом; он припал к спинке скамейки, держась руками за живот, и тихо подвывал, как больное животное.

— Этому плохо, кажется? — сдавленным голосом проговорила, наконец, Леля.

— Народ ведь такой отчаянный, товарищ! Никак за ими не уследишь: и градусники и гвозди — всё глотают! А потом отвечай за их. На лестницу сейчас еле поднялись — этот вот совсем валится.

Леля взглянула на бланк.

— Это — Дашков? — умышленно спросила она, указывая на уголовника.

— Дашков — это я, — сказал Олег. — Я ничего не глотал, у меня повреждена рука, просвечивание кишок мне не нужно.

Леля только тут увидела, что он держал правую руку в левой и она была замотана тряпкой.

— Что с рукой? — спросила она, глядя мимо него и стараясь принять официальный тон, хотя продолжала дрожать.

— Сломаны пальцы, — ответил он, и в этот раз у него тоже как будто пресекся голос.

Санитарка, вышедшая вслед за Лелей, заахала:

— Матушка-голубушка! На какие только выдумки они не горазды! Слыхано ли, пальцы себе ломают!

— Я не ломал, мне их сломали! — сказал Олег.

Конвойный стукнул винтовкой:

— Не разговаривать! Отвечать на вопросы только!

Леля поняла — Олег сказал эти слова, чтобы дать ей понять о форме допроса, которому был подвергнут. Белая пелена задернула ей глаза... На несколько секунд ей и впрямь стало дурно. Призвав на помощь всю свою волю, она опять взялась за бланки и нашла, наконец, в себе силы прочитать и разобраться в написанном.

— Дашков назначен на снимок правой кисти, а на просвечивание кишок — Никифоров, — сказала она уже более спокойно.

— Точно ли, товарищ? Насчет гвоздей, помнится, о двоих говорили? — возразил конвойный.

— Совершенно точно, если я говорю. Ведите обоих в кабинет, — и Леля пошла не оборачиваясь.

Поля приблизилась к стонавшему уголовнику и взяла его под руку.

— Ну, идем. Подымайся, идем! Чего уж тут! Любишь кататься, люби и саночки возить!

Тот поднялся, шатаясь. Они вошли первыми, за ними Олег, за Олегом конвойные.

— Подождите за дверьми, — сказала Леля, останавливая последних.

— Нет уж, разрешите и нам, товарищ. У этих обоих по целой катушке, видать, «вышка» ждет, будущие смертники. Боязно с глаз спустить, — возразил тот же парень.

Леля содрогнулась и быстро взглянула на Олега: он не изменился в лице — или для него это не было новостью, или он не придавал значения разговору конвоя.

— В нашем кабинете окна решетчатые, а ключ от второго выхода в надежном месте, я отвечаю за свои слова. Останетесь за дверьми, — настаивала Леля. Но конвойный не отходил.

— Нет, товарищ! Конешно, извиняюсь, но не отойду. Наказывали глаз не спускать. Народ уж больно отчаянный. Разрешите войти хоть одному мне. Я у самой двери сяду, не помешаю. Ведь я на службе, товарищ.

Леля не решилась более настаивать. Конвойный вошел и опустился у двери на табурет; заключенных провели к топчану в глубину комнаты. Леля мучительно искала выхода.

Она окликнула санитарку и нырнула в темную проявительную. Поля пошла за ней; они остановились друг против друга при свете красных фонарей.

— Поля, я вас попрошу об одном одолжении. В свою очередь обещаю выручить вас или услужить вам чем только смогу. То, о чем я попрошу, очень важно для меня, Поля.

— Да что вы этак волнуетесь, Елена Львовна? Вы, может, без денег — так я одолжу с радостью.

— Нет, нет, Поля, совсем не то. Обещайте только мне о нашем разговоре никому не сообщать.

— Ладно, промолчу. Да что надо-то?



— Поля, один из них, этих двух заключенных, — тот, который моложе, — муж моей сестры...

Поля насторожилась, и улыбка сбежала с ее лица.

— Он по пятьдесят восьмой. Он не преступник, Поля. Царский офицер — только за это. У него семья, ребенок...

Она задыхалась, Поля молчала.

— Я хочу только... я ничего плохого не сделаю... Два-три слова ему о жене и ребенке. Я никого не подведу. Помогите мне!

— Елена Львовна, дело-то ведь такое... сами знаете... Если вы ему письмо сунуть желаете, так ведь его обыщут при возвращении в камеру: найдут — загорится сыр-бор. Тогда не сдобровать нам.

— Я знаю: письмо нельзя. Нет, нельзя! Несколько слов только... У него сломаны пальцы, по рентгеновским правилам снимать надо каждый палец в отдельности. Отвлеките тем временем внимание конвойного. Вы ему понравились — поговорите с ним, выманите покурить... У нас еще полчаса до прихода врача. Поля, умоляю вас!

— Ладно, пособлю, хоть и не дело! Да уж больно вас жаль. То-то я гляжу: совсем вы извелись за последнее время. Ну, а болтать я и сама не захочу — не враг же я сама себе!

— Это можно сделать только пока я буду укладывать его пальцы, — продолжала Леля, — человек он в высшей степени выдержанный и осторожный... он ничем не обнаружит... Мы обменяемся только несколькими словами... Включите вентилятор, чтоб заглушить.

— Понимаю, понимаю — устроим. Заряжайте кассету. Я пошла.

Леля зарядила кассету, приготовила барий и вышла к больным.

Уголовник лежал на кушетке и стонал, Олег сидел с опущенной головой, заложив руки в рукава тюремного серого халата. Минут десять провозились над уголовником, заставляя его есть бариеву смесь, которая к моменту прихода врача должна была перейти в кишечник. Он ел, упираясь и отплевываясь, потом опрокинулся навзничь на топчане.

— Теперь ваша очередь, — обратилась Леля к Олегу официальным тоном. Он с готовностью встал. Поля быстро направилась к конвойному и села около него.

— Глядишь, я покалякать с хорошеньким мальчиком минуточка выпала, — засмеялась она, и разговор их живо встал на рельсы.

— Сядьте, а руку протяните сюда, — громко скомандовала Леля, а сама быстро оглядела кабинет, оценивая положение. Он впился в нее жадным ожидающим взглядом, и она поняла, что он угадал ее маневр. Она взяла его искалеченную руку и положила ее на кассету.

— Ася пока на свободе, здорова; ее только раз вызывали: взяли подписку о невыезде и отпустили; надеемся, что теперь уже не арестуют. Удалось продать гостиную мебель, так что деньги пока есть. Я каждый день там бываю. Наталью Павловну выслали в Самарканд, писем пока с места не имеем; с нас тоже взяли подписку о невыезде, ждем решения; будем хлопотать, чтобы всем вместе. Мама очень больна, Нина Александровна арестована тогда же, когда вы; мадам выслана во Францию.

Он смотрел вперед, на конвойного, сохраняя бесстрастное выражение лица. Леля вновь удивилась его выдержке.

— Ася в положении?

— Да. Переносит хорошо, как и со Славчиком. Ее заставили переменить удостоверение личности и выдали новое, на Дашкову. Славчику выписали новую метрику.

Он вдруг поднес руку к лицу и закрыл глаза. Леля испуганно смолкла; он опустил руку, и лицо его было непроницаемо по-прежнему.

— Несчастный ребенок! С этой фамилией они не дадут ему жизни, — сказал он. — Что с Зинаидой Глебовной?

— У мамы был очень страшный приступ стенокардии; повлияло

все, что случилось. Подождите минуту: я сделаю снимок, чтобы не возбуждать подозрений, — и она отбежала к столику управления. — Больной, спокойно: я снимаю! — прозвучал через минуту тонкий голосок. Парочка у двери флиртовала по-прежнему.

— Я перед вами виновата... очень виновата... Простите, если можете! — шепнула она, и голос ее оборвался.

— Я не вижу вины с вашей стороны.

— Я ввела в дом провокатора... как же нет вины?

— Спокойней, Леля! Вы слишком волнуетесь, и это видно по вашему лицу. Не вините себя: я уже давно был под ударом... Меня выслеживали, и я это знал. Надеюсь, с Асей вы друзья по-прежнему?

— У Аси золотое сердце, а я как только поняла, какую роль сыграл этот человек, тотчас закрыла перед ним дверь.

— В этом я был уверен, — сказал Олег.

— Больной! — жестко и повелительно крикнула вдруг Леля, — не двигайте руку! Сколько раз я буду укладывать ваши пальцы?

Олег понял ее игру.

— Вы делаете мне больно, — ответил он в тон ей.

Конвойный стукнул прикладом, очевидно для поддержания дисциплины, и снова отдался захватывающему разговору.

— Леля, скажите Асе, чтобы непременно обратилась в консультацию по охране материнства и младенчества; эти учреждения имеют некоторые права, гепеу, конечно, всесильно, но попытаться следует. Меня отсюда живым, разумеется, не выпустят; к опасности я привык, и за последние минуты пусть Ася особенно меня не жалеет. А о пытках не говорите ей теперь — потом, позднее... с тем, чтобы она могла когда-нибудь рассказать детям... они должны узнать всё.

— Неужели пытают?

— Спокойней, Леля. Допрашивают сутками... следователи меняются, а допрашиваемый остается... не позволяют ни отойти, ни сесть, пока не упадешь замертво. Очень в ходу пытка бессонницей; в «шанхае» бьют бичами по плечам и ломают пальцы... Говорят, есть шкафы, где задыхаются, но сам я не видел их.

— Больной, спокойно, снимаю. — Она опять отошла к столику управления, потом вернулась.

— А что, Славчик еще вспоминает меня? — спросил Олег, и только тут голос его дрогнул.

В эту минуту быстрым деловым шагом, бойко и молодцевато вошел в кабинет врач — молодой, самоуверенный, с партийным значком.

— Здравствуйте, Елена Львовна! Здравствуйте, Поля! Ну, как? Больных много? Желудки или легкие?

Поля живо отпрянула от конвойного, Леля убежала в проявительную. Врач облачился с помощью Поли в белый халат, после чего уголовника тотчас поставили за экран; очень скоро удалось обнаружить гвоздь. Один из конвойных объяснялся после этого по телефону с начальством, требуя инструкций; Леля писала под диктовку врача заключения по поводу гвоздя и сломанных пальцев (врач диагностировал по мокрому снимку).

Ее не было в кабинете, когда конвойные уводили своих подопечных; выйдя из проявительной, она стремглав выскочила вслед за ними и увидела Олега уже на повороте лестницы: глаза их встретились в долгом взгляде...

— Интересный мужчина этот пятьдесят восьмой! Как вы находите, Елена Львовна, а? Вы так на него посматривали, — сказал рентгенолог, когда она вернулась к экрану. Леля дрожала, но принудила себя улыбнуться.

Было уже около двенадцати. Информировав врача, что имеет разрешение уйти, она сняла халат, взяла свой маленький саквояж и спустилась в гардероб, потом вышла на улицу.

«Последний час свободы! Необходимо теперь же сообщить Асе про



Олега. Забегу на почту. Надо осторожно, иносказательно, чтоб перлюстратор не заподозрил...»

В результате долгого обдумывания получилось следующее послание: «Милая Ася! Пишу тебе перед тем, как уйти к нему. Видела на службе Олега. Он здоров и просил передать тебе, чтобы ты непременно обратилась в охрану материнства и младенчества. Я, наверное, уеду на курорт. Расстаемся надолго. Постарайся не потерять меня из виду. Мамочку, родную, бесценную, и тебя, мою кроткую, дорогую, люблю больше самой себя. Будь маме без меня дочкой. Твоя злая, виноватая, но безмерно любящая Леля».

Она два раза перечла это письмо.

«Можно подумать, что улепетываю с любовником! Ну да мама и Ася поймут, а мне только это нужно, — и запечатала конверт. — Пора. Опаздываю. О, какая тоска! А тут еще это солнце и эти цветы любви, шиповник на каждом углу! Я знала, я всегда знала, что не буду счастлива».

Прямо перед ней высился белый Преображенский собор — собор гвардии, где столько раз выстаивали службу ее отец и дед и где венчалась ее мать двадцать четыре года тому назад. Она постояла в нерешительности и потом переступила порог храма. Милый-милый, давно знакомый запах свеч и ладана, полусвет, огоньки и печальные родные напевы... все это напомнило ей детство; смутное волнение овладело душой. Обедня кончилась, кого-то отпевали.

Стальные, холодные, серые глаза боа-констрикторв остановились на ней, когда она переступила порог кабинета.

— Садитесь, товарищ Нелидова, садитесь! Потолкуем. Ну, что ж, вы уличены. Вы не только не осведомляли меня, нарушив этим наше соглашение. Вы сознательно сбивали и запутывали следственные органы, прикрывая врага. Прямая контрреволюция! Вы сами оказываетесь активным врагом, скрывающимся под маской хорошенькой, кокетливой девушки. Ваша порция свинца вас дожидается! Можете быть спокойны!

Леля молчала.

— Ну-с, как же мне с вами быть, Елена Львовна? А?

— Вы можете, конечно, издеваться, сколько захотите, а я повторяю то, что говорила: я не знала, что Казаринов фамилия вымышленная.

— Что? Ты все еще лжешь, мерзавка, отродье белогвардейское! Не знала! Она не знала! «Я давно хотела вам доверить нашу семейную тайну» — это чьи же слова, по-твоему?

— Ах, вот что! Он сообщил вам даже такую подробность? Какой услужливый этот Геннадий. Ну, тогда в самом деле мне уже нечем защищаться. Да, я знала, кто Казаринов, но ведь не все такие подлецы, как комсомолец Корсунский! Мне эти люди были дороги. Олег Андреевич контрреволюционер в прошлом — он честно работал в порту...

Внезапно сильным ударом ноги он вышиб из-под нее табурет, и она упала на пол.

— Молчать! Я тебя сгною в лагере!

Леля встала с пола и подняла уроненную сумочку.

— Вы не смеете толкаться и говорить мне «ты», — сказала она. Интонация обиженного ребенка послышалась в ее голосе.

— Что?! Я не смею? Да я могу на расстрел послать, если захочу! Вы арестованы, гражданка. Садитесь на тот стул, туда, говорю, подальше; подайте вашу сумочку.

Порывшись в сумочке и вынув оттуда документы, он отложил их в сторону и взялся за телефон.

— Алло! Вот мне надо девушку оформить. Пошлите в тринадцатый кабинет ордер на арест.

Леля дрожала, хоть и старалась всеми силами сохранить спокойствие. Следователь повесил трубку и прошелся по комнате.

— А что, Дашкова молодая — Ксения, — знала она прошлое мужа? — спросил он.

— Из показвний вашего шпиона вам уже все достаточно известно, — огрызнулась Леля.

— Пренеприятная личность эта ваша Ксения! Я видел ее, когда брал подписку о невыезде, и мне настолько неприятно было иметь с ней дело, что у меня даже начались непроизвольные сокращения мышц в скулах, как от кислого яблока. И что вы ее жалеете? Себя из-за нее запутали.

«Да он как бес, которого корчит от ладана», — подумала Леля.

Вошел один из сотрудников с какими-то бумагами, и начались мытарства. Помощник следователя повел Лелю по бесконечным коридорам; спускались, подымались, снова спускались. Главное здание огепеу — шедевр советской архитектуры — соединяется с тюрьмой коридором с окнами; коридор этот получил прозвище — «мост вздохов». Через него, не выходя на улицу, заключенных проводят в здание тюрьмы и обратно на допросы. Леля уже слышала про этот «мост вздохов» и, узнав по описанию, поняла, куда попала. Теперь переходы пошли длинные, коридоры темные, стены сырые с тусклыми лампочками; двери железные, сквозные, похожие на ворота.

«Бьют в «шанхае»... что такое «шанхай»? А что если меня ведут туда?» — и сердце замирало.

Наконец, ее привели в комнату, которая была поделена на секторы; в каждом секторе стоял топчан. Здесь ей разрешили сесть и заставили заполнить анкету, а также измерили ее рост и записали приметы: фигура худощавая, аккуратная, волосы кудрявые, стриженые; красивая блондинка, родинка на щеке, маленькие руки. Тут же сфотографировали, посадив на особый стул с прибором, который обуславливал позу; взяли также отпечатки пальцев. Потом опять бесконечными коридорами повели к доктору. Пока доктор выслушивал ее сердце, она смотрела на странное сооружение, похожее на хирургический стол или зубоврачебное кресло, — для чего оно? Может быть, это орудие пытки? Это и оказалось орудием пытки, но пытки моральной: врач приказал лечь на это кресло и подверг ее гинекологическому осмотру.

В соседнем секторе следователь опять звонил кому-то, говоря: «Приготовьте камеру», — и опять пошли бесконечными коридорами. После бессонной ночи и всех мук этого дня Леля чувствовала такую усталость, что всякая восприимчивость притупилась понемногу, и она думала уже только о том, чтобы заснуть скорее, пусть в камере, но заснуть!

Прошли еще через одну железную дверь и оказались в очень большой удлиненной комнате; она имела совершенно особый покрой: по правую сторону были окна, по левую шел длинный ряд узких камер-одиночек, расположенных в два этажа. На каждой дверце — «глазок» на уровне человеческого лица, пониже — окошечко, через которое подают еду; подымавшаяся в верхний ряд камер железная лестница была затянута проволокой; во всю длину комнаты был расстелен красный бобриковый ковер.

Подошла конвойная женщина и приняла Лелю под свою ответственность.

— Идите тише, уже был отбой — второй час ночи, — сказала она Леле.

Оказалось, что в допросах, процедурах и бесконечных переходах прошел и кончился день. Вошли в одиночку: прямо — окно, высокое, скошенное; слева — привинченная к стене металлическая откидная койка; справа — тоже откидной металлический столик и сиденье, лицом к окну; полочка с алюминиевой миской и кружкой; под окном — унитаз.



— Отдайте мне пояс с застежками для чулок и ложитесь немедленно спать, головы одеялом не закрывать, — скомандовала женщина и, получив требуемое, захлопнула дверь одиночки.

Юная узница еще раз растерянно оглядела свое убежище, потом откинула койку, свернула вместо подушки неуютное серое байковое одеяло и легла на жесткий матрац, закрывшись пальто.

«Мост вздохов», «шанхай», сломанные пальцы... а мама, наверное, уже умерла!» — и в ту же минуту заснула, как в бездну провалилась.

## Глава шестая

Аннушка сказала ему сначала так:

— Дела у нас тут без тебя такие пошли, что ум за разум заходит! Садись, щей налью, пока горячие.

Но в тарелке у Вячеслава щи остыли от высыпавшихся на него как из решета новостей.

— Как? И Нина Александровна тоже! Да по какой же статье ее обвиняют? Эх, Анна Тимофеевна! Посылать проклятья по адресу власти, конечно, очень легко, однако же надо вникнуть: Олег Андреевич жил под чужим именем и скрывал прошлое... Это карается каждой властью. Уж не думаете ли вы, что в Англии или во Франции за это погладят по головке? Что же касается Нины Александровны — ее могут обвинять в пособничестве. У прокурора Мика был? Прокурор разговаривать не желает? Уж извините — не поверю!

Аннушка всплеснула руками:

— Да неужели я лгать буду? Вот хоть мужа моего спроси. Эти окаянные и старика-то моего вовсе замучили: что ни день, то являйся к ним да выкладывай всю подноготную. Намедни арестом пригрозили: ты-де такой-сякой, ложными показаниями нас с толку сбил...

Дверь, которая вела в комнату Аннушки, раскрылась, и на пороге показался, опираясь на палку, дворник. Вячеславу бросились в глаза его провалившиеся скулы, заострившийся нос и поседевшие виски.

— Застрекотала, сорока! — крикнул он жене, стуча палкой. — Мало тебе, что ли, бед? Сама за решетку захотела?

Вячеслав выпрямился.

— Вы, Егор Власович, меня знаете: разве я зарекомендовал себя хоть раз как передатчик? — спросил он.

— Ты партиец и безбожник — вот что я знаю! — сердито крикнул дворник.

Вячеслав пошел к себе, но на пороге остановился.

— Мика дома? — спросил он.

Аннушка объяснила, что Мика еще на рассвете ушел в тюремную очередь, а оттуда — на завод. Выходить на работу Вячеславу предстояло только на следующий день; он заперся у себя караулить возвращение Мики и занялся составлением прошения в Кремль, которое подавал от лица своего дяди — середняка, несправедливо, по его мнению, обвиненного в кулачестве, — одно из наиболее тягостных впечатлений, вынесенных им из поездки в деревню.

Только в конце дня он услышал в кухне «трубу иерихонскую», как называла, бывало, Нина зычный голос брата.

— Давайте, давайте. Аннушка, голоден так, что нипочем гиппопотама съем. — Мика, по-видимому, не терял бодрости.

Отложив бумаги, Вячеслав поспешил в кухню, где «юный Огарев» трудился над своей порцией щей за покрытым аккуратной клеенкой столом — форпостом Аннушки.

— Здорово, Мика! Ешь, ешь — поговорить еще успеем, — и Вячеслав пожал ему руку.

— Разговоры наши будут невеселые, друже, так как дела у нас пошли прескверно, однако на аппетите моем это, как видишь, не отражается, — продолжая уплетать щи, откликнулся Мика. Спустя полча-

са в разговоре один на один Мика рассказал Вячеславу про свою двухминутную аудиенцию у прокурора (аудиенцию, которой пришлось добиваться в течение трех недель). Антисоветская настроенность, антисоветская пропаганда, пассивное пособничество и прикрывательство — все это тучей собралось над головой Нины.

— Ты бы посмотрел да послушал, что там делается,— говорил Мика. — Передачу принимают от ограниченного числа лиц, а стоят несметные толпы. Прибегаю к пяти утра, чтоб быть в числе первой сотни. Построиться очередью у тюремных ворот не всегда удается — милиция разгоняет. Ну, прячемся тогда по соседним воротам и подъездам, а как двери откроются, мчимся сломя голову! Тут уж ноги выручают. Но если тебе и посчастливилось занять одно из первых мест, ты все-таки не гарантирован, что передачу у тебя примут — высунется вдруг хамская морда и заявит: сегодня, дескать, принимаем только для уголовных! Вот и убирайся ни с чем. Стояла раз со мной рядом дама — баронесса Остен-Сакен, — у нее засадили и мужа и сына; мужа за то, что с английским королем играл в карты, когда в качестве флигель-адъютанта сопровождал Николая в Лондон; сына за что — не знаю; сына расстреляли, а старый барон, узнав об этом, в тюрьме — повесился! Рявкнули они ей это из своего окошечка... упала; я подымал. А то пристала раз ко мне там — в очереди — крохотная старушка, деревенская — с котомкой, в валенках; просила указать ей прокуратуру, да пока я переводил ее через улицу, объясняла, что хлопочет за сына. Выразилась она совершенно необыкновенным образом: «Вот сколько у нас по колхозу наборов в тюрьмы было, а мы с Миколкой всё держались, а теперешним набором прихватили и моего Миколку», — вот тебе голос народа! «Набор в тюрьмы» — слыхал ты что-нибудь подобное?

Вячеслав встряхнул своими всегда всклокоченными волосами, словно конь гривой, очевидно, для освежения своих умственных способностей, и сказал:

— Мика, ты не преувеличиваешь? Не путаешь?

— Я, что ли, баба-сплетница? Позволь заметить, что мне в настоящее время не до шуток.

— Извини: сорвалось с языка... — Вячеслав сжал себе виски обеими руками. — Откуда такое искривление генеральной линии партии?!

— Такие, милый мой, искривления у Николая не водились! Дзержинский ли, Менжинский ли, Ягода ли, Медведь ли — всё одно и то же искривление. Воображаю, какие еще впереди!

— Тебе легко возмущаться, Мика! Эта власть тебе чужая. Твои деды и прадеды — помещики, сестра — титулованная. А для меня это все свое, кровное! Я в шестнадцать лет взял винтовку: бои, окопы, бессонные ночи, ранения — я через все прошел! Не жаль было ни сил, ни здоровья, ни времени... Верил, что строим счастливую жизнь, что навсегда покончим с произволом, неравенством, нищетой. Мне мерещились ясли, заводы, родильные дома, мирное строительство, сытые дети, и вот теперь — эти опустевшие деревни, ропот, разделение...

— И террор! — безжалостно отчеканил Мика. — Теперь, через пятнадцать лет после революции, когда нет ни войны, ни сопротивления...

— Врешь, сопротивление есть! Пассивное, но упорное и злое, которое ползет из каждой щели. Взгляни на себя, на Олега Андреевича; разве вы нам друзья? Разве вы нам поможете? Злорадство и ненависть прут у вас из всех пор! Вы радуетесь каждой нашей неудаче!

— Не смешивай меня и Олега, друже! Дашковы — военная аристократия, а наша семья глубоко штатская, либеральная. Отец отказался в свое время от звания камергера; дед организовал в имении бесплатную больницу и школу; я не цепляюсь за прошлое — я пятнадцатого года рождения и не помню прежнюю жизнь. Я всегда был глубоко равнодушен к тому, что пропали поместье и земли. Собственность



я ненавижу! Сословных предрассудков во мне вовсе нет. Я тоже ищу новой жизни, новых форм. С вами идти мне помешала только ваша нетерпимость и узость, ваша мстительность и коварство! Был момент — я так искал знамени, которому бы мог служить! Вот вы и показали мне ваш террор, еще не превзойденный в истории. Сами выковали из меня врага, понял? Еще пожалеете, когда доведется сводить счеты, — самоуверенно закончил юноша и, увидев нахмурившееся лицо товарища, прибавил более миролюбиво: — Кстати, просьба к тебе.

— Валяй, говори! Для Нины Александровны готов очередь выстоять.

— Нет, я не о себе. Асе Дашковой помочь надо: комнату у нее отбирают. Бабушка и француженка, видишь ли, высланы, муж сидит — значит, отдавай лишнюю площадь. Просила мебель передвинуть.

Вячеслав нахмурился:

— В этот дом я не ходок, да уж ради Олега Андреевича куда ни шло! — И он взялся за шапку.

— Идем, значит, а Олегу-то оттуда головы не вынести!

На эту реплику Вячеслав ответил молчанием. Занесла же его нелегкая в их среду! Жил бы в рабочем общежитии с ребятами — все было бы ясно и просто; радовался бы достижениям и трудовым вахтам, бодро смотрел вперед и не было бы этих сомнений и неприятностей. Может, и семьей бы уже обзавелся! Бросить, что ли, здесь все да махнуть куда-нибудь на стройку? На Север или в Комсомольск? Там, где потрудней, где людей не хватает, там он на месте будет, а здесь все не ладится у него и тоска прикинулась. Так думал Коноплянников, шагая рядом с Микой. Он вспомнил Лелю и свою отвергнутую любовь и стиснул челюсти.

А на улице громкоговоритель распевал во весь голос слова ходовой песни:

Но когда в кружок ты вышла  
И глазами повела,  
Я подумал: это вишня  
Между елок расцвела.

Молодые люди напрасно прождали сначала на лестнице, а потом у подъезда. Аси не было.

Только на следующий день, когда Мика, на этот раз один, забежал на разведку прямо с завода, он узнал о новом несчастье у Аси.

Часов в девять вечера он постучал к Вячеславу:

— Можешь сейчас пройти со мной передвинуть мебель у Дашковой? Я договорился — она дома; вчера недоразумение вышло не по ее вине — несчастье опять у них.

— А что такое? — равнодушно спросил Вячеслав, беря шапку.

— Кузина ее арестована, Нелидова Леля.

— Что? Нелидова?! Говори, что знаешь по этому делу?

— Ничего еще не знаю. Вот придем — расспрошу.

— Экий нерасторопный! Пошли.

Опять зашагали в том же направлении.

— Слышал ты когда-нибудь про дело Ветровой? — спросил Мика.

— Нет. Что за дело такое?

— Это было еще в царское время. Один из старых друзей нашей семьи при мне Нине рассказывал. Студентка одна, политическая, Ветрова, изнасилована была тюремным сторожем. Оказалась Лукрецией: взяла керосиновую коптилку и зажгла на себе одежду. Сгорела заживо! Скандал вышел. Каким образом стало известно — не знаю, а только весь университет загудел, как пчелиный улей. Демонстрация: панихида на площади перед Казанским собором, море молодежи, пламенные речи... Ну, полиция, конечно, тут как тут! — загнали в манеж, посажали многих. Допрашивали, однако, очень мягко и приговоры были самые

мягкие: правительство было, по-видимому, смущено. Тот, который рассказывал, получил полгода ссылки и после тотчас же восстановился в университете. Дело, однако, не в этом. Я думаю сейчас вот о чем: случись такое теперь — а конечно, и случается — протеста в обществе ведь не будет! О пытках ведь знают — и не протестуют! Страх сковал! Гепеу не полиция — поймают одного студента, а изведут целую семью и десяток товарищей ипочем на тот свет отправят. Вот и не протестуют! Общество выродилось. У тебя мозги вывихнуты партучебой, а все-таки пойми: безмолвие в университете и на заводах свидетельствует против вас.

Вячеслав вдруг повернулся к нему с гневно сверкнувшими глазами:

— Молчи лучше!

— Да чего злишься-то! Или стыдно за свой социалистический режим? Не надо было лезть в партию! Ты забыть не можешь, что девяносто лет назад твоего прадеда помещик в карты проиграл, а у меня вот родной отец убит вашими коммунистами, которые пришли отнимать имение. Мне тогда года четыре было, но я помню, как он упал. Я до сих пор иногда вижу это во сне и просыпаюсь в холодном поту. Теперь заточили как преступницу мою сестру, а меня не принимают в университет. Мои обиды свежее твоих, а ты еще удивляешься нашей ненависти!

Вячеслав остановился:

— Мика, я не хочу ссориться с тобой теперь! Замолчи, прошу тебя!

Он узнал подробности: Ася при нем рассказывала Мике о неоднократных вызовах и вымогательствах следователя, умолчав из чувства такта о Гене. Мика вызвался помочь с похоронами Зинаиды Глебовны, обещал привести друзей, которые безвозмездно отпоют заупокойную и на руках перенесут гроб. Вячеслав, в свою очередь, смущенно пробормотал:

— Я тоже мог бы пригодиться! Вам одной не справиться со всеми хлопотами и очередями. Давайте я соберу и отнесу передачу Елене Львовне и к прокурору пробьюсь. Идет?

— Спасибо, — подавленным шепотом отозвалась Ася.

Но после, на лестнице, Мика ему сказал:

— Прежде всего надо ее найти, а для этого тоже выстоять очереди в тюремных справочных бюро. Я тебе дам адреса тюрем; но ты не надейся, что прокурор тебе ответит — не станет даже разговаривать: заявит, что имеет дело только с ближайшими родственниками, как мне по поводу Олега.

— А я его заставлю ответить! Пусть попробует отвертеться! Мне не так легко зажать рот, а если скажет, что я чужой, я ему заявлю, что я фактический муж — коротко и ясно!

Мика бросил на Вячеслава несколько озадаченный взгляд, но не решился продолжать разговор на такую деликатную тему. Пошли молча.

Кукушечка! Деревцо вишневое! Попалась, бедная! Олег хороший человек — понятно, что выдать не захотела! Сама-то она вся пугливая, слабенькая, нежная, а вот устояла ведь, дала отпор! Стало быть, есть у нее внутренняя сила и товарищ она, видать, хороший... Экие подлости в огепеу делаются: схватили девушку — полуребенка, да как с ножом к горлу: выдавай или засажу! Запугивают, тянут показания... да это святейшей инквизиции впору! Известно ли там — наверху? Набрали в штаты всякой дряни и дали волю! Надо сигнализировать! Эту историю нельзя оставлять! Все эти Дашковы, Бологовские, Огаревы трусят: их в самом деле происхождение сковывает; ну, а он, Коноплянников-то, — свой, всю революцию провоевал, у станка семь лет, его-то выслушают! Следователь Ефимов... Уж будет он стоять перед революционным трибуналом! Надо не только в Москву писать — надо привлечь райком и заручиться поддержкой председателя; до самого Сталина дойти, а кукушечку вызволить!

Она теперь одна, замученная, жалкая! Антипатичных ему дам около нее уже нет, одна только эта молодая, кроткая Дашкова. Если он выручит свою кукушечку, она отогреется на его груди. Никто не встанет уже между ними! Он вообразил, как приходит за ней, и вот ее выводят из тюремных ворот: она с узелком, в платочке и сером ватнике, бледная, худая... увидев его, она бросается на шею своему спасителю. Обнять ее, прижать к груди, погладить эти шелковистые кудри... даже голова у него закружилась! Отчего женское лицо приобретает иногда такую власть, причем от этого не застрахован даже человек сдержанный, серьезный, преданный идее... В этой девушке не было ничего, что он привык ценить, оставаясь объективным, — что же приковало к ней его сердце? Тоска подымалась со дна его души. С тоской он бы сладил, не стал бы ниичиться с собственной душой, но подкрадывавшееся разочарование в деле, которому он отдал все молодые силы, подтачивало, вносило беспорядок в его внутреннюю жизнь. Безнадежность и усталость в интонации Аси, ее рука, уроненная на голову малыша, цеплявшегося за ее платье, врезались в его память. Под спокойствием, привитым строгостью воспитания, угадывалось отчаяние этой молодой женщины.

Да неужели же действительно вышлют и ее и ребенка? Разве так слаба Советская власть, что женщины уже опасны стали? «С женщинами воюем! Лагеря для женщин! Олег Андреевич прав: императоры не трогали жен декабристов и семья народников... Уж не чувствовали ли они себя увереннее на своем посту, чем мы, большевики, на своем? Или в самом деле были великодушнее и добрее? Эх, неладно что-то у нас в аппарате!»

Бездеятельность и пассивная скорбь не были свойственны его натуре.

«Завтра же пойду сначала к прокурору, а потом в райком! — говорил он себе. — Следователь Ефимов... посмотрим, кто кого!»

## Глава седьмая

На тюремных окнах ворковали голуби; воркование это иногда напоминало жалобный стон и усиливало тоску. Было так тихо, что слышно, как надзирательница, завтракая у окна, разбивала крутое яйцо. Иногда, становясь ногами на унитаз, Леля дотягивалась головой до окна и видела кусочек неба. В шесть утра надзирательница, проходя, стучала ей в дверь и говорила: «Подъем», надо было в ту же минуту вскакивать и стелить койку, которую уже не позволялось откидывать в течение дня; потом надзирательница говорила: «Хлеб и сахар», а еще через несколько минут: «Кипяток». Все это ставилось на доску перед окошечком. В середине дня полагался обед — щи из хряпы и каша; вечером — опять кипяток с хлебом.

На цементном полу была протоптана дорожка сотнями узников, которые бороздили его, шагая из угла в угол; и она ходила, как они. Надзирательница изводила, постоянно заглядывая в «глазок», то и дело слышался ее хрипловатый оклик: «Не закрывать головы полотенцем!», или: «Вы что там руку себе ковыряете? Смотрите у меня!», или: «Почему не едите? Есть надо: я за вас отвечаю!» Позволялось получать книги из тюремной библиотеки, но тоска, страх и отчаяние, душившие ее, не давали ей возможности углубиться в читаемое. Допросы — вот была ее мука! Чего еще хотел от нее следователь? Она была уже уличена, Олег — обвинен полностью, Нина — давно призналась, что покрывала Олега, и, по-видимому, под пыткой подписалась, что вела и поощряла их контрреволюционные разговоры; Леля сама видела подписанное Ниной показание. Казалось бы, не оставалось уже ничего, что можно

было еще выудить, а допросы все-таки продолжались! Нервы были мучительно напряжены; вот-вот войдет конвой, чтобы вести ее в кабинет № 13; она не была застрахована от этого даже ночью, очень часто следователь вызывал ее именно в ночные или вечерние часы, запугивая ее воображение. Она уже хорошо знала те нескончаемые коридоры, по которым ее вели и где гудели грубые выкрики и отборные ругательства, доносившиеся из кабинетов, мимо которых ее проводили, — в эти часы там допрашивали заключенных, а с ними церемонились еще меньше, чем с вызываемыми по повесткам. Далее начиналось обычное: «Садитесь. Ну, что — вспомнили что-нибудь?» — а вслед за тем угрозы и издевки. Он любил выражение: «рассказывайся до пупа», которое казалось особенно оскорбительным Леле. Допрос затягивался иногда до утра; следователь как будто забывал, что человек испытывает естественную необходимость остаться одному хоть на несколько минут. Это было утонченной пыткой, имевшей, по-видимому, целью поиздеваться над ее стыдливостью и воспитанием. Как бы ни было, она всякий раз держала себя в должных границах, преодолевая свои мучения. Была неделя, когда он вызывал ее каждую ночь, а между тем в течение дня раскрывать койку строго-настрого запрещалось; старая ведьма была тут как тут: «Захлопните койку! Никаких возражений! Порядок один для всех!» Чтобы обмануть ее бдительность и хоть немного забыться дремотой, Леля брала книгу и, делая вид, что читает, дремала, облокотясь на руку. Но стоило ей выпустить из рук книгу или уронить на грудь голову, раздавался окрик: «Не спать! Днем спать запрещается!» Пытка бессонницей! Кажется, она применялась к Каракозову? Но ведь Каракозов стрелял в Императора, а что же сделала она? Молилась ли за нее Ася в уголке за буфетом или шкафом, как в детстве? Где Ася? Жива ли мама? Сюда не доходит ни зова, ни отклика!

Один допрос был особенно мучителен: в этот раз ее допрашивали двое — следователь и его помощник; сесть не позволили, и она выстояла пятнадцать часов на одном месте, в то время как мужчины несколько раз сменяли друг друга и, по-видимому, даже успевали вздремнуть в одном из пустых кабинетов. Было часов шесть утра, в окнах начинался рассвет, когда они сошлись опять вдвоем и, приблизившись к ней оба с угрожающим видом, заложив руки в карманы кожаных курток, стали плевать ей в лицо, произнося неприличные ругательства; по-видимому, целью ставилось добить ее морально, потом один из кожаных рукавов взял телефонную трубку.

— Доставить немедленно в кабинет номер тринадцать... — и она услышала фамилию слишком хорошо знакомую! Она замерла, глядя на дверь. Опять встретились их глаза в пристальном и быстром взгляде... Он осунулся за это время, и еще заострились красивые черты; Леля заметила серебряные нити в пряди его волос — той, которая падала на шрам от раны.

«Здесь нет зеркала, и я не вижу себя; наверное, поседела и я!» — подумала она.

— Ну, вы друг друга очень хорошо знаете! Не правда ли? — спросил следователь.

— Мне очень прискорбно видеть вас здесь, Елена Львовна, — сказал Олег, вполне владея своей интонацией. — Я все время повторяю, что подлинная моя фамилия была вам неизвестна; к несчастью, мне не верят. Дело все в том, что я не Казаринов...

Но Леля замахала руками.

— Не надо, Олег, не надо! Я давно созналась... Спасибо. Не надо. Не вредите себе.

— Убедился, мерзавец? — вмешался следователь.

Но Олег пропустил эту реплику мимо ушей.

— Меня пытаются уверить, — спокойно продолжал он, — будто бы вы, Елена Львовна, показали, что я состоял в контрреволюционной



организации и открыто признавался в этом вам и Наталье Павловне. Разве вы утверждали это?

— Нет, нет! Я все время повторяла, что этого быть не могло и что я никогда не слышала об этом! — поспешно воскликнула Леля.

— Я был уверен, что это провокация, — все с той же интонацией продолжал Олег. — Но если и впредь у вас будут вынуждать какие-либо показания против меня — соглашайтесь со всеми: теперь мне уже все равно, а ваша участь... — Он не договорил: следователь сделал движение, готовясь ударить его по лицу, и Олег моментально с необыкновенной ловкостью перехватил его руку, а другой схватил табурет. — Не позволю! Допрашивайте, сколько хотите, а бить не смейте! Не позволю!

Два револьвера мгновенно уставили на него свои дула.

— Не испугаете! — усмехнулся Олег. — Я все ваши штучки знаю! Я, может быть, и хотел бы, чтоб вы меня застрелили, да не посмеете!

Леля в ужасе закрыла лицо рукавами серого тюремного халата. Выстрелят! Сейчас выстрелят!

— Конвой! — железным голосом проговорил в телефонную трубку следователь и прибавил, наверно, обращаясь опять к Олегу: — В «шанхай» и в карцер опять захотел?

Послышались тяжелые шаги конвоя, который был, по-видимому, наготове, поблизости.

— В карцер его! Хлеб и вода; синий свет; койку не откидывать вовсе! — отчеканил ледяной голос.

Леля открыла лицо, провожая глазами Олега; жесткий кулак ударил ей в висок, так, что она пошатнулась и вскрикнула. Олег стремительно повернулся было на этот полный испуга и ужаса вопль, но конвойные поспешно вытолкали его, схватив за локти и плечи.

— А ну-ка пойдем со мной! — зашипел следователь почти над ухом Лели. Обычно ее уводил обратно в камеру конвой, но в этот раз он не вызывал конвоя — они повели ее сами.

«Только бы не изнасиловали! Только бы не «шанхай»!» — думала она и следовала за ними, исподлобья с детским страхом взглядывая на них и то и дело нагибаясь, чтобы подтянуть большие, грубые, белесые чулки — а они опять спускались, ведь чулочный пояс был отобран.

Камера внизу, в подвале: полутьма, стол, два стула, настольная лампа, коммутатор. Она еще не бывала здесь. Следователь крикнул кому-то: «Пожалуйте!» И вошел человек — широкоплечий, с тупым, свирепым лицом; следователь сказал ему: «Вот всыпьте сколько потребуется», — взял газету и сел; человек схватил длинный хлыст и опустил его в воду... Леля с ужасом следила за ним глазами... Он размахнулся и изо всех сил хлестнул ее по худеньким плечикам и нежной груди! Кричать? Да ведь никто не придет на крик — он никого не удивит и не испугает!

Только когда Леля лежала уже на полу, следователь, наконец, сказал:

— Ну, как будто бы и довольно! — и махнул рукой страшному человеку, чтобы тот вышел, а сам зажег настольную лампу. — Вот обвинительный акт; здесь зафиксированы собственные твои признания в том, что ты покрывала классового врага. Даю четверть часа на ознакомление и чтобы все было подписано или я сгною тебя в лагере. К столу! Быстро!

Изнемогая от страха, боли и усталости, Леля послушно подписала. Шатаясь и держась за стены, она приплелась обратно в камеру и легла на свою койку, но окрик надзирательницы тотчас же вывел ее из небытия. Она не шевельнулась и только, зябко передернув плечами, поправила на себе пальто, которым закрывалась, как будто желая спрятаться. Женщина окликнула второй раз, после чего вбежала в камеру:

— Встанешь ли ты наконец?

Леля повела на нее глазами, под которыми лежали черные тени, и не шевельнулась.

— Ну что ж ты, оглохла, что ли? — крикнула та.

— Не могу, не встану.

— Как не встанешь? Не финтить тут! За неповиновение — карцер! Послушайся лучше добром.

— Нет, все равно не встану... не могу! — и Леля опять уронила голову. Начинался озноб; зубы ее стучали, ухо ныло — от ударов или от простуды, она сама не знала. Надзирательница постояла над ней и вышла. Часа через два дверь открылась, и Леля увидела незнакомую женщину в белом халате. У нее было необыкновенно длинное лицо и тяжелая нижняя челюсть, во всем облике ее было что-то лошадиное. Леля не знала, что женщина эта, исполнявшая обязанности врача, уже давно получила между заключенными кличку «Лошадь».

— На что вы жалуетесь? — спросила Лошадь.

Леля села на койке.

— Избита. Грудь и плечи. Ухо тоже болит.

— Покажите. — Голос звучал официально: ни удивления, ни сострадания. Дело, по-видимому, было привычное. Леля обнажила лилово-синие подтеки.

— Свинцовые примочки и «solux», — сказала Лошадь, поворачиваясь к двери.

— У меня нет сил встать, — промолвила Леля.

— Больным разрешается лежать, — сказала, уходя, Лошадь.

«Solux» и свинцовые примочки остались пустым звуком; надзирательница, однако, не тревожила.

К вечеру боль в ухе и виске стала невыносима; не находя себе места, Леля то садилась, то ложилась и, наконец, стала стонать. Надзирательница — другая, ночная — заглянула в «глазок».

— Чего это ты? Шум производить запрещается! Тихо сиди.

— Не могу. Ухо болит. Терпения больше нет. Вызовите еще раз врача. Плохо мне, — бормотала, мотая головой, Леля.

— Врач будет только утром, а пока, хошь не хошь, терпи. Горячей воды могу дать, грелку сделай.

Но намоченный платок тотчас остывал, и Леля попросила бутылку.

— Это уж ты оставь. Бутылку ты, может, разобьешь да стекла есть станешь, а я отвечай, — было ответом.

Только в середине следующего дня пришла вызванная Лошадь. Вырываясь из забытья, Леля с трудом повернула голову и не отвечала на вопросы.

— Перестарались: без больницы не обойтись, — услышала она слова Лошади, обращенные к надзирательнице.

А потом наступило беспамятство.

Приходя на короткое время в себя и оглядывая серые стены палаты и белые халаты персонала, Леля несколько раз думала: «Больница... может быть, это наша — имени Гааза? Если увижу кого-нибудь из знакомых сестер, попрошу, чтобы узнали, жива ли мамочка. В такой просьбе не откажут... шепнут незаметно. Все-таки люди — не звери».

Скоро, однако, выяснилось, что она лежит в Крестах, и рядом нет никого, кто бы исполнил эту просьбу. У нее оказался мастоидит, и она проболела около месяца. Еще недавно болеть было в своем роде удовольствием: мама всегда рядом, кружится у кровати Стригунчика, как птица над гнездом, приносит в постель «чаёк» и «бульончик»; Ася забегает каждый день навещать, щебечет, сидя на краю постели; всеобщее внимание и нежность еще усиливаются — само желание окружающих побаловать уже создает особо нежную, сердечную атмосферу. Букетик анемонов от Аси, коробочка мармеладу от Натальи Павловны, сладкая булочка, купленная мамой на последний рубль, — уже огромная радость при их скудных достатках. Все это получило в ее глазах огромную цену теперь, когда уже навсегда ушло! Здесь — равнодушные лица, холодное молчание, быстрые подозрительные взгляды и сковывающий страх перед самым ближайшим будущим. Лежи и молчи, когда ухо и голову сверлит мучительная боль. Нельзя лишний раз подозвать, окликнуть; если и жалеют, все равно не обнаружат жалости — боятся, дали подписку; она ведь хорошо все это знает.

Едва лишь упала температура, как тотчас ее перебросили обратно в камеру. Опять одиночка, не та, но такая же: так же приносили ей хлеб и кипяток, так же швырнули тряпку для уборки, днем те же щи и каша... На второй день забрякал засов; звук этот вызвал жуткие ассоциации; отпрянув к стене, она впилась глазами в ничего не выражающее лицо конвойного. Ее повели, но при этом повернули в другой конец коридора, и переходы пошли сразу же незнакомые. Через несколько минут, стоя между двумя конвойными, в незнакомой комнате, она услышала:

— Согласно постановлению тройки огепеу... — и потом пошли какие-то номера и параграфы и все время мелькали слова «контрреволюция» и «враг народа». Что бы это могло быть? Приговор? Но ведь суда еще не было! И вдруг она услышала слово «приговаривается». В ней все дрогнуло и мучительно насторожилось. Между этим словом и следующим прошло не более полсекунды, но в голове успели промелькнуть мысли одна тревожней другой: «Только бы ссылка с мамой и Асей! Господи, помоги! Сделай, чтобы не лагеры!»

И вдруг она услышала слово, которое было четко и злобно отчеканено, буквы «р» особенно раскатистые, как будто выговаривание этого слова доставляло особенное удовольствие тому, кто читал: «К высшей мере наказания через расстрел».

— Расстрел?! Как?! Расстрелять меня? Меня расстрелять? Да ведь я ничего не сделала! Я... Я... — она задохнулась. Оказалось почему-то, что она уже сидит, и конвойный держит около ее губ кружку с водой.

— Выпейте, гражданка.

— Расстрелять меня? Но ведь я...

Тут подошел «он», и расширенные зрачки кобры, которые преследовали ее в недавнем бреду, взглянули на нее. Она моментально затихла и сжалась. Сейчас он скажет: «Ведите ее на расстрел немедленно». Но он сказал совсем другое:

— Вы имеете право в течение ближайших нескольких дней подать в Москву просьбу о помиловании, и расстрел, возможно, будет заменен концлагерем.

Леля не сразу поняла, он повторил и прибавил:

— Будете подавать или не будете?

— Да, да, конечно, буду! Непременно! А меня не расстреляют тем временем?

— Приговор приводится в исполнение через определенный срок, в течение которого тот или иной ответ обязательно будет получен, — опять отчеканил он и отошел, скрипя сапогами.

Дрожащей рукой подписала Леля бумагу, которая, по ее мнению, составлена была далеко не убедительно. Она непременно хотела, чтобы были помещены разъяснения, такие, как: «Мне только 22 года, и я очень хочу жить», и еще: «Я никогда ничего плохого не делала». Но составляющий бумагу юрист категорически их забраковал. Прошение получилось слишком официальное и сухое, по мнению Лели, но она не посмела настаивать, замирая от опасения, что они скомкают бумагу и скажут: «Если вы будете капризничать, мы вовсе не пошлем прошение».

Страшно возбужденная, с сухими глазами, закусив губы, металась она весь день по своей камере: «А вдруг меня расстреляют, прежде чем придет ответ? А вдруг откажут в помиловании? Что будет с мамой, если она узнает?! Олег... если меня, то уж его-то тем более... Ася! Слав-

чик! Как же они? Сегодня маму и Асю, наверно, выселяют как ближайших родственников тех, кто к высшей! Куда же они поедут?»

Едва лишь дали отбой, она забралась на койку, и тут ею внезапно завладел новый строй мыслей.

Смерть... она совсем близко... Почем знать — может быть, в эту же ночь. Есть ли что-нибудь по ту сторону жизни или ничего нет? Лицом к лицу перед неизвестностью! Лелю учили верить, и она верила, но почему она так мало думала о будущей жизни? Иисус Христос учил всех любить, в Евангелии столько чудесных слов об этом; в церкви читают и поют о подвигах духа, о молитве, о вере, о Причастии... а она словно мимо проходила! Ведь знала же, что умрет когда-нибудь... Она никому не делала зла, но и добра почти никому. Она всегда думала в первую очередь о себе. Мама, папа, дедушка и бабушки, прислуга, а позднее и Ася, и мадам, и Сергей Петрович — все существовали, казалось, для того только, чтобы ей веселее и легче было жить! С мамой она постоянно была дерзка. Правда, всю до копейки зарплату отдавала в ее распоряжение, всегда спрашивала позволения уйти в гости или в театр, но при всем том все-таки маму третировала; если даже маму целовала — точно одолжение делала! Почему же, однако, никто — ни один человек не сказал ей ни разу: ты мало любишь людей, даже родных тебе, ты не следуешь заветам Христа! А между тем сколько тысяч раз ей повторяли наставления, как владеть ножом и вилкой! Ее задаривали игрушками в дни Рождества и Пасхи и приглашали к ней детей, разодетых, как куклы, но никто ни разу не шепнул: «Сбереги святость этого дня!» А потом, когда жизнь переменилась и пришли испытания, ее все жалели, но и тут никто не напомнил о любви и терпении, о кротости. А с другой стороны, кто же жил лучше? Из всех по-настоящему добры только мама и Ася. А впрочем... как увязать с христианской любовью мамино «du простой» и ту пренебрежительную гримаску, с которой она отзывается о каждом, кто не насчитывает за собой хотя бы четырех поколений? Приблизиться к ангелам и святым Леля недостойна... Кого же она увидит, когда ее пробьет пуля? Темноту? Жутких, разлагающихся, уродливых существ, которые окружат и будут мучить? Геенну огненную? Тогда уж лучше совсем ничего! Страшно, страшно!

Она лежала лицом к стене, схватившись за виски обеими руками, и ужас заполнял без остатка все ее существо.

«Я, кажется, даже молитвы забыла! Только «Отче наш» и «Верую» помню, — и уже хотела прочесть их, как услышала бряцание затвора.— За мной», — и села, чувствуя, что холодный пот выступает у нее на лбу.

— Собирай вещи и выходи, — услышала она оклик конвойного и дежурной надзирательницы. Она вскочила.

— Нет, нет! Я не пойду. У меня послана просьба о помиловании. Следователь мне сам обещал, что меня не расстреляют, пока не придет ответ. Не пойду. Нет, нет!

— Экая бестолковая! Сказано ведь — с вещами выходить, а нешто на расстрел с вещами ведут? На том свете не нужно твое барахло. В другую камеру тебя переводят, только всего и есть, — усмехнулся конвойный.

Леля вздохнула несколько свободней.

— В другую камеру? Правда? Вы, может быть, нарочно говорите?

— Станем мы еще выдумывать! — сказала надзирательница. — После приговора в одиночках не держат, таков уж порядок. В общую пойдешь, к смертникам.

— Что?! К смертникам? Не пойду. Нет, нет! Оттуда не возвращаются! Бумага о помиловании придет сюда, и если меня не будет...

— Чего городишь? Пойдешь, коли велят. Сейчас собирай тряпки. Не затеряется твоя бумага.



Леля в отчаянии уцепилась за койку, но грубая рука схватила ее за плечи.

— Слушаться! Некогда нам тут с тобой хороводиться! Ну! — В голосе уже послышалась угрожающая нота.

Вся дрожа и всхлипывая, она стала собираться: накинула пальто, повязалась шарфом и вышла в темный, холодный коридор.

— Господи! Помоги, защити! Прости, что я так дерзка была! Прости мне всю мою жизнь, — шептали дрожащие губы. — Хоть бы увидеть Олега или Нину Александровну: я возьму их за руки... не так страшно, как совсем одной. Пожалей и не осуди меня, Господи!

Она уже покорилась и затихла, только изредка судорожно вздрагивала. Долго шли холодными, темными коридорами; в одном из них, наконец, остановились; опять забряцал затвор — камера смертников... Обреченные, такие же, как она!

## Глава восьмая

Олег отказался подписать обвинительный акт, несмотря на щедро применяемые «методы воздействия», и это усугубило тяжесть обвинения. После того, как приговор о расстреле был зачитан, его перевели в камеру смертников. Подать просьбу о помиловании он не захотел, не надеясь на успех и считая это напрасным унижением; притом смертный приговор мог быть заменен в лучшем случае двадцатью годами лагеря, а это казалось ему страшнее расстрела.

Смертники имели одну льготу: им не возбранялось лежать с утра до вечера на откинутой койке; для того, кто был измучен допросами и карцерным режимом, это было наслаждением — последним, которое еще оставалось в ожидании развязки. Увидев откинутые койки и угрюмые фигуры, распростертые на них, Олег тотчас откинул свою и тоже улегся.

Выкрашенная серой масляной краской стена около его койки была испещрена надписями, сделанными карандашом; он прочел некоторые: «Долой Сталина!», «Умираю ни в чем не повинный», «Оставь надежду навсегда, сюда вошедший!» Последняя фраза уже давно занимала его воображение и теперь прозвучала, как тема рока в симфонии Бетховена.

То неизбежное, что он всегда ждал, приблизилось. Бедная Ася! За эти три неполных года счастья она поплатится теперь целой жизнью: биться с двумя детьми в глухом, далеком углу, в ссылке, отмеченная, как проклятьем, знаменитой княжеской фамилией и белогвардейским прошлым мужа! В деревне, в избе, на лежанке... Хорошо, если среди русских, а то как загонят к киргизам или якутам... Сознание Славчика будет формироваться в сельской семилетке, где ему на каждом уроке будут внушать на якутском языке, что его отец — враг народа и мерзавец... Он возненавидит свое имя и не захочет прийти даже на могилу отца... а впрочем, ведь у Олега не будет могилы!..

Мысли его были прерваны бряцанием затвора; принесли нарезанный порциями хлеб и кипяток в чайнике, который поставили на стол посреди камеры. Сумрачные фигуры зашевелились, разбирая и наполняя металлические кружки при тусклом свете маленькой лампы под потолком.

— Ну, сегодня уж я в остатний раз чайком греюсь; сегодня в ночь уж беспременно придут за мной. Я уж всех тут пересидел. И тебя, паря, поди, прихватят, засиделся и ты, — сказал молодой вихрастый уголовник, обращаясь к товарищу — самому юному в камере.

— Отстань, — огрызнулся тот, передергиваясь. Олегу бросился в глаза его пришибленный вид.

Но вихрастый парень не захотел отстать:

— А ты повеселей немножко: нюни-то не разводи. Бога, что ли, боишься? Небось не засудит, оттого что ничего-то там, по ту сторону, нет — пар вон, и вся недолга.

— Попридержи язык, не всем твои шутки по сердцу! Лучше бы молитву прочел, чем глумиться тут, — прикрикнул кто-то басом из угла.

— А что мне молитва? С такой катушкой, как у меня, к чертям разве, и там, почитай, не примут, — засмеялся принужденным смехом приговоренный.

«Бандит, наверно», — подумал Олег.

— Молчи, говорю, — повторил тот же бас, и снова стало тихо.

— Не видать и не видать нашей Матушки Узорешительницы; стало, Господь наложил запрет ей прийти в нашу камеру, заказал путь! Ох, ох-ох, грехи наши тяжкие! Не придтить ей, никак не придтить! — заохал вдруг маленький старичишко, ставя на стол кружку.

— Кого вы ждете? Разве дают свидания осужденным на высшую?— спросил, настораживаясь, Олег.

— Какй такй свидания? С ней, со Смертью-матушкой разве что свидание нам заготовлено! — опять заохал старик.

— Так кого же вы ждете в таком случае? — опять спросил Олег.

— Вас только что перевели сюда, а мы все его рассказы уже наизусть знаем, — заговорил человек интеллигентного вида, еще молодой, но с профессорской бородкой, — он святую Анастасию Узорешительницу, видите ли, поджидает, но высокая гостья заставляет себя слишком долго ждать.

— Анастасию Узорешительницу? — переспросил с удивлением Олег.

— Да, ни больше ни меньше! Рассказывает длинную историю, как эта высокая особа, специальностью которой стало утешение заключенных, забрела раз, оставаясь невидимой конвою, к таким же смертникам, как мы с вами. Кого-то она ободрила обещанием помилования, а на нескромный вопрос ответила, что этот человек с ней увидится в одном из московских переулков. Когда же сей счастливец, получивший и в самом деле помилование, пошел вскоре после этого в Москву, и именно в тот переулок, он вошел в маленькую церковь, мимо которой проходил, и увидел икону святой Анастасии, в которой будто бы признал неизвестную женщину, приходившую к нему в камеру. Обслуживавшая церковь монашка, которой он рассказал случившееся, разъяснила ему при этом, что такие случаи уже бывали и она наблюдала много благодарных клиентов. Как вам нравится такое повествование?

— Я счастлив был бы, если б мог этому поверить, и не вижу здесь ничего, над чем можно было посмеяться! — ответил Олег. — Это все очень трогательно.

— Вы по пятьдесят восьмой, очевидно? — спросил интеллигент, приглядываясь к нему.

— Точно так. Очевидно, и вы?

— И я. Приклеили мне контрреволюцию за то только, что я позволил себе несколько неосторожно высказаться по поводу черепов отсталых рас, а именно: отметить некоторое различие в их строении с черепами русских. Обвинили в злостном расизме, — и ученый усмехнулся. — А вы?

— Я — гвардейский офицер в прошлом. Гепеу стала известна моя подлинная фамилия.

— Какая же именно? — спросил интеллигент, снимая очки.

Олег назвал себя, и они обменялись рукопожатиями.

— У вас семья? — спросил ученый.

— Жена и ребенок, — и, не желая затягивать разговор, Олег поклонился и ушел на свою койку.

Через несколько минут дали отбой, и установилась тишина; только старичок шептал на коленях молитву.



Олег вспомнил картину, которая была создана под впечатлением его фантазии, — княгиня Дашкова рассказывала однажды знакомой ей художнице, каким рисуется ад в воображении ее сынишки, и та изобразила на полотне кудрявого ребенка, который огромными испуганными глазами смотрит на призраки зла — страшные рептилии, кишащие в темной пещере. Головка ребенка была окружена нимбом, который говорил о его незапятнанности.

«Таким я и был тогда, но с тех пор было столько горя и боли, крови и зла. Теперь я могу надеяться только на милосердие; как в той заветной молитве: яко разбойник исповедую... Подлости я за собой никакой не знаю, за тех, кого я люблю, я жизнь отдам, но тех, кто вне моей орбиты, я любить не умею. Ася права: я слишком горд!»

И он вспомнил слова своей жены: «Я хочу, чтобы сердце твое распространилось».

Она тогда расчесывала волосы, и точеное, как у камеи, лицо было окружено их мягкими душистыми волнами... Откуда взяла она эти слова? Ася! Вот она всех жалела! И мужа, и собак, и этого уродливого ребенка, и даже цветы... Она никогда не жаловалась, не упрекала... качество, редкое в женщине! Если она огорчалась, то только «сворачивалась», как мимоза. Было что-то детское в той ласке, с которой она прижималась к нему: трется, как котенок, о его плечо и ерошит ему волосы... Ему вспомнилось, как один раз она его упрекнула, да, упрекнула! При этом воспоминании густой румянец стыда залил его лицо... Это было за два дня до рождения Славчика! Прежде подвижная, тонкая, резвая девочка изнемогала под тяжестью десятифунтового ребенка; жизнерадостность начала ей изменять; она, видимо, истосковалась ожиданием и огромным животом — ни сесть, ни лечь, ни наклониться... В этот вечер, когда они ложились в своей спальне, она прибегла к обычной уловке... О, он хорошо знал эти уловки — ляжет, бывало, и закроет глаза: делает вид, что заснула... Она это часто проделывала, но в этот раз он не пожелал уступить — ему досадным показалось это постоянное желание избегнуть страстных ласк. Даже странно было, что это — такое юное, и влюбленное, и ласковое — существо оставалось таким бесстрастным! Он насильно повернул ее к себе... Она молчала, но после, когда он опять уложил ее, закрыл, перекрестил и, целуя в лоб, сказал «спокойной ночи», она вдруг проговорила с жалобой в голосе: «Сегодня уж ты мог бы оставить меня в покое», — и обиженно уткнулась в подушку.

«Сколько надо было иметь эгоизма и чувственности, чтобы заслужить такой упрек! Да, мы — мужья — бываем слишком часто и грубы, и безжалостны. А вот теперь на нее одну ляжет вся тяжесть семейной жизни: она останется одна с двумя младенцами... с двумя! Смерть, да — смерть, теперь, когда я так нужен и семье, и Родине, когда, наконец, счастлив... смерть!»

Чей-то голос сказал:

— Ну вот и накликали — идут!

А другой подхватил:

— И впрямь идут. Ну, братцы, крышка!

Олег приподнялся на локте, прислушиваясь: из коридора доносились голоса и бряцание затворов.

— Не к нам, — сказал кто-то.

Но как раз в эту минуту стали отворять камеру.

Олег сел на койке, чувствуя, как тревожно отбивает дробь его сердце.

Надзиратель и конвойные остановились в дверях.

— Выходи, кого назову: Иванов, Федоренко, Эрбштейн, Муравин.

Заключенные один за другим подымались с коек. Последняя фамилия принадлежала молодому ученому.

Олег схватил его руку и крепко пожал.

— Спасибо, — проговорил тот.

— Прощайте, товарищи! — обрывающимся голосом крикнул уже с порога уголовник — тот, который был всех моложе.

— Того же и вам желаем! — бравируя, развязно выкрикнул его вихрастый товарищ и взмахнул шапкой.

Дверь за партией затворилась.

«Маленькая отсрочка! — подумал, опускаясь на койку, Олег. — Отчего так колотится сердце? Кажется, трусом я никогда не был! И зачем они медлят? Только затягивают агонию. Еще ночь или несколько ночей до тех пор, пока в одну из них...»

В тот день, скитаясь из угла в угол по камере, он прочел одну из надписей, не замеченную им прежде: «Корабль уплывал к весне».

Весна — одно из многих нежных наименований, придуманных им для Аси, и, стоя перед надписью, Дашков вдруг ощутил, что это и есть его последнее свидание с Асей на земле.

Через час или два, когда все хлебали суп, седой старичишко, тщетно поджидавший Анастасию Узорешительницу, вдруг забормотал:

— Сегодня, должно, придут меня ослобонить. Вы вот все только потешаться над стариком умеете, а кабы вы побольше веровали, может, она и вошла бы к нам — Матушка Анастасия; теперича только у двери малость постояла, а и то в камере стало ровно поблагодатней; я вот, убогий, учуял в сердце своем. Неужели вовсе никто того не заприметил?

— Кажется, я заметил что-то! — вымолвил Олег и смутился.

Один из «пятьдесят восьмых» сказал:

— Вот и сладь тут с верующими: на все свое объяснение подыщут — не надула, мол, а не учуяли по причине вашей же толстокожести — на-кось, выкусите!

— Смейся, милый человек, смейся, а только меня ослобонят сегодня, — настаивал старик. — Вот помяни мое слово: она, Матушка, на то и приходила, чтобы утешительное слово сказать.

Олег пристально взглянул на старика.

— За что приговорен? — спросил он, изменяя своей привычке не задавать вопросов.

— Монашек из Страстного монастыря. Обитель нашу вовсе порешили, а меня на поселение упекли да на отметку взяли. Спервоначалу на Север: едва Богу душу не отдал — гоняли нас безо всякой жалости, скользили мы по наледям, руки да ноги ломали, н голода и холода натерпелись — курочку мою черную я на руках тащил; благослови ее, Господи! Одна-то она жалела меня, убогого; кажинный день по яичку мне несла, силы мои поддерживала; да после, как в Узбекистан нас перебросили, еще пуще ожесточились наши гонители: отобрали и мою курочку. В песках горше, чем в сугробах: народ пошел злой, горбоносый, христианской веры вовсе ни в ком не встретишь; тоска забрала — сбежал, и с тех пор не сидится нам, бродяжничаем. Раз случилось в одном селе мне перед сходкой против колхоза ратовать, оттого что родом я псковской крестианин; ну, а как изловили, одно к одному все и засчитали: злостный вредитель, заявили мне. Тем только утешаюсь, что хоть и краешком, а все за веру Господню претерпеваю!

«Святая простота!» — подумал Олег.

Гордая душа все еще себя и свои чувства ставила выше окружавших.

День, однако, не принес ничего нового. Дали отбой.

В камере смертников никто не засыпал тотчас после отбоя: настороженное ожидание отгоняло сон, и лишь после того как проходили те первые часы, в течение которых всего чаще являлись за приговоренными, или когда конвой уже удалялся, сон смыкал усталые веки измученных людей.



Лежа на своей койке, Олег внимательно вслушивался в тишину, царившую в коридоре. Прошло около часа, и вот гулкие тяжелые шаги, еще отдаленные, коснулись его слуха.

«Идут», — подумал он.

— Идут, — проговорил кто-то, и головы начали подыматься.

— Принесла нелегкая, — отозвался кто-то из уголовников.

Шаги неумолчно приближались, и вот послышались обычные переговоры с надзирателем и бряцание затворов.

«В этот раз не минуют», — подумал Олег, все так же вслушиваясь.

Тронули затвор, и в бряцании его прозвучала та же неумолимость.

Послышалась команда:

— Семенов Илья!

За стариком! С невольным участием и симпатией Олег повернулся к нему, забыв на минуту о себе.

— Никак, меня? Экая оказия, Господи Батюшка! Как же так оно получилось? — забормотал тот, крестясь.

— Вот тебе и Анастасия Узорешительница! — крикнул один из уголовников.

Олег только что хотел осадить того, кто позволил себе этот выкрик, но как раз услышал:

— Дашков Олег!

Легкий озноб прошел по его спине.

— Я, — откликнулся он и встал. — Ну, старик, пойдем! Кто-то в самом деле стоял у двери в ту ночь, только слов мы с тобой не поняли.

Больше никого не вызвали. Из коридора вывели в другой коридор, а потом на лестницу, где уже стояла готовая партия и вооруженная охрана. При выходе на тюремный двор свежий, живительный воздух коснулся лица. В груди — словно туго натянутая пружина. Он думал — тут же поставят в ряд, но увидел три «черных ворона»; их погрузили. Опять отсрочка — куда-то повезут. Это, кажется, делается в Разливе... Натянутая пружина несколько ослабела, и снова закружились мысли о семье: «Ася придет справиться... ведь брякнут ей без подготовки. Сейчас уже седьмой месяц — не случились бы преждевременные роды!»

Кто-то рядом с ним сказал:

— Товарищи, а что если нас на вокзал — и в лагеря?

— Ну да! На вокзал! Как же! Приказа о помиловании не зачитали, вещей забрать не велели... С такого паровоза прямое сообщение на тот свет.

Один старый мужчина вдруг зашатался и взялся за голову. Олег поддержал его.

— Спасибо, — сказал тот, — вы, очевидно, по пятьдесят восьмой?

— Да, — коротко ответил Олег.

— Я тоже. Я подумал сейчас о жене: она совершенно одинока, ей шестьдесят лет и у нее порок сердца. А у вас есть семья?

— Да. Моей жене только двадцать два года, и она остается с двумя младенцами, — и Олег умолк, чувствуя, что ему зажимает горло.

Кто-то сказал:

— Нет, брат, это не вокзал! Лисий Нос или Разлив — вот это что!

— Ай, изверги! Ай, мерзавцы! Ни в какой контрреволюции я-таки не повинен! Она и не снилась мне! Обвинение за уши притянуто! — тоскливо воскликнул вдруг с явно еврейским акцентом худой человек в очках и схватился обеими руками за голову.

— А я ведь в прошлом эсер, — заговорил другой приговоренный, — сколько раз при царе в ссылках был. Вот уж не думал не гадал, что заслужу такую благодарность, — этот голос звучал спокойно, несмотря на глубокую горечь, которая в нем слышалась.

— Господи, помилуй меня, грешного! — шептал монашек около Олега, — начинать, что ли, канон на исход души?

Дрогнули, когда машина внезапно затормозила.

— Эй, сволочи, выходи! Стройся по пять штук в ряд. Руки в заднее положение, — и вооруженные охранники толпой обступили их.

Подошли еще две машины; слышно было — плакали женщины; одна вскрикнула, и Олегу показалось, что он узнает голос Нины.

Он огляделся: пустое низкое место, высокая стена, увенчанная колючей проволокой, и открытые ворота — там тот двор, который ему столько раз снился!

Остается всего лишь несколько минут... Наступает великая перемена. Вместе с телом отпадут все привычные условия существования и многое, что казалось значительно и дорого... Все, но не любовь к Асе! Любовь останется! Конечно, она связана с телом и бьется в каждой жилке мужского организма, но она прорастает и глубже, и если физическая оболочка сейчас отпадет — любовь останется! Сейчас — за две или три минуты до смерти — ему это совершенно ясно, и это именно ощущение несет в себе предчувствие бессмертия.

Ему завязывают глаза; он стал было освобождать рукой защемленную прядь волос, но тут же усмехнулся: что значила боль натянутого волоса, когда сейчас засадят в грудь целую горсть свинца?

— Не надо! — сказал он, срывая повязку.

— Долой узурпатора революции! — крикнул эсер.

Восклицание это оторвало мысли Олега от личного.

Он вдруг стал думать, что дóлжно крикнуть ему в эти последние минуты. Он почувствовал небывалую, огромную любовь к Родине, будто все те годы, которые он самоотверженно отдал служению Ей, слились в одну золотую минуту. И он задохнулся, сладостно шепча одно только слово:

— Россия!..

Ночное небо было над его головой — высокое, далекое, звездное! Свет звезд проснлся в душу. Ненависть и обида, еще недавно клокотавшие в его груди, стихли; презрение, гордость и вся узкая классовость, замкнувшая все лучшее, что было в нем, — все это ощущалось теперь как нечто второстепенное, поверхностное, наносное перед тем, что концентрировалось в груди — там билась любовь, перераставшая рамки тела, и заливало всю душу настороженное и трепетное ожидание предстоящего. Новая насыщенная жизненность охватила его, а тело в мучительном напряжении ждало удара.

Было два светлых образа в его жизни — две привязанности; все лучшее в нем связывалось с ними — в детстве и юности — мать, позднее — Ася. Над ними — именно в этой самой высокой точке души — реял, казалось, призрак России.

— Господи, спаси мою душу! Яко разбойник исповедую. Мама, родная, дорогая, если ты жива — ты меня видишь и слышишь! Приди же и встреть своего сына...

Толчок в грудь. Земное кончено. В том теле, которое упало, уже нет души. Жизнь или смерть? Свет или темнота?

*Продолжение следует*

# ПОЭЗИЯ



## АНАТОЛИЙ БРАГИН

### *Идиллия*

Работали за трудодни
Они на молотилке,
А в перерыве...
Вот они —
Пьют из одной бутылки.

Нет, не вино, а молоко,
Закусывая хлебом.
И все идет у них легко
Под лучезарным небом.

Он опоясал палец ей
Соломинкой ржаной,
Как будто молвил:
Будь моей
Законною женою!

Она сменила цвет лица —
Яичный на клубничный,
Увидев золото кольца
В соломинке обычной.

Они давно уж старики,
Их знает вся округа.
Их отношения крепки —
Соломинка порука!

### *Генерал*

А генералу в электричке
Неловко ехать без привычки
И все ж он едет, шут побрал!
Ведь он отважный генерал!

На голове его папаха,
Как будто шапка Мономаха,
Большие звезды на плечах
И блеск воинственный в очах.

И на него народ глазеет
Немного искоса. Не смеет
Смотреть он прямо на него,
На генерала самого!

Случись чего, вся это масса —
Лишь только пушечное мясо
Иль жалких беженцев толпа...
И у него своя судьба.

---

## НИКОЛАЙ ДЕНИСОВ

### *По дороге домой*

За февральской круговертью —
Никаких былых чудес.
Чисто поле пахнет смертью,
Гербицидами словес.

То ль луны мелькает плошка,
То ль гнилушки комелек,
То ль морозною морошкой —
Поздней баньки огонек?

Бесенят ли буйных свиту
Баламутит старый бес?
То ль челом Хрущев Никита
Просиял и вновь исчез?

Хорошо в хлеву корове
Поджидать сенца, мыча.
Дум ее не застят брови
Леонида Ильича!

Ну а тут бредешь угрюмо
В ледяной морозной мгле
С перестроечною думой
На ознобленном челе.

Ничего, привычен вроде!
Где там к дому поворот?
Кто там в снежных джунглях бродит,
Уж не здешний ли Полпот?..

## *Инопланетяне*

Среди простых забот о хлебе
Нам, может, даже повезло:
Теперь кружит не коршун в небе,
А серебристый НЛО.

То возле речки, на поляне,
То в людном парке в выходной
Гуляют инопланетяне —
Привык и к ним народ честной.

Что нам сулят они — удачи?
Не знаю, многого не жду!

И Русь, изверясь, пьет и плачет
У сих пришельцев на виду.

И я, угрюмо размышляя,
Слагаю, думою томим:
Зачем ты, партия родная,
Так попустительствуешь им?

Но вновь — они! — статья в газете.
И всё у них, как у людей.
«Как скучно...» — Гоголь бы заметил
А Ельцин гонит лошадей.

## *На сибирской пристани*

Мужик был трезвым,
как пустой стакан.
Речной причал закатом был украшен.
Я речь повел,
мол, видел много стран.
Он оборвал:
— А мне хватило вашей!

Я проглотил глухой обиды ком:
— Да Бог с тобой,
коль ты такой везучий,
Вон пароход, катись ты прямиком
На Север свой! — И кепку нахлобучил.

Как много их, копя к эпохе злость,
Бродяжа тут — при силе и при хватке,
Ушло в бичи иль в сферы вознеслось
На нефтяной сибирской лихорадке.

— Ну, ладно, друг, ты тоже не дури! —
Он взял меня за лацкан, —
ну, манеры! —
Я что скажу: да здравствуют цари —
Хранители Отечества и веры!

Я так и сел на ржавый парапет:
— О, Боже мой, зачем такие страсти?!
Какая связь?..
— Прямой как будто нет! —
Он похрустел браслетом на запястье.

И вдруг вскипел, выплескивая грусть,
И распалясь, кричал, как будто лая:

— Цари-то что! Поцарствовали — пусть.
Алешку жаль — парнишку Николая...

Теперь мужик сглотил обиды ком
И устремил в пространство
взор колючий:
— Я сам читал, как он его — штыком, —
Цирюльник этот, Шая, гад ползучий!

Со всех щелей повыползли они!
Теперь бегут, почуяли оплошку,
А было ведь, куда перстом ни ткни, —
Везде они пануют...
Жаль Алешку...

И тут он встал, большой, у лееров,
Взвалил рюкзак:
— Прощай... какие речи... —
Потом с борта махнул мне:
— Будь здоров!
Я не сержусь...
Такая, в общем, встреча.

Потом зажглись на мачтах фонари
И, берега и воду баламутя,
Вновь донеслось:
«Да здравствуют цари!»
Да, может быть...
При нынешней-то смуте.



## ГЕННАДИЙ ДУБРОВИН

* * *

Ты жаждешь испытанья силы —
Благословенья попроси
У матушки своей России,
У бабушки своей Руси.

И хоть ты сам не суеверен
Пусть осенят тебя крестом, —
Твой жизни путь никем не мерян,
И нет дорог в лесу густом.

* * *

Как духи вечности, снега
Сошли с небес стопой тишайшей
И негой сна всеочищающей
Сокрыли жизни берега.

Мир стал прекрасен, светл и чист,
И первозданно непорочен, —
Но он страшил сердца и очи,
Он был как будто приурочен
Ко дням некалендарных числ,
Где жизнь и смерть теряют смысл.

* * *

Лето хлопочет о хлебе,
Как тысячу лет назад,
И даже мысли о небе
Поверху где-то скользят.

Так в мире нашем устроено
Хоть гложет порою тоска,
Что умирает история
Без хлебного колоска.

* * *

Полегли, пожухли травы
Под косою острой,
Но какой стал воздух пряный,
Мир какой стал пестрый.

Успокоились коровы
И быки довольны, —
Жить ценой зеленой крови
Никому не больно.

* * *

Все откровеннее короче дни,
Все откровеннее длиннее ночи.
Моя душа еще понять не хочет,
Что скоро станут вечными они.

Как две звезды, покатятся глаза,
На краткий миг прибавив в небе света, —
Весь мир увижу за мгновенье это
И всех веков услышу голоса.

* * *

На речку, на сады, на дачи
Луна струит свой свет незрячий,
Даруя благостную тишь,
И только шелестит камыш
Свои египетские речи
На древнем неживом наречье.

Но ты им в тишине внимаешь
С привычным вечным — глаз на глаз,
И, мысль минуя, понимаешь,
Что тишина есть Божий глас...

И мир пространства разверзает
И больше сердце не терзает.

* * *

У природы первым делом — роды —
Вот ее религия и Бог.
Миллионы лет земля и воды
Исполняют свой священный долг.

Но рожать природе все труднее
В противозачаточный наш век, —
Страшно, как бесчинствует над нею
Оплативший похоть человек.

# ПРОЗА

ЛЕОНИД КОКОУЛИН

# ЗАТЕСКИ К ДОМУ СВОЕМУ

ПОВЕСТЬ

Место под постройку зимовья предложил Анисим. Походили по берегу, еще присматриваясь, приглядываясь, не так-то просто оказалось угодить Грише и себе.

— Ну куда ты его, папаня, задрал? Куда? — заспорил Гриша.

— Как куда? Чтобы видимость была со всех сторон, чтобы вода не смыла, — выставил Анисим доводы.

— Тут не смоет, — Гриша потоптался на границе, где вода отчеркнула отметку паводка, и стал доказывать: — Вот здесь. И спуск хороший, из окна можно воду доставать...

— И удочку забрасывать, — дополнил Анисим.

— А что. Я и не подумал, — признался Гриша.

— Ты не учитываешь, что в сто лет раз паводок скачет. Так погляди, — заглянул и сам Анисим за прибрежный кустарник, где виднелся плавник. — Где твоя черта?

— Может, кто его туда натаскал, — не сдавался Гриша, но уверенность в правоте ослабла.

— Паводок. Кто еще... Стало быть, случится как-нибудь, река выйдет из себя, подхватит наше зимовье, и поминай как звали.

Гриша представил, как нахлынула большая вода и понесла избушку по волнам, с размаху саданула о порог и выкинула на перекат, а там камни раздергали и растащили бревна.

— Можно и повыше ставить... — согласился наконец Гриша. Отмерил шагами расстояние от береговой черты в лес и утоптал квадрат снега под площадку.

— Ну вот, — с берега посмотрел на Гришину работу Анисим, — терем будет как на ладони. — Окном-то куда ставить будем?

— На реку. Здесь. — В большом квадрате Гриша очертил окно, место для стола, нар, печи.

— Ну а сени? Навес? Не понадобятся? — подсказывал Анисим.

Гриша уже за квадратом прирезал полоску.

— А навес?

— Кого навешивать? — остановил разметку Гриша.

— Ну, мало ли? Орех, лыжи поставить. — Анисим зашел с угла плана. — Дрова на ночевку, не бежать же к поленнице, руку высунул из двери...

— Хорошо, — согласился Гриша и пяткой провертел в снегу ямки под столбики.

— Ну, ладно, — Анисим вынул из мешка стружок, смахнул с колодины снег, — сколько ни стой, а инструмент в дело пускать придется.

Прежде чем подрубить дерево, Анисим обстукивал его, слушал, как оно отзовется, примеривался, куда его направить, чтобы не побить молодняк, не подмять посад, и тогда уже, поплевав на руки, по-молодецки всаживал топор под «пятку» дерева. Пока Анисим выбирал лесину, Гриша вытесал лопату и разгреб снег, подсек топориком мох и пытался его скатать.

— Да не скатывай, — подсказал Анисим. — Так и клади кирпичами стенку. Разогреем на огне, когда будем стелить.

Гриша засомневался: «Как это, мох — и греть на огне?»

Анисим уже наметил лес. Гриша подошел к нему с пилой.

— А эту кедру, папаня, для чего оставил на самой дороге?

— Пусть живет. Она еще одарит нас, мы прямо из окна подставим мешок... И посыплются шишки... Будем тесать из лиственницы, — берется Анисим за пилу. — Тяжелее топору, зато радостнее в бору.

Припав на колено, Анисим тянет пилу, приговаривая:

— Пила чувствует зубом, а пильщик чубом.

Пила грызет дерево словно кость, до звона в ушах. Но достала и хватила сердцевину, перешла на шепот. И только на выходе из окружности опять звонко зазвенела, будто рассмеялась. Анисим успел выхватить из реза пилу, по старой привычке крикнул: «Бойся!» — и шестом направил лесину в нужную сторону.

Лиственница со вздохом падает, взметнув выше Гришиной головы снежную пыль. Пока искрится, оседая, насквозь пронизанное солнечными лучами снежное облачко, Гриша с пилой уже у следующей лесины. Грише нравится валить лес, интереснее, азартнее, чем распускать сваленное дерево. Хоть валить и опаснее, и труднее, зато ухает на всю тайгу. А вот шкурить, сучья обрубать — Гриша не любит. Весной другое дело, подрубил «запястье», вдоль ствола еще риску, раз — и раздел, снял кору, поставил на землю — стоит трубой. А зимой то же самое дерево — потюкаешь. Елка сучками нафарширована — крепкими, как гвозди.

Анисим выбирает хлыст, у которого покрупнее сучья, дело идет у него податливо. Гриша присмотрелся, как ведет отец топором: захватывает тело ствола вместе с сучком. Попробовал и Гриша так. «Тюк» — и с одного раза слетел сучок, и ствол стал глаже.

— Григорий, кусок шнура не найдешь? — не переставая тюкать топором, выкрикнул Анисим. — Леска есть?

— А зачем тебе?

— Неси сюда — посмотришь. И головешку захвати.

Ошкуренные бревна лежат на подкладках. Гриша по бревнам, как по лестнице, принес леску и дымящуюся головешку.

Анисим уже успел разметить бревно и стоял с меркой и стружком в руках.

— Строгать, что ли, надумал?

— А ты как хотел? Без паза и мох высыпется...

— Но это же не терем и не контора... строгать.

— А чем мы хуже, — притушил в снегу Анисим головешку и натер шнур, — жить-то сами будем.

Гриша знает, что такое выбирать паз в мерзлой лиственнице, — наклоняешься бревну. Накатили в «станок» бревно, зажали клином, чтобы не крутилось, натянули шнур вдоль бревна и отбили полоску, на ширину паза сместили шнур, оттянули, как струну на балалайке, «дзынь» — и другая полоска, разметили.

— Готово, — взялся за топор Анисим. — А кстати, Григорий, как насчет «железной дороги»?

— Завтра займусь, прямо в стену заезжать будем...

Гриша берется тесать ствол, но ноги не достают, приходится стоять на бревне. Хорошо, руки к топору привычны. Машет Гриша топором, ему кажется, так долго, а солнышко все еще висит на шее «Трех братьев». Решил больше не поглядывать на него, а когда вспомнил, глянул, оно уже в расщелине горы, туда и речка проваливается, но еще слепит от речки белым огнем.

— Не мешало бы, сын, — не отрываясь от топора, говорит Анисим, — проверить ловушку да уху стряпать...

Гриша не признает рыбалку заездком. Это все равно что в погребе выт-

Окончание. Начало в № 6 за 1992 год.

ряхнул мешок: только и интерес — какая рыба попала. Однако вогнал носок топора в бревно и взялся за шапку.

Анисим только распочал бревно, как с реки донесся Гришин голос:

— Папань, иди сюда скорее!

Не дождавшись отца, Гриша прибежал сам.

— Где ружье?

Анисим кивнул на шалаш, сказал вкрадчиво:

— А я подумал, таймень запруду повалил.

— Зверь попал, лоток грызет...

— Соболь, что ли?

— А кто его знает... Побежали!

Анисим спрятал под бревно топор и рассмеялся над собой: привычка дурная прятать, вот что вытворяет с человеком незадачливая жизнь.

Гриша с ружьем бежал по берегу, Анисим скорым шагом — за ним зашел на плотину.

— Ну где зверь, зверина, пусть скажет свое имя.

— Был, папань, — стушевался Гриша, осматривая лоток. — Только что был...

— Большой?

— Во, — показал Гриша на полметра от земли. — Давай капкан поставим...

— Да-а, — протянул Анисим, изучая след. — Был зверь — колонок. У страха глаза велики...

— Да не испугался я, — обиделся Гриша. — Позвал поймать.

— Я и не сказал, что испугался, — выбирая из лотка рыбу и выкидывая ее на лед, как бы извинился Анисим.

Рыба, наматывая на себя снег, затихала.

— Ленок, хариус, вот и заветный таймень, — поднял Анисим за жабры таймешонка с изогнутым в дугу хвостом.

— Недомерок, — фыркнул Гриша.

— Все равно таймень, — не согласился Анисим.

Гриша взвесил на руке рыбину.

— Пирог бы маманя загнула.

— Унесем домой, — поддержал Анисим, собрал, как дрова, на руку рыбины и направился к шалашу.

Гриша в одной руке нес за жабры таймешонка, в другой — ружье. И все никак не мог успокоиться: «Колонок — зверек с рукавицу, не больше, а показался с собаку. Может, кто другой? Опять след — никуда не денешь...»

Когда пришли к костру, Анисим спохватился:

— Не догадались выпотрошить рыбу на берегу, — и ссыпал за колодину улов. — Так что́ будем, Григорий, готовить: щербу варить или в золе запекать?

— И щербу, и в золе, — взялся Гриша за нож, выбрал покрупнее ленка и побежал на речку.

Анисим собрал вокруг огнища огрызки обгоревших веток, угли, сложил на середину костра горкой. Он не любил разжигать костер берестой, скручивается как живая, не удержишь, другой раз занявшийся огонь раскидает. А сухие веточки неброско горят, зато жар дают, дрова накаляют, — верная растопка.

Да и щербу приготовить особого труда не составляет. Вскипела вода, посолил, кинул рыбу, собрал ложкой пену, глаза у рыбы побелели — лаврушки бросил листик, и готово, снимай с огня. А вот в золе запечь — повозиться надо. И костер чтобы нагорел, накопилась зола. Выпотрошить надо, жабры, желчь выкинуть, а печенку, сердце оставить, посолить, поперчить, нет луковицы — лавровый лист размять, посыпать.

Гриша расстелил на столе листья бадана, уложил ленка и завернул в них, да еще как куклу спеленал донной травой. Разгреб золу, в углубление аккуратно положил сверток и снова засыпал переливчатой каленой золой, пригреб угли, подкинул дров. Хоть дрова и пыхнули, но наружный огонь небольшой подсобник в ускорении готовки. Первым голос своей духовитостью подаст бадан.

— Может, папаня, пока начнем щербу хлебать?..



— Можно, — соглашается Анисим.

Поставил кружки, принялся перемывать ложки.

— Вынимать ленка? — не терпится Грише.

— Это уже по твоей части.

Если окажется рыба сырой, горячую ее запаковать вторично в эти листья не удастся. Гриша вспомнил мамин наказ: «Мясо недоварн, рыбу переварн»... А вот зачем рыбу переварнвать, Гриша все хотел спросить, да так и не спросил. Он разгреб золу: обнажился мысок свертка, зеленый лист бадана побурел, пропитался жиром и духовито пах. Гриша постучал по свертку, зола струйками осыпалась.

— Бухтит, папань.

— Стало быть, — Анисим задерживает дыхание, — да, горяче сыро не бывает, неси, Гриша! — И сдвигает кружки в сторону.

Гриша подхватил на лопаточку сверток и, придерживая, положил вначале на скамейку. Снял верхний слой, угольки, пригаринки и тогда положил на стол. Тем временем Анисим разлил в кружки щербу.

— Недосол на столе, пересол на спине, — берется Гриша разделывать ленка. Первый кусок от головы подает на листе отцу.

— Попробуем, попробуем, — поудобнее усаживается Анисим. Надкусил со спинки, сладко высосал. Оценил: есть можно.

Анисим с Гришей не торопились лечь спать, все одно — зимой ночь у костра бесконечность, к костру побежишь греться. Не мерзнешь лишь тогда, когда двигаешься и работаешь. Вот и находили себе дела: и лопат настругали и досок рыбу разделывать, и орехов нашелушили вдоволь.

Анисим подживил костер, пристроил на угли крышку с орехами, поглядел — а Гриша уже спит. Отсвет от костра резко выделяет на зеленом лапнике его светлое спокойное лицо. Знать бы, как сложится судьба сына. Тревожная тоска обуревает Анисима, давит на сердце. Думает Анисим о себе, о жизни, — и получается, вроде он на земле зряшно живет. К какому берегу ведет своих детей и что будет с ними, даже не может предположить. Какая же это жизнь, когда она и маленьким ростком не ухватывается за землю. Может быть, вот эта их стоянка как-то поможет срастить сына с землей, но как? Может, лучше не загадывать? А как бездумно жить? Получается — орех без зерна. Сколько Анисим ни ломает голову, не видит просвета в своей судьбе, перемен к лучшему. Новая власть хоть и здравствует, тянет воз в гору, но, как Анисиму кажется, едет на старой закваске. Понукает народ, вместо овса — бич. На крутом подъеме подломятся ноги, да и со знаменами ходить люди устанут. А тогда воз их самих потянет, тогда и предсказать трудно, хватит ли у них силы и мудрости удержать его, или разнесет телегу да и погробит тяговую силу.

И как Анисим ни примеряет к себе эту жизнь и себя к ней, не видит крепкого обруча ни в производстве, ни в крестьянском труде. Коллективный труд на земле он не принял, считал его подневольным: разве можно крестьянину робить по звонку? Претило ему такое управление трудом. Скажем, кошенина ждет уборки, а тут в рельсу ударили. А в крестьянстве не убрал вовремя, сгноил — остался без хлеба. И тут не мог свести концы с концами Анисим. И как бы ни расхваливали новую жизнь, он-то не без глаз и не без сердца, и ничем не вытравить из души былое.

Может, они, поднимает на Гришу глаза Анисим, знать не будут прежней жизни, им будет легче... Но откуда возьмется легкость, Анисим вспоминает свое производство в цехе. Он, Анисим, хорошо работает. Отмечают его, в президиум садят. А кто-нибудь спросил, от души ли он все делает? От сердца ли у него рвение? Это никого не интересует. Все о человечестве долдонят, а об отдельном человеке ни у кого душа не болит.

Временным чувствует себя Анисим в новой жизни. Его подтачивает неопределенность: от одного берега отстал, а пристать к другому не мог. Раздвоенность мешала ему быть самим собой, мешала вольно дышать. Анисим замечал за собой и напускную легкость, и удалость в работе, и хозяйственную струнку, когда, быть может, оживал в нем настоящий Анисим, но не успевал проявиться, как снова затухал, обрастал коростой, низвергаясь в равенство и брат-

ство. «Куда идет Россия?..» — и сейчас спрашивает себя Анисим, но не знает, где ответ искать.

Анисим ненадолго прилег в шалаш, погрел Грише бок — и снова править костер. Утром подогрел уху и разбудил Гришу.

Позавтракали. И ленка доели.

— Придется, Григорий, хоть не хотелось бы, а заглубляться в землю.

— Землянку, что ли, рыть?..

— Пошто землянку, настоящее зимовье рубить. Один венец в землю ставить, иначе, без завалинки, не удержать тепло. Или у тебя есть на этот счет свое соображение?

— Нету. Долбить будем, — сглаживая черень лопаты, с готовностью ответил Гриша.

— Без твоей «железной дороги» не обойтись, — напомнил Анисим.

— Не удумаю, как и быть. Для чурок — одна «железная дорога», для сутунков — другая. Какой «паровоз» надо-о... — Гриша развел руками.

— Тоже верно. Может, двойной тягой возьмем...

— Может, возьмем... заходи с вершины, а я с комля крутну.

Первым делом расширили «железную дорогу». На нижний венец под сруб зимовья свалили добрую лиственницу, раскряжевали ее и тогда пустили в ход стяжки, устанавливая сутунок на рельсы.

Гриша со всех ног несется, Анисим вприпрыжку за сутунком, где поддаст, где поддержит. Разогнали и чуть не упустили под спуск к реке. Пришлось задний ход давать. Пригнали и второй, и третий, и четвертый «состав». И с ходу укладывали бревна как надо в венец. Гриша стал примерять зимовье к своему росту, насколько оно выросло.

— Папань, смотри, — высунулся он из-за сруба, — выше пупа!

— Еще раз накатим и крышу крыть, — довольный работой, сказал Анисим.

— А ты как входить будешь?

— По-пластунски, на полусогнутых, — рассмеялся Анисим.

Гриша представил, как отец входит в зимовье, и тоже расхохотался. И уху готовили, и перекусили с хорошим настроением. Хвалили «железную дорогу» — выручает. Ели основательно. Первым отступился от котелка Гриша.

— Твоя, папань, очередь скрести котелок...

— А ты что, пошел подшипники смазывать? — поинтересовался Анисим.

— Нечего после ухи скрести, — ополоснул котелок и тоже пришел на стройку.

— Ну, теперь, Григорий, приспела пора пускать в дело мох.

— Но как же будем греть его на костре?

— Не догадываешься? Разводи костер да побольше дров наваливай.

Анисим ошкурил бревна. Отбил шнуром паз. Тут и Гриша подоспел:

— Прогорает, папань...

— Подбрось еще дров, — подсказал Анисим.

— Распадок греть, — буркнул Гриша.

— Пусть угли хорошенько нагорят...

— На угли, что ли, мох класть?

— Увидишь... — Анисим перемешал колом раскаленные угли с золой...

— Понятно, — сказал Гриша. — Как я сразу не догадался? Нести мох?

— Пошли... — воткнул в снег пылающий кол Анисим.

Они носили мерзлый мох и плотно укрывали им горячие угли. Мох шипел, пыхал, а потом утих, сник исходя белым неедким паром. Над кучей мха густело облачко пара, подбеливая сиреневые сумерки. Горько запахло троелисткой и болотной прелью. Куча заметно никла, расслаблялась, мох становился податливым. Гриша вытеребил из кучи снизку куделистого мха:

— Ожил!.. На, смотри!

— Завтра в дело пустим, — отозвался Анисим, наваливая на дымящуюся кучу еще охапку мерзлого мха.

Забрали каждый свой инструмент. По дороге к шалашу Анисим наметил топором на своем численнике зарубки.



— День прошел, даст Бог, завтра тоже, что нам гоже. Слава Богу! — перекрестился на восток Анисим, довольный прожитым днем.

Синими кольцами тени от елей по снежному склону сходили к самому костру, и от того потухший костер казался притаившимся серым зверьком.

— Сегодня ты, Григорий, заказываешь ужин, — втыкая в чурку топор, весело сказал Анисим, будто что-то припрятал вкусное или чем-то хотел удивить.

— Я бы, дак... — поискал глазами на небе Гриша.

— Ну-ну, — поторопил Анисим, — заказывай, как в московском ресторане.

— А ты бывал там?

— Откуда бы я знал тогда?

— А чего не рассказывал?

— Случай не подвертывался. В четырнадцатом году, после лазарета, со товарищем мы поступили туда в один день и, так совпало, вышли за ворота лазарета вместе, а идти не знаем куда. «Пошли, — говорит товарищ, — в ресторан». — «Да ты что? — я ему. — В церковь зайдем, обет дал: после выздоровления...» — «Пошли, — говорит, — раз дал слово, держи его». Выходим из церкви. «Ну, — говорит, — теперь ты меня уважь». Ходил он на костылях. Митрием звали, а фамилия... счас скажу, — попытался вспомнить Анисим. — Вот ты, из головы вышло. Постой, постой, да Кармадонов он, — хлопнул досадливо себя по коленке. — Соображали мы, в какую сторону идти, а тут Митрий замахал костылями, остановил извозчика. «Вези, — говорит, — брат, в лучший ресторан нас». И как бы ненароком шинель отвернул, кресты тинькнули на груди. Ну и я, прости Господи, поддался соблазну. Полный Георгиевский кавалер — по-теперешнему и не знаю, к какой награде приравнять. Раньше никакой чин, даже его превосходительство, не имел права руку поднять на Георгиевского кавалера. Ну ладно, — одернул себя Анисим.

Принялся было за растопку костра, но увлекся воспоминанием, да и Гриша уставился на отца: не мигая, ждал продолжения.

— Не знаю уж, в лучший или не в самый лучший ресторан с шиком подкатил извозчик, но, как сейчас помню, был он на Трубной площади или улице. И ресторанчик-то небольшой, но опрятный, официанты вежливые, свечи горят, накрахмаленные скатерти, как этот снег, — показал Анисим на иссиня-белый снег у шалаша. — И народа немного. Время-то ни то ни се — не обед, не ужин. Мы, конечно, шинели сдали, мундиры на себе пообдергали, я и не успел шагнуть, слышу, кто-то елозит по сапогу, думал, кошка, — чистильщик, чавел зайчика, Митрию глядеться можно. Только сели, официант, как в сказке, перед нами, через локоть полотенце белое. Теперь уж и не скажу в подробности, что заказывали, Митрий воеводил. И тут официант стал носить да ставить тарелки, тарелочки, блюда, а я все карман щупаю, хватит ли у нас расплатиться. Митрий увидел, как я по карману елозю, и говорит: «Не беспокойся, Анисим, я плачу». «Как — ты?» — заспорил я с ним. «Да так, — говорит, — наследство получил, — и вынимает кучу денег. — Бери, — говорит, — себе половину». Мы сидим тверезые, я тогда вообще в рот не брал, он рюмочку или две всего пропустил. Едок Митрий неважный, копнет вилкой в тарелке и в сторону ее отставит. Уж и главный повар выкатился к нам арбузом. «Может, что не глянется? Может, другое заказывать будете?» Я уж и не рад, что согласился с Митрием поехать в ресторан. А Митрий мне условие ставит: раз, говорит, денег не берешь, уважь меня напоследок, заказывай все, что твоей душеньке угодно, а коли не сыщется в этом ресторане, попросим из другого доставить. «Будет исполнено, доставим непременно». — Хозяин ресторана пузом наизготовку. Мне неловко людей обременять своей особой, я и попросил с ходу... кулаги. Хозяин и повар врассыпную. А мы с Митрием закусываем. Музыканты появились, скрипка так жалостно выводит. Сидим. Уже и позабыли о своем заказе. Тут ко мне склоняется мужик, важный такой, в сером сюртуке, и говорит: «Во всей Москве нет вашей рыбы, все рестораны подняли». «Да брось, — я ему, — нам и не надо никакой рыбы...» Представительный человек было от нас отошел, да вернулся и просит сказать, что это за рыба — кулага. «Да никакая, — говорю, — это не рыба, а из ржаной муки заваруха...» А тут из-за спины этого госпо-

дина выиырнул официант с подносом во все руки: «Достали, наконец, вам кулагу под белым польским соусом», — и ставит поднос на середку стола.. Так что будете заказывать? — под официанта изменил голос Анисим.

— Как — что? Рыбу кулагу, — засмеялся Гриша. — Если не найдется кулага, давай сухарей...

Отужинали рыбой с сухарями. Анисим заправил на ночь костер дровами — и в шалаш. Благотворна сила сна. Правду говорят: «Кто спит — тот и обедает». А они и впрямь намаялись с тяжелыми бревнами.

Поднялись с рассветом, позавтракали оставшейся от ужина рыбой, за инструмент — и к зимовью. Гриша бегом к костру — мох уже взялся сверху ледяной корочкой, но внутри было тепло и сыро. Мох спрессовался. Гриша теребил его из кучи, носил и ровным слоем стелил на бревно. Сверху накатывали другое бревно с пазом, придавливали мох, подбивали его конопатками и так ряд за рядом выводили под матицу. Последние венцы... Бревна не поддавались, не шли в стенку.

— Ах ты, маленько не хватает силенок, — напрягая жилы и краснея от натуги, сетовал Анисим.

Гриша уже не мог руками достать до бревна и тянул сколько было мочи за веревку.

— Подожди, Григорий, не тяни, порвешь последнюю добрую вещь, — опустил Анисим бревно, прикатил увесистую чурку, закатил на стенку и привязал за конец веревки, который тянул Гриша. — Теперь вы в одной упряжке, — похлопал по чурбаку, словно по крупу лошади. — Ну, милые, — взялся за бревно. — Р-раз! — (Гриша поднаваливается на веревку). — Еще р-разок!

Бревно послушно, рывками ползет на стенку и наконец ложится как надо.

— Та-ак, — одобряет Анисим подгонку и берется за мешок.

Теперь Гриша мох подает мешком. Анисим соорудил строительные леса из жердей, туда Гриша и ставит его. Пока мох не остыл, они его вынимают, разбирают и укладывают, потом снова накатывают приготовленное бревно.

— Папань, — спохватывается Гриша, — забыли окно и дверь...

— Не забыли, выпилим...

— А разве нельзя сразу, по размеру, — тогда и бревна поднимать было бы легче.

— Можно, — соглашается Анисим. — Только стенка была бы неустойчива.

Гриша понимает: действительно, из коротышей неустойчива стенка.

— Дааай пилу, — просит Анисим, — сейчас прорубим и окно, и дверь. Дверь выпилим в Азию...

— В Баргузин, — поправил Гриша.

— Согласен, — принял пилу Анисим.

— А ты замечаешь, папань, как хлестко на закат день идет, я по солнцу вижу.

— А я по тени. У меня свои часы, — показал Анисим на елочку-подростка: сиреневая тень от елочки стрелкой лежала на ярко-белом снегу и доставала валежину...

И дверь, и окно прорубили — зимовье сразу ожило. А сделали окосячку, и вовсе радостно прозрело. Гриша отбежал к реке.

— Смотрится, папань! Иди погляди отсюда.

— Придется, — выбрался Анисим из зимовья и сошел на берег. — Смотрится! Но чего-то не хватает. Прически нет. Крыша ведь, как дорогой гребень. Хоть на один скат, да надо ставить.

— Ну какой же терем с плоской крышей? — заспорил Гриша. — Смотреться не будет...

«Входит парень во вкус», — порадовался Анисим. О главной заботе напомнил:

— Ну что ж, глаза боятся, а руки делают. До крыши дело еще дойдет, сейчас надо тепло в зимовье загнать. Где на печку камень взять — вот вопрос.



— В скалы сходим, — предлагает Гриша.

— А много ли принесешь на горбу?.. Опять же лыжи надо. Прорва этого камня пойдет...

— Можно заездок разобрать, который начали из камня, — рассуждает Гриша. — Он же без надобности.

— В этом что-то есть, — поддерживает Анисим. — Есть там подходящий камень, а на трубу донесем плитняка... — И подхватывается: — Однако, заговорились, паря, побежали-ка матицу поднимать.

На матицу выбрали бревно под силу, острогали, сгладили с особым уважением и вниманием, как ни говори, а событие в строительном деле не рядовое. Испокон века — праздник. Считай, дом возведен. Матицу уложили, настелили потолок из колотых строганых плах, укрыли мхом.

— Теплее, папань, стало в зимовье, — определил Гриша, потоптавшись внутри.

— Жить можно, — подтвердил Анисим. — Вот чем стеклить? Не присоветуешь, Григорий? — спросил, подгоняя тесовую дверь.

— А раньше чем стеклили? — поинтересовался Гриша.

— Кто чем. Кто бычьим пузырем, кто натягивал холстину...

— Ну а мы речкой застеклим...

— Льдиной? Однако, дело говоришь, Григорий.

Гриша сказал первое, что подвернулось на язык, а отец принял всерьез.

— А не растает? — засомневался Гриша. — Раз печь ставить собираемся.

— Не должно бы. Зимой не растает. Летом стеклину принесем.

Льдину на окно вырубали на плесе: светлую, хрустальную. Принесли, обрезали по размеру пилой.

— Как тут и была! — протянул Анисим, вставляя «стеклину» в проем окна.

Они вошли в зимовье. Гриша закрыл дверь.

— Ну, Григорий, хорошее электричество ты зажег.

Свет от окна струился мягкий, с зайчиком внутри, и невесомо ложился на строганые медовые стены.

— Жаль коптить, — повздыхал Анисим. — Надо искать глину на печку.

— Давай, папань, сегодня нам тут ночевать.

— Посмотрим, — неопределенно ответил Анисим.

Через минуту Гриша уже топтался у порога.

— Пошли к костру...

— У костра время проводят. А у нас два способа греться: таскать камень с реки и колоть чурбаки на доски, строгать стол, нары. Выбирай, Григорий, какой способ тебе подходит.

— Запруду разбирать, — выбрал Гриша.

Анисим вышел из зимовья, хотя и так было видно, сумерки топили речку, посмотрел на свои часы.

— О, мил человек, приспела пора варить суп из топора... Похлебать ушицы — и на бок. Завтра день будет...

С рассветом, пока Анисим готовил завтрак и подвяливал над дымком малосольного хариуса, Гриша торил тропу к запруде. Позавтракали наспех, будто на поезд опаздывали.

Анисим сразу в зимовье, пристроил у окна верстак — строгать. А Гриша добывал и носил камень. В очередной раз принес, бухнул через порог, закрыл дверь, постоял немного и вдруг спросил:

— Папань, если бы сейчас пошла гражданская война, ты бы за кого пошел?..

Анисим отложил рубанок, дунул на верстак.

— Ты что имеешь в виду?

— Ну, за красных или за белых?

Анисим постоял в раздумье.

— За народ, за кого же еще.

— Но ведь ты, папаня, сам же говорил, и в красных, и в белых был народ.

— Был, — с тяжелым вздохом согласился Анисим. — Народ на народ и шел. Раззудили его... Бросил плуг, что под руку попало, с тем и пошел. Ружье, топор, вилы — все было в ходу... Ополоумели, Бог от людей отступился. Не сознавали, что творили, — снова взялся было за рубанок, но строгать не стал. — Я вот, Григорий, сколько раз задумывался, откуда такая сила берется у народа? Каким он свойством обладает? Чувством, что ли, богатырским. В самый нужный момент напрягается, да так, что все сметает на своем пути. Не пойму, что это — отчаяние или уж такое предназначение Господне? Каждый в отдельности человек может обмануться, но приходит такой момент — народ не может обмануться, не может быть изменником. Вот и рассуди тут, за красных или за белых... Я о том, кто же объединяет народ в обстоятельствах чрезвычайных: инстинкт самосохранения? Нет, Гриша — Бог! Он вдыхает и веру, а стало быть, и силу. И тогда человек может все. Был со мной случай. С товарищем у нас сошла с рельсов дрезина, а за нами погоня. У меня в штаб секретное донесение. Так что ты думаешь, Григорий, мы эту дрезину, с песком и пулеметом, на руках подняли и поставили на рельсы. Потом мы эту дрезину всем отделением едва сняли с пути. Скажи мне, я бы ни за что не поверил. А ведь мы ее час тому назад ставили. Ставили же, — нажал на слово, доказывая кому-то. — Что это? Откуда в человеке такая сила? Может быть, ты скажешь — от испуга? Да нет. Что-то выше. В армии я задумывался и не мог разгадать, по каким таким признакам тайное становится явным для миллионов людей. И все они собирают силы в один кулак.

Анисим взялся строгать, и по тому, с какой силой вжикал рубанок, Гриша понял, что отец расстроен. Хоть Грише и непонятно многое из услышанного, но ему передалось настроение отца. А как утешить его, не представлял.

— Не знаю, Григорий, понял ли ты меня, — не отрываясь от работы, с одышкой сказал Анисим. — Если ждешь ответа на свой вопрос, за белых я или за красных, так знай: ни за тех, ни за других. — С силой протянул рубанок, стружка змейкой выстрелила и, свиваясь, спрыгнула с верстака. — Ну, чего не бывает, скажем, в семье, — повернулся к Грише лицом. — И поругаются, и подерутся — все бывает, жизнь прожить — не поле перейти. Но ведь не лишают друг друга жизни, не чинят разор. А ведь государство — это тоже семья.

— А как тогда враги народа? — робко спросил Гриша.

— Да какие враги народа? Ну, вот я, — перенес на себя Анисим, — ну, какой я враг? Какого народа?

— Ну, ты не враг, а другие — враги?

— И другие. Вы же с Сашкой поцапаетесь — разве вы враги друг другу?

— Нет. Люблю я Сашку и Машку, хоть и деремся, — признался Гриша.

— Ну а я о чем...

Гриша присел на корточки у порога.

— Я не о том, папаня. А помещики, капиталисты, угнетатели — с ними как? Враги они и есть враги...

— Вот чего, сын, не ведаю, не знаю и говорить не берусь. Неприятель он всегда неприятель. Возьми германца, не добили в тот раз, еще придется...

— Ну а что, в вашей деревне так и не было угнетателей? — дотошничал Гриша. — В школе говорили, они везде были.

— У нас не было. Каждый жил своим хозяйством, своим умом, своим трудом.

— Ни богатых, ни бедных, — вставил Гриша.

— Богатых особо не было, но жили одни зажиточно, другие справно, и бедных не было. На всю деревню в шестьдесят дворов был один, нет, вру, — одернул себя Анисим, — два двора, можно сказать, безлошадных. Ведь раньше как жили: приступкой выше крыльцо, значит, и в квашне поболе замес. К кому уважение? Кто справно жил, умел хозяйство вести и хорошо Отечеству служил. А кто справно жил? Да тот, кто петуха будил, того и навеличивали, с тем первым и здоровались. А вот Пронька Кабанов — это один из бедняков. На вид поглядеть — мужик как мужик: красивый, но опустился — лень. На сенокос выйдет, в копну голову воткнет, пока солнце не обойдет, не встанет. А хоть и встанет, но какую траву собьет литовкой, так вовремя не уберет — сгноит ее в валках. Потом бегает с вязанкой по деревне, сшибает навильники... А когда власть переменилась, в председателях ходил. Я уже этого не застал, и к лучшему. Глаза бы мои не смотрели, как он, сказывали, в хромовых сапогах, с чужой ноги, куражился по деревне. Ну это я забежал вперед. Про второй двор что сказать? Был у нас такой Дрозд, то ли фамилия, то ли прозвище. Все так и звали Дроздом. Так вот, как ни посмотришь: не толкет мужик — так мелет, не стучит — так прядет, а напряденного не видать. Углы у своего домишка поотпиливал на разжигу печки. Люди в праздник, одетые, словно река текут в церковь в соседнее село за три версты, а Дрозд все долбит. И баба ему под стать — зимой и летом одним цветом. Другой раз кто-нибудь скажет, ты бы, Варвара, умылась, престольный праздник. Один ответ: «Пусть богатые умываются»... Не знаю, как где, сын, а в Сибири бедняк — лодырь или недотепа. По-разному люди жили, это я тебе рассказал про нашу деревню. Но одно бесспорно — вера была. Надежда была. Стремление. Возвеличивались и возвеличивали свою землю, свое Отечество. Это было в каждом человеке искренне и неукоснительно.

— Чего ж, папань, если было, как ты говоришь, крепко сшито и сбито, так чего ж развалилось, рассыпалось все?

— Законный вопрос, сын. Об этом и я хотел бы знать. Вот я и несу свой крест, и только тебе говорю, сын. И не хотел бы, да, видно, судьба — взвалить на твои еще не окрепшие плечи свою ношу: сдается мне, обманулся народ, кто-то его предал, и долго мы еще будем мыкаться и носить в себе боль эту. Но это я по-крестьянски так кумекаю. А ты сам думай...

День догорал. Распластанно лежало затухающее плесо реки. Гора торопливо поворачивалась к закатному солнцу, и оно нетерпеливо дожевывало остатки дневных красок.

Грише нравилось строить — видишь, как на глазах поднимается зимовье. Ничего не было, стоял лес дремучий, а терем вдруг вырос. Хоть от порога посмотри, хоть зайди с реки глянь — белоликий домик. Строганые стены светятся и спорят белизной со снегом. Сработанные мастерской рукой и с прилежным старанием, они придают зимовью стройность. Выделяется неожиданная вязь узлов. И Гриша смотрит на творение отцовских и своих рук и глаз не в состоянии отвести.

— Можно, я учительницу приглашу посмотреть? — тихо, чтобы не спугнуть волшебную красоту, спрашивает Гриша.

— Веди хоть весь класс и Наташу свою тоже, — не возражает Анисим. — Мать, сестра и брат придут...

— Тогда и карниз придется резной с напуском ставить, — мечтательно говорит Гриша.

И Анисим не может удержать свое воображение. Он уже и петушка видит на резном коньке крыши. Но вот сморгнул видение, к реальной жизни вернулся:

— Н-да. Все есть: и стол, и нары, и лавочка сидеть. А печки нет. Значит, считай, бросовая работа. А камня-то всего жалкая кучка.

— Там еще есть, — виновато сказал Гриша.

— Пошли принесем. Над многим еще придется нам поломать голову. Думать надо, Григорий...

— Думай не думай, — подражая матери, сказал Гриша, — сто рублей не деньги, если бы они были...

— Ну ты, Григорий, — засмеялся Анисим, — сам придумал? Понравилось. А главное, в жилу... Посмотри-как на наш численник.

Гриша посчитал зарубки.

— Семь, папань.

— Неделя, значит, как мы тут, — а кажется, вчера только зашли...

— А мне не кажется.

— Чего так? Надоело?

— Сколько мы уже тут, сам говоришь, а капкан без надобности лежит.

— Во-она в чем дело, — протянул Анисим. — Сработаем печь, и до капкана очередь дойдет...

— А стоял бы? Каши ведь не попросит.

— По-хозяйски мыслишь, сын, — серьезно сказал Анисим. — И все-таки пойдем вначале добывать камень.

Вскрыли лед, разобрали запруду, перенесли камень в зимовье, но на печь его явно было мало.

— Придется нырять за плитами, — Гриша сбегал к зимовью, принес деревянные лопаты.

Анисим и Гриша почистили лед от снега, поискали плиточник, а нашли налима. Первым увидел рыбину Гриша. Оглушили налима обухом топора, вырубили майну, достали, выволокли и камень, за которым он стоял.

Анисим с одного плеча и фуфайку снял, закатав рукав рубашки, ощупывал дно. В полынью лез и Гриша.

— Да не мокни ты, Григорий, посмотри, на кого похож-то.

— На верпу, а сам-то, — стучит Гриша ледяным панцырем.

Больших трудов стоило подобраться и выворотить со дна реки камень. Когда смотрели и ощупывали, виделась плита, а подняли на лед — оказался отшлифованный с одного боку булыжник, и бросать жалко, и а дело без глины не пустишь. Накланялись реке, нахлюпались, зуб на зуб не попадает. Стуча заледенелой одеждой, наперегонки побежали к костру. Негнущимися пальцами оживили костер. Оттаяли, бродни стянули друг с друга и давай портянки сушить. И сами дымят, что смолокуры. Разогрелись, тогда уже и штаны сняли. У костра голыми только и крутись.

— А ты, Григорий, отъелся, — треплет Анисим тонкую, в гусиных пупырышках шею сына.

— Ты тоже, папань, ладный стал, в иголку продернуть можно...

Печь сложить оказалось нелегким делом. Сколько Анисим ни подбирал камень к камню, не клеилось дело. Рассыпáлась каменка.

— Дай, папаня, я попробую.

— Попробуй, — уступил сыну место Анисим около развалившейся каменки, а сам взялся за топор.

Гриша ва два ряда пересортировал камень. Стенки еще кое-как вывел, а как начал свод выводить, он обрушился, и стенки упали.

— Без глины, папань, не удержать, — сдался Гриша.

— И я про то, — отозвался от верстака Анисим. — Или плитку надо... Помнишь, на волчьих скалах были... там я осыпь видел. Можно сходить посмотреть.

— А много ли на горбу принесешь...

— Это верно. Нарты делать — время потеряем, и лыжи надо, — Анисим присел на верстак в раздумье.

— А чего киснуть, сходим, посмотрим... Капкан можно взять, — рассудил Гриша. — Так брать капкан?

— Лопату, котомку бери, — спустился Анисим с верстака.

По дороге вспомнили и деда Витоху, и мать, которая предсказывала: «Утонете, мужики, в снегу». Пока еще не утонули. И все удивлялся Анисим: «Когда успел подвалить снежок?» Как только завернули за излучину, Анисим увидел напротив отстоя распаханный снег.

— Орудует волк.

— Говорил, капкан взять...

— Говорил, — согласился Анисим. — Мы еще им займемся, — и свернул к скалам, буровя ногами снег.

Осыпь оказалась открытой, словно ее разработали ненароком к их приходу. Как только подошли к «карьеру», Анисим схватил щепоть земли, поплевал, растер в пальцах и просиял:

— То, что надо, Григорий, считай, открыли прииск.

— Золото?!

— Дороже. Суглинок! — снял с плеч Анисим котомку

Тут же на осыпи валялись плитки от скалы. Гриша взял одну плитку, попробовал на палец и в карман сунул.

— Топоры точить... брусок...



— Хозяйственный мужик. — Анисим просеивал суглинок, отметая мелкие камушки. — За плиткой мы еще придем — держи мешок.

Гриша подставил горло мешка. Анисим пригоршнями сгребал и накладывал просеянный суглинок.

— Ничего себе, столько набуровил, — попытался поднять мешок Гриша.

— Ого, — взялся Анисим, — коню впору везти. Куда жадничаю...

— Отсыпь.

— Добру пропадать, пусть живот лопнет, — завязал Анисим мешок и отставил в сторону.

— Добро бы каша с маслом, — подставил Гриша свой кошель.

Анисим бросил ему пригоршню и стряхнул с ладоней прилипшие комочки.

— Ты чего, папань?..

— А все равно всю гору не заберем.

— Так у нас не делают, давай поровну.

Навьючились и в обратную дорогу. И лопаты не понадобились, да жалко бросать их.

— Вместо лыжной палки — посох, — взял свою лопату Анисим.

С верховья реки натягивало и низко над лесом сваливало комкастые темно-синие облака. По распадку, где стоял в куржаке лес, от живых ручьев тек розовый студенистый туман, заволакивало распадок на спуске к реке, подтапливало и насупленные, обдутые, лобастые скалы над самой рекой. В проране туман настаивался, густел и полноводной белесой рекой растекался над заснеженным плесом. И все кругом цепенело и казалось сказочным.

С каждым шагом котомка тяжелела. Гриша и шапку под лямку подсунул, завитушки на его голове сразу побелели. Гриша смотрит на отца, вот-вот носом снег достанет, а тянет воз. Гриша высматривает, может, где на берегу взбугрилась валежина — посидеть бы.

Анисим обернулся: хоть и отстал, но, кажется, ровно идет сын. И так же, как дед Федор, руками размахивает. «Вот ведь чертова натура, — ругает себя Анисим, — что бы еще сходить или отсыпать сразу, так нет — гора горой, а вот в мешке твоя земля, твой огород, твоя пашня, твоя родина — жалко бросить. Во как!» — «Были бы лыжи, — мечтает Гриша, — на будущий год, даст Бог, как говорит папаня, живы-здоровы будем, и собаку заведем, и лыжи». Гриша давно заметил, что когда о чем-нибудь хорошем мечтаешь, дорога всегда короче и шагается легче...

Анисим поднялся от реки к зимовью, опустился на порог и тогда высвободил из лямок руки, но сразу встать не смог.

Вечер снял небо. Снег притух, вобрал в себя дневную искрометность, обесцветив лес и прибавив гущины воздуху. Белый тонкий месяц корабликом плыл по распадку рожками кверху. «На мороз», — определил Анисим. Кряхтя поднялся и пошел на берег встречать Гришу.

Ужинали холодной отварной рыбой с горячим душистым кедровым молоком. Кругом стояла тугая непроницаемая тишина. Даже костер притих, словно все враз сиялись и откочевали в неизвестном направлении — как перед бурей. Поели, посидели и снова как будто на свет народились. Анисим встал от костра.

— День да ночь, сутки прочь, — тюкнул он топором на своем численнике.

— А чего, папань, печь ковать — не в иголку вдевать, — перемывая посуду, подал голос Гриша.

— Не терпится? — было взялся за орех Анисим.

— А чего тянуть, раз глину добыли.

— Не возражаю, Григорий, — согласился Анисим. — Знаю способ, как сбить в зимовье стынь.

— Ну вот и давай, — поддержал Гриша.

Анисим с Гришей принесли камни, нагрели их на костре и на лопате, как хлеб сажают в печь, сложили под нары, дверь закрыли. Камни в темноте малиново светились и тихонько потрескивали, словно жаловались.

— Как у кита в брюхе. Но ты у нас по электрической части, Григорий, знаток, — из темноты сказал Анисим, — включай свет...

— Счас, побудь маленько, — Гриша хлопнул дверью.

Через несколько минут Гриша явился с коптилкой-кружкой, из которой выглядывал смоченный рыбьим жиром фитиль.

— Чиркай спичку, папань, — подставил отцу коптилку.

— Можно жить, — сказал Анисим. — Пошел разводить глину.

Анисим принес котелок горячей воды. Они выкопали в полу приямок и замесили в нем глину.

Маленькая и большая тени метались по стенам. Гриша подавал глину, а Анисим клал камни. Примерит камень, мазнет глиной и тогда уж в стенку кладет, да еще обстучит, послушает, как-то отзовется камень. Если бухтит, то ищет ему другое место.

Печь подрастала. Гриша подливал в коптилку жир.

— Была бы чугунная плита, накрыли бы — и свод готов, — задумался Анисим, выведя стенки.

— А глина на что? — торопит Гриша.

— Глина для печника, что для плотника мох... Надо из дерева сделать свод и обложить камнем.

— Ну и что ты, папаня, говоришь — сгорит твое дерево, и обвалится печка.

— Вот тут-то ты и не угадал... Глина как раз и выручит нас: свод обгорит, а глина превратится в кирпич.

— Давай попробуем, — неуверенно согласился Гриша.

Отпилили по размеру каменки чурку. Анисим расколол ее на две половинки, обтесал и накрыл топку печки половинкой, горбом кверху. Стал подгонять камни к своду. Обмакнет руку в глину и проведет по своду, словно поросенка оглаживает.

Гриша видит — печь на загляденье получается, такую хоть в горницу поставь... А вот как топиться будет — это еще посмотреть надо.

— Ах ты, жаль, плитки нету на трубу, — сокрушается Анисим, — а то бы затопили.

И все равно Грише хорошо, что у отца хорошее настроение. И не так уж важно ему, как будет топиться печь, хотя не сомневается, что будет хорошо.

Зимовье стало выстывать. Гриша поднырнул под нары, пощупал камни: остыли — рука терпит.

— Был бы месяц поболе да светил поярче, сбегали бы за плиткой, — говорит Анисим, споласкивая из котелка руки. — Посидим маленько у костра да спать.

Анисим задул коптилку, и сразу в зимовье — хоть глаз выколи. Окно проглянуло. Остро запахло рыбьим жиром. С протяжным скрипом открыл дверь, и в лицо пахнуло морозной свежестью.

Анисим завернул за угол зимовья, а Гриша побежал к костру. Костер прогорел, тлели остатки лиственничных комлей. Гриша выбрал на растопку потоньше полешки, повертел головой — нигде нет месяца. Положил на угли поленья, они затрещали, будто их раздирали, едко задымили и пыхнули огнем, не пугая темноту.

Подошел Анисим.

— И дремать уж некогда. Ты, Гриша, полежи, пока я сотворю завтрак, — предложил, топыря над огнем большие узловатые пальцы.

И просить не надо, пригрелся работник — клюет носом.

Анисим сходил на речку, проверил заездок, принес свежей рыбы. И задумался: «Что же готовить? Уху приставлять, посуду займу, молоко не в чем развести. Гриша любит молоко, да и сам не откажусь». Настроил на рожень ленка и хариуса. Подживил костер. Укрыл Гришу фуфайкой, а сам присел у костра «доить молоко». И молока «надоил», и рожень довел. Только подумал Гришу будить, а он уже прыгает на одной ноге, бродень натягивает.

— Думал, не добужусь.

— Я хоть когда проснусь, если молоком пахнет, — заглянул Гриша в котелок.

— Остыло. Погрей.

— Холодное молоко с горячей рыбой не подерутся, — сел за стол Гриша.



— Золотого или серебряного? В правой или в левой?..

— В правой!

Анисим положил перед Гришей хариуса с золотистой корочкой.

— Я думаю, Григорий, — начал Анисим, когда подросла на столе горка рыбьих костей, — тебе придется остаться в зимовье и заняться по хозяйству. Подбить мох, добыть лапника на перину... а я тем временем сбегаю за плиткой.

— А чего лапник добывать, вот он — бери, — раскинул Григорий руки, будто хотел обнять развесистую пихту.

— Пока ободняет, я немножно покемарю, — повернул разговор Анисим.

— По-спи, — разрешил Гриша, — а то тень наводишь...

Анисиму и сказать нечего. Похэкал в кулак, и все. В шалаш не полез, сел на чурку у костра, свесил на острые колени голову.

Гриша нарубил, натаскал в зимовье лапник. Подошел к костру попить молока, чуть звякнул ложкой, Анисим уж поднял голову. Глаза невидящие, мутные.

— Спи, спи, папань...

Анисим вскочил, встряхнулся, глаза просветлели, серые, с большими черными точками.

— Так побежали? — накинул котомку на плечи.

Гриша схватил свою и побежал к речке.

— Догоняй, папань!

По набитой тропе легче идти, только бродни пришлепывают — «вшик-вшик» — о затвердевшую за ночь корку снега.

— Как на вороных подкатили, — развернулся на «карьер» Анисим.

И сразу — выбирать каменные бруски. Стопочку отложил, поднял, взвесил, добавил еще брусок.

Гриша держал мешок, Анисим аккуратно укладывал плитку, чтобы к спине ребром не угодила.

— Хватит, папань, лед не выдержит... провалишься.

Жалко оставлять столько добра, но Грише положил Анисим в мешок две небольшие плитки.

— Не понесу я столько, курам на смех, — заартачился Гриша.

— Я пока свежий — попру, а там и до твоего мешка дойдет... — пообещал Анисим.

Сложили трубу, и печь стала похожа на слоненка с покатой спиной и поднятым кверху хоботом.

Анисим еще оглаживал крутой ее бок, затирал трещинки, а Гриша изошел нетерпением, когда затоплять, старался отвлечь себя мечтой:

— Вернемся в Баргузин, по печному делу ударимся, да, папань?.. Озолотимся!

— Откуда у тебя такое? — глянул Анисим на Гришу. — Не припомню, чтобы в нашем роду по части золота промышляли.

— Не было, так будут.

— Ну уж если так, будешь брать заказы, имей меня в виду, Григорий Анисимович, в работниках...

— Тоже, папань, сказанул. Я что, эксплуататор, контра недобитая?

Казалось бы, шутка, а задевает Анисима. «Вдолбили ребятам контру, кого добивать-то?» Он соскоблил со штанов прилипшую глину, сполоснул в мутной воде руки и выставил котелок за дверь.

— Хорошо бы стружками прожечь, — как бы себе посоветовал Анисим.

Гриша кинулся собирать, натолкал полную печь.

— Поджигать?

— Можно бы и поджечь, только от топки надо бы отмести стружки, а то уголек отскочит...

Гриша — за дверь, вернулся с метелкой из лапника, подмел зимовье. Торопливо чиркнул спичкой — стружки занялись. Но наполнилась дымом печь, и придушило огонь. Едкий густой дым повалил через топку в зимовье. Анисим удушливо закашлял.

— Открой, Гриша, дверь.

Гриша выскочил, оставил дверь открытой и сразу смотреть на трубу. Над

куцей трубой чуть заметно кудрявилась белая струйка то ли дыма, то ли пара.

— Печь сырая, да и труба узкая, не хватает тяги, — сказал из зимовья Анисим.

— Задохнуться можно, иди сюда, папань...

Анисим вышел, звонко высморкался, промокнул подолом рубахи глаза.

— Мы с дедом Аверьяном так дуплистый комель ставили вместо трубы...

— Не сгорим?

— Зимой — нет... — Анисим смотрел, как из двери валит дым. — Жалко, закоптит зимовье.

Он взял лопату, поддел снегу и в дверь. Дым побелел и скоро совсем опал. На пороге появился Анисим, с топором за опояской.

— Ты, Григорий, посмотри за печью, я скоро вернусь.

Печь потухла. Гриша оглядел стены, потолок, думал, потускнели — нет, пока светятся, только дверь чуть копотью взялась. Гриша послюнил палец, попробовал потереть, размазал, осталось пятно.

Послышался стук топора. «Чего это папаня?» — высунулся из зимовья Гриша...

Анисим обстучал одну сухостоину, другую, третью, сколько обошел, нет подходящей — звенят как колокол... Попался высокий пень, Анисим ударил обухом — пень барабаном отозвался, острием ударил — высеклась искра. Оглянулся: Гриша бредет с пилой по следу.

— Вовремя подоспел, Григорий.

— Трубу нашел, — догадался Гриша.

Пока пилили, три раза отдыхали.

— Не дерево — железо, — то ли хвалил, то ли ругал Анисим лиственницу, а когда сняли пень и из него посыпалась труха, мох и скатанная шерсть, спросил:

— Кто, ты думаешь, жил в дупле?

Гриша взял клочок шерсти.

— Белка? Нет?..

— Соболь. Соседом был. Жаль, собаки нет.

«Труба» оказалась тяжелой и длинной.

— Всей много, — сказал Анисим.

Отпилили столько, сколько могли унести, и поволокли к зимовью. Поставили трубу, и зимовье словно подросло, подтянулось, по-другому смотрится.

— Ветром трубу не свалит? — засомневался Гриша.

— Не дадим. На растяжки возьмем. Неси, Гриша, гвозди, и делу сейчас они. — Анисим вырубил три жердочки, расчалил трубу, попробовал сдвинуть ее. — Ни с места. Никуда не денется, — довольный, спустился с крыши. — Затопляй, Григорий, да смотри, чтобы самого не задернуло в печь.

Гриша выгреб из печки мокрые от снега стружки, наколол тоненьких полешков, сложил их в топке клеткой, как делают в пекарне, когда хлеб пекут. Под дрова подсунул лучину, запалил, дал разгореться и выметнулся из зимовья смотреть трубу.

— Папань! — закричал Гриша. — Целый пароход дымит!

В зимовье золотой отсвет огня плескается по стенам, потолку. Прищелкивая, с радостным потягом, гудела печь.

— Тебе, папань, по русскому обычаю, полагается стаканчик водки налить...

— Кто тебе сказал, — построжал Анисим, — что это по русскому обычаю?

— Всегда так... — Грише хотелось отцу приятное сказать.

— По русскому обычаю так! — Анисим вольно перекрестился на красный угол. — Мир да согласие этому дому. Это по русскому обычаю, сын. А бражничать у нас, Григорий, отродясь не принято. И дед твой Федор, и прадед Аверьян, и сродственники, сколько помню, никто в рот не брал эту пакость. Во все времена у нас в деревне презирали пьяниц. Ну, сам посуди, Гриша, какой прок от пьяницы? Бывает, за рюмку человека хоть узлом вяжи. Не упомню, чтобы пьяница был хозяином хоть дела, хоть слова. Не скажу, что в деревне не выпивали, гуляли и в праздники, и на свадьбах, а вот в будни, на вечерках или посиделках никогда не было спиртного. И песни, и пляски, и игры разные, и под гармошку — исключительно на трезвую голову. Если какой парень и придет на вечерку под мухой, то забьется в угол, чтоб его и не видели... Традиция ведь какая была: каждому охота себя показать — спеть, сплясать. Э-э-х! — вскочил Анисим (Гриша от неожиданности даже вздрогнул), притопнул ногой. — Пошли, Гриша, на старую фатеру за пожитками.

Принесли из шалаша мешок с продуктами, ложки, кружки. Устелили нары свежим лапником. Совсем стало тепло и уютно в зимовье, по-домашнему.

Гриша потрогал теплое дерево нар.

— Полезай, — разрешил Анисим.

Гриша легко вскочил на нары.

— Хороший кавалерист, — отметил Анисим. — Коня не хватает.

— Коня и шашки! — Гриша порубал рукой воздух и упал на «перину», остро пахнуло пихтой. — Бойницы-то забыли сделать... обороняться...

— От кого? — раскладывая съестные припасы, спросил Анисим.

— От набегов, от кочевников, от бе... — поперхнулся словом Гриша.

— Договаривай... — помрачнел Анисим.

— Не хотел я, папань, про белых...

— Да чего там, ряди, суди, вою.

— Чего судить-то. Бог тебе судья, — опечаленно, по-взрослому сказал Гриша.

— А ты не собираешься судить тех, кто порушил землю нашу, надругался над ни в чем не повинными отцами и дедами нашими, тружениками?

— Кто надругался-то? — вскинулся Гриша. — Скажи.

Анисим и сам не знал, кто именно.

— Скажу одно, сын, народ наш сам никогда бы не додумался, да и не дошел до такого братоубийства. Такой разор совершить, уму непостижимо... И будет до тех пор кровоточить, пока суд праведный не свершится. Господь заступится, Христос наш спаситель... Господи! Дай силы! — Анисим осенил себя крестом.

Гриша лежал, сцепив руки за головой, перед глазами плыл тихий задумчивый лес. И вот лес начал раздвигаться, и уже не лес, а ровное поле, и всадники, скачущие на разъяренных конях. Сверкают на солнце мечи и щиты. Гриша припал к бойнице в ожидании врага. Слышит, как под копытами земля дрожит. И он, готовый встретить врага, увидел отца, деда Федора и прадеда Аверьяна в блестящих шлемах и стальных кольчугах. Грише не страшно. Свои здесь. Прадед Аверьян узнал Гришу, одобряюще подмигнул ему, и шрам у прадеда над левой бровью полез под шлем. Гриша уверен, крепость врагу не взять... И только конница приблизилась и мечи скрестились, как... почувствовал спросонья, кто-то за ногу дергает, и голос отца услышал.

— Григорий, молоко стынет. Ленок малосольный... Давай к столу.

Гриша открыл глаза, и вдруг стало светло, как бывает, когда закончили крутить кино и убирают с окон одеяла.

— Папань, у деда Аверьяна был шрам над бровью? — свесив с нар ноги, спросил Гриша.

Анисим занес над кружками котелок, но задержал руку.

— Привиделось, что ли?

— Такой вывернутый красный рубец.

— Верно.

И задумался Анисим. Он не помнил, чтобы рассказывал когда-нибудь о прадедовом шраме. Про бороду точно, говорил...

— Он мне еще подмигнул, — горячился Гриша. — Узнал он меня. И дед Федор был, и ты, папань...

— Покойники к непогоде, а вот я... — Анисим разлил молоко в кружки. — Напечем блинов да помянем родителей.

Гриша еще что-то рассказывал, Анисим отвечал, но Гришин сон не шел из головы. Он вспомнил, как однажды прабабка, которую он не застал в живых, явилась ему во сне. Поведал о том деду Аверьяну. «Ну и как ты ее видел,

Аниська?» — «Как тебя. В платке домником и бородавка на ухе». — «Она, — подтвердил дед Аверьян. — А потом?» — «Мы с тобой были. Она взяла тебя под руку и увела в лес, меня оставила, мне стало жутко». — «Так, говоришь, меня увела? — переспросил дед Аверьян. — Стало быть, скоро отойду». А вскоре и в самом деле помер. Анисим пил горячее молоко, и рука его заметно дрожала. Пожаловался:

— Что-то знобит...

— И у меня в голове шумит... — отложил Гриша сухарь.

— Рази камень угарный, — развернулся на скамейке Анисим и подержал руку над каменкой. — Просквозило, так негде вроде. — Он взял со стола котелок и вышел на улицу, а Гриша метнулся на нары досматривать сон. Анисим вернулся, отряхнул у порога снег.

— Вовремя мы управились, Григорий, — сказал повеселевшим голосом. — Зима-то всерьез поселилась. Однако, надо за лыжи приниматься...

— Надо, однако, — отозвался Гриша.

— Ты сбегал бы, сынок, посмотрел заездок, пока не задавило снегом, — разделывая на посол рыбу, попросил Анисим.

Гриша спустился с нар и за шапку.

— Да ты как следует оденься, подпояшься, — Анисим астряхнул в приоткрытую дверь мешок и сунул его Грише. — Если что, крикнешь.

В мутной тиши стояли опухшие от снега деревья. Затаилась и речка. Гриша постоял, послушал и побежал к своему мосту. Но не увидел его. Екнуло сердце: «Куда девался мост?» Посмотрел на лоток: лапник чернел под снегом. «Угу сколько навалило!» — Гриша сгреб ногой снег, поднял ветки и увидел рыбьи хвосты. Выбирал из лотка ленков, хариусов и выкидывал их в снег. Рыба билась у его ног, коченела, изогнув хвосты. Гриша подобрался к заездку, расчистил лед и припал к нему, высматривая дно, и увидел у самого входа в лоток крупного таймени. «Ах ты!» — в азарте Гриша сорвал с головы шапку, но вспомнил, что ни крючка, ни лески нет. Не шевельнув и плавником, таймень тенью сошел на глубину. Гриша еще посидел на льду, не замечая, что на голове у него снег, надел шапку, накрыл лапником лоток, побросал в мешок рыбу и поволок к зимовью, едва угадывая свой след.

— Папань! — на подходе крикнул Гриша. — Крючок ковать надо!.. — Подошел и увидел, что отец снова тесал что-то. — Чего это строить взялся?

— Лестницу. Трубу закрывать. А тебя с уловом...

— Ты знаешь, какая там рыбина?! — все еще не мог успокоиться Гриша.

— Знаю, — спокойно сказал Анисим. — А это чем не рыба, — кивнул на мешок. — Ну-ка, посчитай на нашем численнике, — попросил, стараясь отвлечь Гришу, — сколько мы тут ден.

— Двенадцать, папань!

— Значит, две недели, а как один день... Летит время. Лыжи пора вострить.

— И белку еще не поймали, — напомнил Гриша.

— За белкой дело не станет. Сама в руки просится. Ты видел, что она с орехами-то вытворяет?

Гриша удивленно взглянул на отца. Анисим хмыкнул:

— Не видел, так сходи, сходи погляди... — и показал за шалаш, под раскидистую пихту, где был склад шишек.

Гриша поднырнул под плотно нависшие до самой земли заснеженные ветки. Под пихтой было сумеречно. Не только снег, но и свет слабо проникал. Гриша присмотрелся: куча шишек разворошена. «Видать, не один зверек трудился, сколько шишек распустили».

Гриша поднял несколько недовышелушенных шишек, сложил в полу фуфайки и принес показать отцу.

— Видал? Если не изловить, оставят без орехов.

— Свое берут, — спокойно сказал Анисим, примеряя к стенке лестницу. — Это мы у них тащим. А то, что в шишке осталось, — пустой орех.

— Да ну? — не поверил Гриша. Сковырнул чешуйку, достал орех, раскусил — пустой, другой, третий — тоже...



— Ты говоришь, белку поймать? Так и ходить далеко не надо. Сделай клетку, закидную дверцу — и белка твоя.

Гриша сразу за топорик.

— Можно в зимовье строгать?

— Строгай.

— Из лучинок?

— По мне, так лучше всего делать из таловых прутьев. Нарезал потолще карандаша...

— А шить чем?

— Шить? Сплести можно, но не поднимешь, тяжелая будет. Лучше всего, — вспомнил Анисим, — деревянные гвозди-кляпушки на еловой смоле — хорошо держать будут...

Гриша настолько увлекся работой, что, не позови отец к столу, и не вспомнил бы о еде. Клетка получилась, взял Анисим в руки — выпускать жалко. Повертел в руках клетку, только и выдохнул:

— Ну-у, Григорий...

Снег валил не переставая, день, ночь, еще день, еще ночь, задавил и кустарники, и подсад, словно прибрал все то, что плохо и не на месте лежало. Высветил лиственничники. Оголил и уширил берега речки. Только ельники и кедрачи еще больше посмурнели и затаились.

Рассвет Анисиму казался долгим, тягучим и вязким, как еловая смола, когда ее опрастываешь из кружки.

— Сколько ни лежи, а вставать придется, — поворочался Анисим на «перине». В зимовье было тепло, уютно и таинственно спокойно. — Ты не спишь, Григорий?

— Нет, папань.

— Интересно, сколько натикало на твоих серебряных?

— Однако, паря, мно-о-го-о, — подражая деду Витохе, протянул Гриша.

— Какие у тебя планы, Григорий?

Гриша сел на нарах, почесал голову. Мутно отсвечивало ледяное окно, маячили печка, стол.

— Я бы так поел.

— А клетку не проверял?

— Нет, — спохватился Гриша.

Спрыгнул с нар. Земляной пол холодил ноги. Обулся, надел фуфайку и в дверь торкнулся, а она ни с места.

— Нас кто-то подпер. — Гриша отступил и с разбегу саданул плечом. И тогда дверь не открылась.

— Медведь, кто еще мог так подшутить? — предположил Анисим. — Придется через трубу выходить.

— Ломать трубу, что ли? — опешил Гриша.

— А как бы ты хотел?

Гриша поглядел в окно, но ничего не увидел.

— Лучше уж прорубить окно... «Стекло» мы еще добудем. — Через стол пощупал, погладил «стеклину», будто хотел убедиться, цела ли. — Не тает. Тепло, и не тает. Сверху залоснилась, и всё.

— А с чего растает, когда снаружи жмет мороз — перебивает.

— Рубить? — уже с топором в руке спросил Григорий.

— Погоди, Григорий, — Анисим не спеша спустился с нар, долго натягивал, покашливая и покрякивая, бродни. Наконец поднялся со скамейки, подшагнул, навалился плечом, и дверь отжалась. И сразу зимовье запуржило снегом. — Пролезешь? — уступил дорогу сыну. — Лопата сразу за дверью под стенкой стоит.

Гриша протиснулся между дверью и косяком, дверь за ним со скрипом захлопнулась.

Грише показалось, что он окунулся в мутный поток, настолько плотно лепил снег: протяни руку, и не увидишь своих пальцев. Гриша нашел лопату, отгреб от двери сугроб и побрел по пояс в снегу смотреть клетку. На месте

костра — белая черновина, в шалаш черным глазком выглядывает из сугроба. Гриша, изо всех сил буровя снег, пробился под ель. И сразу услышал возню в клетке, бросился к ней — увидел белку. Гриша схватил клетку, но, убедившись, что дверца плотно захлестнулась, одернул себя: «Каким должен быть охотник? Хладнокровным. То-то, Григорий» Белка дико металась по клетке.

— Ну чего ты?.. Дурочка, — ласково сказал Гриша. — Никто тебя не съест. — Ошелушил шишку и посыпал орешки в щелочку между прутьями. Но белка еще больше встревожилась. — Ладно, обвыкай. — Гриша прикрыл клетку лапником и своим следом вернулся к зимовью.

Отец уже проскреб тропинку к речке.

— Вижу. Светишься... — встретил Гришу.

— Серебристая, папань! Вот такой вот хвост! — Гриша широко раскинул руки.

— У лисы заняла, — рассмеялся Анисим.

— Давай, папань, еще одну поймаем, — веселее им будет.

— Поймаем, поймаем... — Анисим воткнул в снег лопату. — А пока бери, Григорий, мешок, сходим за рыбой да разгородим заездок — куда нам ее столько...

Снег начал редеть, и вдруг просветлело, будто снежную прореху в небе заткнули.

— Видал! — не удержался Анисим. — Какой нам свет небо дарит.

— А ружье, папань, брать?

— Возьми на всякий случай.

Анисим шел впереди, проминая тропу. Гриша старался угадать в его след, но оступался и пурхался по уши в снегу. Анисим остановился, и когда Гриша подошел, приложил палец к губам и показал глазами на реку. Вдоль берега на рысях шел сохатый. У самого заездка зверь хватил запахи и бросился через реку. Выскочил на лед, вздыбился и рухнул.

— Папань, — сунул Гриша отцу ружье.

— У нас лежачих не бьют, — сказал Анисим, наблюдая из-под руки. — Ноги разъехались, видать, в наледь угодил...

Сохатый подобрал ноги. Встал на колени, словно поклонился берегу, и еще некоторое время стоял в поклоне, раздумывая, надо ли подниматься. Но вдруг, резко вскинув голову, вскочил и, взрывая наледь, наметом ушел в прибрежный лес.

— Вот это да! — выдохнул Гриша. — Ты чего ж, папань? Убежали камусы...

— Волк свирепствует, — как бы не услышав Гришу, пояснил Анисим появление сохатого.

Он сделал несколько шагов к заездку и попятился. Гриша увидел, как из-под снега наползала черновина, подъедая след отца.

— Все, Григорий, без лыж делать нечего.

— Навяливал ведь тебе дед Витоха, так не взял, — вспомнил Гриша.

— Я уж тебе говорил, на чужой каравай...

— И зверя упустил, — с нескрываемой досадой попрекнул Гриша отца.

— Сохатый ведь не рябчик, сын, — примирительно сказал Анисим. — Куда мы с ним. Ни себе, ни людям... Камусы убежали, так стоит ли горевать, мы и без них сработаем лыжи. Пошли строгать... — развернулся Анисим к зимовью.

Дерево на лыжи присмотрели, еще когда заготовляли дрова. Захватили пилу, топор и сразу отыскали лесину.

— Если бы не затески, и не признать теперь место, — подбираясь к стволу, пурхался в снегу Анисим.

В заснеженном лесу пила не звенит как раньше, хоть и старается Гриша, а шепелявит, будто у нее зубья выпали. Свалили лесину, распустили на чурки: одну — по Гришиному росту, другую — под Анисима. Доски получились, Анисим нахвалиться не может, — прямослойные, без единого сучка заготовки, будто ломти доброго хлеба.

Но это, как говорится, еще полдела. Загнуть, довести до ума — тут требуется и умение, и терпение. Не дострогал, не догнул — ног не поднимешь. Перетончил — бойся каждого сучка, пенька: наступил — из одной две, неси в руках обломки. Другой раз мастер гору леса изведет, чтобы загнуть лыжу как полагается. А у Анисима свой особый способ. Да и нянчит он заготовки и день, и другой. И строгает, будто гладит дерево. И ремешок по ноге старательно примеряет.



Придирчиво оглядел Анисим свою работу — потянулись за Гришиными лыжами ровные ленты на снегу.

Анисим построгал свою пару, да еще каленой железкой прошел. Подмел зимовье, скидал стружку в каменку. Малиновым жаром обдало Анисима, колко просекло между лопатками, дрожью сыпануло на потную грудь...

Долгая ночь в избушке: сколько раз ни выйдешь до ветру, а рассвет остановился за темным мертвым лесом. И чего он выжидает? Нет, кажется, ожил, выгибает спину, у Анисима зашли ноги от холода, выскочил на минуту, а охота посмотреть, как солнце начнет теребить гриву таежного волока. Вот уже и высветило оно распадок с одного бока, и чешуйчато, как на воде в ветреную погоду, зарябили склоны гор, солнце выглянуло петушиным гребешком, и снега ожили.

Проснулся Гриша и, не открывая глаз, пошарил рукой по колючему от пересуха лапнику. Отца рядом не было. Схватился, сел, свесив к печке ноги.

Потрескивали уютно дрова, выметывались из щелок в каменке стрелы красноватого света, и от них в зимовье было тревожно. Щемящее беспокойство охватило Гришу: «Где же папаня?» Вдруг с глухим шумом метнулась за печку полосатая тень. У Гриши от испуга екнуло сердце. Он боялся пошевелиться, но, собравшись с духом, неумело перекрестился и тихонько спустился с нар. Открыл топку, и зимовье осветилось. Гриша поглядел за печку. «Бродень удрал». И стал обуваться.

За дверью послышались шаги. Скрипнула дверь, обдало холодом, на пороге появился отец.

— Объезжал лыжи, тебя, Григорий, вспомнил... Хорошо ты придумал. Теперь снег не набивается под пятку.

— Это не я, дед Витоха... Еще тот раз, когда выносил лыжи, кожанки на его лыжах были на подследниках, вот я тебе и сказал, чтобы ты выкроил из голенищ такие же.

— Ну, глазастый ты, однако, паря, — протянул Анисим. — Однако надо умываться, да чай пить будем. Вот, чаги принес, — выложил на стол березовый гриб, похожий на вывернутую губу. — Брюхо погреем да сбегаем на отстой...

Рассвет только еще тек с гор, стелился сиренево под деревья, Гриша подживил ночной костер и вынес из-под разлапистой пихты клетку с белкой. Белка уже обвыкла и брала из рук орешки. Но когда Гриша попытался в приоткрытую дверцу дотянуться до нее и погладить, белка вздыбила спинку и зафыркала.

Искры от костра бледнели, взметнувшись, не доставая веток, таяли и пропадали.

— Гриша, ты где застрял? — позвал в приоткрытую дверь Анисим.

— Иду, папань, — Гриша поставил на место клетку и бегом к зимовью.

Анисим настраивал капкан. И ружье с собой приготовил, заметил Гриша.

— Не знаю, брать или не брать... — сказал раздумчиво Анисим.

— Бери, папань, давай я понесу.

— Не в этом дело. Дед Витоха упреждал побелить капкан. С вечера бы, теперь когда возиться с побелкой? А, ладно, поставим небеленый, — Анисим перекинул капкан через плечо, капкан огрызнулся и затих.

— Злой, в самый раз на волка, — покосился на капкан Гриша.

Встали на лыжи. Анисим потоптался, проверил крепления. Гриша поддразнил отца:

— Боишься, папань, разнесут...

— Э-эх! — Анисим неожиданно резко взял с места под спуск к речке.

— Берегись! — крикнул Гриша, пристраиваясь в лыжню отца. Лыжи не-

ходко пошуршали на спуске, а на пологом месте застопорились. И пришлось идти так, как ходят в валенках не по ноге.

Впереди маячила спина отца, и Гриша решил срезать углы, чтобы догнать его. С силой отталкиваясь палкой, стал выправлять на речку, но палка протыкала глубокий снег, застревала, одергивая Гришу. Приходилось притормаживать, чтобы выручить палку. А отец все отдалялся. Наконец Гриша выбрался из снежного плена, выехал на лед, и сразу загрызало лыжи.

За ночь наледь взялась коркой, а сверху ее словно посыпали крупной солью. «Решу лыжи», — спохватился Гриша и снова вернулся на берег, на след отца. И что было духу пустился догонять его.

— Ты чего, сын, мечешься? — спросил Анисим, не оборачиваясь.

— А ты видел, папань, следы?

— Следов много. Ты про какие?

— Соболь нарисовал — вот...

— Мышкует, — определил Анисим, добавляя ходу.

— Была бы собака! — приноравливаясь к шагу отца, срывающимся голосом крикнул Гриша.

Анисим приостановился.

— В таком снегу собаке делать нечего... Кулемку бы здесь поставить, — показал под напуск берега, куда нырнул след. — Наш бы зверек был.

— Давай сделаем, — вдохновился Гриша.

— А когда? Настроились на волка... — И Анисим пошел дальше.

Под лыжи ложился призрачный зыбкий сумрак, притемняя снег, как бы наползавший навстречу лыжникам.

— Папань, а если забраться во-о-он на ту гору? Видишь, впереди как блестит? И сигануть с самой макушки...

Анисим остановился, посмотрел на дымившуюся сизой изморозью гору.

— Если с той вершины да с разбега на наших конях, дак на другой склон, через падь, перемахнешь. И подкатишь к самому крыльцу нашего барака.

— Маманя встретит, Сашка, Маша... — обрадовался Гриша.

— Соскучился?

Гриша покивал.

— Я тоже, — признался Анисим.

Перед восходом солнца начал поджимать мороз, Гриша дунул — гудит. Лыжи обкатались, податливее стали, не тянут ногу, слышно только шипение, словно ступают в горячий снег. Серенькая, с черной головкой, пичужка увязалась следом и тинькает, тинькает, перелетая с ветки на ветку, словно отговаривает идти дальше.

В изгибе излучины Анисим вдруг остановился. И Гриша наехал на его лыжу. Анисим полуобернулся, приставив палец к губам, и показал на склонившуюся над речкой березу.

В холодных лучах солнца на заснеженных ветвях, словно засахаренные, сидели птицы. Анисим снял ружье и передал Грише. Гриша не дыша взял ружье. Но рябчики, было видно, и не собирались улетать. Только один на самой макушке проявлял беспокойство.

— Снять? — тихо спросил Гриша.

— С подходом, — так же тихо ответил Анисим.

Только Гриша сошел с лыжни и сделал несколько шагов, как птицы фырнули с березы и разлетелись в разные стороны.

— Говорил, надо было с места стрелять, — опустил ружье Гриша.

— Пусть жируют, — подбадривающе сказал Анисим. — На обратном пути подберем.

Гриша все еще высматривал, куда же делись птицы. Увидел на взгорке рябины, они стояли без листьев и снега, гроздья ягод светились. «Интересно, почему рябчики сидели на березе, а не на ягодах?» — хотел спросить отца, но тот уже двинулся дальше, пришлось поспешить за ним.

Гриша настиг Анисима перед самым отстоем.

Анисим что-то рассматривал у прижима. Гриша пригляделся: на льду у прижима валялись кустистые изюбриные рога, снег вокруг сбит и окровавлен.



— Зарезали?! Раздербанили?! Папань, смотри, — подергал отца за рукав и показал на верхушку сухостоины. — Кошка сидит?!

Анисим вскинул глаза.

— Откуда кошке взяться — соболь!

И, не спуская глаз со зверька, пошел к дереву. Гриша за ним.

— Смотри, и не убегает...

— Тяжелый он, — определил Анисим. — Ишь, как его расперло на дармовщину. Дорвался до волчьего стола.

Зверек угрожающе фыркнул. Гриша вскинул ружье.

Хлопнувший выстрел разорвал голубой настоенный на снегах воздух, и дерево заволокло грязноватой дымкой. Гриша услышал, как зверек падает, царапая когтями дерево.

Анисим поднял соболя за хвост. Беззубый рот оскален. Мех сверкает на солнце, искрится серебряной чернью.

— Ясно, объелся. А вот, — склонился Анисим к дуплу, — и дом его.

Сунул нос и Гриша.

Обследовали дупло, походили по берегу.

— Волки с этой стороны выгоняют зверя на лед, — сказал Анисим.

— Может, волки где-нибудь рядом, — притушил голос Гриша. — Объелись и валяются... Нагрянуть бы...

Анисим закинул в мешок соболя, размотал стальной тросик на капкане и стал примеряться, где ставить капкан.

— Папань, можно поставить вот здесь, за валежиной, и привязать за сук. Перемахнет, хоп — и наш...

— Погоди маленько, Григорий, потаск надо — хорошую жердь.

Анисим вырубил жердь, привязал тросик и все еще топтался около волчьей тропы.

— Ставь, папань, завтра прибежим, посмотрим, — торопил Гриша. .

Как Анисим ни старался замаскировать капкан, как ни присыпал его снегом, все равно черновина дуг проглядывала.

— Ночью-то кто увидит? — недоумевал Гриша.

— Увидит, — вздохнул Анисим, — в том-то и дело. Свежесломанная ветка, и та настораживает зверя...

— Известку завтра принесем, побелим, — решает Гриша.

— Хорошо, — соглашается Анисим, заряжая капкан. Отступая от тропы, стал заметать веткой свой след. — Сходим еще вверх по речке, посмотрим, что там творится...

По накатанной лыжне да по зеркалу речки ходко шли лыжи, податливо получалось. Но все равно к зимовью возвернулись в сумерках. Анисим приставил к стенке лыжи, взял топор и пошел воду добывать, Гриша — дрова носить, печь топить. И только склонился к топке поджечь лучину, а из печки вой. Гриша припал ухом. Волк. Его вой.

Гриша выскочил из зимовья и припустил к речке. Анисим уже шел навстречу с полным котелком.

— Папань, — крикнул Гриша, — взвыл!

— Пусть поет, — спокойно сказал Анисим.

— Да сидит! В капкане...

— В неволе не поют, — Анисим приобнял Гришу. — Чего взъерошился? А еще бывалый человек...

— Да я так, — умерил пыл Гриша. — Давай котелок.

Поднялись к зимовью. Анисим на своем численнике отметил прожитый день, а Гриша растопил печку, все время прислушиваясь к трубе.

— Слушай не слушай, Григорий, а пока печка гудит, ничего не услышишь.

— Ведь было же слышно.

— А я про что, остынет печка, и слушай. Мы дак раньше на печную трубу ставили граммофон, направляли раструбом в нужную сторону, и, пожалуйста, слыхать, как чихает зверь.

— Скажешь тоже, папань. Граммофон-то где брали?

— Сами делали. Из бересты раструб загнешь воронкой... Наденешь на

трубу, к дверце ухо подставишь и слушаешь. Было у нас на Кандакаие зимовье с железной трубой, так мы трубу вместе с граммофоном поворачивали, слушали тайгу, озеро, речку. Другой раз нанесет ветерком, так думаешь, вот-вот сохатый через порог переступит...

— Похоже, — согласился Гриша. — Волк-то совсем рядом голосил.

— А что я, врать буду...

Котелок забулькал. Анисим сдвинул его с огня, кинул в кипяток горсть заварки — березовой чаги и бадана, чуток потомил над огнем. Сладко пахнуло чайным духом.

После ужина Анисим пристроился на чурбачке при открытой топке ладить наличники. Гриша прибрал со стола и тоже за нож — резать кружевную затейливую вязь из кедровых строганых досочек. Работа кропотливая, неподатливая, ведь еще и каленым гвоздем отделать надо, но зато поглядеть любо. Гриша примерил к окну резьбу, и Анисим, скупой на похвалу, не мог удержаться:

— Баско получается.

— Давай, папань, петуха вырежем, — зарделся Гриша.

— Петуха... — задумался Анисим. — Петуха, сын, сотворить — искусство большое. Талант необходим. Если ты, Григорий, возьмешься. У меня, боюсь, какой надо не получится.

— А какой надо?

— Я так думаю — встрепенутый, с голосом.

— Он же не живой, папань?!

— Вот и надо, чтобы живой будто был — напружинистый.

Гриша выбрал дощечку и долго вертел ее в руках, растянулся на полу перед печкой, чтобы не мешать отцу, и стал углем «сотворять» петуха.

Анисим каленой железкой отделывал резьбу на обналичке, куделька смягого дыма клубилась под рукой, истекая щекотной горчинкой. Время от времени похэкивал, и на его лбу, в морщинках, как после бани, выступали капельки пота.

— Ты чего ворожишь? — вспомнил Анисим о сыне. — В темноте-то кого видишь?

— Петуха, — отозвался Гриша.

Анисим склонился, посмотрел.

— А ничего выходит, зазывает.

— Раскрасить бы... — оживился поддержкой отца Гриша.

— Не в краске дело, сын, — встал с колена Анисим. — В посадке, в осанке... Давай-ка, Григорий, и мы на насест — пораньше встанем...

Гриша скоро засвистел носом, раскидался во сне, а к Анисиму сон не шел. Через трубу слышно было: совсем рядом взвыл волк, и ему ответил другой голос — протяжный, заунывный и жутко тоскующий. Повременив, первый волк поднял ноту, и казалось, если они не за порогом, так под спуском на речке. Анисим осторожно слез с нар, ощупью взял ружье и, не скрипнув дверью, вышел. Стоял долго, но холода не чувствовал. Небо вызвездилось, завис над лесом месяц, зыбкий холодный свет шел от него. Тени лежали на снегу четкие, словно их выткали из черных ниток.

Звуки отдалялись, и Анисим зашел в зимовье. Засыпая, слышал возню то ли на речке, то ли в распадке напротив — кого-то рвали, доносился и радостный, и угрожающий, и победный рокот волчьей стаи.

Гриша проснулся рано, свесил с нар голову, отец уже сидел перед топкой, весь красный от огня.

— Не ложился, папань? — Гриша надернул бродни — и на улицу.

Вернулся с клеткой. В ней метались две белки.

— Хороший улов, — заглянул Анисим. — Только как понесем? Сколько поднабралось: и рыба, и орех, и шмутье не бросишь... В пору хоть сани делай...

— По речке побежим.

— Так оно так, Григорий, а ну как не в Байкал, а в другую речку повернем... Мы уж с тобой прикидывали... выходит, мять горы придется.

— Волка поймаем — впряжем...



— Так-то разве... осталось поймать...

— Сбегаем посмотрим, может, сидит.

Позавтракали. Встали на лыжи. Как только спустились к реке, резкий пронзительный хиус больно ожгнул уши, защипал щеки.

В морозном тумане дремала речка. Предрассветные сумерки и туман застили берега, стояла густая непроницаемая тишина. По набитой ознобной лыжне храпали вразнобой лыжи.

Гриша не заметил, когда отец уступил ему дорогу. И только как повернул от отстоя на волчью тропу, оглянулся и понял, где он и зачем.

— Ну, ты размахал, паря, не угнаться, — настигнув Гришу, сказал Анисим.

Морозный туман проредился, отклеился от реки, завис над скалистым берегом, подрезая макушки деревьев, розовел и светился. С беспокойным, томительным ожиданием подходил Гриша к капкану. Волка не было. Анисим подумал, что этой ночью волк обогнул стороной переход. Присмотрелся получше: свежий след вел прямо к капкану, но метрах в трех — прыжок в сторону.

— Вот оно что-о, — протянул Анисим. Зашел справа, слева, поскреб в затылке: еще волчий след в обход капкана. Вот теперь и гадай, от чего шарахнулся волк.

— Дед Витоха говорил...

— Говорить-то говорил, а волк-то, можно сказать, в руках у нас был...

— Был, да сплыл, — подосадовал Гриша.

— Счас мы ему наведем румяна.

Анисим достал из котомки котелок с известкой. Извлек из-под снега капкан и, макая в котелок мысок рукавички, принялся белить железные дужки.

Потом, будто вспомнив самое важное, сходил подальше в лес, срубил сухостоину, сделал лопатку с длинным черенком. Чтобы не натоптать на тропе, выбрал лопаткой из-под следа снег и в эту нишу подсунул капкан — отпечатанный волчий след пришелся прямо на спускную тарелочку.

— А если, папаня, волк мимо тарелочки ступит. Сработает? — склонился Гриша перед капканом.

— Не ступит. Волки ходят след в след.

Капкан замаскировали. Анисим и следы припорошил снегом.

— Папань! — подал голос Гриша.

— Иду, иду, — поторопил себя Анисим. — А ты, Григорий, не завернешь по пути в распадок? Не приелся рыбный стол? Если чо, так ступай, я следом...

Гриша только и ждал этого — захлопали лыжи, покатился черный комок по белому.

Анисим пересек речку, посмотрел следы у прижима перед отстоем и не обнаружил свежего побоища, свернул на Гришину лыжню. И только поднялся на лесистый берег, как невдалеке, за еловой кромкой, прогремел выстрел. Анисим убыстрил ход. Только поднырнул под ветви ели, навстречу ему Гриша — волок за шею глухаря.

Анисим осмотрел птицу, от красных надбровий до черного хвоста с белой пелериной. Одна дробинка — и попала в шею...

— Фартовый ты, однако, — сказал Анисим.

— Я только вывернулся, иду тихонько, вот из-за той ели, — показал Гриша, — смотрю, снег зашевелился, думал, зверь — вскинул ружье, а глухарь змеей голову показал и забил крыльями. На взлете я его н... С меня будет, — примерил к себе глухаря Гриша.

— На ягоднике был, — определил Анисим. — Ну, вот и похлебка с глухариными потрохами, — взвесив на руке, спрятал в мешок добычу, подал Грише патрон. — На всякий случай...

Гриша зарядил ружье, и они пошли к зимовью.

Солнце спустилось за гору. Закат стеклил закраек неба прозрачной латунью, и насколько хватало глаз, отражались огнистые всполохи, дымились над речкой.

Готовить глухаря взялся Анисим. Выставил все свои запасы трав — раз-

6*

ложил узелки, как в лавке, будто собирался торговать... И настоем трав запивали жаркое из глухаря. Основательно ели. Благостно успокоенные.

— Разговоры говорить или карниз строгать? — пересаживаясь с лавки на чурочку к печной топке, спросил Анисим.

— И разговоры говорить, и строгать, — прибирая со стола, откликнулся Гриша. — А когда же мы обналичку пришьем?

— Сей момент, подсветим костерком и приладим...

Анисим собрал обналичку, гвозди в карман, за топор и — в дверь. И Гриша за отцом следом поспешил.

Хоть льдина и смотрелась как бельмо на глазу, а подогнали, окантовали обналичку, в кружевную оборку вставили — ожило оконце.

— Папань, дома такую же на свое окно сработаем. Ладно?

— Ладно-то ладно... да обосабливаться нехорошо, что скажут соседи?

— Пусть завидуют.

— От зависти многие беды и проистекают, сын, — горестно вздохнул Анисим. — Зависть, она, как ржа, подтачивает... Не завидуй, сердце надорвешь.

Гриша убрал к трубе лесенку, затушил костер. Сквозь ветки месяц тронул карниз зимовья, и пала на снег тень, похожая на скворечник.

Открыл Гриша глаза, отец, как всегда, на чурбачке против топки сидит.

— Вставай, Григорий, умывайся да побежим.

— У меня, папань, предчувствие — волк сидит...

— Сон, что ли, видел?

— Не сон, а сидит...

— Хорошенького понемногу, сын... — Анисим стал разливать чай.

Гриша понял, к чему клонит отец: собираться пора домой. И радостно на душе, и тревожно, и не поймешь — чего больше.

— Да не суетись, ешь хорошенько, — придвинул жаркое Анисим, глянул на дверь. — Заждались нас... Если смотреть с нашего бугра, так и не шибко загостились, а им-то показалось — знаю как. Мать, поди, все глаза проглядела. — Допил чай, стал собираться. — Сегодня, однако, мазилку с собой не понесем. Налегке туда и обратно — заберем капкан...

— А волк?

— За волка — баран, за волчицу — два... Придется брать, — посмеялся Анисим.

Из темноты на тусклый рассвет — все равно кажется светло. Анисим с топором за опояской, Гриша с ружьем за плечом — встали на лыжи и пошли.

Все бы ничего, да рукавички выносились — руки у Гриши от холода заходят. Он и пальцы в кулак сжал, и придерживал у бедра — ломит руки. С восходом мороз прижал сильнее.

На свороте к капкану Анисим окликнул Гришу:

— Ну, как насчет предчувствия?

— Говорил же... — не отступил от своего Гриша.

Как только вышли напрямую через речку, Анисим увидел, что вокруг колодины снег сбит. Остановился передернул на опояске с поясницы на живот топор, взял у Гриши ружье, перезарядил пулей. Гриша с ружьем пошел буровить целик с одного бока от волчьего следа, Анисим с топором наизготовку — с другого. Втянулись с берега в лес, по следу видно было: все чаще останавливался волк, разметывая снег, раскидывая со слюной кровь.

Грише стало жарко, захотелось сбросить рукавицы. Но след вдруг повернул и поднырнул под развесистую ель.

— Осторожнее, — сказал Анисим, поднял ветви, заглянул под ель, но ничего не увидел, след уходил за снежный бугор. Они обошли ель и снова стали на след, но и десяти шагов не сделали, как Гриша вскинул ружье. Анисим взглянул, куда целился Гриша, и вдруг навстречу метнулась окровавленная пасть — волк почуял людей, вернулся по своему следу.

— Стреляй... — негромко скомандовал Анисим.



К зимовью охотники возвращались на исходе дня. Мороз еще добавил, выжимая наледь, и она чадила грязным туманом, наполняя пойму реки. Тяжелые темные тучи лежали на лесистых склонах гор.

— Фу ты, думал, ошибка вышла, не наше зимовье, — поднявшись от реки, засмеялся Анисим.

В закатном солнце резные наличники ярче оттеняли белизну бревен, и зимовье светилось. Гриша тоже залюбовался.

— Не жалко покидать? — спросил Анисим.

— Мы же не насовсем...

— Ну, тогда самовар ставить или костер оживлять?

— Костер-то наш-то? — усомнился Гриша.

— Соберемся и с рассветом айда... Или у тебя другое мнение?

— Я как ты. Давай спички.

— Спички! — Анисим в лице даже сменился, стремглав бросился в зимовье.

Гриша вошел за отцом.

— Так и есть, — со вздохом сказал Анисим. — Остались ни с чем. Как еще зимовье не спалил...

— Ты чего, папань?

— А то. Растоплял утром печку, спички положил вот сюда, на каменку, и забыл. Накалились и вспыхнули — вот и весь сказ.

— А на столе коробок был, — пошарил Гриша по столу.

Анисим выхватил у него из рук коробок, высыпал на ладонь четыре спички.

— Не густо.

— Но и не пусто, — досказал Гриша. — Чего паниковать?

— А я разве паникую, одной спичкой можно миллион деревьев спалить... — Анисим ссыпал в коробок спички. — Пошарь, Гриша, в каменке, может, осталась какая искра.

Гриша чуть не весь влез в каменку.

— Нет, папань. Живое тепло есть, а загнеты нету.

— Ну, тогда... вот она, спичка, на сегодня и на завтрашнее утро она же...

Гриша расчистил старое огнище, уложил шалашиком веточки, сухой мох, надергал с березки ветренки, чиркнул спичкой — сквозь мох потянулись белые струйки дыма, стрельнул огонек.

Когда костер ожил, Анисим перегнутой сырой веткой, как щипцами, выхватил пылающую головешку — и скорым шагом в зимовье. Растопил печку, пристроил на огонь котелок.

Перекусили. Анисим к костру — и за шкуру волка, распластав на колодине, принялся соскребать ножом сало, подрезанное мясо. Развесил на жерди перед костром — пусть немного обыгает, проветрится. Потом принес мешок и стал выкладывать на колодину мороженую с побелевшими глазами рыбу. Гриша немало удивился, сколько добычи: и ленок, и хариус, и таймень. Анисим пошел за орехами, а Гриша принес клетку с белками.

— Думаешь нести? — спросил Анисим. — Мотать будет.

Он сходил в зимовье, принес шмутье. Валенки сразу отставил в сторонку. Одеяло суконное отрепанное долго вертел, будто прицениваясь, наконец кинул на колодину. Узелок с мукой поставил к валенкам. Встряхнул соболиную шкурку и тоже бросил на колодину, ворсистый мех ожил, заискрился, казалось, вот-вот спрыгнет с колодины и уйдет под снег. Сверху явилась хрустящая легкая связка беличьих шкурок. Повертел в руках топоры, свой большой и маленький Гришин, взялся за стружок, напомнил Грише, чтобы пилу и ружье принес...

Когда все было разложено и рассортировано, кому что нести, Анисим придирчиво осмотрел шмутье и «товар».

— Ничего не забыли, сын? Тогда начнем с моего кошеля. Держи, — подал свой пустой горбовик Грише. — Да, барана чуть не забыл.

Снял с вешала волчью шкуру, скатал и запихал в горбовик. Мешок сразу наполнился. Следом сунул рубанок, пощупал мешок — чтобы рубанок не угодал на спину. Выбрал поувесистее ленков, одного хвостом, другого в мешок головой, расклинил таймешком. Глянул на колодину, вздохнул: «Места нет, а ры-

ба остается. И одеяло не бросишь, ночевка спросит...» Хоть и через силу, а втолкал одеяло. Завязал горбовик, отставил в сторонку, будто коня отвел навьюченного.

— Ну, Григорий, подставляй свою торбу. Начнем с пушнины.

— Постой, папань, а орехи?

— Я же взял.

— Но не будешь каждый раз распаковываться, они же на дне мешка.

— Правильно, — Анисим бросил орехов Грише в котомку. И тут вспомнил: — Капкан забыли...

Анисим сходил к зимовью, принес капкан и не знал, что с ним делать: вертел в руках, пробовал на изгиб дуги, словно хотел их уменьшить.

— Капкан можно и оставить... — подал голос Гриша.

— Можно, да невозможно, — буркнул Анисим, — как деду Витохе в глаза смотреть...

— А на кого деду Витохе в поселке ставить... — слабо возразил Гриша. — На девок разве?

— С чужим добром, Григорий, не шутят. Как ты, так и тебе. С клеткой вот беда...

— Сверху приторочить, — Гриша приставил клетку к своему вьюку.

— Мотать будет... говорил ведь...

— Я бы так и избушку понес, — вздохнул Гриша.

Горбовики были собраны, у костра оставались валенки, рыбий жир в бутылке и на колодине ополовиненный рядок рыбы.

— Мы еще не решили, каким путем пойдем, — напомнил Гриша.

— Вроде договорились, каким сюда.

Анисим пошевелил костер. Глядя на посыпавшиеся веером красные искры, сказал задумчиво:

— Все-таки знаем, на что рассчитывать, ведь у нас три спички на всю дорогу, а головешку с собой не понесешь.

— Рискнем, — подбодрил Гриша отца, — благородное дело.

— Риска тут нет, а природа, сын, легковерности не терпит...

— Мы же цари природы! Учитель по ботанике говорил, — выпалил Гриша.

— Когда же это успели царями стать? — с сомнением спросил Анисим. — Пошли-ка стряпать... А потом на боковую...

Утром Гриша открыл глаза и принялся рассматривать отца. Теперь уже свет не берегли — горела коптилка.

— Ты чего, сын, не признал?

— Приснилось, что ты подстриг бороду. Я еще во сне подумал, чем же ты стриг?

— Н-да, — только и сказал Анисим, а самого кольнуло: «Неужто в пути сблукаем...»

Гриша бегом из зимовья, горсть снега в лицо — и лётом назад.

— Тебя кто за пятки хватает? Умываться не будешь?

— Я уже, — показал мокрое лицо Гриша.

— Медведь не умывается, да его боятся.. — вынул из печи котелок Анисим и поставил на стол.

Гриша сунул нос.

— Глухарятина...

— Зайчатина. Зайца тушил.

— Откудова?!

— Сам припрыгал.

— Ну, тогда ладно, — выворотил Гриша кусок. — Папань, а у деда Аверьяна такая же была борода?

«Видать, не весь сон рассказал», — занозили Гришины слова, почувствовал Анисим.

— Окладом, вроде такая, — Анисим взъерошил каштановую с густой сединой бороду.



— Маманя не признает тебя.

— Ну, уж если не признает и не докажем, вернусь в зимовье.

Анисим собрал остатки снеди в мешочек из-под муки. Наколол полешков помельче, сложил клеткой около нар. Вынул коробок, постоял в раздумье, отделил одну из трех спичек, отломил от коробка кусочек и, провернув в бересте, подоткнул под матицу на видном месте. Оделись и, как выходить, предложил:

— Присядем на скамеечку и — с Богом!

Они вышли из зимовья, плотно прикрыв за собой дверь.

Деревья стояли еще слитно, но уже не пугали своей таинственностью, макушки набирали светлую синь неба. Снег оживал, стряхивая ночную хмарь.

Гриша двигался след в след за отцом. Котомка казалась ему не тяжелой, но клетка, приспособленная сверху, наползала на голову. Отец шел медленно. «Мог бы и прибавить шаг», — Гриша своей лыжей подрезал под пятку отцу. Но Анисим будто не замечал. «Торба тяжела», — подумал Гриша.

Набитая лыжня, по которой ходили на белковку, оборвалась, и Анисим как бы убавился ростом. Шли косогором, утопая в снегу по самое колено. И котомка кособочила, отнимая устойчивость. Гриша снял шапку.

— Ну, это ты зря, паря, — не оборачиваясь, проговорил Анисим.

— Ты что, папань, спиной видишь?

— Вижу, — подтвердил Анисим, выбирая проход между деревьями.

Подъем становился все круче, завихрялся, лыжи срывались, и Анисим по пояс, а то и по грудь пурхался в снегу, пока снова не становился на лыжи. Гриша веткой стряхивал с отца снег. Анисим, отдышавшись, снова торил лыжню, по воробьиному шагу продвигаясь вперед. И вдруг перед ними встал стеной почти отвесный подъем.

Придерживаясь за дерево, Анисим остановился, задрал голову. Гриша из последних сил подтянулся к отцу.

— Как только снег тут держится? Меня чуть не уволокло, — привалился Гриша к стволу.

— Узнаешь эту «лестницу»? По ней мы спускались...

— Помню, — повертел, как кулик в гнезде, головой Гриша. — Если бы не корни, не удержаться...

«Вот тебе и сон в руку. Придется кружать. Вспомнишь деда Витоху...» Анисим потоптался на месте, осадил снег. Снял горбовик, лыжи воткнул в снег, чтобы не убежали. Вынул топор.

— Ты что, папань, лестницу робить?

— В пору взаправду грохотать лестницу...

Анисим попытался пробиться без лыж. Как только подрезал снег, он оползал, накрывая чуть ли не с головой. И десяти метров не продвинулся, вернулся.

— Таким ходом белки в клетке ощенятся, а нам все равно не одолеть подъема. Впереди еще два перевала... Не случайно дед Витоха говорил, до речки три дня ходу с хвостиком. Знать бы, где этот хвостик.

— Давай обойдем, — предложил Гриша; он уже продрог, стоя на одном месте.

— С какой стороны обходить гору, вот вопрос.

— В какой дом, туда и двигать, — сказал уверенно Гриша.

— Если бы так...

Справа над головой карнизом висел вихрастый гребень горы, слева из-под ног срезался падающий склон.

— Дом наш, Григорий, там, — хлестнул Анисим палкой поперек склона. — Вспомни, как мы сюда шли, как мы спускались тут. Теперь уклониться придется. Снег на такой круче — преграда неодолимая. В обход пойдем.

Анисим навьючил горбовик, придерживаясь за ствол дерева, встал на лыжи и двинулся по косогору от дерева к дереву. Но как ни старался набрать высоту, не получалось — лыжи сами собой шли под уклон. По гребню горы отец и сын незаметно втягивались в распадок.

— Вот те на, Григорий, — вглядываясь в оконечность перевала, с отчаянной тоской проговорил Анисим. — Откуда пошли, выходит, туда и пришли... Что молчишь?

Анисим оглянулся. Григория за спиной не было. Присмотрелся, пурхается в снегу между деревьями — срезался с лыж. Пришлось подождать.

— Уклоняемся от намеченного, — подходя укорил Гриша. — Куда правишь? — Голос сына вибрировал.

— На ироплане тут только летать... — отмахнулся Анисим.

И опять они мяли снег по направлению к седловине.

Гриша смотрит, как отец, скособочившись, мелким ступом забирает в гору, и сам тянется за ним по узорчатой лесенке, набирая подъем. Гриша старается попасть в лыжню отца. Но идти мешает клетка. Она то сваливается на бок, то цепляется за ветки, сковывает ход. А где Гриша пригибается, наезжает на голову, белки очумело мечутся — мотают клетку. Гриша отвязал клетку и понес в руках, но пальцы от холода скрючились — хоть выпусти. Да жалко — обещал сестренкам. Гриша снова закинул клетку за спину. Белки принялись грызть прутья. «Может, своих почувствовали. Вон как они шныряют по деревьям, осыпая снегом. Назло, что ли».

Гриша увидел на сухостоине птицу и сразу признал глухаря. Откуда и силы взялись, настиг отца.

— Папань!

— Вижу, — не останавливаясь, перехватным голосом отозвался Анисим.

— Дай ружье.

— Есть когда нам возиться, — буркнул Анисим.

— Не снимается, сидит. Может, неживой? Нет. Башкой крутит, — не мог оторвать глаз Гриша от глухаря.

— Заряд губить, пошли!

Подъем выполаживался, лес редел. Только перевалили через седловину, другая гора встала. Навстречу опускались три распадка, выпирали ребрами наменные водоразделы, казавшиеся неприступными.

— Красотища-а. Ничего не скажешь, — протянул Анисим. — Теперь гадай, каким из трех выскребаться отсюда... А ты, Григорий, чего примолк?

— Так, смотрю, — пошвыркал носом Гриша. — По мне, папань, вот этим, — показал Гриша на курившийся изморозью распадок.

— И по мне тоже, — одобрил Анисим. — Он, вроде, и поположе. Давай-ка, Григорий, так: шаг в шаг, держись за мою палку.

Прежде чем поставить ногу, Анисим «нарёзал» ступеньку. Одна нога выше, другая — ниже, утрамбовал снег, переступил, следующую ступеньку «нарезал»... И так шаг за шагом, мелким ступом, поднялись на хребет горы.

— А где же «Три брата?» — Анисим не ожидал, что не увидит скалы. — Получается, с другой стороны зашли? Никак не пойму, Григорий, где мы...

Гриша, привалившийся на обдутый ветром камень, безучастно смотрел перед собой.

— Ты чего, Гриш?

— Белки есть захотели. Солнце-то где?

— Я ему про Фому, а он мне про Ерему... — Анисим достал из-за пазухи лепешку, отломил от нее, подал Грише.

— А себе?

— Без примочки не идет... Пробежимся и дрова на ночевку готовить. Может, Григорий, вожаком пойдешь? — уступил Анисим дорогу. — Держи во-он на тот зубец.

Гриша взял с места впробежку. Снег спрессован, заласкан ветром, идти по нему легко.

Редколесье сменилось завалом, путь заступили выворотни, каменные надолбы.

— Не-е, Григорий, — пересаживая через колодину сына, посетовал Анисим. — Обходить надо завал... Ах ты, маленько коротковаты ноги...

— Ты чего, папань, я сам...

— Сам и есть, — подхватил Анисм Гришу и пересадил через камень.— Для ускорения хода маленько подсоблю. Клетка мешает — будь она неладна, а то бы сам.. как есть сам... — Огляделся, высматривая, где через перевал пройти сподручно. Не нашел примет, окликнул сына: — Григорий, ты не приметил, какой дорогой мы шли?



Гриша отрицательно помотал головой.

— Немудрено не увидеть, когда все снегом завалило. И не скажешь сразу, куда подевались «Три брата»...

Теперь Анисим шел впереди, обходя завал.

— Кажется, здесь и займем позицию на ночь, — потоптался на взбугренной от снега валежине. — И сушняк подходящий. — Лыжей, как лопатой, разгреб снег, оголил колодину. — Ну, чем не постой? — Помог снять Грише горбовик. — И самовар приставим, и белок накормим...

Позавтракали разогретым ленком, лепешкой, напились ароматного, на травках, чаю. Гриша принес белок. Стали навьючивать горбовики.

— Может, выпустить, а, Григорий? — взял в руки клетку Анисим.

— Понесу, — подставил Гриша спину.

Анисим приторочил клетку на Гришин горбовик. Закатил на костер комлистую чурку.

— Пусть шает. Ориентиром дымок будет. — И влез в свой горбовик. Огляделся. — Ну, дак на какой маяк держим путь?

— На скалу надо выходить. Должна быть скала. Оттуда затески...

— Так-то оно так, да ни скалы, ни знакомой дороги что-то не вижу. Стало быть, еще пробежать надо вдоль хребта. Вон какой чапыжник — огибать придется.

Высыпка сосновой поросли с частоколом осинника стояла на пути. Анисим взял в обход, а у Гриши опять защемило в груди: «Отдаляемся». Пока огибали чащобу, петляли между деревьями, день набрал силу — быстро стало теплеть. Поднялся ветер, запуржило, и все смешалось — и лес, и земля, и небо — в мутный поток.

— Знать бы, дак отсиделись бы у костра, — стараясь перекричать шум леса, обернулся Анисим к Грише.

Гриша уже выбился из сил и с трудом поспевал за отцом. Обрадованно попросил:

— Давай посидим где-нибудь.

Анисим втянулся поглубже в густой ельник и встал под деревом, высматривая, на что бы сесть. Но и тут, в тревожном сумраке, кружила пурга.

— Ну, и долго так выстоим? — спросил Анисим, чувствуя, что мороз начинает грызть колени.

— Лучше уж топать, — переминаясь с ноги на ногу, отозвался Гриша.

— Сколько ни подпирай дерево, оно и без нас не упадет.

Анисим отлепил горбовик от ствола и опять стал мять снег, то и дело меняя направление. Он уходил от крутых спусков и подъемов, боясь угодить не в «тот» распадок, чувствовал, что забирает в сторону, но не понимал, куда надо править. Да и Гриша ему о том же:

— Папань, не туда идем. Гора должна бы кончиться...

— Я тоже, сын, в сомнении, а что делать, ни зги не видно, — шумно высморкался Анисим. — Впору хоть поворачивай своим следом, пока окончательно не замело, да возвращайся к костру, а то ночь застанет...

Грише возвращаться не хотелось — целый день снег месили. Попросил устало:

— По мне, так и тут можно застолбить место...

— Видно, так и придется, — согласился Анисим. — Да и к ночи дело...

Анисим торопился и никак не мог определиться — то подходящей сушины не было, то рядом с ней валежины. И тревога не покидала его: ведь осталась одна-единственная спичка — поневоле задумаешься. Анисим остановился.

— Не слышишь, то ли дятел кует, то ли топор...

— Нет. Не слышу, — повертел головой Гриша. — А что, папань?

— Да так... — пошел быстрее Анисим. Понял, в головé у него стучит.

Вдруг Анисим припал к земле, чуть ли не носом в снег, то ли искал, то ли вынюхивал что.

— След, Григорий. Кажется, след. Чувствую под ногой. Да вот он, под деревом отчетливо видно.

Гриша подошел и тоже увидел набухшие свежим снегом две строчки под ветками.

Анисим прошелся по следу в одну, в другую сторону. Позвал Гришу. Сказал раздумчиво:

— Мечется след. Кто-то, похоже, или промышляет, или блукает. Собачьего следа, однако, не значится. А лыж, кажется, две пары... Что ты на это скажешь, Григорий?

— Нам-то куда, папань? — Гриша мутным взором обводил заметы.

Анисим поправил лыжи.

— Пошли, сын, на заход солнца...

Обрадовались. Откуда и силы только взялись.

— Папань, ты слышишь, дымком наносит?

Анисим, словно лайка вскинув нос, старательно понюхал воздух.

— Слышу, Григорий, наносит.

Теперь уж Анисим не смотрел по сторонам, а прицельно держал едва заметный след лыжни. Он привел к колодине. Огонь выедал изнутри чурку. Анисим опустился на валежину, испятнанную волчьими лапами. Но он их и не видел. Не хотел замечать.

— Папань, это наш костер, — растерянно сказал Гриша.

Он стащил с себя горбовик, отставил в сторонку клетку и склонился над едва тлеющими головешками раздувать огонь.

— Все, что ни делается, сын, к лучшему, — доставая пилу и чему-то удивляясь, сказал Анисим. — Живы будем — не помрем... Давай-ка, Григорий, сооруди над колодиной навес. Да костер ветками обставим...

Заготовили дров на ночевку. Подживили огонь.

Анисим распахнул латаную-перелатаную фуфайку, подергал за полы.

— Возвернемся, продадим эту и купим тебе подержанную.

— Магазинскую, да, папань?

— А еще какую, стеганую, на вате? А тебе, Григорий, пошьем волчью доху. И на вечерку, а? Перед Натальей?..

— Когда это еще будет? — с потаенной радостью заотнекивался Гриша.— Может, ухи сотворим? — достал из мешка ленка, котелок.

Анисим порубил на куски рыбину. Вынул последнюю лепешку, нанизал на прутик и воткнул с краю костра греть. И стал следить, когда закипит котелок. Только вода закипела, посолил кипяток, побросал в него примороженные куски ленка.

Когда похлебали ухи, Анисим решил зашить Гришины рукавицы — успокоился человек, можно и за иголку взяться.

— Хорошо, что вернулись, а то куда бы голову на ночь приклонили? Никак не думал, что сегодня вокруг да около петляли. Должно, кружит нас хозяин тайги... Чем мы ему досадили?

— А если бы сейчас на нас вышел медведь?

— Медведь, говоришь, — Анисим почему-то взглянул на небо. — А чего ему, твоему медведю, у нас надо? Разве подрядиться горбовики нести...

«Медведь не медведь, — насторожил ухо Анисим, — а где-то волки». Но Грише говорить о них не стал. О другом сказал:

— Рассветет, надо искать путь, как шли сюда. Иначе куролесить и куролесить...

— Кто его знает, сколько снег нудить будет...

— Сколько ни сколько, а пережидать придется, — повздыхал Анисим. Развязал мешок, вынул волчью шкуру, подержал у костра, встряхнул и накинул Грише на спину. — Как я вчера не додумался — завернулся в шкуру, и сырость не проймет. — Подсел к Грише.

— А если волки нагрянут, — вдруг вооглядывался Гриша.

Анисим повернул к Грише бородатое лицо.

— Сегодня не придут. В такую погоду. Волки тоже грамотные. А придут, посмотрят и не разберут, кто сидит на колодине. — Анисиму не хотелось на сон грядущий заводить разговор о волках.

— Ты о чем, папань, задумался? — толкнул его под локоть Гриша.



— Да вот, соображаю, сколько надо шкур тебе на доху, если шить на вырост.

— Чем мне, так лучше мамане шубу.

— Мамане соболей добудем. В волчьих не встречал женщин. — Анисим представил в собольей шубе свою Евдокию. И ростом, и статью, как говорится, и голосом, и волосом, взглядом — всем взяла. — Надо добывать зверька.

— Добудем, — с уверенностью поддержал Гриша. — Сашка подрастет, собака будет. Почин уже есть. Никуда от нас шуба не денется.... — и мечтательно закрыл глаза.

— Ну, вот и ладно. Утро вечера мудренее. Спи.

— Выспимся. Какие наши годы... — сморенно проговорил Гриша.

Анисим с надеждой и мольбой посмотрел на небо: ветер стих, но снег еще шел, мутным пологом вис над костром. Анисим прижался плотнее к Грише, но проваливаясь в сон, снова встрепенулся. Открыл глаза — никого. «Что это я пряду ушами», — укорил себя. На всякий случай поставил к ноге топор. И уже не боролся со сном. Наоборот, хотел поскорее забыться. Знал, что просиется вовремя. Сухие сучья, если понадобится яркий костер, он приготовил.

Анисим спал и не спал, дремал и не дремал. Несколько раз без надобности вставал, правил костер, укутывал Гришу. И как только стало отсвечивать синевой небо, проснулся и Гриша, спустился с колодины и подсел к костру, навесив над огнем ладони.

Снег еще шел, но слабел до того, что, казалось, не доставал земли, а кружился вокруг костра.

— Не знаю, что делать, — поворошил Анисим костер, — ждать, когда совсем прояснит, или трогаться в дорогу. Застанет ночь в пути — прогадаем. И дневать при снёсной погоде — прогадаем... Что на это скажешь, Григорий?

— Скажу, папань, — Гриша посидел какое-то время, потом встал решительно от костра. — С рассветом надо идти. Заправим костер и пойдем. Заблукаем — вернемся.

— Здраво мыслишь, сын. Будь по-твоему, — взялся за котелок Анисим. Зачерпнул снега, но навешивать не торопился. — А такое ты не исключаешь? Скажем, найдем дорогу и побежим по затескам, а светлого времени не хватит и спичка подведет. Одна ведь. Вернемся по следу, а тут истлели угли до основания...

— Задачка, папаня, — задумался Гриша. — А если помолимся, попросим Боженьку...

— Помолимся. Господь милостив...

Завтракали, то и дело поглядывая на небо. Собрались, не проронив ни слова. Пока Анисим собирал котомки, Гриша принес клетку.

Анисим долго вертел ее в руках, вроде забыл, с какого бока приторочить ее.

— Выпустим, сын, — глубоким, сдавленным до шепота голосом попросил Анисим.

Гриша постоял и согласно кивнул. Взял из рук отца клетку, открыл дверку. Белки тыкались ему в руки носиками, нюхали воздух и пушили сиреневые хвосты. Гриша поставил клетку на снег. Насыпал орешков. Встал на лыжи. Анисим помог навьючить горбовик.

Тронулись в путь-дорогу.

Молодой пушистый снег невесомо ложился на лыжи. Светлел лес. Навстречу выметнулся клин безмятежно радостных сосен. Их прострелили косые лучи солнца, и снег в них горел радужными искрами.

За сосновой гривой Анисим вдруг остановился.

— Вот и скрадок, Григорий, и затески деда Витохи, — показал на сверкавшие на солнце головы «Трех Братьев».

— Слава тебе, Господи! — взволнованно перекрестился Гриша. — Теперь мы дома...

# ПОЭЗИЯ



## МИХАИЛ ПАНКРАТОВ

### *Хлебозоры*

Есть тайный час у женственного лета,
Он колос гонит силой вековой,
Когда с заката солнца до рассвета
Небесный шлях пересекает где-то
На всполохах тревожный верховой.

Над хлебным полем выблеснет зарница,
Мгновенный всплеск так ярок, прям и чист,
Что колос вдруг покажется речист,
И стихнет все, и снова повторится.

Обходят край огнистые дозоры,
То полыхнут поближе, то вдали.
Беззвучно это таинство Земли
И тайна неба. Это — хлебозоры.

Кому же там над вечностью не спится,
Кто там читает с огненных страниц?
У нас поверье: хлеб не устоится
Без этих звезд и сполохов зарниц.

Я трону колос — он к ладоням липнет,
Он ближний из разлива ячменя.
Он ждал меня еще с июньских ливней,
Без рук моих он ляжет и погибнет,
Я — Хлебороб, и он узнал меня.

Над нами высь в стремительном расколе,
В непостижимой грозной немоте.
Мы двое смотрим в небо — я и поле,
Друг к другу прижимаясь в темноте.

### *Миражи*

Лишь только глаза я устало смежу,
Увижу, как ветер упал на межу.
Как бросила в небо сама Хохлома
Под красный закат седловину холма.
Но стоит глаза мне чуть-чуть приподнять,

Я знаю: Они снова будут стоять —
Два всадника странных над нашим селом,

С конем в поводу под свободным седлом.

Внимательно всадники смотрят с холма

На сбитые в кучку, слепые дома
С плетнями косыми, как скорбная весть.

А рядом такие хоромины есть!

С огнями, с простором, достойным степей,
Там чуткие псы так и рвутся с цепей.
А кони храпят, крупно ходят бока,
И пена бела, как белы облака.
Подпруги темны, но светлы стремена.
Так было. Так будет во все времена.
Уходят. Уводят коня в поводу.
Эй, всадники, стойте! Я с вами иду!
Лишь руку один молча поднял в ответ.
Гляжу — только ветер, а всадников нет.

А ветер-то, ветер! Наверно, с Литвы.
Я слышу на стеклах касанье листвы
И в сумрак смотрю. Рыжий холм в серебре.
Тревожные ветры летят в октябре...

---

## НИКОЛАЙ РАЧКОВ

* * *

«Гибнем!..» — слышен крик с телеэкрана.
Ну а бабка, выйдя из чулана,
Ахает и думает: «Ну да,
Плохо — чай бы ехали сюда.
Курочка еще несет яички,
В магазине есть и соль, и спички,
Хлебушко завозят иногда.
Слава Богу, в подполе картошка,
И в метель не дует из окошка.
Вот в колхозе дел невпроворот,
Если не калека, не урод.
Это ж надо, страсти-то какие,
Знать, с ума свихнулись городские —
Цельный день на улицах народ.
Что кричат? Чего руками машут?
Лучше приезжают пусть да пашут
Здесь — не суетясь, не мельтеша, —
На земле отмякла бы душа,
Потеплела б — умирать не надо.
А уж я за всех была бы рада.
Господи! Как жизнь-то хороша...»

* * *

Когда кричат, что Родина плоха,
И что пора с Победой разобраться,
Ему несет валокордин сноха,
Иначе — может сердце разорваться.

Глядит всю ночь в оконное стекло
И думает: зачем, чего же ради
Двадцатилетний, всем смертям назло,
Он ожил среди мертвых в Сталинграде?

Когда бормочет очередь под нос,
Что всех хороших на войне убили,
Он задает себе один вопрос:
Зачем, зачем не в братской он могиле?

С какою вестью он уйдет от нас
К тем, кто лежит от Волги и до Шпрее,
Кто, мужественно выполнив приказ,
Остался на разбитой батарее?..

---

## АЛЕКСЕЙ ЗОЛОТИН

### *Никодим*

«Если плут в борозде — значит, в мире порядок», —
Мне говаривал дед Никодим, коновал.
Был он старый уже, все лежал на полатях
И свою непутевую жизнь вспоминал.

Вспоминал, как «в запрежнее царствие жили»,
Как в мятежном семнадцатом давнем году
Он не мог разобрать, где свои, где чужие,
Их призывов, посулов, словес чехарду.

Впрочем, он и не очень хотел разбираться.
Перекатной сумой по России сновал.
Без «господ» и «товарищей» — «граждане-братцы», —
Он не то что людей — лошадей называл.

Что ему, коновалу, совдепы, кадеты!..
«Опростать» жеребца, подковать лошадей
Или, в крайности, сладить телеги, кареты —
Тут он мастер и первый в селе богатей.

Богатей — не добром, не деньгами, а волей.
И деньжата имелись, но это — не в счет.
Ну а шибче всего Никодим был доволен,
Что ему, Никодиму, в округе — почет.

Нэп он принял всем сердцем большого ребенка, —
То-то ладно его и рукам, и башке!
Появилась своя — хоть какая — избенка,
Справил кузню с лечебницей в ближнем ложке.

Обзавелся семьей — взял вдовицу с «приданым».
В общем, стал поживать да добра наживать.
Но все чаще словечком мудреным и бранным —
«Нэпман» — стали его за глаза называть.

Усмехался, когда долетало то слово,
Что успело прилипнуть к нему как смольё:
«Ох уж люди, бездельники! Сколь у вас злото!
Если мало кому — повтыкайте с моё!..»

Никодим, Никодим... Подстелил бы соломки,
Если б знал, где упасть. Да не знал же, поди.
Голова — на плечах. Есть еще и силенки.
И деньжата текли, словно с неба дожди.

Да недолгой была она, вольница нэпа.
Ах, не только Каурке знакома узда!
Зачинались колхозы. Тогда-то вот небо
Показалось с овчинку ему неспроста.

Тут соломка ему б пригодилась. Да нет вам!
Скрыл от «общества» двух кабанов и коня.
Пожалел. И попал раскулаченный «нэпман»
В те места, где Макар и телят не гонял.

Он об этих местах не любил балаболить.
Чертыхался лишь только: «Четырнадцать лет!
Ох, а сколь унижений, лишений да боли
Довелось претерпеть на постылой земле!»

Схоронил и жену, и приемного сына.
Правда, сам уцелел, хоть и волосом бел.
И его, почитай, засосала трясина,
Все спустил, что и там заработать успел.

На войну его взяли в конце заварухи.
На японца пошел — прямиком на восток.
Повезло мужику — целы ноги и руки,
А душа так и вовсе отмякла чуток.

Возвернулся в родные края не случайно.
И с отвычки в работу он впрягся зело.
Потеплели к нему, подобрели сельчане,
Ну а сам-то он зла не держал на село.

Да и что на село — на родимое — злиться!
А прямых виноватых ищи — не найдешь.
...Как болезная баба, рожала землица,
Но других-то и вовсе не стало надёж.

Время шло. Всё на круги своя возвращалось.
И минувшего пни прорастали быльем.
Постарел Никодим. Ни на что не печалясь,
Доживал он в хатенке своей бобылем.

Был уже не пригож и для луковых грядок.
Ну а память остра: «Побожусь на кресте!
Если плуг в борозде — значит, в мире порядок, —
Он любил повторять. — Нынче плуг — в борозде».

Со спины повернется он на бок устало
Да уставится взглядом в оконный проем.
Помолчит... А на днях Никодима не стало.
Вот и всё. Сохранится ли память о нем?..



# ПРОЗА



## НИКОЛАЙ ИВАНОВ



# ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ

### ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

I

„Копья аллаха» остановились первыми. Собрались в кружок, осмотрелись. Затем расстелили молитвенные коврики, вознесли руки к небу. После короткой молитвы, словно ищейки, принялись обнюхивать пустыню.

«Белый медведь» разрешил своей группе снять рюкзаки, сам расстегнулся до пояса. Запестрела морская тельняшка, и спецназовцы торопливо отвели взгляды от командира. Перед вылетом в Иран подполковник сам напоминал, чтобы из советского на них не осталось ни одной нитки — даже случайно. А сам, морская душа, талисман свой, тельняшечку, перевез.

Непорядок, конечно, но кто упрекнет в этом «Медведя», у которого за плечами более десятка операций в Африке, Вьетнаме, Латинской Америке, Афганистане? Когда-то он пришел в спецназ из морской пехоты Северного флота бравым капитаном, но бравость чуть поубавили, вернее, разбавили ее разумной осторожностью, а вот кличку и тельняшку сумел «Медведь» сохранить через много лет.

А тем временем один из иракских «коммандос», выделенных спецназовцам в проводники, радостно вскрикнул, и остальные соплеменники переместились к нему. Длинным щупом проткнули песчаный бархан, минуту выждали. А после того как стальная, отполированная до блеска игла была вытащена обратно, каждый потрогал блестящее жало и утвердительно закивал: значительно холоднее, значит, вода здесь есть.

Тут же сняли луки — бесшумное и молниеносное оружие, на сто метров в смотровую щель танка первой стрелой каждый готов стрелять на спор, а если еще вместо наконечника навинтить кумулятивный снарядик, то зачем таскать с собой гранатомет? В пустыню с собой надо брать, как бедуину, минимум. Расстегнули малые саперные лопатки, принялись рыть колодец. Не ведро, конечно, но на метровой глубине минут за двадцать стаканчик мутной водицы набежит.

Однако спокойно дождаться своего глотка не удалось. Начальник разведки иракской армии не зря выделил именно этих проводников из отряда «Копья ал-

* Печатается в сокращении.

ИВАНОВ Николай Федорович родился в 1956 году. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище. Служил в Афганистане. Награжден медалью «За отвагу». Автор повести «Гроза над Гиндукушем», романа-хроники «Ограниченный контингент», других книг. В нашем журнале в прошлом году был напечатан очерк «Шторм-333». Живет в Москве.

лахе»: еще никто из советских не услышал ничего и не увидел в поднимающемся от пустыни мареве, а проводник, который отыскел воду, вскрикнул, указал вперед и мгновенно раскатал свою песчаную палатку. Нырнул под нее и замер, превратившись в один из барханов. Пяти метров не хватит, чтобы отличить такую маскировку от самого песка, тем более из дребезжащего вертолета, если проводник в самом деле его усмотрел.

А вообще-то вертолет — это хорошо. Это надежда для группы, что они идут в верном направлении. Вертолеты могут барражировать как раз над районом падения самолета. Самолета, который позарез нужен. Не весь, конечно, но кусочки обшивки, стекла, а особенно приборы, — для этого они и топают черт знает какой день по пустыне, в тылу американских войск, несут вторые рюкзаки — если повезет, для груза. Пятьдесят километров южнее глотает пыль параллельная группа с точно такой же задачей. Пока все удачно, особенно линию фронта проскочили «чисто» — в стыке двух американских дивизий. Потом, правда, два раза натыкались то ли на египетские, то ли на саудовские патрули, но пока те выясняли на всех языках, что за непонятная группа бродит по тылам союзнических войск, они исчезли, испарились в пустыне.

— Эх, будь моя воля, я бы здесь такое устроил, — мечтал Пашка-«афганец», наблюдая за очередной колонной наливников, везущих горючее к линии фронта, — безмятежных, неряшливо, не по-военному растянувшихся и не охраняемых.

— Что? — равнодушно поинтересовался «Белый медведь».

Уж кто-кто, а спецназ мог бравировать тем, что никогда не лез в политику: «Гусары у нас газет не читают». Их дело — добыть, достать, купить, украсть осколок снаряда или пробитую мишень на полигоне, а если сильно повезет — какой-нибудь прибор, образец металла, щепотку нагара. Одним словом — технику и технологию. Обыкновенная военная разведка, существующая в каждой уважающей себя стране. Естественно, что для этого надо лезть в те точки на тех континентах, где американцы, англичане, немцы — да мало ли государств в НАТО, числящихся вероятными противниками, испытывают свое оружие! Будем знать, из чего и чем стреляют, — найдем, чем защищаться. На каждый яд ведь есть свое противоядие, и единственная загвоздка — добыть сам яд.

А для этого как раз и существует спецназ. Добытчики. И сидят парни в Москве на Полежаевке — только офицеры, капитаны в положении рядовых. Сидят, уже разбитые по группам и направлениям. Ждут своего часа. Момента, когда и где высунется жало с ядом. И когда в августе 1990 года Соединенные Штаты погрозили Саддаму Хусейну за его вторжение в Кувейт, «ближневосточное» направление тут же напряглось «Золотые подворотнички»[1] утверждали однозначно: Саддам не побоится угроз Америки. Америка же не простит такого равнодушного к себе отношения — война неизбежна. И в первую очередь потому, что выгодна Соединенным Штатам. А если смотреть глубже и попытаться найти все подводные ручейки конфликта, то можно смело утверждать: эта война провоцируется. Она желанна для США. Десять лет до этого Ирак воевал с Ираном, защищая, в общем-то, интересы всех государств в Заливе. Но вместо «спасибо» Саудовская Аравия и Кувейт резко увеличивают добычу нефти, цена на которую, естественно, стремительно падает.

Это был неожиданный ход и удар по вымотанному войной Ираку: именно за счет продажи нефти он рассчитывал поправить свои экономические дела. И Саддам пригрозил Кувейту, который до 1961 года вообще был иракской территорией и который никогда не признавался Багдадом как суверенное государство: ребята, мы знаем, что вы выполняете волю и установку США, но лучше давайте жить дружно. Тем более что существует между государствами Залива договоренность, сколько производить и за какую цену продавать нефть.

К этому времени в Ираке, терпящем многомиллиардные убытки, стали исчезать продукты питания, промышленные товары. Саддам опять пригрозил Кувейту — не Саудовской Аравии, а «своему» Кувейту, одновременно наблюдая за реакцией в мире, и в первую очередь США. И Америка сделала тайный ход — она дала понять, что эти споры вокруг нефти — чисто внутриарабское дело, США не намерены вмешиваться в эти проблемы.

«Купили» Саддама, заставили поверить в это. И посадил Саддам свою армию на автобусы, и именно на автобусах въехали иракцы на свою бывшую территорию. Тут-то США и захлопнули мышеловку: уже на следующий день в ООН их представитель потребовал немедленного наказания агрессора.

Трезвым политикам было ясно, что война начинается против возможности арабам самим решать свои дела в Заливе. И задача, цель «Бури в пустыне», поддержанной СССР, — подорвать государство, сумевшее поднять голову в «жизненно важном для США регионе» Чтобы другим неповадно было. О Кувейте уже не говорилось. бомбились города Ирака, территория Ирака, люди Ирака. И какое счастье привалило Америке, когда и советские политики оправдали такие действия. Советский Союз, все эти годы бывший противовесом американских амбиций на мировое господство, опасно нарушал это равновесие.

17 января 1991 года в 3 часа ночи — ах, как любят виновные темноту, — «Буря в пустыне», задуваемая из Америки, опустилась на Аравийский полуостров.

И мало кто ведал, а практически почти никто не знал, что это было очередное предательство советских политиков. Теперь уже собственной военной техники. Не идет разговор о том, что в первые же дни войны наша космическая разведка

[1] Офицеры-аналитики собирающие всю информацию по регионам н готовящие доклады для руководства страны.



засекла, вскрыла все до одной позиции крылатых ракет, нацеленных на Багдад. Ничего не стоило передать эти данные на наши ракетные установки, находящиеся на вооружении Ирака, ведь никто не отменял Договор о дружбе и взаимной помощи между двумя странами. Суть в другом.

Как прошелестел слух, Шеварднадзе приехал к разведчикам и изрек: мы все — военные преступники, и должны за это покаяться перед всем миром. А чтобы покаяние было искренним — выдать американцам шифры помех для советских ракет, находящихся у Саддама.

И вновь сказало «спасибо» за нежданный подарок американское командование, и внесло в свои ракеты и на свои самолеты советские «скользящие» помехи. И потом бессильно шарили по военному, наполненному чужими самолетами, небу наши комплексы — против самих себя нашу технику воевать не учили. Не предвидели конструкторы такого предательства. И плакали в бессилии не уехавшие из-под огня советские офицеры, догадываясь о причинах безрезультативной стрельбы своего прекрасного оружия.

Единственные, кто проявил хоть какое-то благоразумие в это время, оказались разведчики. И то, видимо, потому, что «гусары» у нас газет не читают», а значит, и менее всего подпитаны общей эйфорией охаивания Родины и распродажи ее интересов.

Не зря, видимо, твердилась офицерам и такая установка: «Вы служите не Генеральному секретарю и не министру обороны, а Отечеству. Вот ваш интерес». А для обороны страны нужны были новые образцы техники и вооружения, которые союзные силы бросились испытывать на иракской земле.

После того как в Ирак прилетела группа «Белого медведя» (прилетела в тот момент, когда все бежали из опасного района), по крайней мере «Копья аллаха» воспряли духом: советские нас не бросили, врут газеты. А с советскими мы непобедимы. И раз прилетели первые, будут и вторые.

«Белый медведь», пряча взгляд, пожимал тянувшиеся к нему руки «коммандос»: он прекрасно знал, что сюда больше не прилетит никто. Они первые и последние. Но сказать об этом людям, вдруг поверившим в спасение, не мог. Они — разведка. Разведка — и все!

Поэтому, когда Паша-«афганец» мечтательно покачал головой и пообещал в тылах американских войск устроить что-то невысказанное «такое», «Белый медведь» и спросил его равнодушным голосом, зная, что ничего не будет.

— И что же?

— Я бы элементарно сорвал наступление. Действуя только здесь, в тылу. Вы посмотрите, как они ездят — словно у себя в Чикаго. А наглых надо всегда наказывать.

— Пашенька, наша задача, — подполковник оглянулся на иракцев и понизил голос, — не воевать на какой-то одной стороне, а собирать данные для своей страны. В войнах пусть разбираются политики и историки. И выясняют, кто прав, а кто виноват.

— Они разберутся, — подал голос «язычник» Серега — переводчик то ли с пяти, то ли с восьми языков. — Чтобы разбираться в войнах, надо хотя бы знать, как пахнут портянки или... как за один оклад приобретается «нождак», — он кивнул на самого молодого, первый раз вышедшего на операцию Мишку Багрянцева. Тот, морщась от боли, снимал «песчанку», подставляя врачу ярко-красную, в пятнах засохшей корки, спину.

— Тропическая язва, — определил врач еще три дня назад, когда Багрянцев впервые пожаловался на зуд и чесотку. Еще можно было Мишке вернуться назад, но не было гарантий, что не попадется он в руки постов и дозоров, рыскающих по дорогам. А попадаться, тем более в самом начале операции, было нельзя.

Конечно, и не дался бы никому в руки Мишка: задачу не самоликвидацию он заложил себе в мозг четко и совершенно трезво, граната на этот случай всегда на животе. Жены и детей, слава богу или аллаху, нет, батя — сам военный, поймет, если что. Ведомство в этом плане могло погордиться тем, что ни один спецназовец не был взят в плен, никого не пришлось обменивать или выкупать. Исключение, правда, составляет Зоя Космодемьянская, которую почему-то столько лет все еще продолжают считать партизанкой, хотя она чистая разведчица. Но то — война, сорок первый год.

Поэтому не будет он, капитан Михаил Багрянцев, дождавшийся наконец-то выхода на операцию, первооткрывателем в этой области. Никакой геростратовой славы. Он сгорит, разметает себя на куски, зароет себя в песок, перегрызет сам себе глотку а еще лучше — несмотря ни на какие боли, пойдет дальше вместе со всеми.

— Не свалюсь? — единственное, что спросил у врача, когда «Белый медведь», отвернувшись, разрешил ему самому делать выбор.

— Свалиться не свалишься, но проклянешь и пушинку, когда опустится на тело.

— Деревья, как я вижу, здесь не растут. Иван, я готов идти дальше, — повернулся Мишка к подполковнику.

Обращения в спецназе, к тому же вышедшему на операцию, принимались только по именам, и это оказалось не меньшей проблемой в подготовке разведчиков, чем все остальное. Если ты только получил капитана, а перед тобой — подполковник с черт знает каким количеством орденов, а ты ему — Ваня... Есть все же в обращении офицеров свой шик и своя притягательность, кастовость, а здесь — как в ватаге уркаганов. Но что поделать, конспирация тоже слагается из всяких таких неожиданностей.

Высох Мишке, на некогда круглом подбородке даже ямочка проявилась. Полными оставались только губы, они не худеют, вот и кусал их Мишка в кровь, чтобы не стонать от «нождака». И все за один оклад и идею, как говорит «язычник» Серега.

— О-о-отставить, — пропел «Белый медведь», как только дело коснулось денег: в разведке о них, а также неустроенном быте и семье не говорят. По крайней мере, это не тема для общего разговора. — Паша, помоги с водой, — отослал он «афганца» к проводникам.

Тот заглянул в колодец, полез за таблетками для обеззараживания воды. Одна на стакан — и ни одного микроба в живых. Правда, пьешь будто химический раствор, и удар по почкам, надо думать, наносишь мощнейший, но главное — не заболеть сейчас. Дойти, доползти до этого чертова, милого, прекрасного F-117, американского самолета-невидимки «Стеллс», которого все-таки сумели подбить иракцы и который рухнул где-то в пустыне. Дойти до него первыми, потому что американцы тоже спешат к месту падения. Но они с тягачами, кранами, грузовиками, чтобы вывезти весь самолет. А им весь самолет не нужен — только образцы. Кусочки. Каждому по рюкзачку. А уж потом наши специалисты разберутся, что к чему и почему летает. Взять «товар» и дойти назад. «Если ты не придешь назад, то как же войска пойдут вперед?» — этот вопрос-плакат вдалбливается спецназовцам перед каждой операцией. Так что это в самом деле главное — достать и принести.

Спокойно разделить нацеженный стакан опять не удалось: пятнами-стрекозами вновь обозначились вертолеты. Неужели и в самом деле дошли?

Нырнули под палатки, переждали облет.

— Так, орлы, стали в стойку, подобрались, обозначились, — сам первым подобрался подполковник. Даже Багрянцев, морщась от прикосновения к форме, тем не менее тоже повел плечами, расправился. — Желательно до темноты выйти в точку, ночь поработать — и смываться. Как на это смотрим?

— Смываться — это хорошо, — оскалился Пашка, предчувствуя дело, которым два года занимался в Афгане и на двух операциях уже в спецназе. — Люблю смываться.

Старший среди «коммандос» неодобрительно посмотрел на русских и начал убирать волосяной аркан, который несколько минут назад расстелил вокруг себя против всякой ползающей гадости: в пустыне заранее радуются только глупцы. Русские вроде на таких не похожи, но тогда бы и вели себя так, как подобает воинам.

Однако и его лицо тронула счастливая улыбка, когда под вечер, словно по заказу «Белого медведя», они разом увидели распластанную на песке черную металлическую птицу.

Разведчики упали на песок, боясь поверить в успех и одновременно привыкая к нему. Облизали пересохшие губы. Один из иракцев машинально поймал перебегавшего ему дорогу серого жучка, столь же машинально переломил его пополам и принялся высасывать из него жидкость. Повезло — и до самолета дошел, и перекусил.

— Паша, — отдал первый приказ «Белый медведь», и «афганец» проворно вытащил из своего рюкзака небольшой японский автоген. Заправил в него батарейки. Готов.

— Юра, — последовал второй приказ. Связист тоже понимающе кивнул и, отвернувшись от всех, склонился над рацией, набирая на дискету шифрограмму.

— Миша, — продолжал отдавать команды подполковник, и Багрянцев, главный специалист по минам, пополз к самолету. За ним последовал «технарь» Коля — именно он будет определять, где что вырезать и снимать.

Гуляем! Работа! Пошла, милая.

«Копья аллаха» взяли в жиденькое кольцо самолет, в котором уже орудовали спецназовцы. Просто чудесно, что успели найти «невидимку» до темноты. Ночь скроет их следы в пустыне, даст время уйти...

— Я готов, — первым закончил свою работу связист.

— Мы тоже, — отозвался, вылезая из чрева самолета, «технарь». Глаза его возбужденно блестели от того груза и количества проводов и приборов, которыми он был увешан и опоясан.

Смативаться. Жадность губит фраеров.

— Уходим, — махнул для всех «Белый медведь».

Связист выстрелил в небо «посылку» — зашифрованное, загнанное в один сигнал донесение. Где-то в космосе его перехватит спутник, переадресует Москве, та — Багдаду. Кому надо, расшифруют и поймут: параллельную группу можно возвращать, образцы взяты, выходим в условную точку, держите наготове вертолеты для вывоза группы.

...Через три дня последним самолетом с последними советскими специалистами из Ирака вылетала и группа техников по гидросооружениям. Они опаздывали к рейсу, и поэтому их привезли прямо к самолету, минуя таможенные формальности. Свои новенькие и, судя по всему, достаточно груженные чемоданы они взяли с собой в салон и запихали под сиденья. Пассажиры, сами не ахти какие ухоженные и чистенькие, с сочувствием глядели на их сбитые, в ссадинах и язвах, руки, обгорелые лица, слезящиеся воспаленные глаза.

А в штабе американского экспедиционного корпуса метались громы и молнии — куда до них песчаным бурям, начавшимся на полуострове. Велись допросы, тут же снимались погоны с офицеров, ответственных за эвакуацию подбитого F-117, с фронта перебрасывались все новые и новые подразделения на проческу пустыни в районе падения самолета. Боясь скандала в собственной стране, официальные лица стали отрицать факт потери самолета-«невидимки» — не сбивали такой, и все тут.

— Это могли сделать только русские, — оглядев самолет и место трагедии — именно трагедии для американской безопасности и престижа, — высказал убеждение командир «зеленых беретов», заброшенный накануне под Багдад для диверсий и теперь срочно вывезенный обратно для помощи в поисках разведчиков. — Я боюсь, что образцы надо уже искать не здесь, а в Москве. Видимо, это будет самое сильное поражение в нашей победе.

## 2.

Пожалуй, единственно искренними и трогательными событиями, объединяющими людей, оставались в это время свадьбы. В одну из майских суббот прозвучал в Риге вальс Мендельсона и для Андрея с Зитой — командира взвода местного ОМОНа и учительницы младших классов.

— Мужества вам, — после традиционных свадебных пожеланий счастья сказал им командир отряда Млынник, и они, улыбнувшись, сжали под белой фатой друг другу руки — мы сильные. Выстоим. Хотя, конечно, понимали, что будет трудно, особенно Зите в кругу латышей, считавших оскорблением для нации замужество с «черноберетником», каким бы пресвятым этот «черный берет» ни был.

Да, видимо, глядел дальше и чувствовал больше их командир. Зиту не просто выставили с работы — не было дня, чтобы учителя при ней вслух не сочиняли заявление, которая на ее месте обязана была бы написать даже такая последняя тварь, как жена омоновца.

— Не могу я больше, Андрюшенька. Не могу, — плакала Зита уже через неделю.

И тогда он при полной форме и при оружии зашел в канцелярию школы. Директор и учителя вскочили со своих мест, вытянулись, словно новобранцы перед сержантом, всем видом умоляя простить и помиловать. «Подлецы — они всегда трусы», — усмехнулся Андрей и увел Зиту из школы.

Только жили бы они одни на земле в такую смуту. Вскоре запылал ночью дом в деревне, где жила старенькая мать Зиты. Вроде случайно, хулиганами, но жестоко был избит ее старший брат. Подлость и жестокость пошли рядом...

— Вот что, ребята, — вызвал их к себе Млынник. — К нам пришел запрос на толкового командира. В центр России. Командование решило послать тебя, Андрей. Пора расти в службе.

Конечно же, в первую очередь о двойственном положении Зиты думал капитан, но все трое сделали вид, что причина выезда из Риги — только служебная необходимость.

Успокаивало совесть и сглаживало чувство вины перед ребятами и то, что работы по созданию нового отряда было хоть отбавляй и новичок в этом деле вряд ли бы справился. Зато здесь, в России, в отличие от Риги, детей ОМОНом не пугали, вслед не плевали, небылицы не сочиняли. Отошла, оттаяла и Зита, бесконечно удивляясь тому, что могут быть нормальные, человеческие отношения между людьми.

До случая с похищением...

— Андрюша, ты где! Ты где? — вздрагивала Зита даже тогда, когда он просто вставал с ее кровати, чтобы пройтись по палате.

— Я здесь, не бойся, — возвращался он к почерневшей, враз постаревшей от пережитого жене.

— Не уходи. Никуда не уходи, — умоляла она, и он вновь, опережая ее слезы, садился рядом, брал ее похудевшую, в синих прожилках руку в свои ладони, целовал их.

— Я боюсь, — шептала Зита, со страхом глядя на дверь палаты.

— Внизу наши ребята. Ты в безопасности, — врал Андрей. Его отряд, весь до последнего человека, рыскал по городу, пытаясь выйти на след насильников. Зиту охранял он сам, неотлучно находясь с ней в палате уже неделю.

— У нее больше психологическая травма, чем физическая, — сказал лечащий врач. — Однако это не означает, что ей легче. А для ребенка будет лучше, если на время беременности она уедет в другое место, к родителям, например.

К сожалению, этим советом ни Зита, ни Андрей не могли воспользоваться. О возвращении в Латвию не могло быть и речи, Андрей же был отдан в детдом при рождении и не знал ни отца, ни матери.

— А может, тебе лучше перевестись? — попытался найти иной выход заместитель Андрея лейтенант Щеглов. — Хочешь, я, как замполит, напишу в Москву?

Андрей вроде вначале отмахнулся, но мысль эта застряла, закрутилась, не подпуская другие варианты. Касалось бы дело только его одного, Тарасевич бы не счел нужным даже обращать на какие-то сложности внимание. Но Зита... И даже уже не только и не столько она, а будущий ребенок заставлял старшего лейтенанта подчиняться обстоятельствам. Думал, что подобное возможно только в Латвии, однако преступники, видимо, национальности не имеют. Выйти же на насильников пока не удавалось, Зита запомнила только татуировку парусника на руке у одного из парней. По сводкам он нигде не проходил, и отряд пока решили не вмешивать в это дело, чтобы не спровоцировать подобное в отношении жен других офицеров, а милиция, уставшая от дерганых указаний то российского, то союзного министерств, махнула, похоже, на все рукой и не собиралась ни во что вмешиваться.

— Уедем отсюда, Андрюша, — оживилась, ухватившись за эту соломинку, Зита. Когда-то она с надеждой ждала уезда из Риги... — Уедем. Я без тебя из этой квартиры теперь никогда не выйду.

Комната их была на шестом этаже нового дома, и первое, что сделал Андрей после приезда из больницы, это врезал новый замок. Однако все равно Зита позволяла ему всего на несколько минут сбегать в магазин, а возвращаясь, он каждый раз находил ее дрожащей, забившейся в угол дивана. О происшедшем они старались не вспоминать, но вся ситуация со службой, с их нынешним положением говорила, напоминала только об этом. Да и врач, которого Андрей уговорил приходить к ним на дом, озабоченно поднимал брови и пристально глядел на Андрея: я тебе давно сказал, парень, что делать. И тут позвонил из Риги Млынник, командир.

— Андрей, здравствуй. Я знаю все, — торопливо добавил он, словно зная, что Зита рядом и любые намеки будут ей в тягость. — Значит, так. Я только что говорил с Москвой. Есть возможность поехать тебе на новое место службы. Начинать опять с июля — создавать отряд. В Сибири, — в конце своей тирады назвал капитан новое место службы. — Я думаю, стоит.

— Спасибо, командир, — тихо, сквозь спазмы ответил Андрей. Нашлась-таки живая душа на этом свете. Даже если бы Млынник просто позвонил, и то можно веровать в ОМОН, а здесь еще...

— Значит, готовься на денек в Москву, за назначением. Привет от всех ребят. Держитесь.

— Вы тоже.

...До чего же все-таки суматошна и безразлична ко всему Москва. Богема для чиновничьего и служивого люда, кормушка для фарцовщиков и спекулянтов, кладезь шулеров и простаков для цыганок. Место, где можно достать все, что угодно или хотя бы что-то — в зависимости от возможностей и способностей. Откуда можно что-то отправить. Перекупить. Заложить. Договориться.

Москва — проходной двор, где ничего не задерживается. Ввозимое через Киевский вокзал выметается с Курского. Прилетевшие в Домодедово спешат в Шереметьево. Метро, испопосовавшее подземелье города, каждый день, захпебываясь, растаскивает народ в разные стороны — и хотя бы на одного человека на следующий день стало меньше. Около гостиниц — орнамент из кавказских лиц. Разбитые дороги. Бестолковая и дешевая реклама. Грязные халаты продавщиц и многолетняя злость на их лицах — из-за отсутствия товаров, необходимости платить дань директору, а отсюда — обсчета каждого второго или третьего покупателя, из-за собачьего жилья в коммуналке, общаге или пятиэтажной «хрущебе», из которой теперь вовек не выбраться.

Москва — место, где швейцары, секретарши, тысячи всяких председателей, милиция на вахтах во всех захудалых конторах готовы растоптать любого соотечественника перед арабом или негром, не говоря уже о европейце...

Поезд прибыл почти без задержки: на мигающем вокзальном табло попеременно высвечивались то дата — 19 августа 1991 года, то время — 8 часов 10 минут.

— В стране переворот, а поезда ходят по расписанию. Опять все не так, как у людей, — услышал, выходя из вагона, Андрей. Говорили, посмеиваясь, носильщики, ожидающие клиентуру, и Тарасевич, прошмыгнув с дипломатом между тележек, направился в здание вокзала. Быстренько побриться, умыться, ухватить по пути чего-нибудь в буфете — и к девяти тридцати успеть в министерство. А первое — позвонить Зите.

Он стал искать глазами переговорные кабины, и вдруг рядом опять кто-то раздраженно произнес:

— Да что они, перевороты делают для того, чтобы мы смотрели «Лебединое озеро»?

Про переворот говорили и носильщики, и Андрей оглянулся: какой переворот? Пассажиры спокойно дремали на стульчиках, милиционеры заигрывали с молоденькой продавщицей буфета, на экране подвешенного к самому потолку телевизора порхали балерины.

— Какой переворот? — повернулся Андрей к говорившему, и, чтобы оправдаться, не быть поднятым на смех, пояснил: — Второй раз за сегодня слышу.

— О, с четырех часов. Да вон, слушай, — невыспавшийся, видимо, промаявшийся всю ночь на вокзале мужчина ткнул небритым подбородком на телевизор.

Лебеди убежали за кулисы, и их место занял ведущий с каменным выражением лица. Народ задвигался, зашикал на особенно шумливых. Даже милиционеры оторвались от смазливой буфетчицы и поспешили к телевизору. Неужели правда? Но чей переворот и против кого?

Звук в телевизоре хрипел, ему не хватало мощности донести до всего огромного зала каждое слово, но главное Андрей уловил: Горбачев болен, вместо него — Янаев. В некоторых районах страны вводится чрезвычайное положение.

Тарасевич еще раз оглядел пассажиров: реакции почти никакой, люди пожимают плечами — кто их поймет, эти интриги, но порядок наводить давно пора. Лишь бы только не стреляли.

Как только на экране вновь запорхали белые платьица, Андрей вышел на улицу. Взгляд сразу же выхватил, выделил танки. Колонна была небольшой, в десяток машин, но как же неуклюжи, а если точнее, как непривычно смотрелись они среди легковушек и троллейбусов!

Наверное, самое время сходить на Манежную площадь. Последний год она мелькала в каждой оперативной сводке как точка накала всех страстей в стране. По этому поводу даже шутили: площадь способна вместить сто тысяч человек, но если это митинг «демократов», то газеты обязательно «втиснут» в нее около двухсот тысяч...

Около Манежной площади, у музея Ленина, уже клубился народ. Больше всех спорили, кричали, заводили вокруг себя споры женщины.

— Если мы сегодня не поднимем Москву, завтра всех нас перевешают и передушат, — останавливала за руки прохожих молодая, лет двадцати пяти, женщина. — Мужики, что вы молчите? Что вы все, как бараны?

«Бараны» смущенно пожимали плечами и отходили, поглядывая на подъезжавшие к площади автобусы с милицией: да, когда мать учит — дети вырастают ловкими, зато когда отец — то умными. Восток надо уважать хотя бы за одну эту пословицу. Сейчас женская вакханалия ни к чему, сейчас важнее голова на плечах, чтобы не наделать бед.

Андрей вдруг уловил в своем отношении к событиям некую раздвоенность и, как, наверное, и многие другие «бараны», еще не мог однозначно принять какой-то одной стороны. Все его существо протестовало против того бардака и беспредела, который творился по всей стране. Но как человек закона не мог не видеть и тех натяжек, которые сопровождали приход нового правительства. Неужели оно и в самом деле думает, что народ поверит в болезнь Горбачева? Почему они сразу пошли на обман? И почему опять втягивают в политику армию? Где Верховный Совет и депутаты?

— Идут, идут. От Моссовета идут, — послышались голоса, и все, замолчав, посмотрели на противоположную сторону Манежа. Оттуда по улице шла толпа человек в двести, впереди несли икону, портрет Ельцина и флаг России. С белого листа единственного плаката звучал призыв: «Ельцин приказал действовать».

На ступеньки гостиницы «Москва» уже влезли с мегафонами первые ораторы: Ельцин призвал к всеобщей бессрочной забастовке, хунта не пройдет, мы имеем дело с кровавым, — да, они все-таки ждут крови! — реакционным переворотом, поэтому все на защиту Белого дома российского правительства.

За иконой и портретом Ельцина двинулись человек триста, и то чуть ли не половину составляли корреспонденты и такие, как Андрей, — то ли любопытные, то ли неопределившиеся. Большую видимость чего-то массового привносили гудящие автомобили, попавшие в пробку.

Около Белого дома народу было побольше, тысячи две-три. Преобладала молодежь, и из их реплик Андрей понял, что первыми и пока единственными, кто откликнулся на призыв Ельцина начать забастовку, оказались кооператоры. Ругали рабочих: боремся за их счастье и свободу, а они чего-то выжидают. Несколько парней писали на бетонных плитах поверх уже законченного лозунга «Бей краснопузых» новый — «Отстреливай большевистскую сволочь без промаха...». А ведь будут!

— Господа, мы победим! — кричала девица неопределенного возраста с кучи металлолома, уже натасканного на площадь.

«Солома для танков», — усмехнулся Андрей этой баррикаде и крикнул в ответ девице:

— А тебя-то саму в господа возьмут?

Однако он забыл, где и среди кого находится.

— Провокатор! — закричало сразу несколько голосов, и его мгновенно взяли в кольцо. Сзади по спине и ногам ударили, и Андрей напрягся, стараясь вырваться. С десяток «кооперативных господ», он, конечно, уложит без напряга, но тут лучше отойти, не ввязываться.

— Посмотрите на его стрижку. Наверняка из КГБ.

— Потрясем его, гада.

Несколько ударов опять достали Андрея, к его куртке потянулись руки. Сгибаясь и прикрывая карманы, сделал еще одну попытку вырваться. Если найдут удостоверение омоновца, растерзают без суда и следствия. Тогда придется биться, а ему нельзя, у него Зита...

— Погодите, — раздался властный голос, и в центр толпы стал протискиваться коренастый, полнолицый крепыш. — Я тоже подстрижен, но это ни о чем не говорит, — закрутился он, переключая внимание на себя. — А кагебешник так дешево не подставится, это просто дурак. А дуракам не место здесь. Не будем пятнать руки защитников Белого дома всякой дрянью, просто выставим его отсюда. Иди, — парень ухватил Андрея под локоть и толкнул прямо на толпу.

— Дуракам не место среди нас, — подхватили польщенные «господа». — Вон его!

— Никуда я не пойду! — дернулся Андрей, но вырваться не смог: парень оказался цепким, в пальцах чувствовалась сила.

— Не дури. Успокойся и иди, — наклонившись, для одного Андрея, проговорил он, и Тарасевич позиновался.

Прорвав кольцо, попетляли, взобрались на некогда зеленый, а теперь затоптанный газон. Подождали, когда про них забудут, потеряют из виду.

— Извини, но здесь сейчас никому ничего не докажешь. А вот морду набьют, — первым заговорил «выручатель». Он поднял руку, сделал круговое движение, и к нему тотчас пробрались еще два парня — подстриженных и накачанных. — До двадцати одного часа свободны, — сообщил он им.

«Свой», — вздохнул с облегчением Андрей: четкие действия и такие же команды не оставляли сомнения в догадке. Но продолжали молчать оба, глядя на крышу Белого дома, превращенную в трибуну. Стоявший там оператор-телевизионщик поднял руку, требуя внимания, затем замахал ею, заводя толпу внизу. Дождавшись рева и рукоплесканий, начал съемку.

— Цирк, — усмехнулся парень и искоса поглядел на Андрея: как, мол, отреагируешь на мои слова?

— Страшно будет жить в обществе, в котором заправилами окажутся эти, — Андрей кивнул на беснующуюся толпу. И сам изучающе посмотрел на собеседника: я достаточно открылся?

— Ты местный?

— Командировка.

— Может, сходим куда-нибудь перекусить? Лично я голоден, как черт. Да и дождик, кажется, собирается, — парень поднял голову, и на подбородке обозначилась не видимая ранее ямочка.

— Согласен. Меня зовут Андрей. — И, помолчав, добавил: — Из ОМОНа. Старший лейтенант.

— О, тогда совсем свой, — расплылся в улыбке парень. — А я — Михаил Багрянцев. Капитан. Что-то вроде спецназовца.

...Услышав сквозь сон посторонний звук, Андрей резко сел на диване.

— Еще спим? — заглянул в комнату Михаил. — Ну и правильно. Бардак всегда лучше переспать.

— Что на улице? — стряхивая остатки сна, поинтересовался Андрей.

— Дождь. И листовок полно. За Ельцина, конечно. А у меня такое впечатление, — разувшись, Михаил прошел в ванную, включил воду. — У меня такое впечатление, — прокричал он оттуда, — что

судьбу страны решает не народ, а Садовое кольцо Москвы. А если еще точнее — один Белый дом. Агитаторы ходят по улицам, собирают защитников, слезно милостыню. Стыдоба. Народ, если бы верил Ельцину, пришел бы на его защиту и без призывов. Короче, однозначности нет. А для истории парадокс: Белый дом находится на Красной Пресне. Опять красные и белые, и опять между собой повязанные. А победить может какая-нибудь третья сила, которая заставит потом русского мужика тыкаться мордой в новую грязь.

— Про Горбачева что-нибудь слышно?

— Ничего нового. Впрочем, про него уже давно все забыли, никто не вспоминает. Докрущевился, черт бы его побрал. Это же надо уехать отдыхать в такое время. Ничему история не учит.

— Что ГКЧП?

— Не мычит, не телится. Мало читали Ленина, где он про промедление, которое смерти подобно. По-моему, декабристы. Вышли, подставились — и все. На их месте надо что-то предпринимать для народа. Кто против — убирать. Так нет, хотят остаться в белых перчатках. Хвала, конечно, за это, но зачем тогда брались?

— Михаил вышел из ванной, и Андрей замер: все тело его нового друга было покрыто красными шелушащимися пятнами. Удержался от вопроса, но Мишка сам, оглядев живот, плечи, развел руками: — Тропическая язва. Два месяца провалялся в Бурденко — бесполезно. Теперь вот бабулек ищу. Случаем, нет знакомых?

— Не-ет. А где подхватил-то?

— Далеко. Когда-нибудь, может, расскажу. Так, что у нас в холодильнике?

Он принялся возиться с завтраком, Андрей же быстро оделся, сложил постель. Хорошо, что судьба свела с Мишкой, а то неизвестно еще, где бы пришлось ночевать. И пришлось ли бы вообще.

Глянул в окно, передернул плечами: мелкий нудный дождик. Серый день занимался неохотно, словно не желая втягиваться в свару, затеянную политиками. А может, это и хорошо, что дождь. Разгонит любопытных, освободит улицы...

— Народу много? — проходя на кухню, спросил у заваривающего чай Михаила.

— На восемь часов... — тот глянул на увитые цветами настенные часы. Там, в домике, как раз распахнулось верхнее окошко, и черная кукушка поклонилась под свое «ку-ку» восемь раз. — На восемь часов не остановилось ни одно предприятие Москвы. Думаю, что и не остановится. Народ понял, что идут политические игры, и не хочет в них участвовать. У Белого дома тысячи три. Гордые — как же, защитники, ночь продержались, и жалкие — мокрые, пучеглазые, не понимающие, что одной нашей группе на двадцать минут всех дел, чтобы войти в кабинет Ельцина. И без единой жертвы. Ладно, ну ее, политику. Гусары газет не читают. Давай, хозяйничай дальше, а я попью чайку и спать — вечером опять в патруль. Часа в четыре позвони, разбуди. Где будешь?

— Постараюсь попасть в министерство, хоть что-то выяснить. Может, схожу к Белому дому, посмотрю.

— Не влезай ни в какие споры.

— Теперь ученый. Спи.

### 3.

До шестнадцати часов, когда нужно было звонить будить Мишку, времени оказалось уйма, и Андрей пошел на Киевский вокзал. Там дождался, когда освободится местечко в уголке, сел, расслабился, прикрыл глаза. И понял, что раздражало его все время, чего не хватало — путч заставил забыть о Зите. Нет же, нет, только не это. К черту политику, когда страдает родной человек.

Жена вспомнилась-представилась испуганной, забившейся в угол дивана. Как-то ей там одной? «Приезжай быстрее, я умру без тебя».

«Здравствуй, моя милая. Здравствуй, родная. Извини, что мало думал о тебе...»

...Мишка опаздывал, и для Андрея, замаявшегося убиванием времени на вокзале, каждая минута казалась вечностью. Узкий козырек подъезда, где они договорились встретиться, почти не спасал от продолжавшегося весь день дождика, и ноги вновь стали мокрыми. Но винить было некого, сам напросился с Михаилом в патруль, побоялся оставаться один среди стен, где можно будет сойти с ума о Зите.

Наконец показался Мишка — под зонтиком, в сапогах.

— Привет. Что нового, кроме увеличивающего вклада в победу демократических сил? — он кивнул на бумажку, которую мельком прочел.

— У Белого дома готовятся к отражению штурма. Говорят, «Альфа» ночью пойдет в атаку.

— Никакого штурма не будет. Держи. — Михаил вытащил из сумки яблоко и еще один зонт. — Карпухин завел свою «Альфу» в спортзал и уложил спать. Знаешь Карпухина?

— Слышал краем глаза.

— Легенда. Говорят, Героя получил за Афган, сейчас генерал, всего сорок лет[2]. Наши звонили знакомым в «Альфу», он сейчас «волнует»[3] «восьмерку». Десантники тоже заявили, что не будут предпринимать никаких действий против Белого дома. Громов от МВД не дает двигаться с места дивизии Дзержинского, а мы — в патруле. Да, еще: начальник Генштаба Моисеев отдал приказ вывести ночью технику из Москвы. Так что крови не будет. И то хорошо.

---

[2] Генерал-майору КГБ Виктору Федоровичу Карпухину на самом деле было 42 года. Героем Советского Союза стал в 1979 году, когда, будучи капитаном, первым ворвался во Дворец Амина в Кабуле.

После путча, насмотревшись, кто и как ведет следствие, сам неоднократно вызванный на допросы, 43-летний генерал напишет рапорт на увольнение в запас. За командиром уйдут многие офицеры. Урезанная, профильтрованная на лояльность «Альфа» (специальное подразделение КГБ по борьбе с терроризмом, созданная еще Ю. В. Андроповым) перейдет в охрану Б. Н. Ельцина.

[3] «Волновать» начальство — сообщать ему такие сведения, которые бы не позволяли принимать решительные меры. Собственно, именно Карпухин своими действиями спас Белый дом.



— А междугородный здесь поблизости есть?

— У «Художественного». Ускоренным маршем минут десять. Хочешь позвонить домой? А не поздно? Второй час ночи.

— Да что-то весь день думалось о Зите. В любом случае она обрадуется.

Мишка уже знал всю историю с Зитой, и первым направился на Калининский проспект. Чем ближе подходили они к синим буквам «Телеграф», тем сильнее охватывало Андрея нетерпение. Услышать голос Зиты, убедиться, что с ней все в порядке. И завтра же — к ней. Независимо от результата звонка в кадры. Да и какие сейчас могут быть результаты?

Роняя на пол монетки, набрал код, номер телефона. Плотнее прижал трубку к уху, словно приглушая, делая звук мягче там, у себя в квартире. Сейчас Зита проснется, посмотрит на часы — они стоят в изголовье, на тумбочке, мигающие электронные циферки. Поймет, что звонок междугородный, значит, от него...

— Алло-о, — поторопился Андрей, отставляя трубку и теперь давая сигнапу возможность наполнить свою однокомнатную.

«А может, не туда попал?» — нашел он успокаивающую мысль, когда и после этого гудки не прекратились.

Нажал на рычаг и перебрал номер. Ну же, Зита, ну поднимай трубку, а то здесь черт знает что подумать можно. Ну!

— Ну? — заглянул в кабину Михаил. — Может, не туда попал?

Андрей молча в третий раз перебрал номер. Нет, он попадает домой. С самого первого раза он знал, что номер срабатывает верно. Это что-то с Зитой.

Закрыл глаза, сосредотачиваясь и вспоминая номер своего заместителя. На этот раз трубку подняли практически сразу.

— Да-а, — недовольно отозвался сонный Щеглов.

— Сергей, это я, Андрей. Извини, что разбудил, но я не могу дозвониться до Зиты. Извини, конечно, но... — он замолчал. Молчал на другом конце провода и Щеглов. Молчал подозрительно долго.

— Сергей, — тревожно позвал его Тарасевич.

— Андрей, — начал замполит, и по тому, как он сказал это, как молчал до этого и замолчал вновь, Андрей понял: случилось что-то страшное.

— Что? — прошептал он. — Что? — умоляя, попросил он.

— Я целый день звонил в Москву, пытался хоть как-то найти тебя...

— Что?!

— Ее... нет.

— Как... нет? — Андрею показалось, что он закричал, но Мишка, читавший за стеклом газету, даже не повернулся.

— Понимаешь, она из окна... с шестого этажа...

— Говори.

«Может, все же ошибка? Что-то перепутали?»

— Я понял так: где-то часов в четырнадцать Зите позвонили по телефону. Ваша соседка, Рая, звонок этот слышала — она как раз пришла на обед и открывала свою дверь. Это я уже потом восстанавливал хронологию. Через несколько минут Рая позвонила в вашу квартиру: вроде ты просил ее перед отъездом заглядывать к Зите.

— Да, просил.

«Зиты нет, Зиты нет. Зиты нет...»

— Дверь никто не открыл. Она вернулась к себе в квартиру и тут услышала крики на улице. Выглянула и... увидела.

...Отрядный «уазик», выкладываясь, изо всех сил рвался из аэропорта в город. В город, в котором уже нет Зиты...

— Я предполагаю такой вариант, — продолжил с заднего сиденья Щеглов, видя, что командир ничего не хочет говорить сам. — Видимо, та банда узнала не только ваш телефон, но и то, что ты в отъезде. Позвонили Зите, и, видимо, пугая, забавляясь, а может, на самом деле угрожая, сказали: мол, сейчас придем за тобой. А через какое-то мгновение в дверь позвонила Рая.

Город приближался — серый от смога, дыма и пасмурности. Злой и враждебный — потому что породил и прячет убийц Зиты. Он найдет их. Он положит на это жизнь. Если потребуется — снимет погоны и уйдет из отряда.

— Куда, товарищ старший лейтенант? — тихо спросил водитель, когда подъехали к первой городской развилке.

— Где сейчас Зита? — спросил Андрей.

— В морге, — ответил замполит.

Нет, он не верит. Он должен сам увидеть...

— Туда.

### 4.

Опомнился вдруг на пятый или шестой день. Вздрогнул от прорвавшейся через пленку оцепенения мысли: Зиты нет, а убийцы до сих пор на свободе! Подхватился, оглядываясь и готовясь к схватке.

Вокруг стояла тишина. Тишина, которая бывает только на кладбищах. Впрочем, он и был на кладбище. В голом поле, усаженном только каменными глыбами надгробий и крестами. Почему здесь не растут деревья? Почему никто не догадается посадить их? Зите он принесет сирень, она очень любила сиреневый цвет...

Андрей поправил шалашик из венков, вытащил из него дощечку с фотографией Зиты. Протер пленку, которой она была закрыта от дождей. Под полиэтиленом оказались капельки влаги, они коснулись фотографии, и показалось, что Зита плачет. Как же он не уберег ее?..

— Андрей! — кто-то тронул его за плечо, и он вздрогнул от неожиданности. — Андрей!

Над ним стоял встревоженный Щеглов. Но только что может быть тревожнее того, что уже произошло?

— Андрей, тебя ищут.

— Кто? — равнодушно спросил Тарасевич, не сводя глаз с заплаканного лица Зиты.

— Латышская полиция.

— Кто?! — не понял Андрей. При чем здесь гибель Зиты и латышская полиция? Уж не на похороны ли приехала? Только

он знает их помощь, он помнит их злобу и бессильную ярость, когда дело касалось ОМОНа в Риге...

— Они приехали, чтобы арестовать тебя. Очнись, это серьезно, — тряхнул Щеглов своего командира. — Они приехали арестовывать тебя.

— Меня? Зачем?

— Чтобы этапировать в Ригу.

Смысл сказанного Щегловым не умещался в голове.

— Пусть попробуют. Мы, кажется, еще в России и Латвия нас не оккупировала.

— Россия согласилась тебя выдать! — со злобой проговорил Щеглов и виновато отвернулся. — У них на руках письмо Генерального прокурора России Степанкова к нашему министру внутренних дел Дунаеву: оказать содействие в задержании. Тебя и еще пятерых бывших рижских омоновцев.

— Ты видел?

— Видел. Латышам даже выделена московская милиция. В помощь. У тебя дома засада. Я — сюда.

— Подожди, до меня ничего не доходит. Ничего не пойму.

— Тебе шьют бандитизм и террористические акты на территории Латвии. Когда служил там.

— Да я в Москву...

— Москва Риге теперь не указ.

— Почему это?

— Республики Прибалтики объявлены независимыми государствами.

— Когда и кем? На каком основании?

— Сразу после путча. А основание... Ты же знаешь, как уважают у нас законы.

Путч! В Москве же был путч. Он улетел из столицы, когда там начался вывод техники. Значит, все закончилось?

— И все равно никуда я отсюда не уеду, — сжал кулаки Андрей. — Никуда.

— Тебе что, лучше сидеть в тюрьме иностранного государства?

— И в тюрьму я не сяду. В любом случае мы выполняли Указы Президента СССР. Если я, выполнявший приказы, — бандит, то тогда дважды бандит и преступник тот, кто отдавал эти приказы. В тюрьму добровольно я готов пойти только после того, как там окажется Горбачев. А раньше в их «Березовой роще» моего дерева не будет.

— Какой роще? — не понял замполит. Даже огляделся вокруг — они шли среди сосен, о березах здесь ничего не напоминало.

— А ты думаешь, латыши только сейчас задумали пересажать нас по тюрьмам? Как бы не так. Еще когда служил в Латвии, мы знали, что против ОМОНа разработана операция «Березовая роща». Цель — переломать нас по одному, как деревья. Подставить, оклеветать, спровоцировать. Одним словом — вырубить.

— Ну вот видишь, сам все прекрасно понимаешь. Поэтому не дури и пережди хотя бы первое время. Потом решим, что делать. Держи пакет, здесь бутерброды, а это — отпускной и билет до Москвы. — Щеглов вытащил из кармана документы. Тарасевич, не глядя, отвел руку замполита.

— Нет, Сергей. Пусть против меня будет хоть весь мир, а не только Латвия, Россия и банда, — я не тронусь с этого места.

— Ты слишком заметная фигура в городе. Тебе не скрыться. Уезжай, Андрей. Пересиди где-нибудь.

— Я вот о чем подумал, — не слушая заместителя, ответил Тарасевич. — Я боюсь, что наше российское руководство возьмет пример с прибалтов и начнет из-за одного меня вешать собак на весь отряд. Держи, — он протянул Щеглову свое удостоверение. — Не доставим им такой радости. Я больше не командир. Я ухожу из органов, которые предают и продают своих офицеров. Я теперь — никто. И поэтому приговариваю убийц Зиты к смерти. Суда не будет, потому что суду прикажут их оправдать. Из-за меня. А теперь оставь меня одного.

— Андрей!

— Все! — губы Андрея запрыгали от сдерживаемого плача, замполит уловил душевное состояние командира, подался к нему успокоить. Однако старший лейтенант отстранился: — Все. Спасибо за службу и дружбу. Дальше я один.

— Не уеду.

— Не глупи. Сохрани отряд. Это последнее, что у меня осталось на этой земле. А так — ни родителей, ни жены, ни родины, ни отечества. Волк. Черный волк. А волку легче живется одному.

Развернулся и, не оглядываясь, пошел в лес. Просто в лес. Куда подальше. Волку и в самом деле в лесу надежнее.

### 5.

К кладбищу Андрей подходил со стороны леса. Сегодня исполнилось девять дней со дня смерти Зиты. Он сохранил для этого дня конфету, оказавшуюся среди бутербродов Щеглова. «Так сладкого хочется. Значит, мальчик у нас будет, — таинственно сообщала Зита секреты своей беременности. — Не смейся, это правда. Мне женщины в консультации это говорили». Ох, как же он будет мстить. Он сегодня же выходит в город. У него нет больше сил, чтобы выжидать, когда отрастут усы и борода. Но он будет осторожен. Дико осторожен, потому что против него и власть, и банда. «Спрут-3», первая серия. Сицилия. Это что, необходимый элемент демократии для России? Она не могла прожить без этого беззакония?

Он подошел к первым могилам — уже обихоженным, аккуратным, взятым в оградки, и вдруг замер. Что-то сегодня, буквально минуту назад, мельком напомнило ему об опасности. Он не заострил на этом внимание, хотел додумать потом, но перебилось, ушло в сторону. Но что-то было, откуда-то пахнуло холодком. Кресты и опасность... Нет, крест он поставил на политике. Пойдем сначала, и спокойно: крест, кладбище, опасность, Зита, банда, страна, Сицилия, «Спрут»... Спрут! Комиссара в фильме тоже брали на кладбище, около могилы дочери. Детали не помнятся, но было, кажется, именно так. Надо же, как сработало подсознание. Хотело предупредить, а он отмахнулся ненароком. Или это все-таки нервы? Затравленность? Нет-нет, лучше поосторожничать. В этом мире все повторяется, а подлости и предательства — в первую очередь. Он же не имеет права рисковать.

Прислонившись к первой попавшейся ограде, Андрей осторожно огляделся. Народу на кладбище человек двадцать. Но его должны интересовать мужчины. Одинокие мужчины, рассредоточенные по кольцу или периметру. Раз, два, три... черт, мешают памятники. Еще три человека роют новую могилу недалеко от Зиты. Подстава? Посмотрим, как работают. Нет, движения точны и экономны, землю далеко не выбрасывают, припечатывают рядом с ямой. Дорога и машины. Их около десятка, но есть ли кто внутри — не видно. Двое парней, опять же недалеко от Зиты, крутятся с оградой. Что они такие неуклюжие? Нет, успокоимся, у него, что ли, большой опыт в этом деле? Век бы не иметь.

Андрей засунул руку в карман и нащупал барбариску. Она в красной обертке, уже чуть протертой. «Так сладкого хочется! Значит, мальчик у нас будет...»

Осторожно переместился еще на несколько могил. Каждый из заподозренных занимается своим делом. Еще несколько метров. Могильщики, положив лопату поперек ямы, ловко выбираются наверх — да, они профессионалы, они отпадают. Те двое, с оградой, подошли к ним, видимо, просят лопаты. А почему приехали без своих? Хотя будь это полиция, такой явный прокол никогда бы не допустили. Одиночек — один, два, три... Ого, один уже за спиной, перекрыл путь к лесу. Откуда и когда появился? Проверим на вшивость, пока один.

Тарасевич решительно пошел обратно, но через несколько шагов остановился: мужчина был с двумя девчушками, поправлявшими цветы в банке на одной из могил. Да, нервы. Надо плюнуть на все и идти к Зите. Они не посмеют проводить задержание на кладбище. Должна же быть совесть или хотя бы капля человечности.

Не давая больше себе осторожничать и опасаться, пошел к красно-зеленому от свежих венков участку. Зита лежит третьей с краю. Ряд теперь не найдешь, столько новых могил за девять дней появилось! Как же легко обрывается человеческая жизнь. А идти лучше по краю кладбища. Те, двое, все еще торгуются насчет лопат. Сзади никого. Впрочем, убегать... Нет, бежать он тоже не сможет. Бежать от места, где лежит Зита, — никогда. Он пришел к ней. Вернее, он идет к ней. Дайте попрощаться, и он плюнет на все и уедет. Живите, сволочи, если можете. Жизнь в самом деле так легко оборвать, вон сколько могил, целый город. Но до Зиты дайте дойти. Донести конфету. У него ничего нет — только боль и конфета. Он преклонит колено, дотронется до могилы — и все.

Мимо горестно сидящих в обнимку мужчины и женщины, не выпуская из виду парней с оградой, стремительно подошел к Зите.

— Стоять спокойно, — послышался голос сзади. Есть. Все же взяли. Это тот, который сидел с женщиной со сгорбленными плечами. Больше некому. Как же он упустил из виду, что они могут задействовать женщин! И какая падлюка согласилась идти на приманку, да еще в черном платке? — Ты окружен, Тарасевич, бежать глупо.

Да, бежать глупо. Он и не побежит. Он не заяц, чтобы петлять по полю. Он не даст им возможности поулыбаться. Сколько их здесь? От могильщиков, сбрасывая рукавицы и куртку, торопится еще один. Значит, втиснулся третьим к тем, настоящим. Бросили наконец заниматься ерундой с оградой и те двое — ну, этих-то он сразу имел в виду. Четверо бегут от машины. Конечно же, и тот, с девчонками, совсем не случаен. Целая операция. Но он пришел к своей Зите. Подлее было испугаться, спрятаться в лесу. Он вышел. Ради памяти той, которую однажды защитил. Однажды, в самом начале. И не смог сейчас...

Здравствуй, любимая. Не плачь. Я люблю тебя. И еще приду. Много-много раз. Всю жизнь буду приходить. А сегодня принес себе конфету. Ты очень хотела сладкого...

Андрей полез в карман за барбариской, но сзади схватили за руку, в спину ткнули стволом пистолета. Он дернулся, освобождаясь от захвата, но подбежавший «могильщик» с разбега ударил его ногой под колени. Падая, Андрей все же сумел вырвать руку, протянуть ее к могиле. На запястье наступили грязным ботинком, но было поздно: он разжал пальцы и конфета осталась лежать на холмике.

Здравствуй, любимая...

### 6.

Телефон не отвечал, и Багрянцев, поглядев на часы, решился ехать к Андрею по адресу.

Таксист, почуяв в нем денежного клиента, включил музыку, крутанулся по центру, показывая достопримечательности и не забывая быть вежливым. В итоге намотал дополнительную пятерку, получил еще одну на «чай» и оставил клиента у завалов строительного мусора, надежно и, судя по другим домам, надолго окружившего новую семиэтажку.

Лифт, конечно же, не работал, но шестой этаж для спецназовца — семечки, легкая разминка, не предмет для раздумий.

Однако никто не откликнулся и на звонок в дверь. Собственно, чему было удивляться, можно сразу предположить, что Андрей скорее всего пропадает на базе отряда. Но это где-то далеко за городом и, если честно, Мишке просто не хотелось ехать туда, понадеялся и зацепился за милое русское «авось», хотя и не имевшее и одного процента удачи.

Оглянулся на дверь напротив. В глазке

вспыхнул свет, словно там отпрянули под его взглядом. Тем лучше.

Надавил белую кнопку. Звонок оказался резкий, громкий даже для лестничной площадки, и Михаил отдернул руку. Стал напротив глазка: не бойтесь, свой.

Однако дверь все равно не открыли.

— Кто там? — послышался женский голос, и Михаил чертыхнулся: ну вот как ответить на этот вопрос? Мужчина он!

— Я к Андрею, соседу вашему, — наклонясь к замочной скважине — наверное, чтобы громко не кричать, ответил он: спецназовские привычки, оказывается, уже в крови. — Вы не подскажете, он дома сегодня будет?

— А кто вы? — кажется, женщина тоже наклонилась к замку: стало слышнее.

— Из Москвы. Друг Андрея. Я знаю, что у него... жена...

Это подействовало. За дверью щелкнуло, и Михаил увидел женщину в длинном, до пят, халате. Стекла ее очков чуть укрупняли глаза, тени же от дужек, наоборот, несколько удлиняли их, делали чуть раскосыми — это несоответствие тем не менее придавало женщине своеобразное обаяние. Михаил, почему-то сразу обративший на это внимание, так откровенно разглядывал соседку Андрея, что та заметно насторожилась.

— Извините, — приложил руку к груди Михаил и даже отступил на шаг, чтобы не пугать женщину. — Мне только узнать, бывает ли Андрей сейчас дома.

— А вы... вы когда его видели последний раз? — закрывая полами халата маленький треугольничек, оставшийся открытым на груди, продолжала интересоваться женщина.

— Совсем недавно, двадцатого числа. Он у меня жил в Москве. Я его и на самолет сажал, когда узнали, что жена... Она жива?

— Нет, — соседка стала поправлять очки. — Но только... Знаете, Андрея не будет сегодня.

— Черт, жалко. Придется ехать в отряд. Извините еще раз. До свидания.

— Подождите, — остановили его, когда Багрянцев одним махом оставил позади лестничный пролет. — Вы... вы можете зайти на минуту?

«К вам — с удовольствием», — не понимая, чем вызвано такое «потепление», тем не менее подумал Михаил.

Опуская глаза, чтобы не выдать удовлетворения, прошел в тесноватую, но уютненькую прихожую. Но успел заметить, отчего запахивалась халатом соседка: на груди, как раз в открывавшемся треугольничке, россыпью-звездочками мелькнули родинки, когда хозяйка прикрывала за ним дверь. Но разве это надо прятать? Глупые женщины. Небось столько мужских взглядов спотыкалось об эту привлекалочку-заманку, отчего ж еще одному мужику не сойти с ума? И вроде ничего сверхъестественного, просто несколько родинок, а вот знали, черти, где появиться...

— Проходите, можно на кухню, я только с работы, — запахнулась вновь хозяйка. Ни про какие родинки она сама, конечно, не помнит, это просто привычка. Привычка одинокой женщины, прячущей свое тело от мужских взглядов. — Меня Рая зовут.

— Михаил. Багрянцев.

— А... вы Андрея хорошо знаете? — продолжила допрос соседка, когда они уселись за стол.

Молодец, ничего не скажешь. Настырная. Но все равно приятная.

— Не очень. Зато участвовали вместе в путче, — хотел пошутить Михаил, но для Раи это оказалось, видимо, серьезной новостью.

— Так его арестовали за участие в путче? — она испуганно схватилась за щеки.

— Арестовали? — встрепенулся теперь уже Багрянцев. Так вот почему соседка все так выпытывает. — Кто арестовал? Когда?

Поняв, что проговорилась, но все еще неуверенно Рая сообщила:

— Латышская милиция. Или полиция, уж и не помню, как назывались. Они два дня сидели у него в квартире, ждали, а потом поехали на кладбище и прямо у могилы Зиты...

— Даже так, — поник Мишка. — Демократия в действии... А где он сейчас?

— Приходили ребята, сказали... вернее, я поняла из их разговора, что сейчас он в нашей городской тюрьме. Но через два дня рейс самолета на Ригу, его увезут туда.

— Взяли... Спасибо, Рая. Извините, но я в отряд. Надо что-то предпринимать. Нельзя, чтобы его увезли, иначе потом назад его не вытащишь.

— В отряд не надо, — задержала его вновь Рая. — Ребята сказали... словом, я поняла, что в отряде находится московская милиция, — осторожничала, до конца не говоря все в открытую, Рая. — Ждут, вдруг кто-нибудь из друзей Андрея появится еще.

«Значит, ищут и других», — понял Багрянцев и остался сидеть. Посмотрел не застывшую Раю, спохватился, улыбнулся ей, успокаивая:

— Я понял, Рая. Я не поеду в отряд, москвичи не для меня, — улыбнулся он еще раз, когда Рая с облегчением вздохнула. — Но кого-нибудь из отряда я бы хотел все-таки увидеть. Где-нибудь случайно на улице, в автобусе...

Рая опять задумалась — она и так сегодня уже наговорила столько, что саму можно сажать в тюрьму за соучастие. Машинально сняла, протерла очки.

— Рая, я приехал помочь Андрею искать убийц его жены. Только теперь, видимо, надо помогать ему самому. А вы, как я чувствую, дружили с семьей Тарасевича.

— Да, Андрей столько мне помогал... Только меня предупредили...

— А я и не сомневаюсь в этом. Но только они ищут, насколько я понимаю, рижских омоновцев, а я — капитан Генерального штаба. Вот, — Михаил показал свое удостоверение. — И я просто спросил у вас, у соседки: где Андрей? Вы ответили, что не знаете, не видели его несколько дней. Я огорчился и сказал, что пойду искать базу отряда или кого-нибудь из омоновцев. Так ведь было?

— Та-ак, — согласно протянула Рая, стараясь запомнить расклад гостя.

— Просто когда Андрея увезут в Ригу, наше благородство никому не будет нужно. А в первую очередь самому Андрею.

— Хорошо. Я сейчас, посидите, — Рая исчезла в комнате и вскоре появилась в платье. «И даже платье под горлышко», — не забыл отметить Михаил. — Я быстро, здесь рядом. Снимите чайник, если закипит.

Набросив куртку, исчезла за дверью. И (чайник так и не вскипел) быстро вернулась обратно.

— Его заместитель, Сергей Щеглов, сможет приехать только после десяти вечера. Прямо сюда.

На часах было восемь. Надо за оставшееся время попытаться устроиться где-то на ночлег. Рая, по всему видать, живет одна, но...

— Значит, я смогу зайти к вам в десять?

— А вы уходите? Сейчас ужин приготовлю.

— Я еще нигде не устроился, пойду пройдусь по гостиницам.

Вновь взялась за очки Рая, но теперь в раздумье. Багрянцев дал ей несколько секунд, но хозяйка промолчала, и он встал.

— А то подождали бы ужин, — в дверях неуверенно повторила Рая, но он отрицательно улыбнулся. На ужин, если сможет, он сам добудет и принесет чего-нибудь вкусного.

Да только что ты в незнакомом городе без звонка, рекомендации, без подарков, да еще с рязанской мордой. О, да к тому же и военный! Тогда вообще нужно разрешение комендатуры гарнизона, без его отметки к гостинице можно и не подходить.

А может, не лез нахрапом, не возмущался особо Мишка потому, что помнил о маленькой квартирке Раи? Это же надо, как пронзила своими родинками. Неужели прогонит, когда узнает, что с гостиницами полный провал? Он бы не стал наглеть, никаких приставаний или даже попыток, он ведь помнит про свое «тропическое» тело. Да и обстановка не та. Просто находиться рядом, знать, что рядом, в одной комнате... А первое, что надо добыть во что бы то ни стало, — это взять в ресторане бутылочку шампанского и коробку конфет. По-гусарски. Для ужина. И выпить за встречу, знакомство и освобождение Андрея. Завтра он поставит на уши все местные власти, журналистов, депутатов. Засыплет телеграммами Москву, а потребуется — и ООН. И допьют бутылку потом вместе, когда Андрея освободят. Тогда он и скажет, что у него, Тарасевича, очень хорошая соседка.

Червонцами проложил себе путь от швейцара до распорядителя и официанта, остановившегося лишь при виде двух уже купюр. В секунду понял просьбу — никаких проблем, жди у входа.

И точно — через несколько минут, прикрывая подносом пакет, официант подошел к дверям.

— Коля, — позвали его в полуоткрывшуюся перед Михаилом створку. — Повтори мне на дорожку то же самое. Возьми.

Перед Багрянцевым просунулась рука с деньгами, и Михаил замер, увидев на ней татуировку с парусником. Парусник, парусник... Андрей! Это Андрей говорил о паруснике. Это Зита запомнила татуировку, когда ее захватили...

— Проходи, проходи, — подтолкнул его швейцар. — А вы там не напирайте, мест нет и не будет.

Чтобы не выдать себя ни взглядом, ни жестом, выбираясь сквозь небольшую, но настырную толпу у ресторанных дверей, Михаил даже не посмотрел на обладателя татуировки. Потом, потом, со стороны. Мертвая хватка готовится издали. Так надежнее.

В вестибюле занялся пакетом, якобы проверяя полученное... Так, рост — под метр восемьдесят, вес — все девяносто. Весовые категории разные, но это второстепенное. Шампанское полусладкое, молодец, Коля, не схалтурил... Одет не то чтобы шикарно, но вещички или по блату, или в коммерческом. Не дурак выпить, раз повторяет. Но основное — собирается куда-то уезжать... Коробка конфет красивая, вся в лютиках... Внимание, Коля передает еще два пакета. На улицу выходим первым. Машина. В ней еще двое. Ждут «парусника»? Черт, уйдут, уедут. Надо цепляться за них, впиваться...

Пока скрипела за спиной входная дверь, а тем более увидев восторг и оживление в машине, — решился. Спиной, боком, коряво бросился Мишка вроде бы обратно в гостиницу. Разбега почти не было, но ударил в грудь «паруснику» достаточно, чтобы отбросить его обратно к двери. А теперь падаем сами, да грохнем шампанское о стену. Эх, Рая, посидели...

— Идиот, куда зенки подевал? — заорал «парусник», а из машины уже выскочила подмога. Держи морду, Миха.

— Да я тебя сам за бутылку... Я бабе нес, а ты... — опять боком, чтобы не выпускать из виду машину, пошел на цель Багрянцев. — Что же ты, зараза, наделал?

Успел. Успел ухватить за грудки «парусника» раньше, прежде чем его самого схватили сзади.

— Гони бутылку, — орал Мишка, отбиваясь ногами от заднего.

— Гера, врежь ему, — попросил «парусник» напарника, и Багрянцев напружинился, сгруппировался, «надевая рубашку»: теперь пусть бьют, не такие удары в спортзале держали. А вот сами получите тоже: он подпрыгнул и поддел головой Геру.

— Убью! — завопил тот и замотал Мишку, пытаясь отодрать от друга. Хорошо, что тому мешали пакеты, хотя видно было, что он на взводе и готов опустить покупки на голову врагу.

Выручил милицейский свисток швейцара. Выглянув на шум, черно-желтое квадратное существо раздуло щеки, и секст

неожиданно мгновенно отреагил противников.

— Уходим, — Гера перестал шпынять ногами и просто дернул Мишку, уже вроде по-хорошему пытаясь оторвать его от приятеля.

Нет, господа-товарищи, ручки слабы. Ручки тренировать надо. Я теперь — репей и только с вами.

Он ввалился вместе с «парусником» на заднее сиденье машины, водитель дал по газам, и за стеклом замелькали фонари. Начало положено. Каким-то будет конец? Теперь — мириться и очухиваться, пока не пырнули чем-нибудь в бок.

— Ну что, выпить до сих пор хочется? — перевалился с переднего сиденья Гера.

— Сейчас подумаю, — искренне признался Мишка, вкладывая в ответ свой смысл. Однако освободившийся от пакетов «парусник» наконец сам дотянулся до Мишки, и перед глазами вновь мелькнули синие мачты, синее море...

— Подумал, — поспешил добавить Багрянцев, но удар в скулу уже получил. — Подумал-подумал. Но вы меня, мужики, тоже поймите. Я беру бабе шампанское, и вдруг оно вдребезги. Вам бы такое.

— У нас такого не бывает, — впервые подал голос водитель. — Мы берем бабу сразу с шампанским. Разница. Но ты мне понравился — за свое впиваешься в глотку.

«Значит, он старший, раз хвалит», — оценил расклад сил Мишка. А сам простодушно — хорошо все-таки, что рязанская морда, — надул губы и подсластил:

— Да и вы тоже... свое не отдаете.

Гера хохотнул, «парусник» тоже повел плечами: доброе слово и уркам приятно.

— Ну, и что с бабой теперь? — осторожно вел машину и разговор старший.

— Значит, не повезло ей. А завтра воспользуюсь вашим советом и поищу уже с шампанским.

— Ты всегда такой прилежный в учебе?

— Когда мне это выгодно.

— Кем работаешь?

— Пока вольный. А так — достаю и приношу, если грубо говорить.

Спецназ всегда учил говорить как можно ближе к правде, чтобы потом не путаться и не сыпаться на мелочах.

— А если потоньше? — срезáл свои пласты старший.

— Обычно ставлю мины во время отхода, — дал совсем тончайший срез Багрянцев. Для спутников, однако, этот ответ оказался еще более неотесанным брусом, и они на время замолчали. Вот это и хорошо, надо попытаться выглядеть многозначительным пустышкой, к тому же еще чуть хвастливым, но и знающим себе цену. Не дать составить о себе однозначное представление, в этом случае легче лавировать и закрывать промахи.

Однако водитель оказался не меньшим репьем, чем сам Мишка:

— Получалось? Имею в виду мины?

— Орденов пока нет, но доверяли.

— В какой сфере деятельности прикрывал отходы?

— Можно сказать, что в коммерции.

— Чего же сейчас вольный?

— Путч. Начальство посоветовало расползтись, лечь на дно и переждать неизбежные разборки после победы одной из сторон.

— Мудрое у тебя начальство.

— У дураков не служим.

Что дальше? Это же, видимо, решает и водитель. Помочь? Направить составление задачки в своем русле? Эх, сейчас бы какую-нибудь домашнюю заготовочку. Да кто же знал, что придется брать не технику, а людей. На бандах специализируются всякие там кагебешные геометрические «альфы» да «омеги»...

— Ну, как ты думаешь, что мы с тобой будем делать? — честно, поровну, поделил решение задачки водитель.

— Только не бить морду. Обычно говорят, что двое одного не бьют, а вас даже трое, — вернул условие на исходный пункт Багрянцев.

Проехали несколько фонарей, прежде чем впервые водитель обернулся назад:

— Есть предложение пригласить тебя на наш скромный ужин. Может, и поговорим поближе.

7.

Дверь Мишке, Гере и Моте — «парусник» так и представился: «Мотя» — открыла длинноногая и длиннорукая девица, ухитрившаяся втиснуть свое такое же длинное и гибкое тело в узенький кусочек блестящего зеленого материала.

— Эллочка, это мы, — Мотя поднял над собой пакеты. — И не одни, — он кивнул назад.

Мишка закланялся и протянул свою коробку конфет.

— Лишних не бывает, — неожиданно писклявым для своего роста голосом разрешила хозяйка войти им всем в дом.

Облегающий Эллочку кусок материи оказался еще меньшим, когда она повернулась: глубочайший вырез до поясницы сэкономил минимум еще полметра.

— А где Данилыч? — пропищала уже из кухни хозяйка.

— Скоро будет. Вроде должен с Боксером встретиться, — ответил Гера.

— С Боксером... Сказал бы сразу, что поехал Соньку трахнуть, — не поверила Элла. — Выйдет Козырь, он и им, и нам ребра переломает.

— А по-моему, пусть разбираются сами, — развалившись в кресле, вальяжно проговорил Гера. — В крайнем случае, мы к Моте в Москву смотаем. Приютишь?

— Мотя старых друзей не забывает, — «парусник» умело и сноровисто очищал заставленный грязной посудой стол. — Давай, приобщайся, минер, — подозвал он Мишку.

Через некоторое время стол был накрыт вновь. Быстро, застоявшись в ожидании, выпили по первой. Эллочка близоруко сверлила взглядом гостя, и Мишка чуть занервничал: женское чутье идет от пяток, а пятки боятся холода.

— Откуда мальчик? — неожиданно спросила она, и Багрянцев понял, что не ошибся в своем предположении.

— С Мотей бабу не поделил, — хихикнул Гера.

— Не бабу, а шампанское, — огрызнулся тот.

— Данилыч хочет поговорить, познакомиться, — отмежевался от Мишки «парусник».

Эллочка, прикурив сигарету, протянула пачку гостю.

— Не курю, спасибо. Курить вредно.

— Курить вредно, — согласилась она. — Но не курить — странно.

Выпили по второй. Эллочка, не закусывая, прошествовала на кухню. За столом разговор не вязался: новый знакомый нужен Данилычу, а шестеркам вылезать поперек туза — быстро в отбой выбросят.

— Гера, — разряжая обстановку, позвала из кухни хозяйка.

Гера, покачнувшись, вылез из-за стола, «парусник» пересел на диван, включил магнитофон. В этой ситуации лучшее — чтобы побыстрее приезжал Данилыч. Переговорить, откланяться — и до новой встречи.

Вместо водителя в дверях показался Гера. Не поднимая взгляда, быстро прошел к столу, и прежде чем Мишка почувствовал опасность, бросился на него, сбил со стула.

— Вяжи, — прокричал он ошалевшему от неожиданности Моте.

Но нельзя отвлекаться во время драки даже за помощью. Багрянцев, ни на мгновение не забывавший, где находится, упустил лишь первый момент — момент удара. На втором уже был собран и крутнулся под Герой всем телом: перво-наперво требовалось разжать у того пальцы. Почувствовал, что удалось, подтянул колени и выпрямил спину — уже не лежачий. Заработал локтями — куда угодно и как угодно, и не для ударов даже — просто чтобы не дать схватить себя за руки. Задергал головой — в драках ее почему-то оберегают, а башкой тоже надо драться. Удалось отпугнуть на секунду Геру и подхватиться. А вот теперь — держись!

Ох как любо, как приятно драться в комнате, да еще не в своей. Все, что под рукой, — во врага. Сам — к стенке, она защитит спину. Ногой в пах ничего не понимающему, но рванувшемуся вперед Моте — получите перед поездкой в Москву. А ты куда, дура длинноногая, здесь же не бальные танцы.

— Уйди от греха, — крикнул ей Мишка, когда она попыталась набросить на него шнур от разлетевшегося по полу телефона.

— Отойди, — крикнул и Гера, бросая одно за другим одеяло, плед, покрывало, еще какие-то тряпки.

Не додумал до конца Мишка предыдущую радость: опасно затевать драку в комнате, где есть чем запутать противника.

Повязали вещи и его, сбили ритм, отобрали внимание, заставили делать много лишних и ненужных движений. На него бросились сразу втроем, сбили общей массой, стали бить как придется и куда придется. Вот теперь голову надо прятать и беречь.

— Вяжи, — хрипел то ли Гера, то ли Мотя — в злобе все голоса на один лад.

Схватил, соединил ноги шнур. Несмотря на удары и боль — напрячься. Растопыриться, сделаться больше, неуклюжее, чтобы потом расслабиться и выползти из петель. Индийская йога. Руки вперед, только вперед. Пусть вяжут впереди, позволим. На чем же взяли, где он промахнулся?

— Ну что, товарищ капитан, — плюхнувшись на диван, с одышкой проговорил Гера. — Сам все расскажешь или утюжок включим?

Мишка прикрыл глаза: удостоверение. Эллочка пошарила по карманам и нашла удостоверение. Ну да, он вытаскивал его, когда показывал Рае, и оставил в куртке...

— А мы включим его в любом случае, — Мотя, проверив на нем узлы — напряглись! — открыл тумбочку под телевизором, достал утюг. — Ты мне, шкура, сразу не понравился. Но сейчас попляшешь. Эллочка, звони Данилычу. Что-то в последнее время нюх его подводит.

— Позвони сам, — Эллочка смахнула с тумбочки остатки телефона. Подошла к лежащему Багрянцеву, наступила ему ногой на горло. — Ты мне, пидер, вылижешь всю квартиру. Языком. А потом я изрублю тебя на мелкие кусочки и спущу в унитаз, говно мильтонское. Гера, мотай за Данилычем.

— Да я же без колес, нас Данилыч и подбросил.

— Тогда беги звони, телефон у почты. Сразу Соньке звони, у нее он.

Гера, поддев на пути Мишку, вышел.

— Мадам, — прохрипел капитан. — Уберите ногу.

— Ты мне еще, гаденыш, станешь тут указывать, — повозила Эллочка туфлей по горлу.

— Да я бы ничего, мадам... Но трусы ваши... прямо под носом... воняют сильно.

— Ты их еще жевать будешь, — давнула сильнее хозяйка ногой, но что-то стыдливое, видимо, осталось — отошла от Мишки.

Так, это было главное — освободить горло. Теперь расслабляемся, «таем». Покрутим руки. Не торопиться, но и не забывать, что скоро прибудет подмога. Тогда — каюк. В крайнем случае, он и не станет отрицать, что офицер. Весь предыдущий разговор с Данилычем подводится под его спецназовскую работу. Но лучше, конечно, мотать отсюда. Мотя пробует утюг, отдергивает пальцы — горячо...

— Ну, и где ты ставишь мины, минер? — утюг приблизился к самому лицу, Мишка увидел в нем свое расплывчатое изображение. Подался назад, одновременно вытягиваясь из петель. Раскаленное железо впилось в подбородок, заставило вскрикнуть. — Неужели не любишь? — усмехнулся Мотя. — Но это еще ничего, это цветочки. Элла, для гостя клея у тебя не осталось?

— Для него найдем, — Эллочка сделала несколько торопливых затяжек, затушила сигарету о Мишкин лоб и ушла на кухню.

— Поставим мы тебя раком, капитан, зальем клеем, подержим пока затверде-

ет, и когда на унитаз запросишься — посмотрим. На стенку никогда не лез? Полезешь. Не такие лазили. А пока и утюжок неплохо, — он опять стал приближать Мишке его изображение, и Багрянцев, успевший под разглагольствования Моти спустить с локтей два круга опоясывавшей его веревки, поддел снизу горячую ношу. Мотя, оберегая руки, выронил утюг, отскочил в сторону. Багрянцев же, наоборот, бросился к нему, прижал веревку на руках к его острому, горячему краю. Зверино зарычал — от боли, ярости, для устрашения врага и собственного возбуждения. Ладони жгло, тысячи сил отталкивали их от огня и боли, но рычал Мишка, выпуская боль через этот крик и ожидая, когда пережгутся петли. И когда Мотя, задержанный вначале на миг этим криком, потом появлением Эллочки, — когда Мотя аж через эти мгновения снова ринулся на капитана, Мишка уже встречал его прямым коротким под дых. Снизу, точнехонько. Обмяк Мотя сразу всеми парусами, захватал ртом воздух. Завизжала, сменив умолкнувшего Мишку, Эллочка, но убегать не стала, а тоже потянула длинные руки в драку. Ах, мадам, прилягте в этом случае рядом с дружком.

Сам засучил ногами, освобождаясь теперь от телефонного провода — нельзя вязать проводом, ребята, растягивается он, не держит узлы. «Парусник», набрав воздуха, вновь пошел буром — а зря, к атаке надо готовиться, надо было отбежать, очухаться. Теперь же — хрясь! — мордой на костлявую задницу своей подружки. Вот так работают в спецназе.

Багрянцев набросил провод на шею Эллочки, перебросил конец между ног Моти, закрутил край ему через горло. На горло не надо становиться ножкой, мадам, это пижонство. Шею надо воедино связывать с руками и ногами, чтобы меньше трепыхались. Учить вас еще надо, салаг.

— А теперь слушайте меня, — поднял утюг Мишка над связанными вместе, воедино, наспех противниками. — Теперь я поглажу им по вашим личикам. Очень красивые личики будут, гарантирую. Но есть вариант. Вы называете мне тех, кто насиловал жену командира ОМОНа. Ну!

Он приблизил утюг к лицу Моти. Тот зарычал, и Мишка, только что через крик сам вылезший из петель, коленом поддел его в промежность — не дергайся.

— Не хочешь? Эллочка, давай ты. Извини, не до джентльменства, — Мишка стал подносить блестящую, жаркую лодочку поверхности утюга к хозяйке.

— Не-ет, — закричала она. Ого, и голосок прорезался. — Я не знаю, меня не было.

— Ребята, вы понимаете, что я не могу с вами долго возиться и упрашивать. На нет и суда нет. Но я знаю ваши законы и помогу избежать их. Будете говорить по очереди, я вас повязываю одной веревочкой, а дальше как хотите. Итак, Мотя. Ты был? — Мишка ткнул носиком утюга в то же место, куда касался его самого «парусник».

— Да-а, — простонал тот.

— Второй — Гера? — Багрянцев дал девице посмотреться в пышущее жаром «зеркальце».

— Да!

— Третий — Данилыч?

Только кивнул Мотя, побоявшись про старшего сказать вслух.

— Четвертый?

— Тенгиз.

— Адреса, телефоны, как их можно найти? Быстрее, не нервируйте, — Мишка поставил горячую ношу на живот Моте. Тот взвился, выгнулся, но захрипела Эллочка, да и сам «парусник» захватал воздух — вот зачем горлышки нужны, чтобы сами себя душили. Так что трусы сами жуйте, если есть охота.

— Адреса, — повторил Мишка, дотягиваясь до книжной полки. Не глядя, нашарил там фломастер, вырвал страницу из какой-то книги: — Пишу.

Когда поставил точку — словно нажал звонок. Но фломастер застыл, а звонок повторился и второй, и третий раз — коротко, условно, и пробежало облегчение по лицам поверженных, затаились, притихли они, не желая больше привлекать к себе внимание капитана.

— Пикнете — убью, — предупредил Мишка, но для большей гарантии затолкал в рты валявшийся под ногами плед. Вышел в коридор. Надел свою куртку. Размял для новой драки горящие от боли руки — рано им успокаиваться, любая оплошность опять захлопнет ловушку, и тогда...

В дверь вновь трижды позвонили, и на третьем звонке, щелкнув замком, в открывшуюся дверь влепил открывшемуся Данилычу в живот. Это вам не с Зитой воевать. Сбив согнувшегося водителя в угол площадки, помчался вниз по темной узкой лестнице. Запутался немного в дверях — ломанулся было в закрытую половину, но выскочил на простор, на волю, на свежий воздух раньше, чем послышался вдогонку мат Данилыча.

Теперь — ноги в руки.

Однако ударил свет фар, лишь только он выбежал на улицу, взревел за спиной мотор стоявшего у подъезда автомобиля. Гера? Остался сидеть в машине Данилыча?

Гул начал стремительно нарастать, Мишкина тень — укорачиваться и становиться отчетливее, а вдоль тротуара — сплошняком заборные плиты. Черт бы побрал эти новые районы. Но впереди — резкий поворот, надо что-то предпринять там. Гера достаточно выпил, надо использовать его замедленную реакцию. А пока бежать, рвать, как к золотой медали. Ах, спасительные русские дороги — рытвины да камни. Камни! Надо ухватить камень и на повороте — в стекло.

Потерял секунду, укоротилась страшно тень, но камень — в руке. Поворот. Быстрее же. Еще чуть. Справа — кусты. Попасть в стекло. Пора.

С разворота, никогда не играя в гандбол, только краем глаза ухватив цель, бросаясь сам на кусты, запустил «подарочек» чуть повыше слепящих глаз машины. Звон стекла, дикий, надрывный скрип тормозов, словно не Гера, а машина спасала свою жизнь. Глухой удар о плиты. Тишина.

Поднявшись, но не выходя из кустов, Багрянцев оглядел сплющенный, осевший прямо у забора «жигуленок». Из разбитого окна торчала безжизненная рука Геры. Надо было вроде подойти, помочь, если только он остался жив после такого удара, но на дороге мелькнули фары другого автомобиля, и Багрянцев поспешил в глубь оврага. Он не хотел убивать. Ситуация, бог свидетель, складывалась так, что он или сопротивляется, или летит под колеса «жигулей». С какой стати он должен был отдавать свою жизнь? К тому же Гера — один из тех, кто мучил Зиту, подвел ее к самоубийству. И в честь чего жалеть о смерти убийцы и насильника? Попадись им кто другой, не прошедший школу спецназа, были бы ему и утюги, и клей, и колеса. Нет, в самом деле каяться не в чем. Все честно. Более чем честно, ведь он был один против трех, не считая Эллочки. Хотя эта дамочка сама троих стоит.

Успокаивая себя, обходя освещенные улицы, прохожих, не смея остановить попутку или сесть в последние автобусы, пробирался на противоположный конец города Мишка. Чертов таксист мотал по достопримечательностям, сбивал из-за пятерки, сам того не желая и не понимая, с ориентиров. Но церквушка, мост и кинотеатр застолбились, и вышел сначала на них, а к трем ночи добрел и до дома Тарасевича.

Еще не уверенный, что позвонит Рае, поднялся на шестой этаж. Присел на ступеньки. Горели лицо и руки, обожженные и исцарапанные, саднили колени и локти. Грязная, рваная куртка, лопнувшие на колене брюки — видок, конечно, до первого милиционера. А вот в милицию сейчас никак нельзя.

Поднялся, подошел к двери. Постоял, уткнувшись лбом в мягкую обивку. Глаза закрылись сами, по телу разлилась теплая усталость. Никуда. Он больше не двинется отсюда никуда.

Легонько, готовый еще раздумать и оторвать руку, нажал звонок. Как же громко он звонит!

В глазке почти сразу вспыхнул свет, и он, чтобы предупредить и успокоить Раю, опять прошептал в замочную скважину:

— Извините, Рая. Это я, Михаил.

Отодвинулся, стал напротив глазка, чтобы она могла убедиться в этом.

— Мы вас очень долго ждали, — наконец после некоторой паузы послышался ответный шепот.

— Я случайно вышел на банду, которая... ну, Зиту...

Уже знакомо и торопливо щелкнул замок.. Площадку прорезал луч света, и руки Раи вознеслись, но на этот раз не к халату, а ко рту:

— Господи, что с вами.

— Так, поговорили. Я не хотел вас будить, но в таком виде появляться в городе...

— Да-да. Ой, и здесь, — она увидела руки, которые Михаил, оберегая от прикосновений, держал перед собой. — Что... это?

— Утюг. Горячий.

— Это они... вас?

— Где они, где сам.

— Зачем... сами?

— Чтобы вырваться, дойти до вас и сказать, что у Андрея очень красивая соседка.

Рая замерла, не зная, обидеться или смутиться, и Багрянцев поспешил исправиться, отсечь банальность:

— Простите. Просто загадал: если вырвусь от них, скажу это вам при первой же встрече.

Сочинил на ходу, но и первый в это же поверил.

— Проходите, что же мы стоим, — на этот раз привычно взялась за халатик Рая.

## 8

«Я видел парусник».

Записка была без подписи, почерк незнаком, но остановить заколотившееся сердце и спокойно вспомнить, перебрать в памяти каждого бойца отряда Андрей не мог.

«Я видел парусник».

Кто-то из друзей вышел на убийц Зиты. Только бы не спугнули, подождали, когда он выберется отсюда. Выбраться из тюрьмы... Как же она не вовремя!

«Я видел парусник».

Прилег на топчан, но не лежалось. Замотал круги в четырех углах, потом заштриховал их по диагоналям. Кому повезло? Щеглову? Но брать банду он должен сам. Сам. Но что же ему предъявят в Риге? Обвинить, впрочем, могут в чем угодно. Единственное же отступление от закона, если положить руку на сердце, было у них в самом начале работы отряда. Это когда они взяли перекупщиков водки. Пригнали их «КамАЗ» на Рижское взморье и заставили этой водкой вымыть всю машину. Но на большее, чем превышение полномочий, это не тянет. Откуда взялись бандитизм и убийства? Да, поначалу они, дураки, лихачили, но постепенно реальность заставила блюсти букву закона пуще глаза. Знали, что вся полиция Латвии поставлена на слежку ОМОНа, на контроле каждый шаг и каждое слово. Тогда-то и родилась «Березовая роща» против тех, кто не стал изменять присяге и остался верен Конституции СССР, отметя приказы рижского начальства.

Но при любом раскладе сейчас-то он служит на территории России! Почему она отдает своих офицеров иностранному теперь уже государству? Латышей понять можно, они делают свое дело, но как же нужно не чтить интересы своего государства России! Как можно так лебезить и пресмыкаться, неужели Советский Союз стоит уже на коленях, что какая-то Латвия диктует свои условия? И что будет тогда со страной дальше? Заискивающие никогда не станут сильными и самостоятельными. И кого взяли еще, кроме них с Сергеем Парфеновым? А если бы все это легло на плечи Зиты?

Андрей замер посреди камеры, испугавшись собственной мысли: неужели лучше, что Зиту теперь ничего это не потревожит? «Нет-нет», — Андрей сжал голову руками. Тысячу, миллион раз, никогда «иет». Хотя этот арест стал бы для нее большим ударом...

Звякнули ключи. Опытно, без перебора, сразу отыскался нужный. Тарасевич облегченно повернулся к дверям — чей-то приход освободил его от необходимости до конца додумывать ситуацию с Зитой.

Вошел начальник тюрьмы Пшеничный. Как и утром, прошелся по камере, дотронулся до топчана, провел рукой по стене.

— Кто? — поторопился тихо спросить Андрей, боясь, что капитан так же, как накануне, молча выйдет.

— Багрянцев, — поняв, что интересует Тарасевича, так же тихо и однозначно ответил Пшеничный.

Мишка? Мишка! Мишка, стервец. Победа! Этот не упустит. Он сшибет все паруса и реи. Теперь можно и в тюрьму. Хоть в Моабит. Спасибо, Арнольд Константинович. Ты — птица Феникс. Радовался ли кто из узников когда-нибудь твоему появлению? Но Мишка, Мишка! Откуда он свалился? И сразу — в десятку!

— Он просил еще передать на словах, что будет ждать тебя у въезда на аэродром. Будь готов.

Андрей, сдерживая волнение, ничего не переспросил и не доуточнил — расспросы ни к чему, капитан и так говорит уже слишком много.

— Да... — Арнольд Константинович задержался у выхода, — хочу, чтобы ты знал: вчера я написал рапорт на увольнение в запас. Я не желаю быть начальником тюрьмы, в которую сажают таких, как ты. Прощай. Удачи вам.

Широки плечи у капитана — чтобы выйти, надо открывать дверь полностью. Поэтому долго смотрел на Пшеничного Андрей, виновато улыбаясь. Рапорт капитана — это поступок. А то, что он сделал сейчас, — должностное преступление. Что значило пойти на него человеку, тридцать лет верному своему долгу и присяге? Вот времена...

А Мишка... Что же он задумал? Капитан сказал: «Удачи вам». Значит, надо выстроить всю цепочку, попробовать предугадать его мысли, возможные действия.

В аэропорт его, конечно, повезут в милицейском «воронке». Там... Нет, надо начинать раньше. С этой камеры. Сюда войдут представители латышской полиции, наденут наручники. Наручники будут, это вне всякого сомнения. В тюремном дворе сажают в «автозак». Один латыш сядет рядом с водителем, двое — с ним.

Так, теперь дорога в аэропорт. При въезде на поле постовой из транспортной милиции остановит машину для проверки документов. Мишка ждет именно в этом месте. Значит, ему надо, чтобы машина остановилась. Налет? Спокойнее, просчитаем все другое...

— Тарасевич Андрей Леонидович? — наверное, специально с ужасным акцентом спросил у него один из рослых латышей, когда конвойные вывели его к желто-грязному милицейскому «уазику».

— Старший лейтенант Тарасевич Андрей Леонидович, — презрительно оглядев новоявленного иностранца, поправил Андрей.

Однако латыш не оскорбился, хотя усмешкой дал понять: посмотрим, как станешь себя вести через несколько часов в Риге. Достал из дипломата двое наручников.

Теперь Андрею предстояло самое главное: не дать приковать себя к сопровождающему. Быстро, насколько это не могло вызвать подозрений, протянул вперед обе руки. И лишь только щелкнул замок, пошел к машине. Вторые наручники пусть держат для аэродрома. Когда поведут к самолету. Если поведут. И надо сесть на лавку, которая по ходу открытия двери. Сама дверь без ручки, вернее, ручка у старшего, только он может вставлять ее в паз и открывать замок. Мишка достал такую же? Спасибо, Арнольд Константинович. Не дать приковать себя к охране.

Начал сморкаться, вытирая нос правым рукавом — преступников приковывают за правую руку. Брезгливо морщитесь? Отлично, мне ваше мнение до фени, поморщимся потом вместе. Охрана села: один напротив, второй — рядом. Старший захлопнул дверь, сел в кабину, посмотрел в кузовок через зарешеченное окно. Довольно улыбнулся. Тронулись.

Зарешеченная дорога спереди, зарешеченная сзади. Но дорога сейчас не нужна. Надо расслабиться, показать, что надломлен, погружен в свои невеселые думы. Смирился. Отдался течению судьбы. Пусть и охрана не волнуется. Но ноги для прыжка или толчка приготовим, подтянем, будто ненароком. Аэропорт недалеко, ехать всего несколько минут. Не смотреть в окно, его цель — дверь. И то только в тот момент, когда остановятся у поста. Он четко представляет это место: деревянная будочка постового около полосатых, кажется, красных, ворот. Рядом двухэтажное здание транспортной милиции, затем кафе, цветочный базарчик, автобусные остановки и лес. По другую сторону — сам аэровокзал, стоянка такси, спуск к туалетам и электричке. Куда лучше бежать? В любом случае — в разные стороны с Мишкой. Только бы не попался он.

За размышлениями вроде спокойно и незаметно, а на самом деле до впившихся в ладони ногтей подъехали к аэропорту уже так близко, что гул самолетов начал заглушать машину. Сбавлена скорость, и вот, неловко дернувшись, «уазик» наконец остановился. Открылась дверца кабины, и в тот же миг среди постороннего, уличного гама и шума, сам вроде посторонний, прозвучал сигнал:

— Эй, там, приготовиться.

И в то же мгновение, не давая времени додуматься до смысла или даже просто заволноваться охране, точный удар в скважину для ручки на дверях:

— Пошел!

Ласточкой, локтями вперед, через ноги ничего не понявших сопровождающих, бросился Андрей на дверь. А секундой раньше она распахнулась, и ударил свет в глаза, и в этот свет вылетел, ударившись коленями о порожек будки, Тарасевич. И, как учили на физподготовке, повернулся боком к замызганному, в пятнах соляры, асфальту, чтобы смягчить удар. Дверь мгновенно захлопнулась, отрезав охрану. Что-то закричал старший, из-за спешки неловко вываливающийся из кабины.

— Ходу, — подхватил Андрея за шиворот Багрянцев, помогая одновременно и встать, и сразу же взять скорость.

— Стой, стреляю, — уже на чисто русском, без картавости, прокричал латыш.

Но он, наверное, заметусился, выбирая — бежать за преступниками или сначала открыть застрявших в ловушке помощников. По крайней мере, выстрелы раздались, когда Мишка и Андрей уже врезались в толпу, хлынувшую к подошедшему как раз к стоянке автобусу.

— Держи, держи их, — закричало несколько человек, но разве можно давать людям, часами маявшимся в ожидании вожделенного автобуса, право выбора — бежать неизвестно за кем, да еще под грохот пальбы, или наконец-то втиснуться в транспорт. Нет, Мишка не только волкодав-хвататель, он еще и психолог. И в лес друзья вбежали одни, не обращая особого внимания на стрельбу: они-то различают, когда стреляют по цели, а когда от отчаяния.

— Левее, — бросил короткую команду Мишка, и Тарасевич понял, что тот наверняка вчера полазил здесь не один час.

Лес быстро расступился, кланяясь мелкими кустарниками проносящимся по шоссе машинам. Не обращая на них внимания, Мишка нырнул в трубу под полотном дороги, захлюпал по воде. Сгибаясь в три погибели, пропустив схваченные наручниками руки меж ног, рискуя после каждого неловкого шага воткнуться в мутную воду носом, Андрей шел за ним.

— Привет, — после того, как вновь углубились в лес и немного попетляли по нему, остановился наконец Мишка.

— Привет, — устало и счастливо улыбнулся в ответ Андрей и стукнул лбом в плечо капитана.

— Ваши ручки, — спецназовец, фокусничая, вытащил из куртки пилку по металлу.

Нашли поваленное дерево, приспособились к работе. В двух словах, торопясь, переговорили свои новости после путча. Видя нетерпение Андрея, Багрянцев уже подробнее, во всех деталях, поведал о своих неожиданных приключениях в банде. И чтобы не дать другу опаливать сердце воспоминаниями о жене, сразу же добавил, уводя разговор в сторону:

— Ну, и последнее: можешь меня поздравить с новым званием.

— О, товарищ майор. Извините, я встану.

— Да нет, сиди. Старший лейтенант.

— Как? Почему? Да погоди ты, не пили, — Андрей стряхнул металлические опилки с рук, Мишка тоже блаженно вытянул свои перебинтованные, мелко подрагивающие от монотонной и напряженной работы.

— Вчера вечером звонил своим. В нашей конторе работает комиссия по путчу, мальчики вместе с Лопатиным и типа Лопатина. Помнишь, майор-депутат:[4] форма морская, а не плавает, эмблемы летные — а не летает, апломба как у министра, а уровень начальника Дома офицеров. Такие теперь и решают, каким быть Вооруженным Силам. Первый удар — как раз по нашему управлению — немедленно расформировать: в свободной стране не должно быть боевых отрядов. Все, кто был в патруле во время путча, признаны его участниками и или уволены в запас, или понижены в званиях.

— Но ведь вы, можно сказать, наоборот: смотрели за порядком...

— Кого это волнует? В недрах Генштаба обнаружилась организация с опытом боевой работы — а вдруг она завтра повернет свой опыт против новой власти? У демократов, наверное, и так глаза от страха выпучило. Да ты посмотри и на назначения: думаешь, случайно министрами и их замами ставятся никому неизвестные, неавторитетные люди? Делается все, чтобы за ними не пошел народ. На всякий случай. Удивительнейшие существа: рушится великая страна, а у них все нормально. Как говорит Горбачев, процесс пошел. Ладно, ну ее, политику.

— Куда ж от нее, если она заправляет нашими судьбами, — не согласился Андрей. — Мы обречены на политику. Поэтому слушай меня, Мишв: ты сегодня же уезжаешь домой.

— Куда?

— В Москву.

— Да перестань ты. Давай руки.

— Нет, Миша, это серьезно, и это я решил еще вчера. Извини, но здесь тебе не Ирак. Здесь законы. И я не хочу, чтобы из-за меня...

— Какие законы, — перебил Мишка. — Тебя вывозят из страны — это законно? Насилуют, убивают безответно — это тоже по закону? Меня разжаловали, «Белого медведя» отправили на пенсию — «Медведя», который для страны один сделал больше, чем вся эта шелупонь из комиссии — по закону? Кто же их пишет, эти законы?

— Нет, Мишка. Нет. Дальше я — один. Один я буду более свободен и не стану оглядываться на тебя. Не уедешь — я вернусь в тюрьму.

— Ты так говоришь, будто я все делал с бухты-барахты. А я, между прочим, тоже думал и тоже делал выбор, — Мишка обиженно отвернулся.

— И все равно, — чувствуя, что наносит другу обиду, тем не менее не отступал от своего Андрей. — Понимая тебя, прошу, чтобы ты понял и меня. Я перед

[4] После путча майору Лопатину через ступень присвоят воинское звание «полковник». Однако после представления Генерального прокурора в Министерстве обороны отменят приказ.

Зитой до конца своих дней не искуплю вины, а если еще нести и твой крест в случае чего... Давай хоть мы не станем отбирать у себя права на совесть.

— Ладно, потом разберемся, — примиряюще уступил Багрянцев и кивнул на бревно: — Ваши ручки.

## 9.

Осень оказалась такой же бестолковой и бездарной, как и власть. Утро могло пудрить мозги солнцем и безветрием, а вечер уже рвал не дожелтевшие до срока листья, сек землю холодным дождем. Люди шарахались не только в выборе одежды, но и в своем настроении, своих планах, связанных с погодой. Ни «а», ни «б», одни перехлесты.

Вторую неделю Андрей жил у Мишки в Москве. Ни до чего не договорившись тогда в лесу, рассудили по-иному: уезжать все же лучше обоим. Пусть схлынет волна поисков. Лучше переждать ее, пока новые события преподнесут местной милиции такие заботы, когда ей станет не до латышских проблем. К сожалению или счастью, время сейчас только способствует этому: кражи, грабежи, разбои на каждом шагу.

Однако неудержимо влекло, тянуло к Зите. Вернее, к ее убийцам.

Может быть, странно, но ни сомнений, ни угрызений совести Андрей не испытывал. Жажда мщения была подогрета, конечно же, и его собственным арестом, выдачей латвийским властям: загнанному в угол уже не до любезностей. Но и не будь этого, решение иным бы, наверное, не стало.

...Сразу с поезда проехал по выученным наизусть адресам. Никого. Дважды еще объехал «точки», прежде чем после полуночи за дверью Эллочки послышался ее писклявый пьяненький голосок:

— Ну, кто там еще?

— Привет, Элла. Слушай, срочно нужен Данилыч, а ни дома, ни у Соньки, ни у Боксера нету, — небрежно проговорил давно отработанное Андрей. — До тебя тоже целый вечер не дозвониться.

Эллочка затихла, пытаясь угадать голос.

— Слушай, может, Мотя знает? Но его тоже что-то давно не видно. Или уже ускакал в свою первопрестольную? — продолжал шиковать тремя известными именами и двумя фактами Андрей.

— Они вчера как раз поехали к нему в Москву, — наконец, хоть и неуверенно, сообщила Эллочка.

— А что же меня не прихватили? — успокоил ее беззаботным голосом Тарасевич. — Вернуться-то когда грозились?

— Завтра.

— А, тогда все нормально. Спокойной ночи. Не забывай старых знакомых.

Небрежно протопал по лестнице. Но на тротуар выходить не стал — вдоль стеночки и за угол. Пусть поломает головку Эллочка о ночном визитере. А Данилыч с Тенгизом, значит, в Москве. Разминулись, разлетелись на каком-то перегоне их поезда. Но ничего, он сам перейдет на их рельсы, параллельных прямых для них не будет. И они сшибутся. И встанет после этой сшибки только кто-нибудь один. Или никто.

Вроде никуда конкретно теперь не шел Андрей, на ночь он облюбовал себе строительный домик, в котором однажды брали одного бомжа: ничего уголок, перекантоваться день-два можно. Но оказалось, что крутится он вокруг да около дороги, ведущей на кладбище. И устав делать вид, что это случайность, устав отгонять мысли о Зите, остановился и признался себе: да, он хочет идти на могилу жены.

— Но не пойду, — вслух проговорил он. Даже повернулся спиной к окраине города. — Только после. Всё.

Ночь проворочался на узкой лавке среди тряпья, пустых бутылок, мотков проволоки — в воспоминаниях, думах о завтрашнем дне, в боязни проспать утро. Днем еще на несколько минут забывался в залах ожидания аэропорта, автовокзала и железнодорожной станции. Поезд и самолет из Москвы прибывали почти одновременно и, чтобы не дергаться, поехал сразу к дому Данилыча. Устроился в подъезде напротив, через несколько минут впервые в жизни уже завидуя курящим — тем есть хоть чем заняться. Прутиком вычистил весь подоконник на лестничном пролете, а похожих на Данилыча все не появлялось. Не вытерпел, позвонил из ближайшего телефона в справочное: рейсы из Москвы прибыли без опозданий. То есть давно. Подумав, набрал телефон. Тишина. Перезвонил Тенгизу. А вот там мгновенно подняли трубку.

— Да-а, слушаю, говорите, — пропищал голос Эллочки. Нет, не дурочка она, и пьянка из колеи ее не выбила. Наверняка встретила дружков, рассказала про гостя, и какие-то варианты в группе уже просчитаны.

— Да-а, слушаю, — опять отозвалась, напомнила о себе девица.

— Извините, мне бы Тенгиза, — не стал изменять голос Андрей. В ситуацию надо внедряться, и чем решительнее, тем меньше времени останется на подготовку у той, другой стороны. — Кажется, это я с вами вчера разговаривал?

— Да-да, здравствуйте, — заторопилась, залюбезничала Эллочка. Не надо спешить выражать восторги, девочка. Еще неизвестно, что на вашем крючке. — Вы знаете, а они... — она непроизвольно сделала секундную паузу, видимо, оглядываясь как раз на «них», — они ушли в гараж. Знаете, где новые гаражи вдоль железной дороги? Если считать от станции, то двенадцатый. Алло, вы слышите.

Он слышит. И прекрасно ее понимает.

— Да, конечно. А я застану их там? — все глубже «заглатывал» крючок Тарасевич.

— Конечно, — опять не смогла скрыть ноток удовлетворения собеседница. — Они привезли из Москвы новую резину, собираются менять скаты. Завтра утром собираются куда-то уезжать, чуть ли не на всю неделю. Так что если хотите увидеть... — подбивала она Тарасевича на решительные действия.

Так и сделаем.

Бегом, через оградки и песочницы, кусты и разрытую теплотрассу — к улице. Такси, частник — стой. Стой кто угодно, хоть самосвал. Четвертной — к вокзалу. За скорость — еще столько же: невеста уезжает. Данилыч с Тенгизом сейчас тоже рвут к гаражам. Тот, кто прибудет первым, станет охотником. Гаражи — это блеск, это уже твердый почерк в работе. Молодец, Данилыч: вдали от домов, рядом лесок, а главное — железная дорога. В случае чего — выпал человек из поезда или бросился сам под колеса от несчастной любви. Ах, Данилыч, умница. Только вот все будет наоборот.

— Туда, поближе к гаражам, — попросил Андрей.

Частник подозрительно глянул на возбужденного пассажира, на глухой закуток и тормознул на привокзальной площади:

— Договаривались к вокзалу.

Деньги уже в руке, спорить некогда. По грязи, склизи, зловонию пристанционных посадок — к гаражам. Возникшие стихийно, самостроем, сотворенные из кирпича, плит, листов железа, каких-то полувагончиков, разномастные и разнокалиберные, они мертвой хваткой осели между железнодорожным полотном и лесопосадкой. Главное — выбрать место. Двенадцатый гараж. Скорее всего, число названо от балды, чтобы заманить его поглубже и иметь время осмотреть и проверить его, кто такой. Очень хороша для такого наблюдения крыша первого гаража, вся дорога с нее — как на ладони. Хотя какая ладонь — темнеет на глазах, новая власть даже декретное время отменила, действовавшее со времен революции, тем самым выбросив целый световой час: лишь бы ничего не напоминало о Советской власти[5]. Но крыша наверняка приманит Данилыча, поэтому... позтому...

То ли уже померещилось, то ли в самом деле обостренный слух уловил скрип тормозов у станции. Затем среди голых деревьев засемафорил свет подфарников. Времени на раздумья больше не оставалось, и Андрей, подпрыгнув, оказался на крыше второго гаража. Залег за ветки кустарника, неизвестно как сохранившегося в бардаке самостроя и дотянувшегося верхушкой до крыши.

На дороге показался «жигуль». Перед строениями затормозил, из него выскочило сразу трое человек, еще один остался в кабине. Ничего себе поворот! Четверо — это не двое, молодцы, ребята, соображают и собираются быстро.

— Тенгиз, на крышу, — скомандовал крепыш с короткой прической. Это не Данилыч, значит, Данилыч сам пешка.

Над крышей показался обрез, затем перевалилась тучная фигура. Андрей сжался, перестал дышать.

— Смотри в оба, — предупредил Тенгиза крепыш. — Я понимаю, что Кавказ, в отличие от Востока, дело грубое, но если это Тарасевич — стреляй в упор и без всяких предупреждений. Это не жену его драть, понял? Степа, рысью — на тот край, — отослал крепыш еще одного сообщника. — Так, а ты, Данилыч, дуй к своему гаражу. И не ссы, я тебя прикрываю.

Машина сделала еще один рывок, и под ее шум Андрей перевел дыхание. Вот и сошлись. Ну что же, здравствуй, Тенгиз. Кавказ, говорите, дело грубое? А ласки и не жди. Полежи пока, понервничай. И мы заодно успокоимся. Четверо — это не смертельно, это ерунда, когда все в разных местах да еще в темноте. Значит, на охотку вышли, пострелять? Что же тогда медленно ехали? Машину берегли? А Тенгиз, значит, точно был, когда они над Зитой измывались. Был. Полежи, полежи, уж ты-то не уйдешь теперь в любом случае.

Стало прохладно лбу. Значит, все же выступил пот. От напряжения? Волнения? Ладно, разберемся потом, главное, что остывает. Хорошо, значит, успокаиваемся. Успокаиваемся... Успокаиваемся...

Приподнял голову повыше: Тенгиз лежал на самом краю крыши, направив обрез в сторону дороги. Жди-жди, ждать хорошо, когда есть кого.

Перед лицом оказались обломки кирпичей. Может, тогда не стоит доставать нож, а выбрать обломочек покрупнее и им прихлопнуть эту мразь? Да-да, не человека, а мразь, которая лежит в пяти метрах с обрезом наизготовку... Но — убить... Нет, к черту философию, надо помнить, на кого направлен обрез и что они сделали с Зитой. Приговор подписан. Только и в самом деле лучше кирпичиком...

Гуднул, натужно зашумел вдали поезд. Судя по всему, товарняк. Хорошо. Отлично. Вы надеялись на шум поездов? Сделаем то же самое. Сначала Тенгиз оглянется на поезд, но потом привыкнет, опять возьмет под прицел дорогу. Вот тогда и...

Загрохотали, забили стыками рельс цистерны. Подергался за ними взглядом грузин, отвернулся. Выждать. Еще секунду. Пора.

Приподнявшись, перешагнул Андрей на соседнюю крышу. Замирая, не спеша, но чувствуя каждый свой шорох, подкрался к лежащему Тенгизу. Начал приседать над ним. Белый кирпич — черная голова. Но в кирпиче совсем нет веса. Жаль, надо было доставать нож. Все надо делать так, как задумано заранее, всякие изменения — только хуже. Но поздно, поздно что-то менять. Состав кончается, на последний вагон грузин тоже может оглянуться. Чисто психологически. Ну?!

Тенгиз оглянулся, и в его блеснувшие глаза, большой нос, белые зубы вбил, вмял Андрей кирпич. Свою боль и гнев. И брызнула кровь. Андрей отдернул руку, оставляя на дернувшейся черно-красной голове осколки раскрошившегося кирпича. Тело умирающего тоже несколько раз

[5] Через три месяца, поняв несуразность своего решения, новое правительство «вернет» декретный час обратно.

сжалось в конвульсиях, но, как удаляющийся перестук товарняка, постепенно затихло под крепкими руками Тарасевича.

— Собаке — собачья смерть, — не свое, где-то слышанное ранее проговорил Андрей. Стараясь не смотреть на разбитую голову, дотянулся до обреза.

Оказалось, ни много ни мало, в двустволка с вертикальными стволами. Аккуратно переломил ее — патроны уже в стволе. Небось и жаканами заряжены, как иа дикого зверя? Но командир ОМОНа вам не зверь, и все, что готовилось для него, вернется бумерангом своим хозяевам. Крути колеса, Данилыч, делай вид. Чуть-чуть осталось. Остальных он трогать не станет, хотя это и одна шайка. Ими потом Щеглов займется, а он же дал слово отомстить только за Зиту. Первый готов. Нет, это уже второй, Гера давно заждался своих сотоварищей, надо помочь ему ускорить встречу. На том свете. Сейчас — Данилыч, потом — Мотя. На него выведет Эллочка, им все же придется познакомиться не только по телефону. Но пока испробуем ружьишко, посмотрим, с чем аышли на него.

Лег тут же, на крыше. Данилыч, слабо освещенный подфарниками, в самом деле крутился около передних колес, изредка постукивая ключами: я здесь, я здесь.

— А я здесь, — прошептал Андрей и, словно на тренировке, изготовился к выстрелу: ноги вразброс, щеку плотнее к прикладу, левую ладонь под цевье. Холодная сталь курка. Не дернуть, быть готовым, что пружина может оказаться тугой. Стрелять лучше из одного ствола, второй надо приберечь на случай промаха или в случае чего отстреливаться. И подождем поезд, опять какой-то гремит на перегоне. Ну что ж, Данилыч, получай заработанное.

Выстрел перекрыл шум поезда, вырвался из него в темноту, в лес, к небу. Не распрямившись, но что-то вскрикнув, ткнулся головой под капот своей машины Данилыч. Подождав целую секунду и убедившись, что выстрел оказался точен, Тарасевич выстрелил из второго ствола по машине и спрыгнул с крыши. Теперь — к станции. Пока те, двое, придут в себя, пока сообразят, что произошло, он должен лететь к Эллочке. Эллочке-людоедочке. Неужели все-таки имена дают людям не случайно?

На дорогу не выбежал, мчался между деревьями, поминутно оглядываясь. Вроде никого. Да и не должны оставшиеся в живых тронуться с места. Страх за собственную жизнь заставит замереть, долго вслушиваться и всматриваться в темноту, перебирать тысячи вариантов. Но это — их дело. А ему — срочно к Эллочке. Четвертной — в город, еще один за скорость: забыл дома билет на поезд. Жми, дядя. Кто жалеет деньги, иачав крутить лотерею, тот никогда не выиграет.

У знакомых уже дверей Тенгиза перевел дух, затем задергал ручкой, стал всовывать в замок свои ключи, потом позвонил и опять задергал ручкой: мы вернулись, быстрее, торопимся. помогай открывать. Ну же, людоедочка, ты же сама маешься неизвестностью и ждешь результатов. Мы их принесли, открывай.

Подбежала, открыла. И сразу ее — за горло. Длинное, белое, удобное для таких захватов. Упредил: не пикнула. Прижал к стене:

— Адрес Моти в Москве. Раз...

Эллочка скосила глаза на руку и тут же вздернула их вверх: рука Андрея была в крови.

— Два, — нажал сильнее Андрей.

— Метро... метро «Новослободская»... Адрес... в сумочке...

Тарасевич сорвал с вешалки сумочку, вытряхнул на пол вещи, подал записную книжку. Эллочка дрожащими пальцами пролистала страницы, нашла неряшливую запись карандашом.

— Передай всем: станете дергаться — доберусь до каждого, — отпустив горло, спокойно проговорил хватающей ртом воздух девице Андрей. — А сейчас... — он вырвал телефонный провод из трубки, — ты тихо сидишь и ждешь, когда за тобой придут. Пикнешь что в дверь или окно — вернусь и отрежу твой каркающий язычок, мне терять нечего. И последнее: вздумаешь предупредить Мотю — за него расквитаешься сама. Думай и садись.

Эллочка плюхнулась под его рукой на пол.

...И вновь Москва — кем только не клятая и как только не проклятая. Но что делать, коли в ней находится метро «Новослободская». А потому вынужден был опять ступить на заплеванный, в окурках и грязных листьях, столичный асфальт Андрей Тарасевич.

Добирался до Москвы на попутках и электричках, поэтому сразу направился на квартиру Багрянцева. Отмыться, отоспаться, теперь уже сбрить ненавистную бороду — и к Моте. Что дальше — до сих пор еще не решил. Настоящее и прошлое перебивали все мысли, к тому же, если откровенно, Андрей и не жалел их. Сначала надо оставить за спиной настоящее. Доиграть лотерею. Докрутить офицерскую рулетку.

Вставил ключ в замок, но дверь под его напором отворилась, и Андрей обрадованно толкнул ее: Мишка вернулся!

Однако увиденное заставило отшатнуться. Сорванные обои, поваленная вешалка, залитая краской одежда — это только в прихожей. Далее — вспоротая мебель, разгромленная стенка, сорванная люстра, располосованные шторы. Прямо посреди комнаты — битая посуда. Дыра вместо экрана телевизора. В столе торчал нож, и, подойдя к нему, Андрей увидел, что воткнут он в Мишкино офицерское удостоверение.

Так вот зачем ездили в Москву Данилыч с Тенгизом! Сумели-таки по удостоверению отыскать адрес. И теперь неизвестно, надо ли благодарить Бога, что разогнали спецназ и Мишка попал в ЗакВО. Будь он дома, этот нож, надо думать, торчал бы не в удостоверении. Или нет бы им приехать на сутки раньше, когда они с Багрянцевым были вдвоем...

Присел, стал собирать розовые осколки от китайской чашки. Попытался соединить их. У скольких людей вот так же разлетелась жизнь после августа? Собирай, склеивай — бесполезно. В квартире разгром — в стране подобное же. Но если сюда вошли убийцы и грабители, то как назвать тех, кто перевернул вверх дном, подпалил со всех сторон родину? Здесь нож в удостоверении офицера, а какой удар, если и дальше идти по аналогии, ожидает страну? Дано ли ей будет выдержать? Ведь все подобное происходит подло, предательски.

А чашка... Точно такая же лежит в камере хранения для Раи. Значит, не все в этой квартире пошло на слом, уцелела, может быть, самая дорогая теперь для Михаила вещь. Она может возродить эту квартиру. Надо срочно заказать переговоры с Раей.

Соединение дали только на семь вечера.

— Алло, Миша, — услышал Андрей взволнованный голос соседки, как только на линии все защелкнулось и соединилось.

— Рая, это я. Андрей. Ты одна?

— Андрей? Это ты, Андрей? — не поверила Рая.

— Я, я. Можешь говорить?

— Могу.

— Я был в городе.

— Я знаю. Здесь только о тебе и говорят. Ну, про гаражи. Говорят, что это ты.

— Пусть говорят.

— Нет-нет, практически все оправдывают тебя.

— Ты сама-то как? Достался тебе сосед...

— Перестань. Я вчера как раз ходила к Зите, убралась там.

— Спасибо. Спасибо, Рая. Если не трудно, приглядывай за ней.

— А ты? Как теперь ты?

— Ничего не знаю... Да, чтобы опять не забыл: Мишка передавал тебе подарок, ио я так и не смог заехать к тебе. Нельзя было...

— Я понимаю.

— Зайди на вокзал, в камеру хранения. Есть чем записать? Номер ячейки: квартира Щегла плюс три. Понимаешь? Шифр: буква — начало имени твоей сестры, что приезжала на Новый год. Далее: твой месяц и день рождения. Разберешься?

— Разберусь. Спасибо. А... Миша где?

— Получил назначение в Тбилиси. Думаю, что скоро даст о себе знать. Береги подарок — он теперь у вас один на двоих.

— Не поняла.

— Ваше время истекло, — вошел в разговор голос телефонистки.

— Все нормально, Рая. Присматривай, пожалуйста, за Зитой.

— Береги себя. А Мише скажи, что... что его ждут его звезды. Он поймет[6].

— Прощай, — в уже гудящую трубку проговорил Андрей.

И только тут почувствовал, что его глаза полны слез, что если моргнет сейчас, то прорвутся, побегут они. Вот никогда не думал, что они так близко у него находятся. Это после смерти Зиты. И сейчас он, кажется, прощался с ней. Видимо, надолго. И не только с ней. С прошлой жизнью тоже — не очень сладкой и не очень спокойной, но честной и нужной другим людям. А что теперь...

Андрей опять споткнулся о свое будущее. Жизнь не имела для него смысла до того момента, как он найдет Мотю. Дальше — пропасть и черная дыра. Зато долг свой на земле можно будет считать выполненным. Вчера такое признание было бы страшным, сегодня — нет. Лишать жизни других — не страшно! Страшно пусть будет стране, что ее люди — не воры, не преступники, не нахлебники, а государственные люди, стоявшие на страже ее интересов, — сегодня низводятся на эту роль. Страшно, что Мишка, ювелир-профессионал в военной разведке, становится не нужен и засылается в дыру «латать валенки». Кому от этого выгода? Только не Родине и не армии. А он, «черный берет», ходивший под заточки, пули, ножи преступников, — во что превращен он? Кому польза, что он сам стал убийцей? Что ушел из ОМОНа — преданный и проданный? От этого уменьшится количество преступлений? Спокойней станет вечерами на улицах наших городов? На его место толпами ломанутся брокеры, маклеры? Неужели в Кремле и Белом доме до сих пор верят, что Запад хочет видеть Советский Союз или Россию сильной державой? Неужели те же Соединенные Штаты радуются конкуренции со стороны Германии, Японии, Южной Кореи? И ждут не дождутся, когда еще и Советский Союз наступит на пятки?..

— Осторожнее, — специально грубо толкнули его в метро: не раскрывай варежку, деревня.

«Новослободская». Ноги сами несут его к Моте. Тем лучше. Ноги — не голова, они менее рациональны, но более честны. Каким ты был по счету, Мотя, когда терзали Зиту? Первым? Последним? Но это роли не играет. Просто судьба дала тебе возможность прожить на один день дольше своих дружков. Однако это не значит, что она должна быть и дальше милостива к тебе. Жил бы спокойно — долго бы жил. Не захотел...

Андрею показалось, что он специально вызывает в себе воспоминания о Зите. Так было и перед встречей с бандой у гаражей, и сейчас. Что это? Неужели он боится, что дрогнет рука? Никогда в жизни. Вон впереди идет женщина с поднятыми плечами — почти как у той, которая сидела на кладбище.

[6] К сожалению, Мишке и Рае не суждено будет больше увидеться. Старший лейтенант Багрянцев погибнет в самом начале 1992 года от случайной пули в Нагорном Карабахе. После его смерти, а также распада СССР и реформирования спецназа, чьими секретами являлась вылазка группы «Белого медведя» в Ираке, стало возможным открыть эту страницу нашей недавней истории.

Дом отыскался быстро — хороший дом, из кирпича, с огромными лоджиями. И как это люди ухитряются проворачивать такие махинации: из провинции — и сразу в центр столицы, в собственную кооперативную квартиру? Выходит, умеют. Свет еще не во всех окнах, от подъезда не вывезен мусор — значит, заселение еще идет. Тем лучше. Новый дом — сотни проблем. А фирма «Заря» готова предложить любые услуги. Да снимем кепочку, чтобы не пугала изначально.

На площадке прислушался. За дверью голоса: работает телевизор. Значит, телевизионный мастер не нужен. Зато дверь не обита. И небось не закреплена...

— Хозяин, — постучал Андрей по двери.

Надо сразу, как Эллочку, брать за горло. А еще лучше — бить в морду. Нож в кармане, но лучше без него...

— Хозяин, фирма «Заря», — вновь постучал Тарасевич и чуть отступил: для хорошего удара нужен замах.

А москвичи всегда славились своей беспечностью. Думают, что если в столице, если их комнаты залиты светом, то и всюду светло. А в новых домах дверь вообще открывается всякому: один сосед стамеску просит, другой — помочь переставить мебель, а кооператоры-шабашники готовы хоть новый узор выложить из паркета, не говоря уже о всяких там кранах, плитках, карнизах и тому подобном. Имей деньги, и пусть руки хоть из одного места растут — квартиру можно сделать игрушкой.

— Чего? — открыл дверь Мотя.

Хозяином не только квартиры, но и жизни показался Мотя — с презрительной усмешкой, с бархатным полотенцем на шее, в тапочках, расстегнутом спортивном костюме. И, мгновенно передумав, ногой в живот, а не кулаком в лицо свалил и отбросил обратно в квартиру «парусника» Андрей. Вбежал следом сам, готовый к борьбе, но в однокомнатной квартире больше никого не оказалось. Захлопнул дверь.

— Я — старший лейтенант Тарасевич, командир ОМОНа, — чтобы быстрее привести в чувство хрипящего врага, сообщил он.

Мотя перестал хрипеть и обреченно заскулил, теперь уже и не пытаясь встать.

— Ты — последний. Мог бы и не переезжать.

— Я не хотел... Это они...

— Никто не виновен, когда приходит расплата.

— Я правда... — Мотя привстал, и Андрей ударом ноги опять отбросил его к стене, заставив хватать воздух. Надо вообще-то было сразу кончать, не заводить разговоров. В схватке убивать, выходит, в самом деле легче. А теперь надо сделать усилие над собой. Достать нож. Нет, ножом он не сможет. Еще Тенгиза не смог, а теперь тем более. Лучше подождать, когда Мотя бросится на него сам. Защищаться. Спасать свою шкуру. Да, все правильно. Лучше так, в схватке. Пусть отдышится и встанет. Ну, давай...

Но преданно, готовый по-собачьи служить, глядел на него Мотя, предсмертным чутьем, видимо, почувствовав надлом, борьбу в душе человека, который пришел его убивать. И боясь спугнуть, прервав это зарождающее сомнение, и переиграть боясь, и искренне веря сам, и донося эту веру взглядом, позой, что после сегодняшнего дня он возьмется за ум и остановит колесо своих преступлений, — глядел и умолял, глядел и умолял Мотя. «А может, пусть живет? Черт с ним?» — впервые равнодушно, ничем не выдавая своего решения, подумал Тарасевич.

Может, и ему самому надо остановиться, чтобы не превратиться в такого же подонка, как эти твари. Нет, это не станет предательством Зиты, просто если в самом деле он сам не остановится, то... то потеряет в себе что-то человеческое. Сострадание? Жалость? Хотя кому они сейчас нужны? Но обстоятельства хотят сделать из него убийцу, он ложится в эту канву, в представление некоторых людей о «черных беретах» именно как об убийцах. Ох, как они будут этому рады! Но ведь он может и не дать им такой возможности порадоваться, он может разочаровать их...

Усмехнувшись, прошел в комнату. В углу на полу стояло несколько бутылок водки, и он свернул у одной пробку, опрокинул в себя забулькавшую жидкость. Ну, Мотя, давай, прыгай, нападай, борись за свою жизнь. Он даже согласен теперь на то, чтобы ты вышел победителем. Пусть умрет он, Тарасевич. Бывший офицер, бывший омоновец, несостоявшийся отец, потерявший любимую жену, ставший убийцей человек. Это было бы просто честнее перед Зитой, чем оставлять тебя в живых. Ну!

Мотя продолжал преданно поскуливать, и Андрей, прерывая этот скулеж, запустил недопитую бутылку в стену. Осыпанный осколками и брызгами спиртного, Мотя умолк, прикрыл голову руками. Наконец-то Андрей увидел и парусник. Дряблый, дрожащий, сморщенный...

— Черт с тобою. Живи, — подтвердил свое решение Андрей и, перешагнув через Мотю, вышел из квартиры.

...До чего же в самом деле суматошная и безразличная ко всему Москва. Особенно вечером, после рабочего дня, когда стало ясно, что прошедший день не стал лучше предыдущего. Когда нет веселых лиц, когда все думают только о своем завтрашнем дне.

И шел в этой московской толпе Андрей Тарасевич, изгой в собственном Отечестве, служивший ему каждой клеточкой тела, но выброшенный новыми порядками на самое дно общества. Жалел, что поддался минутной слабости и оставил жить убийцу своей жены. Не имеющий сил, чтобы вернуться обратно. Желающий смерти теперь самому себе.

Шел мимо афиш, сплошь нерусских. Мимо роскошно-однообразных витрин коммерческих магазинов. Нищих старушек с протянутыми дрожащими ладошками. Самодельных лотков с порнографическими газетами и журналами. Шел против течения, против потока, идущего навстречу.

*Февраль 1992 г.*



# ПОЭЗИЯ



## ОЛЕГ КОЧЕТКОВ

* * *

Стынет воздух, и стынут надежды.
Поглядишь — и не видно ни зги!
Веселятся дельцы иль невежды,
Ну а что нестерпимей — враги!
Потирая заморские руки,
Но отнюдь не заморских кровей!
Так и надо имперской, мол, суке,
Иль навесят ярлык поновей.

Всё для нас: коммерсанты, кредиты,
Кабалы капитальной хомут.
Ослепляют глаза нам софиты,
Препарируют наш неуют.
Мы ж стоим, свои губы раззявя,
На просторе великом своем,
В распадающейся державе.
И на все уже кровью плюем!

### *Старик у Мавзолея*

Подошел к Мавзолею, штыки
Пресекли его путь.
Попросил он: «Пустите, сынки,
На живого взглянуть!»
Но сверкали штыки в тишине
Сквозь курантовый бой,
А он с шапкой в руках, в стороне,
С головою седой.
«Не нарушу я вечный покой,
Поклонюсь, и — всего!
Погляжу хоть — он вправду такой,
Как рисуют его?
Я желаю на старости лет
Лицезреть его лик!
Вот возьмите партийный билет,
Наколите на штык!

Ни к чему мне он, отбыл свой срок,
Домовина зовет.
Был запутан мой век и жесток,
Красный лозунг: «Вперед!».
Намахались такого сплеча,
Что отсохло плечо!
Только «лампочка Ильича»
Догорает еще.
Все деревни крапивой взялись,
Доживает изба,
И на всю-то окрестную жизнь
Только я да судьба!
Издалёка я, издалека́,
На все стороны — Русь!
Пропустите, сынки, старика,
Я ему поклонюсь!»

### *Несбыточное*

Как славно быть посохом странника,
Бредущего Русью святой.
Кивать ярким шапкам татарника,
Вдыхая чабрец, зверобой.
Купаться в пыли розовеющей,
В песчаных речушках, ручьях
И чуять простор этот реющий
На всех перепутьях-путях.
И слушать забытое слово,
Родное звучанье его,

И кроме пути ветрового
Совсем не иметь ничего!
Лежать под ночными светилами,
От сенного духа пьянеть
И всеми ольховыми жилами
От воли бескрайней шалеть!
Под праведной теплой ладонью
Омыться дождем и росой,
И кроткою, тихой любовью,
И благостной, светлой слезой...

## НИКОЛАЙ КОТЕНКО

* * *

Ребенок плачет по ночам,
Зовет так жалобно на помощь,
А мне осилить эту полночь —
Как в шторм оставить свой причал.

Я знаю: мы с ним в этом мире
Одни в заброшенной квартире —
Никто к нему не подойдет,
Никто тех жалоб не услышит...
Чего он просит, чем он дышит, —
Нет для меня иных забот.

Я горем исхожу во сне,
Во тьме слезами обливаюсь,
Душой к ребенку устремляюсь,
А тело — неподвластно мне!

Ведь я его так ясно слышу —
Как зов, ниспосланный мне свыше,

Как страшную мольбу без слов:
Над ними он еще не властен,
Но нет у Господа напасти,
С которой сладить он готов.

Я должен, я обязан встать!
Помочь ему — такая малость!
Мне в жизни-то всего осталось —
Его доверье оправдать.

И вот я сбрасываю гири,
Спешу в потемках по квартире —
Такая давит тишина,
Такое чуткое безлюдье...
Где он? Что он? И что с ним будет?
За все про все — моя вина.

### *Август 91-го. После «путча»*

Неужели ничего нет у тебя,
Никаких — и малых — просветов?
Неужели, так вот тебя любя,
Не смогу помочь ни теплом, ни светом?
Должен бы я стенкой тебе служить,
И попутным ветром, и заслоном...
Кто теперь ответит: зачем мне жить
И к чему ходить в самый ад за словом?
...Был в начале августа
очень теплый день,
Был и пруд пречистый под небом синим.
Как же быстро снова накрыла тень
И тебя, беспомощного, и Россию!
Зарастут крапивой наши поля,
Станут средней азией наши веси...

Как сегодня думы мои болят —
Правят бал в Отчизне горбатые бесы.
Это я, мой мальчик, проморгал его:
Зная, что антихрист, —
стоял в сторонке.
Это я, родной мой, виновник всего...
Что́ тебе теперь в покаяньях громких?
Любим поглагольствовать
о вечной душе, —
Смертному от этого много проку-то?
Снова — как в семнадцатом? Опять?
Уже?..
Будьте прокляты!..

***

* * *

Разлад меж нами не такой уж грустный,
Тем более есть общие черты:
Стыдишься ты, что носишь званье
«русский»,
И стыдно мне, что в русских ходишь ты.



# ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

## ЮРИЙ БОРОДАЙ

# ТОТАЛИТАРИЗМ:

## хроника и лихорадочный кризис

### I. БОЛЬШЕВИСТСКО-ФАШИСТСКАЯ ЛИХОРАДКА

Тоталитаризм — смертельное заболевание современного человечества. Начинается оно с космополитической атомизации. Наиболее острые проявления этой переходящей интернациональной чумы — большевизм и фашизм. Но постоянный источник заразы — «благополучный» демократический Запад. Признать этот скрытый от глаза факт присяжным апологетам Запада психологически невозможно. Отсюда и их усилия во что бы то ни стало доказать, будто большевизм — это локальный этнический порок (китайский или русский), заложенный в генах местной туземной культуры,— врожденная болезнь, не имеющая никакого отношения к здоровым западным влияниям.

Так в многообразных попытках понять истоки и смысл революционного катаклизма в России доминирующей стала тенденция сводить феномен русского большевизма к проблематике культурно-социальной типологии, то есть трактовать его как специфически национальное явление. При этом игнорируется тот факт, что именно большевизм возник как самое радикальное течение русского западничества и стал орудием тотального искоренения всех традиционных национальных устоев (религиозно-нравственных и культурных, хозяйственных и социальных) в жизни всех самобытных народов Российской империи, и прежде всего народа русского. Почти все прокламации большевизма были бесстыдной демагогической ложью, кроме одной «святой» установки — прозападного интернационализма. Фундаментальный марксистский тезис «Пролетариат не имеет отечества» был подвергнут ревизии только в канун Великой Отечественной войны, что и стало причиной перекраски космополитического режима в квазинациональный. Смертельный страх перед германским расизмом продиктовал советской власти радикальную смену политики — сталинский курс на создание массовой национальной армии.

Красная Армия всегда подвергалась периодическим «классовым» чисткам, ставшим особенно жесткими с началом коллективизации,— выявлялись и изгонялись пытавшиеся «укрыться» в армии родственники «кулаков», «подкулачников» и прочих неблагонадежных. Из деревни в армию рекрутировались только лояльные власти сельские «активисты» и «социально близкие» уголовно-люмпенские элементы — ведь со времен гражданской войны армия в основном предназначалась для подавления «внутреннего врага». Но с появлением страшной военной угрозы режиму со стороны нацистской Германии ситуация коренным образом изменилась. **В 1939 году в СССР была введена всеобщая воинская повинность.** Это был поворотный пункт в истории интернационал-большевизма: невозможно было доверить винтовку миллионам физически и морально измордованных русских крестьян без минимальных экономических послаблений (разрешение приусадебных участков) и хотя бы частичной реабилитации их оскорбленных национальных чувств. До середины 30-х годов само словосочетание «русский патриот» квалифицировалось как уголовно наказуемое.

Введению всеобщей воинской повинности предшествовала расправа над «врагами народа» — повальное истребление интернационалистской ленинской гвардии. Пропаганда постепенно переориентировалась на квазинациональные «патриотические» мотивы. Таким образом, в атмосфере паники перед лицом смертельной двойной угрозы (со стороны нацистской военной агрессии и возможного взрыва народ-

---

БОРОДАЙ Юрий Мефодьевич родился в 1934 году в г. Ташкенте. Ведущий научный сотрудник Института философии Академии наук России. Автор ряда книг, среди которых «Воображение и теория познания» (1966), «Принцип историзма в познании социальных явлений» (1976), «Пути аграрного возрождения» (1991).

ных восстаний) началось перерождение интернационал-большевизма в национал-коммунизм. Без парализующей паники, охватившей правящий слой страны (паники, вызванной грозными объективными факторами), Сталину вряд ли бы удалась радикальная чистка в рядах твердокаменных большевиков. Сталину попустили его злодейство, ибо деваться было некуда — для комиссаров ленинского закала Гитлер с его откровенно юдофобскими лозунгами не представлялся лучшим, чем Сталин. Из двух неизбежных зол пришлось выбирать наименьшее.

Квазинациональный переворот внутри советской системы нисколько не изменил ее тоталитарной сущности. Я хочу подчеркнуть здесь слово «квазинациональный», ибо, истребляя старых догматиков-интернационалистов, недостаточно гибких своих сотоварищей, Сталин вовсе не изменял глубинной сущности большевизма — его антинациональной природы.

Дело в том, что глубинно антинационален сам тоталитаризм, в каких бы обличьях последний ни выступал — хотя бы в формах самого крайнего истерического расизма. Это относится и к классическому фашизму (итало-германскому), который столь же последовательно, как и интернационал-большевизм, умертвлял народы свои, искореняя из их организмов любые неподконтрольные государству «горизонтальные» связи — многообразные формы живой соборности (от субэтнической до семейной) с их религиозно-нравственными устоями, обычаями, традициями и трансцендентно-ценностными установками. Все это заменяется в тоталитарных системах единой для всех унифицированной идеологией. Не важно какой,— суть не в цвете знамени. Главное, что с переходом к тотальному администрированию, с переводом системы на исключительно «вертикальные» (сверху вниз) связи жизнь народа становится плоской, нация обезличивается, превращаясь в однородную массу, удобную для любого манипулирования. Что же касается цвета знамени или его оттенков,— они меняются по приказу из центра в зависимости от политической конъюнктуры. Этим любая идеология принципиально отлична от свойственных живой общности самобытных религиозно-нравственных убеждений — стержня этнического единства. Разрушение этого стержня с заменой его какой-либо разновидностью атеистической «религии Разума» — умерщвление нации.

Национальное самоубийство может осуществляться и под супернациональными лозунгами. Или же интернациональными и даже супердемократическими — все равно. Суть в подмене религиозно-культовой нравственности — с ее тенденцией роста в культуру — рациональной политизированной идеологией. Явление это не новое. Еще в XIX веке Константин Леонтьев фиксировал: «Движение современного политического национализма есть не что иное, как видоизмененное только в приемах распространение космополитической демократизации». Но если в XIX веке результатом подмены живых национальных культур политизированной националистической идеологией становилась космополитическая демократизация, то в XX веке речь идет уже о космополитической фашизации.

Политические пути к тоталитарным структурам различны. Лозунги конкурирующих политических банд могут звучать как антитезы. В борьбе за тотальную «вертикальную» власть разные радикальные группы применяют различные формы идеологической обработки масс. Но всех их роднит одно — стремление к насильственному уничтожению традиционных структур. Без предельной атомизации общества, без разрушения всех соборных «естественных общностей» (Gemeinwesen) с их самобытной нравственностью невозможно установление тоталитарного строя. Современные радикальные партии (большевистские и фашистские) выполняют свою разрушительную работу целенаправленно и вполне сознательно, стремясь к революционному преобразованию общества — к насильственной хирургической перестройке его по своим умозрительным инженерным схемам. Они стремятся искусственно подтолкнуть «прогресс», который стихийно начался задолго до них, еще в эпоху генезиса западного капитализма. Начался, шел и идет в форме плавной замедленной эволюции, изнутри разлагающей все элементы живой соборности. В чем суть этого «прогрессивного» заболевания?

Распространение индустриальных форм организации наемного труда ведет, с одной стороны, к материальному изобилию, а с другой — к превращению человека в голую единицу абстрактной рабочей силы, принадлежность которой к определенному роду, общине, этносу становится несущественной характеристикой; каждый сам по себе становится суверенным субъектом, ограниченным в своих действиях только полицией. Системы соборных живых общностей, скрепленных внешними обручами патерналистско-авторитарной власти («авторитарный» не путать с «тоталитарным»!), деградируют, превращаясь в «толпу одиноких» — однообразное гражданское общество, где нравственность вытесняется правом. С замещения нравственности принудительной юридической нормой начинается путь к грядущим тоталитарным структурам, где само право, в свою очередь, будет заменено произвольным тотальным администрированием — государственной регламентацией буквально всех проявлений человеческой жизнедеятельности. Это нормальный плавный ход западного развития. А у нас большевизм попытался насильно внедрить завершенную тоталитарность (социализм), пропустив правовой этап. Мы с агонии начали, потому что идею тотальной рациональной организации получили готовой к употреблению — получили ее в качестве идеала из «стабильного» правового общества, где она успела дозреть до убойной силы. Убойной для не привыкших к этой инфекции организмов.

Вирус болезни возник на Западе, а лихорадит прежде всего соседей. Чтобы лучше представить эту парадоксальную ситуацию и понять, почему в «открытом» гражданском обществе с безграничной свободой совести зародилась бацилла всемирной тоталитарной чумы, нам придется от-



влечься от современности и коснуться «метафизических» тем. Впрочем, нетерпеливый читатель может и пропустить анализ природы соборности и принудительной социальности.

## 2. СОБОРНОСТЬ И ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНОСТЬ

Разумеется, никакая общность не может существовать без ограничения эгоцентрических побуждений особи. Но формы социальной организации фундаментально различаются и по степени, и по способу регламентации жизни людей: либо это самоограничение, основанное на самоидентификации личности с определенной системой нравственных императивов, действующих изнутри,— совесть; либо это принудительное ограничение — страх перед сдерживающей мощью полицейского кулака. Либо соборность, либо принудительная «инженерная» социальность. Впрочем, до всеобъемлющих тоталитарных систем мир пока еще не дозрел.

Во всех современных обществах в той или иной мере сосуществуют оба элемента. Различаются общества по тому, какой из элементов является доминирующим. Недоразвитость правосознания, с моей точки зрения, не порок, поскольку чаще всего это свидетельствует лишь о том, что в данном обществе (например, в Японии, Таиланде) основным регулятором человеческих отношений пока еще остается совесть.

Исторически первична соборность. Человек возникает как нравственное существо (определение Дарвина). Другими словами, человек исходно отличается от животных верой в потусторонний мир и в Бога, который велит ему поступать в этом мире так, как должно. Сознательна эта вера или же бессознательна — не имеет определяющего значения. Выражаясь в терминах психоанализа, каждый из нас носит в себе свое суперэго. Существенно то, что нравственность — исходное «коллективное представление», архетип этнического со-знания. В каждой соборной общности свое понимание зла и добра — того, чем нужно гордиться, чего стыдиться, к чему стремиться. Нравственные ценности — это, выражаясь языком Канта, «трансцендентные основоположения практического разума». У разных народов они различны, и истинность их в этом мире нам не дано проверить — кому что нравится. Нормальные люди предпочитают свою — родную веру.

Все первые человеческие сообщества начинались с коллективного мифотворчества. А «миф» в переводе на русский язык значит «слово». Слово должно быть общепонятным, иначе оно выражает не понятие, а индивидуальный шизофренический комплекс. Религиозный мир — это соборный первоязык, слова которого являются знаковыми символами общепонятных в данной этнической (лингвистической) группе нравственных отношений.

Соборная общность возникла вместе с человеком и существует по сей день во всех сложных обществах. Принудительная социальность (правовая, административная) надстраивается над ней в виде гражданского общества, государства, внутри которых, если они еще не стали тоталитарными, сохраняются и семья, и общины, и разного типа конфессии, построенные по соборному принципу. Условием становления гражданского общества является деградация соборного начала — атомизация. Развитая правовая система становится необходимой там, где оказываются очень сильно ослабленными соборные скрепы, там, где люди перестают нравственно понимать друг друга и доверять друг другу, в результате чего — «война всех против всех» (Гоббс). Цель строительства правового общества — заменить вооруженную или просто кулачную войну всех против всех относительно безобидным судебным сутяжничеством. При этом отцы европейского правосознания (Гоббс, Монтескье) подразумевали, что в правовом государстве «исходное» состояние всеобщей войны сохраняется, но теперь уже регулируется жесткими правилами. Каждый для каждого перестает быть «открытым бандитом», становясь юридически грамотным и вполне респектабельным «деловым человеком».

Наиболее благоприятна почва для развития правовых отношений в смешанных обществах, составленных из осколков различных этносов, религиозных конфессий, общин. Как, например, в современных США. Такая почва складывалась на Западе в результате гражданских войн Реформации и связанных с ними массовых переселений — миграции. «Война всех против всех» была для Гоббса не умозрительной аксиомой. Чтобы представить себе степень взаимного ожесточения в эпоху генезиса европейского правосознания, достаточно вспомнить, что только в Германии Реформация захоронила в братских могилах голода и террора около двух третей населения. В Богемии, где началась Реформация, к началу гуситских войн жило 2,5 миллиона человек; к концу Реформации там осталось всего 700 тысяч живых душ. Во Франции, Нидерландах жертв было меньше, но в Англии Реформация осложнилась «чисткой земель» — ликвидацией аграрного перенаселения, что создало рынок свободной рабочей силы, фундамент западного капитализма. Все это было страшнее даже и нашей — русской — гражданской войны. Но на Западе правовое строительство удалось.

Многообразные нравственные убеждения и все религиозные верования в атомизированном правовом обществе постепенно становятся частным делом каждого, не имеющим никакого значения для суда, защищающего общественный интерес. Сам общественный интерес в гражданском обществе предельно секуляризуется — освобождается от всех религиозно-мифологических «предрассудков» и представляется исключительно с материально-рациональных позиций. Для существования такого общества оказывается необходимо очень сильное государство вне зависимости от его политической формы: жестко авторитарной (системы европейского абсолютизма — на выходе из Реформации) или демократической. Конечно, и государство государству — рознь. Если в рамках внешней государственной принудительности домини-

рующими остаются соборно-нравственные отношения различных своеобразных групп (как в Японии или в дореволюционной России), то само государство носит еще патерналистский характер.

Провозглашение принципа свободы совести — первый акт становления классической гражданско-правовой организации. При этом вовсе не ставится цель уничтожения нравственных императивов как таковых — устраняется их конкуренция, их борьба за статус всеобщей национальной значимости. Теперь самые разные нравственные установки могут приветствоваться и поощряться, но при этом они уже и не принимаются в расчет во всех деловых отношениях. По инерции, наряду с ужесточением полицейско-административной регламентации, могут взывать к совести. Но по мере ее «гуманизации» — раскрепощения, лишения качества соборности — она теряет всякое реальное значение. Освобождаясь от соборно-культурных оков, совесть перестает быть реальным регулятором человеческих взаимоотношений, утрачивает свою исходную антропогенетическую функцию. Конечно, и в правовом обществе наряду с принудительно-внешним ограничением эгоцентризма каждый волен еще и самоограничиваться вплоть до самоотречения — самопожертвования. Однако со временем такое донкихотство становится все более смешным. В гражданском обществе такие понятия, как долг и совесть, становятся темой пустых риторических упражнений, поскольку они не имеют делового смысла. Практическое осуществление принципа «свободы совести» ведет к утрате самой совести. В этом заключается парадокс. Ведь совесть вроде бы, по определению, свободна, свободна от всякой детерминации — природной и социальной. Она действует вопреки слепым зоологическим побуждениям собственного естества, обуздывает их. Но, с другой стороны, она руководствуется не навязанными мне юридическими нормами и не приказами начальства, но только собственным нравственным убеждением — собственным вероспознанием. Высоконравственный человек действует не по указке, он будет поступать по совести, даже если это грозит ему побоями или тюрьмой.

Совесть — это бунт против естественно-биологической и принудительно-социальной детерминации поведения и в этом смысле прорыв от рефлекторного автоматизма к свободе (согласно всем религиозным представлениям, самый верный шаг к духовной свободе — монашеский аскетизм). Знаковым символом бунта против всесторонней детерминации «Я» становится потусторонний Бог, требующий поступать только так, как ты сам считаешь должным вопреки обстоятельствам, вопреки собственным страхам, влечениям или аффектам.

Например, посредством силы свободной воли своей монахи боролись не только против соблазнов внешнего мира, но прежде всего против собственного природного естества. Стремясь углубиться в потустороннюю, сверхъестественную — духовную — часть своего существа, они умерщвляли свою греховную плоть, которая жаждала осуществления всех своих инстинктивных потенций.

Человек существо двойственное. Его сознание — искрящая точка пересечения двух миров: потустороннего мира свободы от всякой детерминации, мира свободной воли и — здешнего мира всеобщей природной и социальной обусловленности, автоматизма. Монашеская аскеза — это борьба духа с собственной плотью и принудительной социальностью, борьба потусторонней свободы со здешней необходимостью, это стремление превратить себя из раба генетически заданных инстинктивных своих побуждений в полного господина своей телесной и социальной природы. Иногда подобное превращение удается (святость), полностью — практически никогда. Но человек лишь постольку является личностью, поскольку постоянно ведет такую борьбу.

Я позволю себе сформулировать тезис. Непротиворечивое представление о свободе без ее сведения к особого рода необходимости («познанной» — Гегель, или как проявления уникальности данной вещи — Спиноза) возможно лишь в рамках религиозной веры. Но, с другой стороны, именно с религиозного мифотворчества и начинается человеческое сознание — начинается антропогенез. С аскезы — с борьбы с собственным естеством, с понятия «жертвы» начинается любой трансцендентный культ, вменяющий людям самоограничение плотских позывов вплоть до полного самоотречения во имя духовного потустороннего «Я» — суперэго. Современный бездуховный идеал начинается с материалиста Спинозы, идеал которого — наиболее полное самовыражение и материальное удовлетворение всех естественно заданных побуждений моего «эго». Религиозный идеал: самоограничение своего природного естества.

Без Бога в душе нет и совести. Это ясно. Вопрос заключается в следующем: возможна ли индивидуальная, внесоборная вера в Бога? Чисто индивидуальная нравственность?

Конечно, живая духовность — достояние личности. Но и глубоколичностная духовность нуждается в общепринятом языке. Так же, как без системы общезначимых понятий невозможно индивидуальное мышление, без конкретного соборного культа моего народа невозможно нравственное сознание. Соборная нравственность — это дисциплина для моего духа. Так же, как без дисциплины мышления (общезначимой логики) ваше сознание деградирует, так и без постоянной борьбы с безграничной своеобразностью своего эго, без жертвы — самопожертвования ради соборного суперэго — нравственный дух угасает[1]. Провоз-

[1] Это относится н к искусству, ноторое развивается в рамках определенных культурных норм — в рамках канона, исходно заданного национальным религиозным культом. Канон не мешает творчеству. Ведь задача классического искусства — в земных, «здешних» формах выразить неземной идеал — Бога. Но адекватно изобразить трансцендентное невозможно, каждый его выражает по-своему — красками, в звуках, словах, поступках. Самый строгий канон оставляет место воображению, ибо нерукотворных образов потустороннего идеала нам не дано. Каждый канон — это лишь дисциплина творчества.

Вне канонов, вне любых определенных культурных традиций, хочет сегодня тво-



глашение принципа «свободы совести», то есть полной свободы самовыражения, делает ненужной борьбу с изменчивыми побуждениями своей персоны, а это и ведет к отмиранию совести, что компенсируется господством в обществе голого полицейского кулака. Так же, как отказ от понятий и общепринятой логики ведет шизофреника к смирительной рубашке.

Конечно, сопоставление исходно религиозных ценностных нравственных представлений с познавательными понятиями мышления не совсем корректно. Последние подлежат проверке и легко становятся достоянием всечеловеческим — они легко переводятся с одного языка на другой. Но в отличие от космополитического рационально-научного подлинно национальный религиозно-культурный язык глубоко самобытен. Машина бесстрастно переведет русскую «честь» на польский «гонор» — ей все равно. Не всё равно мне. Мне не нравится эсперанто, и я боюсь, что деэтнотизированное человечество, заговорившее на языке однозначных машинных знаков, будет просто идеологизированной квазисоборностью. Для науки и техники это, может быть, и не очень страшно, для культуры — смертельно.

Я думаю, что утративших почву людей, прорывающихся к всечеловечности, не спасут и попытки найти универсального интер-Бога. Многообразные представления о трансцендентном потустороннем мире, сведенные к общедемократическому знаменателю, в итоге дадут ноль. Будет тот же эффект, что со свободой совести,— отмирание всех «предрассудков» Чести и Долга, замена их голым рациональным расчетом. Мне не нравится нравственное — религиозное эсперанто, я хочу представлять себе Бога живым, самобытным, моим, хотя и непостижимым во всей Его полноте — обращенным к разным народам по-разному. Поэтому я против экуменизма. Я за «закрытое общество» (К. Р. Поппер), хотя его очень сильно ругают за ксенофобию и фанатизм.

## 3. ХРОНИКА — ЗАБОЛЕВАНИЕ «ОТКРЫТЫХ» СИСТЕМ

Бергсоно-попперовское деление обществ разного типа на «открытые» и «закрытые» имеет смысл[2]. В определенном плане оно совпадает с понятиями «соборной» и «правовой» общности и — уж кому что нравится. Для меня хорошо острое, для соседа — пресное. Попперу по душе «открытость», спорить с вкусовыми суждениями нелепо. Но пристрастность часто ведет к ошибочным выводам и прогнозам. Поппер был, например, убежден, что «закрытые общества» обречены на стагнацию — экономическую прежде всего. Так ли это?

Классическим примером «закрытого общества» можно считать Японию с ее общинно-соборным духом и резко выраженной ксенофобией: вплоть до второй половины XX века (до военного поражения и оккупации американцами) японцы буквально не подпускали к своему порогу высокоразвитых предприимчивых деловых иноземцев. Стагнация? Свою стремительную агропромышленную модернизацию японцы осуществили в конце XIX—начале XX вв. после своей черносотенной революции, которая ликвидировала феодальную раздробленность и восстановила императорское самодержавие. «Японское чудо» осуществлялось под руководством жестко патерналистского авторитарного руководства при сохранении и укреплении традиционных общинных структур с их опорой на добросовестное отношение к общему делу, непререкаемый долг и честь — все прямо противоположно западноевропейским интенциям. Консервация всех структур «естественной общности», национальная замкнутость и фанатизм не помешали японцам, а стимулировали молниеносный экономический взлет. До конца XIX столетия даже китайцы считали японцев темными первобытными варварами. Но уже в начале XX века Япония — первоклассная промышленная держава, способная соперничать с Россией, Англией, США. Достаточно вспомнить Цусиму.

Так было в начале XX века. Предположим, это исключение — случайность. Как же обстоит дело сейчас? После оккупации Японии американцами? В Азии и сейчас наиболее близкими к модели «закрытого общества» являются «резерваты» — дальневосточные страны, в большей мере, чем прочие, сохранившие свою самобытность, избежавшие долговременного и массированного западного влияния: та же Япония, Корея, Малайзия, Индонезия, Таиланд. Среди самих западноевропейских обществ, которые тоже не однотипны, меньше всего «открытой», наименее склонной к обожествлению суверенности индивида остается Германия. Образцовыми воплощениями «открытости» здесь являются англоязычные страны. Так ка́к на сегодняшний день со стагнацией в этих обществах разного типа? Я позволю себе процитировать документ, который называется «Глобальные перспективы деловой активности» («Краткий обзор», подготовленный Международным институтом развития управления и Мировым экономическим форумом на основе опроса свыше 1500 бизнесменов из 22-х стран). Вот каковы перспективы: «В то время как англоязычные страны и большая часть стран континентальной Европы подвержены тенденции к замедлению экономического развития, лидеры мирового бизнеса устремили свои интересы в Германию, Японию и новые индустриальные страны (Корею, Таиланд, Малайзию, Индонезию)... Англоязычные страны—Австралия, Канада, Великобритания, США — возглавили список стран с наибольшей тенденцией к рецессии. Германия здесь идет на последнем месте.

Критериями оценки конкурентоспособности при данном исследовании были качество рабочей силы, качество продукции,

рить модернизм — без-óбразное искусство. Но его творения не прекрасны, а — безобра́зны. Это саморазрушение, похожее на шизофрению, — распад всех структур со-знания.

[2] См. Вергсон А. Два источника морали и религии. Париж, 1932; Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. Лондон, 1944.

рыночная ориентация и уровень нового поколения бизнесменов. Менеджеры поставили на первое место квалификацию труда и трудовую мотивацию... В Японии самая высокая мотивация к труду» («Вопросы экономики», 1991, № 11, с. 116).

Таковы новейшие факты, которые опровергают все попперовские прогнозы. Еще позавчера с некоторой долей правдоподобия можно было рассуждать о неизбежности экономической стагнации «закрытых обществ». Но по мере внедрения новейших технологий, которые требуют от каждого работника солидарной творческой добросовестности, особой ценностью становятся общинные навыки вчерашнего крестьянина и кустаря, не утративших нравственного отношения к общему делу. Таких работников много в полупервобытном Таиланде и уже очень мало в США. Новейшие технологии несовместимы с «частичным» трудом, производственным администрированием и жесткой системой внешнего пооперационного контроля. В перспективе соборная солидарность оказывается более «рентабельной», чем административно-правовая.

Бесспорно: строительство правового индустриального общества — великое достижение Запада. Но вместе с тем и симптом его смертельной болезни, которую Шпенглер назвал «закатом Европы». Именно это строительство наметило путь к грядущим тоталитарным структурам. Тоталитаризм — феномен западный.

Я понимаю, что последний тезис может вызвать страстные возражения, потому что термин «тоталитарный» теперь принято применять к чему угодно, но только не к «священной корове» западной демократии. Можно его применять к «восточному деспотизму», что выглядит правдоподобно, если трактовать тоталитарность исключительно политически, то есть сводить ее к авторитарным формам правления. Я не согласен с такой узкой трактовкой, рискну дать свое определение: тоталитаризм — принудительная регламентация всех сфер жизнедеятельности людей.

Власть политическая в многослойных традиционных обществах действительно носит, как правило, грубо авторитарный характер. Но она не всепроникающая. Рядовой человек защищен от нее многочисленными «прокладками»: он живет в рамках самоуправляющейся общины, своей религиозной конфессии и к политике чаще всего имеет лишь косвенное отношение — нормальные люди стараются от нее уклониться любыми способами. А трудиться приходится постоянно — это главная сфера человеческой жизнедеятельности. Поэтому первый вопрос—степень регламентированности труда. Можно ли трактовать как тоталитарные те общества, в которых большая часть населения — самодеятельные земледельцы и кустари? Ведь даже и крепостной крестьянин у себя на своем поле каждый день сам себе все планировал, сам себя контролировал и, хотя у него отнимали потом часть продукта, он, по меньшей мере, был хозяином своей деятельности.

Жесткая принудительная регламентация всех трудовых опраций начинается с капиталистической фабрики. Я думаю, именно здесь был сделан первый шаг и к товарному изобилию, и одновременно к грядущим тоталитарным структурам. Поэтому среди многообразных теоретических построений, дающих ключ к пониманию тоталитарного строя, для меня наиболее представительными являются не столько идеологизированные прожекты Ленина, Гитлера, Муссолини, сколько такие бесстрастные и строго объективные разработки, как, например, классический труд американского инженера Фредерико Уинслоу Тейлора «Научная организация труда». Ведь Тейлор ничего не выдумывал. Он просто свел в цельную систему те принципы, на которых изначально строилась вся западная промышленность (но — не японская!),— принципы строжайше регламентированной административно-командной организации многих различных работ-операций, осуществляемых частичными работниками[3], с тотальными системами контроля и хронометражем. При этом Тейлор утверждал, что «те же самые принципы могут быть с равным успехом приложены ко всем решительно видам социальной деятельности» (Т е й л о р Ф. У. Научная организация труда. М., 1925, с. 4). Но если это так, если принципы тейлоризма распространяются на все иные — не трудовые — сферы жизнедеятельности, то мы получим картину, которую так красочно нарисовал нам Оруэлл в своей антиутопии. Я думаю, что Оруэлл, который очень хорошо понимал суть дела, поскольку сам «переболел» почти всеми формами передовой политической мысли и еще более передовой политической практики, ошибся только в сроках. Процесс всеобщей тоталитаризации осуществляется не так быстро, как представлялось писателю, но он идет. Он задан конвейерно-поточной индустриализацией всех форм труда и быта, устрашающей тенденцией к нивелировке любого своеобразия (этнического и даже расового) — к унификации, стандартизации всех развлечений и увлечений, квазирелигиозных и даже сексуальных «отправлений». Все это ныне формируется навязчивой рекламой и в случае коммунистически-фашистского — политического — переворота легко может быть поставлено под тотальный контроль централизованных средств массовой информации.

Разумеется, нелепо представлять современные индустриальные демократии Запада как тоталитарные организации. Это не тоталитарное общество, но его необходимая предтеча. Еще далеко не смерть, но медленно прогрессирующая, без резких болевых симптомов хроника. Оптимизма это не внушает. Конечно, все относительно: нормальным людям в фашистской Германии было больно и страшно, а в постбольшевистской России ужасная жизнь и сегодня: не ведомо—выживем ли вообще? Но остроинфекционный кризис кончается либо смертью, либо выздоровлением национального организма, хроника же необратима.

[3] «Частичный работник» — термин, общепринятый в экономической и социологической литературе. Это такой работник, который осуществляет отдельную операцию (например, сверлит дыру в заготовке) и при этом может не представлять, зачем это нужно.



Функция радикальных партий — превратить хронику в острую лихорадку посредством революционной замены гражданских правовых норм произвольным тотальным администрированием, то есть замены относительно либерального капитализма с частным предпринимательством универсальным госпланом (государственным капитализмом) в форме интерсоциализма (большевизм) или фашизма (нацизм).

Тенденция к росту объема государственного администрирования органично задана в самой правовой системе, поскольку она разлагает все элементы живой соборности с ее нравственным принципом регуляции отношений. Там, где вся жизнь определяется юридическим нормативом, совесть становится обременительной роскошью. Ведь даже и брачный союз нередко уже заключается не на небе, а в адвокатской конторе в форме контракта, аналогичного юридическим соглашениям разных торговых фирм. А это значит, что даже внутрисемейные отношения подконтрольны и подлежат в перспективе внешнему административному регулированию.

То же самое и с тенденцией постепенного перерастания «дикого» предпринимательства в «организованный капитализм», а последнего — в «мягкий социализм». Впрочем, со временем будет и «жесткий». Все тенденции эти заданы медленной эволюцией западных обществ. Мощные радикальные партии с установкой к быстрым насильственным переменам, со стремлением «обогнать прогресс» возникают на периферии Запада — очага инфекции. Я вполне разделяю точку зрения Вернера Зомбарта, который оценивал западный капитализм как чуму, заражающую весь мир, а социализм определял как завершенный государственно-монополистический капитализм на стадии прекращения его роста — перехода к стагнации.

Логика Зомбарта убедительна. Остается понять, почему тоталитарно-социалистические конвульсии начинаются не с центра системы, а с ее периферии. Ведь в отличие от больного Запада с трехсотлетней хроникой — того Запада, где впервые возникла сама тенденция к превращению многомерного общества в плоский тоталитарный социализм,— в дореволюционной России существовало достаточно органичное сочетание живых «горизонтальных» общинно-этнических и государственных «вертикальных» связей, что в результате могло обеспечить объемность и полноту жизни имперского организма. Почему вроде бы процветающий организм этот вдруг в страшных корчах распался в семнадцатом? Что это за волшебники — большевики? И откуда взялось у них столько силы?

### 4. СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ БОЛЬШЕВИЗМА

Большевизм — отнюдь не рабочее политическое движение. Точно так же, как и германский фашизм, объявивший себя национал-социалистической рабочей партией. Теоретически большевики исходили из марксистского тезиса «пролетариат не имеет отечества», а политически изначально делали ставку на пауперов — на бездомных, бездельных изгоев, живущих «на дне». Эта ставка оказалась успешной — таков фундаментальный исторический факт. Поэтому, затевая разговор о причинах российского катаклизма, прежде всего следует поискать ответ на вопрос: почему в недрах России в начале XX века скопилось так много пауперов, что они смогли выплеснуться со дна на поверхность общественной жизни, подчинив ее всю своим уголовно-звериным законам насилия?

Я думаю, тут сыграли роль два фактора. Фактор первый. В отличие от далекой Японии с ее ярко выраженной ксенофобией, в России процесс ускоренной агропромышленной модернизации пошел в значительной мере по западно-капиталистическому пути. А общий фундамент генезиса капитализма на Западе — это создание рынка дешевой рабочей силы за счет вытеснения из деревни огромной массы крестьян — ликвидация аграрного перенаселения. Очень многие, нигде не найдя для себя применения, становились разбойниками и бродягами, проститутками и ворами. Так было в свое время на Западе, где процесс повальной дегенерации населения, связанный с родами прогрессивного способа производства, протекал в еще более резкой и страшной форме, чем потом в капитализирующейся России. На Западе это выразилось в крайнем ожесточении гражданских войн Реформации (например, крестьянские войны в Германии) и во многих последующих событиях. Население городов Франции в канун ее Великой революции увеличилось вдвое за счет не знающих куда себя деть бродяг. Число проституток в Париже возросло вчетверо. К чему приводило все это, мы знаем.

В России курс на ускоренное создание рынка дешевой рабочей силы отчетливо определился к концу XIX столетия — резкое усиление фискального пресса на освобожденное с мизерными наделами деревенское население. Первый кровавый выброс начавшейся люмпенизации — 1905 год. Тогда же Ленин четко определил и характер главной ударной силы грядущего переворота. Рабочий класс?—Ну, это для общих теоретических упражнений. А на практике, вот, цитирую: «Везде, где можно, мы будем стремиться организовать *свои* комитеты, комитеты *социал-демократической рабочей партии*. Туда войдут и крестьяне, и пауперы, и интеллигенты, и проститутки (нас недавно спрашивал один рабочий в письме, почему не агитировать среди проституток)... организовать мы должны всех трудящихся и эксплуатируемых, как говорит и наша программа, всех без исключения: и кустарей, и пауперов, и нищих, и прислугу, и босяков, и проституток...»[4].

В 1905 году, несмотря на то, что Россия уже поворачивала на классические западные пути, достаточного для победы числа босяков и люмпен-интеллигентов, нищих и

[4] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 11, с. 223.

проституток в стране все же не оказалось — революция захлебнулась. В 1917-м люмпенов уже было гораздо больше. Тут сыграл роль мощный второй фактор — мировая война. В демографическом плане война такого масштаба — это машина, перерабатывающая слой нравственно неокрепших подростков в ожесточенных людей с психологией уголовников. Миллионы оторванных от семьи и от дела юнцов три года овладевали навыками безнаказанного убийства, грабежа мирного населения и насилия. В семнадцатом, когда фрондирующей интеллигенции удалось свергнуть освященную многовековой традицией законную власть монарха, все они разбежались с фронтов с оружием и с привычкой сначала жать на спусковой крючок, а потом уже думать. Революции делают молодые...

Кстати, в Германии на взрывной социальный слой — молодых неприкаянных ветеранов — сделали ставку сразу две конкурирующие политические организации. Сначала это были левые социал-демократы: неукротимая Красная Роза (Люксембург) потребовала переориентации революционной партии с профсоюзов («омещанившихся» рабочих) на ветеранов и люмпенов. Результатом такой переориентации стала в 1918-м красная Баварская республика под руководством оголтелых демагогов — интерсоциалистов. Но на тот же социальный слой обратили внимание и фашисты. В Германии последние оказались удачливее. С помощью все тех же ветеранов, набранных по баварским пивным, нацисты сумели в конце концов перерезать всех своих конкурентов — прежде всего евреев и коммунистов.

А в России в конце войны люмпенский слой оказался гораздо мощнее, чем в Германии,— роковым стало сочетание сразу двух факторов. И вопрос заключался лишь в том, кто сумеет надеть узду на этого дикого зверя, оседлать его. Успеха в такой ситуации закономерно добились самые беспардонные пришлые демагоги, которым было не жаль ничего в этой чужой стране, которые жаждали лишь тотального разрушения всех основ ненавистной тысячелетней империи — ее церквей, нравственности, трудовых, бытовых и семейных устоев. Так возникла новая власть, не терпимая ни в каком нормальном обществе. Ее краткая формула—власть подонков. Шариковы под руководством швондеров. Власть захватили швондеры, которым были нужны психологически и социально близкие исполнители. А последних в стране был избыток. Читайте Бунина «Окаянные дни». Вспомните, как он удивляется: с какого дна вдруг всплыли все эти страшные нечеловеческие лица? И обратите внимание: из кого состоял штаб победившей партии? Впрочем, среди последних были и люди посвоему верующие. Ведь даже и коммунизм можно описывать как своего рода религию — атеистическую «религию», обожествляющую голоутилитарную рациональность. Но это — квазирелигия. В ней нет места для мира духовного, для трансцендентных нравственных побуждений. В ее рамках могут законно существовать: научная организация труда — Тейлор, научная организация общества — Маркс, научная организация секса — Фрейд, научная организация быта и развлечений... В прагматических целях могут даже использоваться и лицемерные апелляции к не изжитым еще в народе нравственным «предрассудкам» — попытки широкомасштабной «утилизации старого хлама» (церкви, семейных традиций, патриотизма), что достаточно эффективно осуществлял Сталин, особенно в ходе Великой Отечественной. Деваться ему было некуде — все это лишь отступления рационально-тоталитарной системы от своих принципиальных позиций — нечто вроде духовного нэпа.

Укрепляясь и даже приобретая со временем внешнюю респектабельность, власть рационалистичных уголовников целенаправленно воспроизводит себе подобных. Их число стремительно увеличивалось все последние семьдесят пять лет. И, я полагаю, этот процесс продолжается и сейчас — под новыми демократическими знаменами. Свежий лозунг: «Хапай все, что только сможешь, любыми доступными способами!», ибо: «Если ты умный, то почему бедный?» — это просто вечное кредо подонков, западных или восточных, коммунистических, демократических — все равно, ибо подонок есть интернациональный тип, он лишен этноса и всех нравственных ориентиров.

Разумеется, общее кредо подонков в разных системах осуществляет себя по-разному. Коммунистические бандиты стремились к тотальной прямой непосредственной власти. Демократические — стараются приватизировать общую собственность, они хапают деньги, которые обеспечат им власть косвенную, но не менее всеобъемлющую. Впрочем, наши новые капиталисты — это все те же старые, перекрашенные партократы; и те, и другие по натуре своей люмпены. С помощью их «свежих» лозунгов можно сменить «научный социализм» на уголовный капитализм, но нельзя возродить Россию.

## 5. ОТ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ УНИФИКАЦИИ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОЗРОЖДЕНИЮ

Уголовники, захватившие власть в стране, семьдесят лет старались всех людей переделать в себе подобных, превратить все народы империи в однородную массу без роду, без племени, без исторической памяти и без веры. В отличие от по-своему органичной вяло текущей западной эволюции в сторону космополитической унификации в СССР искусственно конструировался новый «этнос» — советский народ. Теперь единая тоталитарная система рушится. Казалось бы, что надо радоваться... Чему? Тому, что вместе с ненавистным коммунизмом рушится само мое Отечество — великая держава со славной тысячелетней историей?

Но что же делать? Сжечь дом свой родной, чтобы избавить его от заразы? Такая мысль — симптом горячечного бреда. Тем более что поджигателей и без меня хватает — горластых и напористых грабителей, которым ничего не жаль. Знакомые все это лица — сплошь ряженые. Им бы только нагреть руки: на партократии, на демократии — вчера на интернационализме, сегодня на расизме... «Процесс пошел!» — как выражался наш вчерашний лидер. Кровь полилась, и вокзалы заполнились беженцами.

Народы, населяющие страну, начинают освобождаться от гнета коммунистической идеологии, но они тяжело больны — их лихорадит Болезнь — кризис идентификации.

Люди не могут жить хотя бы без видимости объединяющего идеала, хотя бы без квазирелигии. Коммунистические идеалы отброшены, но и других пока нет... Кризис идентификации чрезвычайно болезненное состояние, чреватое страстной борьбой мнений, убеждений, социальными потрясениями. Растоптанные народы должны обрести себя, возродить свою нравственность, саоего Бога. Если с этой точки зрения подойти к нашим сегодняшним жгучим проблемам, то окажется, что всплеск национальных страстей, может быть, не такая уж и большая беда. Конечно, политические дельцы стараются на любом пожаре нагреть себе руки — для этого они и раздувают огонь. Самые ловкие (вроде киевских большевиков) бросились спекулировать идеей национального возрождения. Но сама идея эта созрела не в их головах. Люди хотят возродить нравственное начало. И речь идет об огромной массе людей, которая живет на территории бывшего нашего государства. Их за 70 лет пытались превратить в трудовой ресурс, в деэтнотизированную толпу. И вдруг обнаруживается, что это не получилось, что духовные потенции живы и начинают проявляться в курьезных и страшных формах. Люди в нашей стране еще живы, и этот факт проявляется в тех страстях, которые мы все сейчас переживаем. Перезревший западный человек в основном изжил национальные страсти, он заменил их правосознанием. Похоже, что Западу уже не грозит острый кризис идентификации. А у нас люди, как оказалось, еще не могут жить, не отождествляя себя с системой своих этнических надиндивидуальных ценностей. Именно этнических, ибо еще нигде не было и, думаю, быть не может общечеловеческих «нравов» — всеобщей нравственности. Она всегда носит групповой, соборноличностный характер — в отличие от правовых норм. Мир, с моей точки зрения, потому и интересен, что он многоцветен, потому что в нем много разных этносов, разных характеров, разных нравственных идеалов. И понятие о должном у людей разной этнической принадлежности разное. Например, старозаветный чеченец вряд ли простит самому себе, если не зарежет кого-нибудь из семьи обидчика своих близких, если не выполнит долг родовой мести, хотя бы посредством самопожертвования — ведь власти казнят его на основании правовых норм как обыкновенного уголовника. У православного старовера — самосожженца — будет совершенно иная нравственная мотивация. И там, и тут — долг, вступающий в противоречие с рационально-утилитарным правом. Но у чеченца и старовера культовые истоки долга разные. У них разные боги. И каждый народ вправе бороться за то, чтобы жить по-своему. Хотя, с другой стороны, общий порядок обеспечивает государство, скрепляющее близкие народы обручами единого права.

В идвале требуется сочетание горизонтальных общинно-этнических и государственно-правовых вертикальных связей, что в результате и создает полноту жизни имперского организма. Империя — это вовсе не плохо. Но нашей прессой на повестку дня сегодня поставлен вопрос: есть ли будущее у империй? Этот вопрос лжив. Ни современный Китай, ни США, ни Индия не собираются умирать, наоборот, стремятся к экспансии. За лживо-универсальным вопросом скрывается другой, жгучий: есть ли будущее у нашей империи? Он сейчас единственно интересен. Я не претендую на абсолютную истину, я могу высказать только свое мнение или, если угодно, выраженное в форме какого-то теоретического построения свое желание. Я думаю, что у нашей империи есть будущее.

Да, конечно, та форма, в которой существовала большевистская тоталитарная государственность, возникшая на обломках старой Российской империи, себя исчерпала. Высох тот «клей», который ее скреплял. Этот «клей» — марксистско-коммунистическая идеология — не только высох, но перешел в свою противоположность: из «клея» он превратился в нечто разъединяющее, отталкивающее. Как только ослаб партийно-чекистский террор, так сразу же проявился дух отвращения к принудительной социальности, который растаскивает все локальные общности, начинающие решать проблему своей идентификации. Этот процесс в общем-то естественный. Он направлен не столько против традиционного суперэтнического единства, сколько против тотальной казарменно-коммунистической унификации. Это реакция на тот ядовитый «клей», которым революционные насильники пытались искусственно скрепить осколленные народы. После того, как будут действительно уничтожены все рудименты коммунистической идеологии, я думаю, пойдет другой процесс — процесс обратный, интеграционный. На чем будет основываться этот процесс, я не знаю. Я знаю, какие принципы, скрепляющие близкие по своему духу народы в целостность, были до коммунистического монстра. А принципы были просты, вспомнить их не трудно. Это старая триединая формула: самодержавие, православие, народность. Это формула политического, религиозного и этнического единства — формула православного славянского суперэтноса. При этом православие — не старое, мертвое, греческое. От Византии была взята только обрядовая форма. Это было русское православие. Самодержавие? Да, самодержавие органично сочеталось с принципом Русского Православия.

Была ли Русская империя унитарным государством? Исходно — нет. Единство православных славянских народов держалось на том, что был один законный Государь Великия, Малыя и Белыя Руси. И не важно, где могла бы быть столица этой Великия, Белыя и Малыя — в Минске, в Киеае или в Константинополе, как мечтал Дрстоевск4й, или в Петербурге. В общем-то это не имело значения. Главное то, что было

политическим ядром такого объединения, — один законный государь, стоящий во главе семьи родственных самобытных народов, близких по духу этносов и субэтносов (казаки, например). Вокруг здоровой семьи может группироваться масса приятелей, просто нужных людей и прихлебателей, они могут меняться...

Конечно, со временем Россия вобрала в себя слишком много элементов, чуждых ее внутрисемейному этническому принципу — принципу единого суперэтноса с общей системой нравственных ценностей. Дело не только в мусульманах. Славянофилы в свое время доказывали, что присоединение Польши к России — только во вред. Большинство славянофилов выступало против включения Польши в империю. Понятно почему. Поляки тоже славяне, но у них совершенно другой культурный принцип — католический, западный. И действительно, это оказалось России во вред. Славянофилы не возражали против включения народов Прибалтики, хотя это и был совершенно чуждый «этнический материал». Совершенно ясно, что прибалтийские народы тяготеют к западноевропейскому суперэтносу. Но тут был чисто прагматический мотив—некуда деваться. Кроме забот о сохранении органичного единства, нужно было еще и торговать. Кстати, эта проблема и сейчас перед нами встанет, она уже встает. Уже сейчас за использование балтийских портов заламывают такие цены, что возникает необходимость постройки нефтяных терминалов в Питере. И в какую копеечку это влетит. Нам опять захлопнули «окно в Европу».

Но все это побочные вещи. Подытожу я так. Да, я могу честно и открыто сказать: я империалист. Но восстановления империи на большевистских тоталитарных началах, как она существовала последние 70 лет, хочу ли? Этого я не хочу. Верую в возрождение — в воскресение после Голгофы государства Российского. А это было объединение многообразных живых народов, общин, конфессий — принцип органической многослойности. Как выражался Константин Леонтьев,— дифференциация в единстве.

Сейчас идет процесс реакции и отторжения. Процесс испарения того «клея», которым была скреплена серая тоталитарная социальность, подавившая все живое своеобразие. Когда этот ядовитый «клей» будет стерт, начнутся интеграционные процессы. Сегодня, глядя на Украину, в это трудно поверить. Но я и сам украинец. Не один полковник и целая дюжина сотников на Сечи были Бородвями. Ну и что? Да, я за самое полное и всестороннее возрождение малороссийской культуры. С ее говором, бытом, традициями — даже и с суевериями. Но с другой стороны: что такое украинская культура без органической связи с общероссийской? Ну, возьмите самый совершенный феномен этой культуры в наивысшем его литературном воплощении. Древнее «Слово о полку Игореве»? или Гоголя? — с его эпосом «Тарас Бульба», с «Вечерами на хуторе близ Диканьки». Но разве Гоголь не высочайшая вершина общерусской литературы?

Я, грешный, думаю, что как чисто эстетическое, как литературное явление Гоголь выше и Толстого, и Достоевского. Это высший феномен и русской, и украинской культуры одновременно. И такое понимание в украинцах тоже живет, и неистребимо, как и страсть к самостийности. Были вспышки самостийности в схожие времена. Был не только Богдан Хмельницкий, был на Украине и Мазепа, который, между прочим, опирался на некоторую реальность, которая позволяла ему заявлять: да пусть пропадут эти москали, особенно эти петровские москали. Кстати, Петр был немногим лучше Сталина. Это тоже ведь была революция своего рода, со всеми своими прелестями. Расчеты Мазепы строились на вроде бы массовых народных настроениях, ощущениях недовольства и гнева. А когда дошло до дела, кто из украинцев остался с Мазепой? Когда дело дошло до крови, когда Мазепа пошел на русских вместе со шведами? Очень сильно подвел шведов Мазепа, обманул Карла.

Я думаю, что переживем мы в очередной раз и эту смуту.

Да, страну сейчас лихорадит: началось отторжение страшной тоталитарной инфекции, что проявляется в форме всеобщего кризиса, в том числе и острейшей семейной ссоры, когда все разбегаются, стремясь обрести утраченную свою этническую идентификацию. На этом пожаре пытаются греть себе руки жулики, поворачивающие процесс в сторону политического национализма: лозунги космополитической демократизации как по команде сейчас заменяются лозунгами фашизации — тоже, по скрытой сути своей, космополитической.

Движение политического национализма, начавшееся с «парада суверенитетов», почти повсеместно возглавили переряженные люмпен-большевики. Но я надеюсь, что все это лишь пена, выброс шлака — лихорадочный выпот больной российской семьи. Чужеродный марксистский «клей», которым скрепили нас в «общность нового типа» (советский народ), разлагается и испаряется, распространяя зловоние. Он испарится... Ну что ж, будем искать живые скрепы в тысячелетних домашних своих традициях, прерванных катаклизмом 1917-го. Только не надо ориентироваться на заемные образцы.

Если выживем, нам придется найти свое направление между Востоком и Западом, соответствующее нашему духовному и геополитическому положению в мире. Это не западный индивидуализм, компенсированный принудительной социальностью,— не протестантский капитализм, перерастающий в атеизм и социализм. И, с другой стороны, не азиатский диктат архаических культов с монолитной общинностью, где индивид сам по себе ничто. Без опоры на религиозный культ нет культуры, но и опорные культы разные. Я думаю, мы в конце концов возродим православное веросознание и соответствующие ему формы общности и хозяйства. Это наш третий путь.





# БЕДА

## (ОБ УГРОЗЕ ГОЛОДА)

**М. СИЛЬВАНОВИЧ,**
зав. отделом газеты «Сельская жизнь»

## Голод запрограммирован?

Для многих людей, живущих за чертой бедности, голод уже стал реальностью. Однако этот голод пока не от ЗЕМЛИ — от ПОЛИТИКИ. Разница огромная. Поясню.

Пусть любой человек скажет мне, был ли он голоден году в 1987-м, 88-м и даже 90-м. Стеснен в выборе продуктов — да. Стоял в очередях — куда денешься. А жителям столичных городов, в частности Москвы и Ленинграда, жаловаться на то время вообще грех. Теперь сравните тот прилавок и еще не забытый осенне-зимний сезон 1991 года (о нынешнем пока не говорим, о нем речь особая). Намного стало хуже? Вот именно: не то что намного, а неузнаваемо.

Но знаете ли вы, что если исходить из полученного в прошлом году колхозами и совхозами России урожая и количества молока и мяса, то оскудеть наши меню должны были на пять, от силы на пятнадцать процентов. Зерна — по России — произвели лишь на четыре процента меньше, чем в среднем за год в предыдущей пятилетке. По производству мяса и молока тоже спустились только на четыре процента. Чуть покруче «спуск» по картофелю и овощам — десять—пятнадцать процентов. Вот это незначительное снижение я характеризую двумя словами — от земли, хотя за то, что горожанам приспичило активно митинговать в ту самую пору, когда убирали картошку (так что помочь сельчанам было некому), вина частично ложится на политиков. Председатель Российского совета колхозов А. Е. Воронцов в интервью газете «Сельская жизнь» на вопрос: «Будет ли в 1992 году голодно?» — ответил: «Если голод кому-то нужен, то не составляет труда его сделать даже при достатке продовольствия».

Что это — абсурд? Или, может, болезненная подозрительность? Посмотрим.

Политические, вернее было бы сказать, идеологические соображения в стране все время господствуют над экономикой — начиная с коллективизации. Не исключение день нынешний с его лозунгом: назад к частнику.

На втором (внеочередном) Съезде народных депутатов России была принята очередная программа спасения деревни. Прекрасная, как сто других программ. Казалось бы, идея была здравой — равноправное сосуществование всех укладов экономики на селе — общественной, частной, кооперативной собственности. Провозглашалась земельная реформа, открывающая простор фермерству.

А дальше — два раза сменилось правительство, дважды перелицовывали Министерство сельского хозяйства. В действиях исполнительной власти стал четко прослеживаться курс на дискредитацию колхозов и совхозов. В частности, их взяли под кинжальный обстрел за якобы оказываемое противодействие развитию фермерства.

Между тем на начало 1991 года, по данным статистики, в России образовалось 4,4 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств, к 1 июля — уже 25 тысяч, к концу года — 50 тысяч, в марте 1992 года их было уже 75 тысяч с площадью 3,1 миллиона гектаров земли (в среднем по 41 гектару на хозяйство).

Для сравнения: в колхозах и совхозах посевные площади в 1991 году составляли 115 миллионов, по сравнению с 1980 годом они уменьшились на девять миллионов.

Через год после Съезда все его решения оказались сорваны. На строительно-

монтажные работы в агропромышленном комплексе полагалось выделить 45 миллиардов рублей, выделено 31 миллиард — 70 процентов. Обеспеченность строительства жилья бюджетным финансированием составила 22 процента, объектов соцбыта — 37, дорожного строительства — 67, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности — 76 процентов. Провалены планы по вводу квартир, школ, детсадов, газовых сетей, водопроводов и т. п.

Съезд решил выделять ежегодно 15 процентов от национального дохода как прямую государственную финансовую поддержку агропромышленному комплексу России, с учетом компенсации дополнительных затрат на покрытие разницы цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы. В 1991 году выделено только семь процентов и столько же намечено в 1992 году.

Обязались платить валютой за зерно, подсолнечник, сою, поставленные сверх продовольственного налога, — расчет произведен только за 612 тысяч тонн (оплачено менее половины продукции). Задолженность правительства составила по этой статье 150 миллионов рублей в свободно конвертируемой валюте. Кто-то, очевидно, считает, что лучше эти суммы направить за океан.

Казалось бы, хуже быть не может. Нет — самый сокрушительный удар по коллективным и государственным хозяйствам нанесли в декабре 1991 года. Президент и правительство издали пакет документов, согласно которым существованию колхозов и совхозов был определен всего двух-трехмесячный срок, после чего они должны превратиться в ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, в акционерные общества или быть проданными с молотка. Так власти решили зачеркнуть одним махом 60-летний период истории, на протяжении которого в селе — при колхозах и совхозах — родилось и выросло не одно поколение людей, обеспечивавших с/х продукцией всю страну.

Говорят, колхозы и совхозы не вписываются в рынок. Это очередной миф новых идеологов. У нас даже рынки исстари называются колхозными — значит, изначально закладывалась идея, что колхозы будут торговать и друг с другом, и с городом. Это после пошло, что их так обдирали почти за бесценок, что для базара у крестьян ничего не оставалось. Так создаются п о л и т и ч е с к и е предпосылки голода. И они рано или поздно переходят в материальные. В тот голод, который ОТ ЗЕМЛИ.

Разберемся. Фермерские хозяйства в прошлом году произвели менее одного процента всей сельскохозяйственной продукции. Причем значительную часть ее употребили на собственные нужды. Нетрудно предположить, что еще долго одинокий крестьянин будет пробиваться к рынку, о котором мы мечтаем. Ему еще надо обустроиться, а цены на все сейчас такие, что счет затрат пойдет на миллионы,— где он их возьмет? Ему нужна техника, а у нас в колхозах и совхозах сегодня на 100 гектаров пашни приходится в среднем один трактор. Застрельщики авральной фермеризации обещают помочь с техникой новым хозяевам, но статистика неумолима: на 100 хозяйств-единоличников приходится 48 тракторов, 17 грузовых машин, 20 плугов и 14 сеялок.

За январь — март (этот срок был определен для исполнения Указа президента РФ от 27.12.91 г. № 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы» и постановления правительства от 29 декабря 1991 года № 86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов», причем за нарушение срока определена административная и уголовная ответственность, налагаемая на виновных лиц, а ими в первую очередь должны были стать председатели колхозов и совхозов) была проведена реорганизация 3,3 тысячи хозяйств — 13 процентов. Из них почти 1 300 решениями своих коллективов попытались восстановить прежний статус: «Не хотим делиться, и все!». «Нет больше колхозов и совхозов»,— отвечали ходатаям в местных администрациях. «Как нет? — недоумевали колхозники и показывали решение общего собрания.— Не хотим капитализма».— «Захотите, времена поменялись...»

Так, или примерно так, разгорались споры на местах. 1 313 колхозов и совхозов зарегистрировались как полные и смешанные товарищества. Что это такое — сам черт не разберет. Около 280 объявили себя акционерными обществами. В крестьянские хозяйства реорганизованы 126 колхозов и совхозов, в сельхозкооперативы — около 100.

А где же остальные 87 процентов колхозов и совхозов? Сроки вышли... Российского крестьянина частенько подводит его консерватизм, но иногда он же его и выручает. В феврале на съезде колхозников делегаты припугнули правительство, что по причине насильственного земельного передела к нынешней посевной может оказаться 60 миллионов гектаров бесхозной земли. «Откуда?» — изумились на Старой площади (это раньше в бывшей цековской цитадели всё за всех знали, всё умели, и на испуг их взять было трудно, новые — изумляются).

А вот откуда. Земельный передел согласно постановлению правительства № 86 регулируется среднетерриториальными нормами паев, подлежащих бесплатной передаче в собственность крестьянина. Сумма паев составляет землепользование коллектива. Все, что имелось у прежнего колхоза, совхоза сверх бесплатной нормы, должно выкупаться этим же коллективом или отдельными его членами или передаваться в фонд перераспределения. А дальше... Цитирую постановление: «Невыкупленные участки земли и хозяйственные объекты продаются на аукционе жителям населенных пунктов на территории данного хозяйства, а по истечении трех месяцев — любым иным покупателям».

Все знают — село российское обезлюдело. Земельные наделы во многих регионах, особенно в Нечерноземье, в Сибири, превышают вновь установленные нормы. Грубо, приблизительно подсчитали, и получились те самые 60 миллионов гектаров. Это же половина всей посевной площади России. Ну кто их выкупит, чтоб нынче засеять?! Колхозы и совхозы худо-бедно брали с них мало-мальские урожаи. А фермеры — где они? Да и чем они эти миллионы поднимут, если бы даже по мановению волшебной палочки и появились? Пустыми останутся поля — так колхозники и заявили правительству.

И тогда 6 марта постановлением «О ходе и развитии аграрной реформы в Российской Федерации» № 138 отменяется поголовная, так сказать, приватизация собственности в колхозах и совхозах. Правительство в новом постановлении, в отличие от предыдущих документов, коллективам рентабельных колхозов и совхозов предоставило право сохранять прежние формы ведения хозяйств.

Власти сами признали, что правительство не в состоянии предусмотреть ситуацию хотя бы на полшага вперед, что сельскую экономику оно рассматривает как чистый лист бумаги, на котором пишет все что заблагорассудится в уютных столичных кабинетах. Не желая выглянуть в окно и посмотреть на жизнь, а тем более послушать и узнать, чего хочет и как хочет жить сам крестьянин. Ведь это факт: непродуманными решениями «команда Е. Гайдара» подвела традиционно спокойное и терпеливое село к социальному взрыву...

Казалось бы, справедливость восторжествовала. Однако внесенная поправка уже не может изменить общей картины запрограммированного разорения села.

Так называемая либерализация опасно увеличила разрыв цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию: на первую цены возросли в 30—50 раз, на вторую — в 5—7. За короткий срок в сельском хозяйстве не осталось почти ни одного вида продукции, производство которой могло бы дать прибыль. К тому же в результате упавшего спроса на продукты питания сократилась их реализация, многие мясокомбинаты и маслозаводы затоварены и не могут рассчитаться с товаропроизводителями за принятый скот, молоко. Посевную колхозы и совхозы встречали с уже израсходованной прошлогодней прибылью и с пустыми счетами в банках.

Так будет голод или нет? А это — как «запрограммируют» политики...

---

Ф. МОРГУН

## Необходимы опыт и время

Теперь, когда продовольственная проблема взяла за горло почти всех трудящихся бывшего Советского Союза, многие ученые и новоявленные демократы из правительственных инстанций — в большинстве случаев как раз те, что писали крупные научные труды о преимуществах социалистического сельского хозяйства,— перекрасились на ходу и так же ловко и «аргументированно» призывают разогнать колхозы и совхозы, немедленно провести широкую кампанию фермеризации и раздела земли.

Я сам из крестьян. Хорошо помню не только место, где за хутором была отцовская десятина, но вид и состояние ее после трудов отца, матери. Помню любовь родителей к своей земле. До сих пор в моих ушах стон стариков, крики женщин и детей из безвинно раскулачиваемых и высылаемых на Соловки крестьянских семей. Наш хутор полностью уничтожен еще в 1935 году. Не осталось ни единой хаты.

Давно и твердо убежден, что коллективизация принесла крестьянам бывшего Советского Союза неисчислимые страдания, разруху и страшный голод в стране в 1933 году.

До войны я трудился в колхозе на разных рядовых работах, после окончания сельскохозяйственного института в 1949 году прошел путь от специалиста низового звена до руководителя хозяйства на Полтавщине, а затем руководил областным, краевым управлением сельского хозяйства на казахстанской целине.

Я знаю деревню и жизнь не понаслышке, мой опыт и знания позволяют, а совесть обязывает дать ответ на вопрос — что же делать?

Вот мой ответ: беречь, как зеницу ока, колхозы и совхозы, немедленно прекратить огульную необъективную критику руководителей и специалистов этих хозяйств. Моя позиция многим может показаться странной. В чем ее причины?

Накануне коллективизации в стране было несколько десятков миллионов личных крестьянских хозяйств с наделом в 3—5, реже 7—10 десятин. Далеко не в каждом дворе было рабочее тягло, но в большинстве крестьянских семей все-таки имелась лошадь или две, в некоторых пара волов. Коров не было только у самых бедных, и это были совсем обездоленные семьи. И на этом фоне объявляется и практически за год-два осуществляется массовая коллективизация, вернее, насильственный сгон многих десятков, а в большинстве случаев сотен мелких хозяйств в одно крупное.

При этом совершенно игнорировались законы экономики, попирался привычный уклад жизни.

Для нормального функционирования крупного коллективного хозяйства были

абсолютно необходимы помещения для скота, мастерские и кузницы для ремонта инвентаря, склады для семенного и продовольственного зерна, продовольствие для людей и корма для скота и, наконец, опытные кадры руководителей и специалистов. В большинстве из многих тысяч артелей ничего этого не было и близко. В результате буквально через год-два продовольственное зерно и фураж гнило и портилось в непригодных амбарах, скот массово погибал от бескормицы и отсутствия помещений, инвентарь не ремонтировался и выходил из строя.

Самые умные и работящие жители села хорошо видели, какими будут последствия навязываемой коллективизации и, естественно, высказывали свое мнение на сходках. Они-то и стали первыми жертвами репрессий и раскулачивания. Села и хутора быстро оказались без самых толковых и добросовестных тружеников. В результате тотального развала грянул повальный голод. А кто оказался в те страшные годы у руководства колхозов и местных сельских органов власти?

Однако за последние шестьдесят лет сменилось несколько поколений наших крестьян, не менее трех, и, несмотря на труднейшие условия жизни и работы, гораздо худшие, чем в городах, они перенесли неслыханные тяжести, устояли и во многих хозяйствах добились и хороших, и блестящих показателей.

Это оказалось возможным потому, что жизнь делала свой отбор, и у руля многих хозяйств стояли и стоят руководители, преданные крестьянству, земле и людям, работающим в деревне. Не побоюсь сказать, что часто это — лучшие люди деревни.

Несмотря на произвол властей, вмешательство вышестоящих дилетантов, отсутствие надлежащей материальной помощи государства, они спасали село и крестьян. Я хорошо знаю, что большинство сегодняшних председателей колхозов, директоров совхозов и специалистов — честные, добросовестные люди, знатоки сельской жизни, искренне любящие крестьян, готовые всегда помочь своим рабочим и колхозникам. Руководителем хозяйства избирается лучший специалист, самый уважаемый человек, который раньше всех поднимается и позже всех ложится отдыхать. Но вместо поддержки и уважения последнее время сплошь и рядом их оскорбляют и унижают, представляют мироедами. В одной газете пишут: «До тех пор, пока существуют колхозы, народ будет голоден»; в другой: «Ликвидировать колхозы и совхозы» и т. д. и т. п.

И вот я хочу привести всего один пример. В Великобогачанском районе председатель колхоза Иван Константинович Шпырна поведал мне такую историю. На днях его посетило несколько семей из Костромской области — просятся на постоянную работу в колхоз. Приезжие люди рассказали, что они были колхозниками, но в прошлом году колхоз расформировали, поделили землю и артельное имущество между фермерами. На двор досталось по 7 гектаров пашни, а на семь дворов — по трактору и автомобилю. Уже в прошлом году поля оказались неухоженными, урожай на значительной части не убирался, коров порезали, много скота извели. Молодые фермеры, бывшие колхозники, сейчас разбредаются в поисках работы, а кто по возрасту или состоянию здоровья не может покинуть родные места, влачат жалкое существование и проклинают перестройку, ее лживых авторов и бездарных исполнителей.

Село обезлюдело давно. И не благоустроено не по вине тех, кто сегодня трудится в деревне. Многие беды и проблемы они получили в наследстве, а многие им продолжали и продолжают навязывать. Опираясь на догмы «научного социализма» и шаблон в практической деятельности, ведущие партийные и правительственные органы бывшего Советского Союза за последние 15—20 лет заставили местные органы выполнять предложения наших многочисленных академий, институтов и ученых, согласно которым:

— укрупнялись и разукрупнялись колхозы и совхозы;

— уничтожались сотни тысяч «неперспективных» сел, хуторов, крестьянских усадеб;

— возводились гигантские железобетонные животноводческие комплексы;

— тратились сотни миллиардов рублей на погибель Арала, засоление и заболачивание миллионов гектаров орошаемых земель в Средней Азии, в Поволжье, на юге Украины и на Северном Кавказе;

— долго недооценивался, а кое-где и до сих пор игнорируется мировой и отечественный опыт почвозащитного земледелия;

— на протяжении последних семи лет бесконечно реорганизовывались союзные, республиканские и низовые сельскохозяйственные органы.

Все эти и многочисленные другие кампании, некоторые из которых впору назвать преступными, средствами массовой информации выдавались как особо прогрессивные. Огромная служба пропаганды «научно обоснованно» доказывала, что делается это из высших, хорошо продуманных соображений. Многие верили, в тех, кто сомневался и возражал, жестоко критиковали, снимали с должностей.

Прошу вас вспомнить о массовых всесоюзных погромах (в течение 1982—1985 годов) крестьянских приусадебных хозяйств. Почему это происходило? Наши некоторые «авторитетные» псевдоученые и ретивые работники средств массовой информации внушали руководителям хозяйств, районов, областей, республик, руководству страны, что крепкий крестьянин, собирая на своих нескольких сотках обильный урожай овощей и фруктов или откармливая несколько голов свиней, овец и другого скота, наносит удар по общественному сектору, ослабляет колхозы и совхозы. В те годы безответственные, оторванные от жизни и действительности работники газет, журналов, радио и телевидения развязали кампанию беспощадной критики и травли ими же придуманного «частника», массово продававшего овощи и фрукты во всех городах страны, вплоть до самого Севера (Мурманск, Архангельск,



Воркута, Норильск) и Дальнего Востока. Кто же был этот «частник»? В большинстве случаев ветеран-фронтовик или ветеран-труженик, пенсионер, которому помогали родственники, работавшие отпускники, школьники и студенты. Но вместо того чтобы помочь колхозам, совхозам, государственной и кооперативной торговле наладить уборку, хранение, переработку, поставки потребителю и продажу и только таким образом потеснить свободный рынок и сбить цены, избрали другой, неразумный путь — избить частника, который мог бы стать опорой нынешних реформ. Я хорошо знаю, как в Средней Азии, Закавказье, Молдавии, на Северном Кавказе, в Поволжье и на моей родной Украине тракторами, бульдозерами, грузовиками, машинами-вездеходами уничтожали огороды, теплицы, крушили грядки с помидорами, огурцами, клубникой, фруктами. А пресса и телевидение кричали: ату его, частника! Ведущие союзные псевдоученые и псевдопланоаики писали целые трактаты в защиту колхозов и совхозов, обвиняли «частника», свои научные опусы носили к руководителям директивных органов и убеждали спасать «социализм». В результате появлялись постановления и решения высших партийных и правительственных инстанций, которые обязаны были выполнять местные партийные, советские, хозяйственные руководители. Именно эти последние и оказались сейчас в ответе и в «дураках».

Наши главные беды не в малых объемах производства сельскохозяйственных продуктов, а в чудовищных потерях при хранении, переработке, транспортировке, торговле. И это первая вина бывшего ЦК КПСС, союзного правительства и Госплана. Но сейчас, вместо того чтобы направить максимум средств и усилий на решение этих «узких мест», встали на путь уничтожения колхозов и совхозов.

Я тоже за то, чтобы развязать руки фермеру, арендатору. Поддержать не словом, а делом фермера и арендатора должен каждый, кому не безразлично, чем завтра будем кормить внуков и правнуков. Помочь кредитами, соответствующей техникой, стройматериалами. Однако убежден и в другом: пройдут годы и годы, наверняка — целые десятилетия, прежде чем наш фермер заявит о себе весомым товарным продуктом. Разве пройдешь экстерном тот многовековой путь, который обеспечил агрокультуру современного Запада? В стране сегодня ничего нет для нормальной работы фермеров, а засевать поле и кормить скот надо сегодня и завтра. Только слепой или недобросовестный может не видеть, с чем столкнемся, если немедля «разгоним колхозы и совхозы».

Это приведет к краху еще более страшному, нежели пережили в 1933-м, и потому не шельмовать колхозы и совхозы сейчас надо — поддерживать материально и морально так, как никогда раньше не делали. И на базе их постепенно возродить наше отечественное крестьянство. Сама жизнь подскажет формы и время этого процесса. Но это должен быть путь хорошо продуманный, постепенный, спокойный и абсолютно добровольный. Для него необходимы опыт и время.

---

**А. АГАЛЬЦОВ (ОНЕГОВ),**
глава семейного крестьянского хозяйства,
член Союза писателей России,
член Высшего экологического совета России

## Нельзя обманывать

На мой взгляд, голод — это не значит, что человек не насыщается. Набить желудок и поесть — не одно и то же. Я считаю, что голод наступает тогда, когда люди не получают в должной мере того, что им необходимо для нормального физического и духовного развития. Вот когда дети не получают белковой пищи, дебилизируются вследствие этого, это уже голод, — это уже национальная трагедия.

После повышения цен в январе у меня состоялся разговор с врачом-гинекологом. Она мне сказала: «Мы теперь работаем по 14 часов в сутки, мы делаем аборты после повышения цен». И делают аборты, самое страшное, женщинам, состоящим в законном браке, которые собирались вроде бы рожать, иметь детей, но испугались того, что происходит, приходят и говорят: «Избавьте». В одной Москве в этом году родится меньше, чем умрет, многие родильные дома закрываются. Этот процесс вымирания начался не сегодня, но сегодняшнее повышение цен, беспредел в стране подхлестнул, с одной стороны, вымирание стариков, а с другой стороны — уменьшение рождаемости. Пора, я вас спрашиваю, бить тревогу или не пора бить тревогу? Я считаю, что пора. Уже сегодня нашим детям, роженицам и старикам недостает качественных продуктов. Лично я, скажем, могу ограничивать себя в еде и не считаю это трагедией. Но отказать в необходимом ребенку — это уже трагедия. И сегодня это явление вполне заурядное.

Опять же сошлюсь на личный опыт. Прихожу к своим друзьям, это молодые люди — одному 32, другому 34, авиационные инженеры, которые работают в промыш-

ленности, ставки соответственно где-то 300—400 рублей *. Я прихожу к ним: ребята, как вы живете, что это вы похудели? — думал, давно не видел, был в деревне. А глава семьи спокойно так отвечает: «А есть приходится значительно меньше». Да ведь у них двое детей — первый и второй класс. И они хорошо понимают, что отказать им в сливочном масле нельзя, они не хотят, чтобы их детишки были дураками. Теперь о деревне. Деревня — да, сыта. Но как сыта? Деревня подбирает сегодня последнее, потому что ничего не сделано, чтобы деревня дальше что-нибудь производила. Произошел просто обвал в сельской местности. Например, сегодня кубометр дров в Ярославской области отпускается лесхозами по 300 рублей. Для того чтобы прожить зимой, нужно минимум 10 кубов (это без скотины), значит, готовь 3 тысячи. Строиться невозможно, потому что цены дикие, перевозки дороги. Разгон колхозов и совхозов в самый канун посевной я вообще склонен рассматривать как запланированное преступление. Вот что сейчас делается по совхозам и колхозам. Никто не ругается, нет. Русский человек спокоен. Но никто ничего не делает. Каждый знает — у меня теленок есть, у меня поросенок есть, картошка есть — и я выживу. А там, в городах, пусть как сами знают. У всех опустились руки. И истоки этого, на мой взгляд, в 1990 году. Тогда я поехал брать землю в Ярославскую область и все видел своими глазами. На Ярославщине некому убирать картошку, а в Москве двухсоттысячные митинги: «Да здравствует Ельцин!». Картошку запахивали (сам я прожил первую зиму тем, что мы с сыном накопали 30 ведер картошки). Это привело к тому, что теперь не купить картошки даже на семена. Вот идешь от деревни к деревне — нет картошки. Дальше (не встречал эту цифру в официальной печати, но мне дважды повторяли эту цифру люди, занимающиеся сельским хозяйством профессионально): в 1991 году было запахано 25 млн. га зерновых в России. Давайте грубо обсчитаем. 10 центнеров помножим на 25 млн. гектаров зерновых, это выйдет, глядишь, те самые 25 млн. тонн зерна, которые Ельцин с протянутой рукой просил в Канаде. И вот, если это так, то нужно Горбачева, Ельцина, кого бы то ни было, выводить на лобное место и — чтобы они там стояли. Просто стояли: хочет народ их милует, хочет — не милует, но чтобы они посмотрели в глаза людям. Ну что это — глупость или измена? Нужно убирать — все митингуют, нужно сеять — все митингуют, вводят чеки-90 — народ обманывают. А ведь нужно, чтобы крестьянин верил власти. Я всегда привожу такой пример. Перед войной, в 1938 году, немцы заключили с бывшей буржуазной республикой Литвой договор на поставку гусей. Договор был подписан летом. Литовское правительство обратилось к своим крестьянам и сказало: «Нужны гуси, мы вам хорошо заплатим в 1939 г.». С каждым крестьянином был подписан договор-заказ. И в 1939 году к осени литовцы развели массу гусей. Когда я приехал в 1961 году в Литву в первый раз, о начале войны пожилые литовцы помнили только по тому, что было много гусей, война ведь их не коснулась впрямую. Где-то стреляли, где-то не стреляли. Но они помнят эту большую беду — везде кричала голодная птица, и они не знали, что с гусями делать. А что случилось? Немцы начинают в сентябре войну и разрывают договор. Вот эти вот гуси остаются у хозяев. И тогда правительство Литвы, которое прекрасно понимало, что нельзя обманывать хозяина, вменило в обязанность каждому государственному служащему, получающему зарплату от правительства, купить какое-то количество гусей. Вы много получаете — вам 10, кто-то поменьше — 5. Но гусей было очень много, и скоро вместо гусаков начали покупать справки — «такой-то купил столько-то». Но крестьянин — человек бесхитростный. Он брал деньги за справку как за живого гуся, брал самого гуся — и выбрасывал на улицу, чтобы меньше тратить на корм. Таким образом, вскоре стаи гусей ходили вдоль хуторов; литовцы до сих пор помнят эту беду.

У меня складывается последнее время впечатление, что нашим сельским хозяйством (да и всей страной, видимо) взялся управлять хорошо известный нам по нашей недавней истории тандем, состоящий из идеолога-космополита, совершенно не представляющего себе условий нашей жизни (а тем более жизни на земле), знающего только абстрактные схемы (модели) управления экономикой, и «комбедовца», национального кадра, которому и поручено быть главным рычагом в непосредственном управлении народом (то есть непосредственно общаться с народом-производителем, чтобы не возникало вопросов об иноземном засилии).

Этот самый нынешний «комбедовец» страдает (и страдает патологически) прежде всего нежеланием чему-либо учиться, что-либо узнать поглубже. Ему все постоянно ясно — ему дана власть, он обласкан, накормлен и помещен в теплое стойло, и он цепным псом хранит своих господ-благодетелей и отчаянно сторожит своих единородцев. Вот эти-то черты нашего нынешнего руководства: незнание элементарных основ российской жизни, поклонение абстрактным моделям управления, созданным где-то там, в «цивилизованных» странах — с одной стороны, и патологическая страсть быть для народа не поводырем, а пастухом с палкой, помноженная на неграмотность, граничащую с наследственным идиотизмом,— с другой, и заставляют порой зябко вздрагивать каждого человека, который хоть сколько-то знает свою страну, знает ее историю, знает жизнь за рубежами страны и откровенно обеспокоен судьбой народа, к которому он принадлежит.

Судите сами.. С января повышены закупочные цены на молоко. Шесть рублей да еще вроде бы с копейками за литр молока платит государство колхозу, рядом с которым я живу. Понятно, что новые закупочные цены — это одно из необходимых условий развития производства, но одного этого условия никак не достаточно для того, чтобы молока у нас стало больше. Для увеличения производства того же молока необходимы еще и условия, и усилия со стороны прежде всего правительства.

Увы! Ни высказывания нынешних высоких экономистов, ни экономическая политика правительства России, ни деяния и декларации тех народных депутатов, с которыми так или иначе приходится общаться, не вселяют надежд, что завтра-послезавтра мы действительно обеспечим страну сельскохозяйственной продукцией.

«Свободные цены и рынок все сделают за нас!» — лозунг этот всегда удобен, чтобы снять с себя какую-либо ответственность... Мне, например, так и не удалось убедить нашего местного народного депутата России, что ни свободные цены, ни рынок, ни тем более атака на нынешние общественные хозяйства не только не дадут стране много-много молока, но и лишат последнего продукта тех же детишек, больных и стариков. С комбедовским упрямством, как заведенный автомат, он твердил и твердил мне заученное где-то там, в Москве: рынок все исправит, все сделает.

Ну, ладно бы этот народный депутат, как в прежние времена, занимался только тем, что помогал своим избирателям устроить быт... Ан нет — он еще и активно руководит земельной реформой в своем избирательном округе... Честное слово, оценивать такое руководство просто страшно..

Судите сами... Чтобы получить в стране дополнительное молоко в 1993 году, надо было еще в 1991 году (летом, а то еще с весны, до сенокоса, перед заготовкой кормов на зиму) взять на учет всех появившихся на свет телочек. И сделать все, чтобы хозяева не забили их в начале зимы на мясо. Если телочек рождения 1991 года удалось бы сохранить, то к лету 1992 года поголовье крупного рогатого скота в стране возросло (и значительно). Но дополнительного молока в 1992 году еще не было бы. До молока телочки должны еще обгуляться — это летом 1992 года. Затем нетель должна девять месяцев носить в себе теленка, затем телиться, стать коровой, и только после этого новая корова даст молоко. Это будет уже весной-летом 1993 года...

А что происходит у нас?.. Телочками рождения 1991 года никто так и не озаботился. Все рьяно занимались политикой. Корма для них никто не заготавливал, никто никаких договоров с владельцами телочек не заключал, и телочки, способные уже в 1993 году обеспечить нас молоком, по первым морозцам были забиты на мясо. И теперь нам предоставлена возможность только мечтать о молоке, которое можно будет получить в лучшем случае в 1994 году. То есть мы сможем это молоко получить, если как следует озаботимся судьбой телочек, которые родятся в 1992 году, уже сегодня.

А это означает: заготовить для них грубые и сочные корма, снабдить их на зиму концентратами, заключить с хозяевами телочек гарантированный договор-заказ и пр. То есть организовать производство. А организация производства — это прежде всего обеспечение его материально и технически. И начинать надо не с повышения закупочных цен, а с вложения денег в производство, где желателен нам «взрыв» продукции... И потом, когда вокруг стреляют,— крестьянин не может работать.

Потеряли мы и вчерашнее молоко, после того как взвинтили цены в стране, ибо цены поднялись не только на молоко, но и на дрова, и на доски, и на кирпичи, и на горючее, и на технику. В этой ситуации любой умный производитель будет производить только то, что ему выгодно производить... А молоко — продукт трудоемкий, скоропортящийся, требующий четкой организации: ферма — завод — магазин. И если есть выбор: молоко или мясо, то ни одно хозяйство в нынешних условиях не выберет убыточное молочное производство. А если к тому же помнить, что свободные рыночные цены позволяют производителю устанавливать высокие цены на продукцию, то тут определенно уже наметилась тенденция: производить поменьше, но продавать подороже (как на Центральном рынке в Москве — все продавцы держат очень высокую цену, и попробуй скинь ее!).

Что же делать?..

Прежде всего страной (и прежде всего сельским хозяйством) должны руководить люди, которые знают страну, знают народ-производитель, знают законы нашего российского (русского) производства, и в первую очередь производства сельскохозяйственного. А законы эти в части «взрыва» сельскохозяйственного производства таковы, что они требуют обязательного наличия четырех необходимейших условий:

1) наличие производителя, способного качественно производить тот или иной продукт;

2) наличие организованного производства (для того же сельскохозяйственного животноводства: корма, пастбища, помещения, техника, хранение, транспортировка и т. д.);

3) наличие племенного материала (если нет племенного скота, не будет и прироста поголовья);

4) наличие гарантированного договора-заказа с производителем.

Только при строгом соблюдении всех четырех условий можно планировать «взрыв» той или иной отрасли сельскохозяйственного производства. И здесь уже толчком для «взрыва» становятся высокие закупочные цены (и то в нашей сегодняшней обстановке сами цены — деньги — еще не явятся рычагом, включающим производство; эти деньги должны быть обеспечены материально).

Исходя из сказанного, можно очень просто подсчитать: когда, через сколько лет и что мы можем получить от сельского хозяйства и какие предварительные затраты тут необходимы...

Сегодня вопрос стоит так: если мы разгоним все колхозы-совхозы, если раздадим всю землю (при условии, что землю не скупят новоявленные миллионеры) крестьянам, то быть крепкими земледержателями они, в своей массе, неспособны. Они способны только осуществить технологиче-

* Ставки на конец 1991 г.

ский цикл на своем приусадебном участке. Может быть, они будут способны держать вместо одного поросеночка трех, вместо одного теленка — двух, но они не в состоянии накормить город. Я уж опускаю такие детали, что по трактору всем не приходится, по комбайну — тем более. Люди наши, с одной стороны, потеряли многие крестьянские, исконные навыки. Да так, что мне, в недавнем прошлом городскому человеку, приходится разъяснять им, почему у них картошка вся больная, почему необходима смена культур, учет плодородия почв. А с другой стороны, новое поколение — это вообще механизаторы, не понимающие в земле ничего. Сегодня все они держатся за структуры общественного производства. Там есть агроном, который думает. Разве это не страшно: идет весенний сев, ты с механизаторами разговариваешь — что сеешь, как сеешь, а он не понимает, о чем идет речь. Они не знают, какое удобрение внесено, что такое кислотность,— все это знает лишь один агроном, который ходит и говорит: «Ваня там, Сима там, Коля там». Это тоже проблема. По этой, дебильной, технологии только и может трудиться средний советский (русский — язык не поворачивается) крестьянин. И как только он выпадает из нее — начинаются проблемы.

В заключение я бы хотел сказать еще об одной беде. Сегодня в деревне, на земле остались только те, кто не имел сил, возможности, средств убежать. Остались зачастую самые больные и хилые. В городах проживает 70 процентов русских. Русских можно найти везде — в Молдавии, в Прибалтике, в Узбекистане, но только не в русской деревне. Поэтому мне кажется, что если русские не вернутся теперь на землю, в семье «мертвых языков» может вполне реально стать одним — русским — больше.

---

**Е. ТРОИЦКИЙ,**
**председатель Ассоциации**
**по комплексному изучению русской нации,**
**доктор философских наук**

# Корыстные советчики

Вопрос о голоде имеет важные внешние, международные аспекты.

Иностранцы, побывавшие в старину на Руси, красноречиво рассказывали о невиданном изобилии высококачественных продуктов питания, в том числе пресноводной рыбы (белуги, осетрины, севрюги, стерляди), заготовляемых больших запасах икры. Самые лучшие меха — собольи, бобровые, куньи — Европа получала из России, где мясо часто продавалось без веса — просто «на глаз».

Одной из главных предпосылок такого изобилия была экономическая независимость Родины. И лучшие русские умы — писатели, ученые, государственные деятели — призывали беречь свободу Отечества как зеницу ока. К. П. Победоносцев в письмах к Александру III предупреждал об опасностях искусственного занижения ценности наших денег под давлением извне, и особенно о быстро назревавшей угрозе установления контроля американского капитала над хлебной торговлей России.

Такая зависимость была практически невозможна до 1917 г., когда Россия снабжала своим хлебом многие страны. Разрушительный вихрь, пронесшийся над Отечеством в XX веке, круто изменил ситуацию. Уже несколько десятилетий наша страна закупает в США и Канаде большое количество зерна, в то время как российские аграрии остаются без должного финансирования, без необходимого снабжения техникой, горючим, запасными частями, что мешает накормить страну своим продовольствием. Американские фермеры щедро финансируются нашими закупками и имеют выгодную возможность сбывать в России излишки своей продукции. За тонну прошлогоднего американского зерна Советское государство платило в 1990 г. 200 инвалютных рублей, а нашим земледельцам за тонну отличной кубанской пшеницы — около 49 рублей!

Многие эксперты из стран «третьего мира» считают, что манипуляции на голоде — это одни из главных компонентов неоколониалистской политики. Шумиха вокруг помощи поднимается большая, а ситуация с продовольствием в развивающихся странах становится все хуже.

Опыт последних лет убедительно показал, что державы Запада отнюдь не собираются содействовать превращению нашей страны в равного с собой партнера по уровню научно-технического прогресса и благосостояния людей, а скорее отводят России место для пополнения многочисленной когорты зависимых стран «третьего мира».

Финансовая задолженность Советского Союза за 1985—1991 гг. возросла с 20 до 81 млрд. долларов (по данным радио «Россия», приведенным 11 ноября 1991 г.). И здесь возникают контрастные сопоставления. Советский Союз обычно предоставлял развивающимся странам кредиты из 2,5 процента годовых. И я был просто шокирован сообщением в «Правде» от 2 июля 1990 г. о том, что ФРГ готовы выделить нам кредит в 5 млрд. марок под 9 процентов годовых. Известно ведь, какую роль сыграло правительство СССР в объединении Германии!

Нельзя не прислушаться к голосу тех, кто опасается увеличения финансовой задолженности, зависимости от иностранного капитала. К каким последствиям все это может привести, наглядно свидетельствуют примеры развития стран «третьего мира». В свое время было сказано немало слов о том, что кредиты Запада приведут Азию, Африку, Латинскую Америку к прогрессу. Позитивные сдвиги действительно есть, и кое-где значительные, однако внешний долг всех развивающихся стран, по некоторым оценкам, в 1989 г. приблизился к 1300 млрд. долларов по сравнению с 172,9 млрд. в 1975 г. и 8,7 млрд. долларов в 1955 году. Выплаты развивающихся стран по их внешнему долгу поглощают до 20—25 процентов экспортной выручки, а в некоторых государствах и того больше. Только выплаты по процентам латиноамериканскими странами с 1970 по 1986 год возросли в 30 раз: с 770 миллионов до почти 22,2 миллиарда долларов.

По словам журнала английских деловых кругов «Экономист», «сегодня давать в долг экономически менее развитым странам стало для банкиров очень прибыльным делом». При этом Западом преследуются и корыстные стратегические, геополитические цели. Как признавал в свое время бывший министр обороны США К. Уайнбергер, сама программа их «помощи» составляется так, чтобы содействовать «достижению целей американской внешней и оборонной политики». Содиректора американского Института продовольствия и политики развития (г. Сан-Франциско) Ф. М. Лаппе и Дж. Коллинс писали, что главная цель продовольственной помощи США «никогда не состояла в том, чтобы накормить голодных». По прогнозам группы американских экспертов, занятых в различных ведомствах США, к началу XXI в. численность голодающих в развивающихся странах достигнет 1,3 млрд. человек.

Только прямые инвестиции государства Запада в развивающихся странах к середине 80-х годов превысили 100 миллиардов долларов. При этом под контролем иностранных монополий находится 40% промышленного производства и 50% промышленного экспорта этих государств. Экономические отношения империализма со странами Азии и Африки в основном носят неравноправный характер.

А как у нас обстоят дела?

Мне довелось много времени заниматься изучением «третьего мира» и политики Запада в нем. При сравнении ситуации там и здесь я пришел к выводу, что традиционные методы неоколониализма вовсю применяются и против нашей страны — будь то меры политической дестабилизации, широкомасштабной политики «разделяй и властвуй», предоставление кабальных займов, ставка на продажные компрадорские элементы местного общества, стремление превратить страну в источник сырья, свалку вреднейших промышленных отходов, рынок сбыта для залежалых товаров.

Некоторые иностранные, в том числе американские, советники и эксперты, работающие в правительственных структурах России, настоятельно призывают как можно быстрее ликвидировать, приватизировать колхозы и совхозы.

Колхозы и совхозы — практически главный конкурент американских аграриев в деле установления уже полного контроля США над хлебной торговлей страны.

Спрашивается: не здесь ли подоплека разрушительных рекомендаций некоторых иноземных экспертов?

Итак, без обеспечения экономической независимости России проблему спасения народа от голода нам не решить.



## ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

*Геополитика*

ИГОРЬ АРТЕМОВ

# РОССИЯ И СРЕДНЯЯ АЗИЯ

Российское государство испокон веков было «мостом», через который осуществлялись связи Европы с Азией. Вполне естественно, что в восточной политике России важное место занимает мусульманский мир. Несмотря на игры политиков в СНГ и «суверенитеты», территория — геополитическое пространство Российской империи — СССР, является, по сути, единой страной, включающей в себя регионы с преобладающим или многочисленным мусульманским населением: Северный Кавказ, Азербайджан, Средняя Азия, некоторые районы Поволжья, Южного Урала, Сибири. Бо́льшая часть «советских» мусульман принадлежит к народам, исповедующим ислам суннитского толка (около 59 200 000 чел.); азербайджанцы, персы и курды — шииты (около 7 350 000 чел.), по расчетам на август 1991 года. Всего же в мире суннитов 1 190 000 000 человек, шиитов — 140 000 000 человек, то есть едва ли не каждый пятый житель Земли близок к мусульманской традиции.

### НЕМНОГО ИСТОРИИ

В XIX столетии границы России вплотную подошли к Средней Азии. В России земли эти получили наименование Туркестанского края. В середине XIX века здесь существовали три самостоятельных политических образования: Хивинское, Бухарское и Кокандское ханства. Уровень их социально-экономического и политического развития был очень невысок. Ханства не имели национальных границ. Интересы родовых и племенных групп ставились выше этнических. Государственные перевороты были делом обычным. Границы часто менялись. Некоторые туркменские и казахские племена постоянно кочевали, становясь поочередно данниками то России, то Хивы, то Персии, а то и вовсе переставая подчиняться кому бы то ни было. В подобных условиях никакие договоры и межгосударственные соглашения не могли иметь и не имели гарантий их исполнения со стороны азиатских владетелей. Границы России проходили в 30—40-е гг. XIX века по Южному Казахстану и Оренбургским степям. Хивинцы и кокандцы регулярно нападали на русские владения, грабили и уводили в плен русских людей, которых продавали затем на невольничьих рынках в Хиве или Бухаре. По сведениям русских и британских источников, в 30—50-х годах прошлого столетия в одной только Хиве и окрестностях находилось по нескольку тысяч русских пленников.

Могло ли уважающее себя государство долго терпеть подобные бесчинства?

В 1860 году небольшой отряд подполковника Колпаковского (3 пехотные роты, 4 казачьи сотни, 6 орудий) в 50 верстах от Верного в урочище Узун-Агач нанес сокрушительное поражение 30-тысячной кокандской армии, шедшей войной на русские владения. Но враждебных действий своих кокандцы не прекратили. В 1863 году русскими войсками были взяты крепости Аулие-Ата и Чимкент, а 15 июня 1865 года пал Ташкент. В 1866 году были разгромлены вступившие в войну на стороне кокандцев войска эмира Бухарского. В 1868 году боевые действия возобновились: 2 июня 1868 года бухарцы потерпели сокрушительное поражение в битве при Зирабулакских высотах. Результатом победоносного движения русских войск был договор с Бухарой, по которому эмират признал свою вассальную зависимость от России.

Несмотря на поражение соседних государств, хивинские отряды продолжали нападать на русские владения. В 1873 году отряды русских войск с трех сторон вступили в пределы ханства (из Мангышлака, Оренбурга и Ташкента), была занята столица и крупнейшие города. Потеряв часть своих владений, Хива превратилась в вассальное от России государство.

Одновременно с этим русские войска продвигались в Среднюю Азию со стороны Каспийского моря. В 1869 году отрядом полковника Столетова на побережье Каспия у бухты Кызыл-Су был основан город Красноводск. В 1877—1878 гг. русскими войсками был занят городок Кызыл-Арват, основаны укрепления в Чате и Чикишляре, а 12 января 1881 года отряд генерала М. Д. Скобелева штурмом овладел главной крепостью туркмен-текинцев — Геок-Тепе. В 1884 году к России добровольно присоединились туркменские племена мервского оазиса, после чего присоединение Средней Азии считается в целом законченным.



### ЧУТЬ-ЧУТЬ ДЕМОГРАФИИ

Систематический учет населения Туркестанского края начали проводить с конца XIX века. Согласно переписи 1897 года, здесь проживало 8 181 000 человек, в 1914 году — 10 764 000 человек, включая население вассальных Хивы и Бухары. За период 1897—1914 годов население увеличилось на 2 583 000 человек, включая переселенцев из других частей государства. В эти годы (1897—1914 гг.) естественный прирост населения у русских в среднем по империи составил 48%, у среднеазиатских народностей — 16%.

После Октябрьского переворота антиславянская политика стала нормой для кремлевского руководства. Пик ее приходится на 20—30-е гг., когда десятки миллионов людей были уничтожены физически. Следующий удар по русскому населению нанесла 2-я мировая война. В 50—69-е годы политика явного (физического) геноцида славян сменилась тихим геноцидом. В ходе «победоносного развития социалистического общества» были целенаправленно подорваны материальные, социальные, психологические основы развития славянских народов, за счет которых при помощи дотаций, ценовой и демографической политики происходило и происходит развитие Средней Азии, Закавказья и некоторых других регионов страны. Следствием этого явился резкий спад рождаемости у русских, украинцев и белорусов, которые являются сегодня вымирающими нациями — в 1991 году смертность превышала рождаемость в Новгородской, Псковской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Ярославской, Тверской, Ростовской областях, на Кубани, всего на 27 территориях Российской Федерации.

С середины XX столетия среднеазиатские народы находятся в состоянии так называемого «демографического взрыва» — темпы прироста населения у них одни из самых высоких в мире. Русские же переживают явный демографический кризис, который уже обернулся быстрым старением нации и резким замедлением естественного прироста населения. Общая численность народов мусульманского происхождения составила в СССР к августу 1991 года около 66,4 млн. человек, то есть 23% населения страны. В 1913 году они составляли 11,2% населения России, а по прогнозу на 2050 год составят 42,43% (М. Бернштам. Сколько жить русскому народу. Журнал «Москва», 1990, № 1). В Средней Азии и Казахстане проживает около 41 200 000 мусульман — 62,5% от общего числа их в СССР.

Таким образом, доля мусульманских народов в составе населения СССР неуклонно возрастает, а доля русских, славян столь же неуклонно падает. Опыт мировой истории свидетельствует, что с ослаблением основного государственного этноса государство неизбежно рушится, а затем происходит ассимиляция или исчезновение самого народа (пример Рима, Византии, Персии).

### ДВА СЛОВА ОБ ИДЕОЛОГИИ

События, происходящие в мусульманских регионах СССР, необходимо рассматривать с точки зрения развития мусульманского мира в целом. Период 70—80-х гг. XX века многие западные исследователи склонны называть «мусульманским ренессансом», который выразился в укреплении экономических, политических и идеологических позиций мусульманских государств в мировом сообществе. Мусульманский мир находится на подъеме.

Рассмотрим некоторые аспекты идеологической доктрины панисламизма, разработанной в 60—80-е гг. такими крупнейшими теоретиками, как аятолла Хомейни, аль Банна, С. Кутб.

Политическая идеология панисламизма стремится к созданию теократического режима, способного подчинить себе законодательную, исполнительную и судебную власть в государстве. Форма правления занимает при этом вторичное место, главным требованием ко всей внутригосударственной жизни является следование предписаниям ислама.

Будущее мусульманского мира рассматривается идеологами панисламизма (крупнейшим из них был покойный лидер иранской революции Хомейни) через призму четырех последовательных этапов:

1. возвращение мусульманского духа;
2. создание национальных государств;
3. создание федеративного союза мусульманских республик;
4. всемирное мусульманское государство, ведущее священную войну с внешними врагами.

Одним из промежуточных этапов на пути создания всемирного мусульманского государства является образование федерации мусульманских республик в границах бывших союзных республик. Для осуществления этой цели признаются приемлемыми все средства, в том числе «джихад меча» — священная война с «неверными», и «исламская революция» наподобие иранской, ибо, по мнению мусульманских идеологов, только она является революцией «справедливой», все же прочие революции — «кровопролитные».

Уже сегодня в Средней Азии наряду с немногочисленной прослойкой европеизированных «западников» местных национальностей и сторонников цивилизованного сотрудничества с умеренными мусульманскими режимами (Турция, Саудовская Аравия) существуют влиятельные группы исламских фундаменталистов, ориентированных на исламо- и азиатоцентрические идеологии (панисламизм, пантюркизм, хомейнизм) и экстремистские политические силы (братья-мусульмане, афганские моджахеды). Их идеалом является воссоздание в Средней Азии духовного, а в благоприятной ситуации и политического центра мусульманского консерватизма, каковым в XVIII—XIX вв. являлась Бухара. Не исключается и возможность создания некоего супергосударства — «ВЕЛИКОГО ТУРАНА» от Анатолии до Алтая и Иссык-Куля, с выраженной исламистской идеологией, ориентацией на единство происхождения и тюркскую доминанту. Речь о его создании шла, в ча-

стности на тюркской ассамблеи 18—20 января 1992 г. в Алма-Ате.

При этом необходимо учитывать специфику постперестроечного процесса в Средней Азии, где Советская власть ни минуты не была похожей на то, что существовало в России. Советская система не смогла подорвать (или просто не задавалась целью) корни традиционного среднеазиатского общества. Коммунистическая идеология, наложившись на родоплеменные отношение в Туркестане, сделала местные властные структуры гораздо более гибкими и жизнедеятельными, чему служит подтверждением и положение дел (1987—1992 гг.). Политическую жизнь в Средней Азии сегодня необходимо рассматривать как отражение борьбы за власть между местными кланами (с родоплеменной доминантой в Туркмении и Киргизии, кланово-территориальной — в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане). Исход этой борьбы не везде и не во всем ясен, но не подлежит сомнению общий дрейф в сторону панисламистской и пантуранской идеологии.

Но одним «возрождением духа ислама» дело вряд ли ограничится. У современных исламистов отчетливо просматривается тенденция «движения на север». В качестве подготовительных шагов отметим активное образование в последние 2—3 года национальных политических культурных и религиозных центров на традиционно славянских землях, а также банковских и коммерческих структур с не просто азиатской, но подчеркнуто мусульманской ориентацией.

В качестве примера возможной идеологии, подкрепленной реальным капиталом и определенным влиянием, рассмотрим круг идей одного из мусульманских интеллектуалов «новой волны» — Гейдара Джемаля, члена координационного комитета Исламистской партии возрождения. В беседе с корреспондентом «Русского курьера» Максимом Мейером в январе 1992 года Джемаль, в частности, высказывает следующие соображения: люди, живущие в «этой части евразийского пространства» (то есть в России), «не будем себя обманывать, никогда не были и сейчас не являются христианами», это — «натуральные биологические шаманисты», доведенные «до нулевого состояния в обычных человеческих измерениях коммунистическим прессом». Отсюда единственный шанс выжить этим недочеловеком — принять ислам (беседа так и называется «Ислам — последний шанс России»). При этом «неизбежность исламизации значительной части русского народа существует». Таким образом, по Джемалю, в недалеком (и как можно более скором) будущем предстоит поспешная исламизация на «этой части евразийского пространства», ради обретения подлинной независимости.

### ВЫВОДЫ

Столетие тому назад наиболее дальновидные русские политики понимали, что геополитические выгоды, которые получила Россия с занятием Туркестанского края, могут со временем сойти на нет, а освоение края обойдется России очень дорого. Потенциально богатый людскими ресурсами, полезными ископаемыми и геополитическим положением на оси север—юг, среднеазиатский регион имеет мало шансов вступить в эти отношения на равных. На конец 1991 г. внешний долг Узбекистана оценивался в 3,3 млрд. долларов (397% годового экспорта), Казахстана — 3,3 млрд (663%), Таджикистана — 1,4 млрд. (583%), Киргизии — 0,74 млрд. (1233%), Туркмении — 0,62 млрд. (310%) («Деловой мир», 3.01. 1992 г.).

Решение любых социальных и экономических проблем Средней Азии затруднено лавинообразным ростом численности населения — 3,3—3,5 процента в год, в результате которого его удвоение происходит в течение 23—25 лет, при отсутствии механизмов демографической саморегуляции. Жизненные пространства Средней Азии ограничены значительными пустынными и высокогорными массивами, поэтому дальнейшее развитие «демографической революции» может привести на рубеже XX и XXI веков к борьбе за перераспределение сфер национального влияния внутри региона и к экспансии вовне, где единственный возможный вектор движения направлен на север.

В 70—80-х годах нашего столетия аналогичная ситуация сложилась на Северном Кавказе. В результате Россия имеет сегодня на своей территории сеть хорошо организованных мафиозных кланов кавказского происхождения, способных влиять не только на криминогенную, но и на политическую ситуацию. Между тем население Туркестана, не менее северокавказского способное к клановой самоорганизации, значительно превосходит последнее по массе. Несмотря на то что социальные и этнопсихологические характеристики тюрко-таджикского населения мало соответствуют условиям жизни на славянском севере, экспансия может стать результатом борьбы за выживание, в которой традиционные общества, при прочих равных условиях, имеют больше шансов на успех.

Данные переписей населения говорят о том, что отток славянского населения из Средней Азии начался еще в «благополучные» 70-е годы. За 10 лет между переписями 1979 и 1989 гг. из Средней Азии выехало на 850 тыс. человек больше, чем прибыло в нее. В 1990—1992 годы миграционный поток русских из Туркестана возрос в несколько раз. Это приведет к дальнейшему ослаблению позиций среднеазиатской экономики в областях, определяющих научно-технический прогресс, и к уменьшению влияния стабилизирующих этнических групп.

Существование 5 независимых государств — центров власти при неустановившихся взаимоотношениях между ними ставит на повестку дня вопрос о региональном лидерстве, в котором наилучшие шансы у Узбекистана. Напомним, что до присоединения к России все центры власти Туркестанского края — Хива, Бухара, Коканд — находились на его территории. С другой стороны, побоища в Фергане, Баткене, Оше свидетельствуют о том, что перераспределение сфер влияния неизбежно будет сопровождаться межнациональной конфронтацией. Кроме того, ЦРУ США подтвердило факт передачи одной из среднеазиатских республик ядерных боеголовок Ирану.

Вышеизложенные обстоятельства убеждают:

**В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ У РОССИИ ОСНОВАННОЙ НА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ПЕРЕД СИЛАМИ РУССКОГО ДВИЖЕНИЯ ВСТАЕТ ЗАДАЧА ВЫРАБОТКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ В «ВОСТОЧНОМ ВОПРОСЕ» И РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ МЕР ПО СОЗДАНИЮ ВСЕСТОРОННЕЙ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.**

А пока, в качестве первоочередной задачи, Россия должна ясно заявить всем бывшим союзным республикам, что она берет на себя обязательство защищать честь и достоинство русских людей, где бы они ни проживали.



ШАМИЛЬ СУЛТАНОВ

# ДУХ ЕВРАЗИЙЦА

*«Мы веруем, ибо все от Бога и все — во имя Бога»*

*«Тропа наша называется Традицией»*

*«И свободе нашей покровительствует Мать-Земля»*

Двуглавый орел Российской империи достаточно зримо выражал основную геополитическую и геоисторическую сущность страны — ее глубинный евразийский характер. Россия и сформировалась как уникальная держава, скрепляющая срединную, центральную часть Евразии. Евразийская сущность нашей страны — это прежде всего реальная возможность метаисторического диалога между материалистическим, стремящимся к постоянной технологической экспансии в природу Западом и духовным, сохранившим воспоминания о великой гармонии с природой Востоком. Несмотря на, казалось бы, идеологический разрыв с Российской империей, Советский Союз геополитически стал естественным продолжением и развитием евразийского характера России.

В нашей истории есть весьма примечательная тенденция: доминирование в общественном и личностном сознании феномена государства (как политического, юридического, экономического факта) над всеми другими институтами общества. Этот парадокс, если это парадокс, объясняется тем, что в евразийском пространстве России никогда не было и не могло быть единого однородного общества. Страна изначально существовала и могла существовать только как многомерный мир, как система пульсирующих, накладывающихся друг на друга этнокультурных общностей. И эта же драматическая история доказала, что только умное и сильное государство может обеспечить гармоничность такой уникальной цивилизации.

Как евразийский историко-геополитический субъект наша страна определялась и определяется в пространстве границами Советского Союза. В этом смысле нынешняя Российская Федерация — это не историческая Россия. Если угодно, это всего лишь ущербная «малая Россия». После преднамеренного разрушения Советского Союза «малая Россия» также обречена на неминуемый раскол.

Атлантический крен Москвы в сторону Запада, предательство режима Горбачева—Ельцина по отношению к евразийским интересам не могли не привести к геополитическому кризису.

Случайно ли, что разрушается мощная евразийская держава на пороге нового, еще не известного, неожиданного периода в жизни человечества?.

Основные эпициклы в истории государств имеют стодвадцатилетнюю протяженность. В шестидесятые годы XIX века начался очередной такой этап. Отмена крепостничества в России (1861 г.), начало гражданской войны в США (1861 г.), революция Мэйдзи в Японии (1868 г.), объединение Германии (1871 г.), появление единого итальянского государства (1870 г.), разгром Франции (1871 г.) — в этих событиях был заложен образ грандиозного сценария, определившего в конечном счете развертывание всего исторического спектакля в последующие трагические десятилетия...

В середине 80-х годов XX века мир вступил в следующий эпицикл — раскололся Советский Союз, запылали затухшие, казалось, региональные конфликты, за несколько лет неожиданно и скоро изменилась геополитическая карта Европы, вновь на арену вышла объединенная Германия; выбрав новую экономическую стратегию, вперед быстро двинулся Китай...

Рассуждая в шпенглеровской парадигме, можно однозначно утверждать, что западная культура наконец-то переместилась в свою конечную фазу развития — фазу скоротечной глобальной потребительской цивилизации. Эта цивилизация, основанная на относительно дешевых энергоносителях и искусственной стимуляции массового потребления, не может просуществовать долго. Об этом предупреждали еще прогнозы Римского клуба 70-х годов. Поэтому либо эта декадентская, лицемерная и атеистическая по сути западная цивилизация приведет к глобальному апокалипсису, либо уступит место иному, альтернативному вектору развития, основанному на безусловном ограничении энергетического и материального потребления, принципиально ином отношении к духовному и сакральному творчеству, возвращении к архетипическим традициям человечества. Но столкновение между этими двумя тенденциями неизбежно. И в этом смысле раскол России, расщепление сердцевины Евра-

---

СУЛТАНОВ Шамиль Загитович родился в 1952 году. Окончил в 1976 году МГИМО. Кандидат исторических наук. Соавтор вышедшей в серии «ЖЗЛ» книги «Омар Хайям». Опубликовал монографии «Глобальная безопасность и региональные конфликты», «Проблемы региональной безопасности», а также свыше 80 статей по проблемам геополитики, истории, религии, общей теории систем. Живет в Москве.

ени должно хотя бы на время укрепить западную материалистическую цивилизацию — за счет сырьевых ресурсов Советского Союза...

Атлантический мир, несмотря на внешнюю демократическую оболочку, построен в виде жесткой корпоративно-иерархической структуры. На вершине пирамиды — Соединенные Штаты, контролирующие через финансовую систему и новейшие технологии всю глобальную неокапиталистическую систему. На втором уровне — шесть стран (ФРГ, Япония, Италия, Франция, Великобритания, Канада), которые вместе с США составляют ключевую управляющую «семерку» Запада. На третьем уровне — остальные развитые капиталистические страны, входящие в ОЭСР. На четвертом уровне — другие индустриальные страны. И так далее... На самой периферии находятся сырьевые источники всей этой системы. И здесь же должно располагаться большинство жестко контролируемых остатков нашей страны...

• • •

Однажды Сократ высказал одну весьма нетривиальную мысль — в каждом из нас скрыты как бы три человека: тот, каким его воспринимают другие люди; тот, каким он сам себя воспринимает; и тот, самый скрытый, мистический и реальный, который и есть на самом деле. Поэтому очень важно относиться к самому себе прежде всего как к великой загадке...

Каждый из нас сохраняет воспоминания о каких-то событиях. Проходят месяцы, годы, десятилетия, и из сотен когда-то, может быть, значимых и важных из них, там, в полыхающей вихрями памяти, остаются всего лишь некоторые. И вот они-то, эти странным образом сохранившиеся картины, постепенно и хаотически созидают ту особую реальность, где и можно случайно столкнуться с тенью собственного, истинного «я».

...Я, или ты, или он — мы не властны по-настоящему над памятью: мы не знаем, почему она, эта память, так избирательна. Почему она сохраняет именно эти образы? Почему они соединены друг с другом именно так? О чем они в конечном счете возвещают, эти мерцающие следы моего неизвестного прошлого? Я родом из неизвестного детства?..

Июль. Пока еще прохладное раннее утро. Мне пять лет, в руках заранее обструганная палка, и я чувствую, я ощущаю манящую сладость пути. Без разрешения родителей мы, вчетвером, уходим в давно задуманное путешествие.

В пятнадцати километрах от города, в каменистых предгорьях Памира, возвышается наша цель — телебашня. За ней таится совершенно другой, незнакомый мир — мир великих и прекрасных снежных вершин, никем из нас не виданные гнезда орлов...

Нас — четверо: Сережка Удачин (он умер через одиннадцать лет от ревматизма сердца). Витька-цыган. Валерка и я. Мои друзья на пару лет постарше.

К полудню мы все же добрались до цели. Мы устали, но держались, не подавая друг другу вида. Все сильнее мучила жажда. Утреннего волшебного настроения идти к вечным снегам уже не было. В свирепое и безжалостное чудовище превращалось среднеазиатское солнце.

В шестидесятиградусную жару хочется только одного — пить, пить, пить. Не сговариваясь, мы побрели назад.

Пыльная тропинка тянулась вдоль хлопкового поля. Вдруг нас неожиданно кто-то окликнул. У скромной чайханы в тощей рощице стоял дехканин средних лет, махая нам рукой. Сейчас я думаю, что он, вероятно, давно наблюдал за нами и догадывался, что кому-то из нас, а может и всем, очень несладко от летнего солнца.

Когда мы подошли, он с улыбкой произнес несколько фраз. Хотя мы мало что поняли, но о главном все же догадались — нам предлагали утолить жажду.

Мы сидели в прохладной тени, на потертом ковре, пили чай, ели сладкий виноград и горячие, только что из тандыра лепешки. Хозяин что-то пытался нам говорить, о чем-то расспрашивал, но мы не понимали его, не зная языка того народа, на земле которого родились и жили.

Потом вразнобой негромко пробормотали «спасибо» и ушли из этого двора, не оглядываясь.

...Почему же это воспоминание так цепко держит, не отпускает меня? Все новые и новые попытки объяснения этого случая всплывают сами собой на поверхность моего расщепленного сознания.

Мы даже не поблагодарили этого человека...

И даже не поняли его, — но он говорил на своем родном, узбекском языке...

• • •

...В узбекском языке есть слово «одамгарчилик». Формально оно означает не что иное, как гуманизм, гуманное отношение к человеку. Но вот тут и скрывается некое очень существенное различие между Востоком и Западом. «Одамгарчилик» — это не холодные, всеобъемлющие принципы грандиозного вселенского гуманизма. Это прежде всего со-чувствие, со-страдание, со-действие, симпатии по отношению к конкретному, реальному, живому, ближнему, соседу. «Одамгарчилик» — это такое гуманное, человеческое отношение к другому, которое ощущаешь как важнейшую, неотъемлемую часть себя, своего космоса, своей истории...

• • •

Империя — понятие прежде всего геополитическое и метафизическое. Соответственно мистическая жизнь империй обусловлена также геополитическими и духовными императивами. Если бы Россия не присоединила к себе Среднюю Азию, то последняя в XIX веке неминуемо попала бы в сферу влияния Великобритании. В конце концов историю можно интерпретировать и как вечную борьбу империй, в результате которой какие-то из них становятся еще более могущественными, но за счет своих менее удачливых соперников.

После присоединения были, конечно, и выступления местных народов (знаменитое Андижанское восстание). Но все же достаточно быстро был найден устраивающий основных участников модус вивенди: Петербург не вмешивался в традиционное исламское общество, а местные верхи стали постепенно обустраиваться в политическую и экономическую систему России.

После Октябрьской революции в этом регионе возникло резкое напряжение. Красная Москва, сметая глубинные национальные и религиозные традиции среднеазиатских народов, принялась делить этот регион на «советские республики». (Никаких предпосылок для этого, казалось, не было. В большинстве этих аграрных районов руководили местные Советы, куда входили обязательно — а иногда и только — два человека: командир красноармейского отряда, разместившегося неподалеку, и местный мулла.) Разгром большевиками традиционной местной элиты сопровождался грабежами и массовым насилием над населением. Политической и социальной реакцией на большевистскую идеологию и практику стала история басмачества — история довольно длительного сопротивления (в некоторых районах оно продолжалось до середины тридцатых годов) под исламскими знаменами.

В исламе существует два основных направления: суннизм и шиизм. Абсолютное большинство местных жителей Средней Азии — мусульмане-сунниты. Это очень важно подчеркнуть, иначе многое впоследствии становится непонятным. Для суннитов любая власть является определенным испытанием от Бога. Даже если неизвестны и непонятны глубинные цели этого испытания. Отсюда и определенное, заложенное генетически, фаталистическое и одновременно релятивистское восприятие реальности, выражаемое в формулах «Аллаху акбар» («Только Аллах величайший») и «Аллаху ариф» («Только Аллах всезнающий»).

В 20—30-е годы были разрушены тысячи мечетей, уничтожены тысячи людей — носителей исламской традиции, сожжены десятки тысяч священных текстов, местные языки переведены с арабского алфавита на кириллицу. Все делалось для того, чтобы люди забыли о своем прошлом, — и тем не менее даже такое государство в конце концов приобрело легитимность, было принято терпеливыми среднеазиатскими народами.

• • •

В 1991 году население Советского Союза достигло 290 млн. человек, в РСФСР — 148,5 млн. чел., в республиках Средней Азии и Казахстане — 51 млн. человек.

Государства среднеазиатского региона принадлежат к наиболее бедным республикам Советского Союза. Например, уровень потребления на душу населения составлял в конце 1991 года: в Казахстане — около 75% от среднесоюзного уровня, в Туркмении — 65%, в Кыргызстане — 55%, в Узбекистане — 50%, в Таджикистане — приблизительно 45%.

Объем межреспубликанской торговли (оборот) по отношению к республиканскому производству составил: для Туркмении — около 75%, Таджикистана — 50%, Кыргызстана — 45%, Узбекистана — 40%, Казахстана — 30%, РСФСР — около 15%.

• • •

Важнейшее направление идеологического наступления Запада против евразийской традиции России связано с формированием и распространением специфического мифа об угрозе «мусульманского фундаментализма». Основная задача заключается в инициировании долгосрочной конфронтации между двумя основными конфессиями нашей страны — православием и исламом.

Да, ислам сегодня на подъеме, и не только как религиозная система, но и как стиль жизни, как социальное и политическое действие. Ислам — это монотеистическая религия, тотальная в своей интегральности, однозначно отвергающая дуализм «Богу — богово, кесарю — кесарево». Именно поэтому ислам сегодня представляет основную угрозу двуличному, потребительскому Западу.

Но ислам принципиально не приемлет религиозного насилия. Пророк Мухаммад — мир ему! — сказал: «Нет принуждения в религии!» Настаивая на возвращении к духовным истокам, к традиции, к сакральным тайнам, мусульманский фундаментализм отвергает какую-либо возможность конфессионального насилия.

Западные идеологи доказывают, в частности, так называемую угрозу со стороны «мусульманского фундаментализма» наличием в исламе концепции «джихада» — «священной войны». Однако эта концепция прежде всего предполагает два вектора — «большой джихад» и «малый джихад». «Большой джихад» — это борьба мусульманина со своим внутренним несовершенством, своими внутренними недостатками на духовном пути к всемогущему Аллаху. «Малый джихад» — это борьба внешняя, борьба с врагами ислама...

В социальных доктринах ислама и православия есть один очень важный общий пункт — принцип соборности (умма — в концепциях ислама) — приоритет духовной общности людей в социальном взаимодействии над их экономическими, классовыми, групповыми различиями. Здесь проходит основной водораздел между евразийским принципом доминанты социальной справедливости и западной идеей приоритета «прав личности».

• • •

Когда в тяжелые двадцатые и тридцатые годы в Центральной России наступал голод, начиналось массовое «раскулачивание» беззащитных крестьян, десят-

ки тысяч гонимых людей устремлялись в благодатные оазисы среднеазиатских республик. После начала Великой Отечественной войны уже миллионы беженцев нашли здесь свое убежище. Конечно, было несытно, но все же с голоду умирали редко. Благодатная земля Бактрии и Согдианы и труд здешних дехкан, потомков Бабура, давали людям возможность избежать массового голода.

...В Ташкенте жила обычная узбекская семья Шомахмудовых. Глава семьи работал на кузнице, а его жена хлопотала с утра до вечера по дому. Было у них шестеро детей, и один из них был на фронте.

Однажды отец, глава семейства, вернулся домой не один, а с белобрысым, с голодными глазами мальчиком лет семи. Звали его Федором, был он сиротой, привезли его с детским домом откуда-то с Рязанщины. Как и зачем ушел из своего детского дома, он упорно не рассказывал.

Эркин Шомахмудов встретил его, просящего милостыню, недалеко от базара. Он подошел к мальчику, улыбнулся и на ломаном русском языке позвал с собой.

Мальчик жадно поел и здесь же, у стола, сидя, заснул. Глава большой семьи знал, что делать, но ждал, что скажет жена. Она попросила — во имя Аллаха милосердного, милостивого — оставить мальчика: «В эти неспокойные и голодные времена он пропадет. — И добавила: — Бог всемогущий нас не оставит: там, где пятеро, там проживет и шестой». Так вот и остался рязанский мальчик Федя в узбекской семье Шомахмудовых.

Немцы продолжали наступать, прибывали в Ташкент все новые эшелоны с беженцами. И появились в семье Шомахмудовых Сережа из Ленинграда, украинец Миша, азербайджанец Резо, белоруска Клава, грузин Тенгиз... Четырнадцать разных по национальности детей, помимо своих, жили в семье Шомахмудовых. Чтобы всех их прокормить, Эркин почти уже и не выходил из кузницы, а мать все время хлопотала на своем участке. И все же выжили.

После войны у троих приемных детей нашлись родители, остальные так и остались в этой удивительной узбекской семье. Потом дети выросли, встали на ноги, получили образование и разъехались по всей стране.

...Зимой 1962 года умирал Эркин Шомахмудов. Он рано постарел, ссохся, с посвистом, надрывно, кашлял. Он лежал почти совсем слепой и не видел, что вокруг постели собрались его дети, приехавшие к своему отцу со всех концов Союза.

* * *

Станет ли вновь на ноги наша великая страна? Это зависит не столько от конституций, политических программ, экономических проектов, сколько от стратегического подхода к проблеме сохранения исторического славяно-тюркского союза. Если этот альянс, формировавшийся столетиями, будет расколот «благодаря» усилиям наших «демократов», то страна окончательно перестанет существовать.

Именно славяно-тюркский диалог и создал в истории то реальное евразийское культурно-цивилизационное пространство, позволявшее соединять невидимыми энергетическими нитями Европу с Китаем, Индией, Персией.

* * *

Однажды мой знакомый — хороший русский поэт — убеждал меня, что в самой России так, мол, бедно потому, что всё отдавалось в виде интернациональной помощи или интернационального содействия национальным республикам.

— Посмотри на наши дороги, — горячился он, — и сравни их с дорогами в том же Таджикистане...

— В действительности, дороги хреновые и здесь, и там, ибо строились по одной технологии, «экономной». Ведь «подушка» для асфальтового покрытия должна быть не менее 60—80 сантиметров, а у нас в лучшем случае 20—25 сантиметров, а чаще и того нет. Вот потому-то и «ползут» дороги. Но в Средней Азии последствия нарушения технологии дорожного строительства не так заметны, поскольку нет такой влажности и морозов, как в центральной части страны.

— И все равно, люди в Средней Азии живут богаче и сытнее, чем россияне. Ведь все время туда шли дотации.

— И опять-таки как посмотреть на это. Страна, начиная с 50-х годов, все более стала нуждаться в хлопке. Ведь хлопок — это не только пряжа, не только растительное масло, — это еще свыше 30 видов продукции, в том числе и стратегической.

Еще пятнадцать лет назад за килограмм хлопка дехканину платили три-пять копеек, в то время как на мировом рынке этот же килограмм стоил полтора-два доллара. Сырьевая монокультура все сильнее стягивала социально-экономическую удавку на шее среднеазиатских республик. Из-за этого проклятья — хлопка — они перестали обеспечивать себя пшеницей, мясом. Отсюда и дотации из центра, связанные с растущими «ножницами цен». Хотя сейчас на мировом рынке за килограмм хлопка дают двадцать два килограмма пшеницы.

Стране нужен был хлопок, много хлопка, но жертвами становились люди этих республик — и местные, и русскоговорящие. Против них велась настоящая химическая война...

— Но это уж слишком...

— Нет, не слишком. Самые высокие союзные показатели заболеваемости и смертности от рака легких и желудка, туберкулеза и гепатита именно здесь, в республиках Средней Азии, где по-прежнему царит монокультура хлопка.

Использование так называемых высоких технологий производства хлопка привело к такой катастрофической химизации сельского хозяйства, что уже к середине семидесятых годов здешние древние, плодородные оазисы были отравлены на долгие годы вперед.

Земля и вода настолько пропитаны химическими продуктами, что когда-то знаменитые дыни и арбузы (которые в свое время даже вывозили в Индию) стало просто опасно есть — уже были массовые отравления и даже гибель людей.

Чем выше плотность населения, тем выше оказалась «эффективность» этой химической войны. В Андижанской области Узбекистана, откуда я родом, самый высокий процент умственно отсталых (от рождения) младенцев, с врожденными заболеваниями.

Еще недавно за летне-осенний сезон сельхозавиация несколько раз обильно опыляла химическими растворами хлопковые плантации. А поскольку скученность населенных пунктов — кишлаков, поселков — очень большая, то этот желтый ядовитый дождь покрывал всё и вся — хлопок, фруктовые сады, взрослых людей, младенцев в люльках...



Есть рассказ о трактористе-узбеке, который всю свою короткую жизнь проработал на специфическом механизме — «ОВХ-14», опыляя хлопковые поля (кое-где до сих пор таким образом «борются» за урожай). Этот человек в сорок лет уже выглядел дряхлым и беспомощным стариком. Все чаще ложился в больницы, где равнодушные врачи не могли или не хотели ставить точный диагноз. Он молча страдал и только иногда говорил соседям о сильных режущих болях в желудке, легких, печени... Наконец настал день, когда он уже просто не мог работать трактористом. Его отправили куда-то сторожем. Но странное дело: его постоянно тянуло на знакомую тракторную станцию, где там же разгружали и хранили бочки с этими химическими препаратами для опыления. Он был пропитан этими сладко-гнилостными запахами, был отравлен ими насквозь.

По ночам, тайком пробравшись к этим бочонкам, он садился рядом с ними и долго смотрел на равнодушное звездное небо. Через некоторое время ему становилось легче, пульсирующая боль отступала, и порой он даже тихо пел, изредка прерываясь кашлем.

Однажды утром его нашли мертвым с застывшей счастливой улыбкой на желтом, в язвах, лице.

* * *

Мудрые люди Востока знают преимущества сильного государства. И потому не Средняя Азия разрушила Советский Союз. Это сделали Ельцин и Кравчук. Нынешние руководители среднеазиатских республик до последнего сопротивлялись этой разрушительной тенденции. Вспомните, какую негативную оценку в Средней Азии получило беловежское соглашение о прекращении существования Советского Союза.

И когда уже безусловно стало ясно, что так называемое Содружество независимых государств (СНГ) всего лишь ширма для окончательного уничтожения великого евразийского государства, очень скоро на поверхность выплеснулись процессы, которые и следовало ожидать. Почувствовав, что геостратегический баланс сил начинает радикально изменяться, нынешние политические истеблишменты Туркмении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана стали активно искать партнеров для восстановления геополитического равновесия. Узбекистан, Таджикистан и Казахстан были приняты в организацию Исламский конгресс. Потенциальный экономический и политический лидер Средней Азии — Узбекистан пошел на резкое сближение с Турцией. Президент Ислам Каримов заявил, что в новых условиях «Узбекистан выбирает турецкий путь развития». Туркмения, Таджикистан и Узбекистан вступили в качестве полноправных членов в Организацию экономического сотрудничества (объединяющую Турцию, Иран, Пакистан). Все активнее раздаются голоса в Южной Азии о создании трансазиатской железной дороги, которая соединила бы среднеазиатские республики с океанским портом Карачи в Пакистане.

На южных границах России все более явственно вызревают контуры новых геополитических альянсов. На базе ОЭС формируется крупная экономическая группировка, которая к началу XXI века будет насчитывать свыше 350 миллионов человек и обладать мощным политическим и экономическим потенциалом.

Среднеазиатские республики исключительно богаты полезными ископаемыми. Здесь есть крупные месторождения нефти, газа, золота, урана, цветных и редких металлов. Достаточно развитая сельскохозяйственная инфраструктура, транспортные линии, трудолюбивое население. Не случайно Турция, Иран, Пакистан, Китай, США рассматривают эти государства как потенциальную сферу своего экономического и политического влияния.

Время движется в эпициклах, и сегодня можно наблюдать любопытный процесс в международной сфере: словно из небытия, возвращаются традиционные геополитические архетипы, происходит своего рода возрождение внешнеполитического фундаментализма.

Незаметно, но верно всплывают на поверхность забытые, казалось, противоречия между Францией и Германией, и их уже начинают обсуждать как важный фактор будущей европейской политики. Вновь, в иных формах, возрождается австро-венгерское ядро в центре Европы; и снова Балканы превращаются в пороховой бочонок Старого света.

И здесь, в Азии, также пробуждаются к жизни феномены, которые, казалось, давно погребены Историей. Опять мерцает идея великой тюркской империи, только уже в экономическом обличье. Постепенно формируются предпосылки для воплощения великой идеи аятоллы Хомейни о создании всемирного мусульманского государства. Все сильнее звучит рефрен идеи «Великого Турана», объединяющего тюрков Евразии.

* * *

...История человечества — это история империй. Пока будет живо человечество, будут и империи.

Развитие — это реальная функция только тех геополитических субъектов, которые переходят определенную черту, за которой они начинают обладать необходимой социальной, экономической, интеллектуальной массой, необходимой для системного исторического прогресса. Ниже этой исторической черты страна бросает все свои природные и людские ресурсы на обеспечение безопасности. Развитие отходит на задний план.

Империи и есть такие крупные политико-тектонические глыбы, где реализуется идея развития. Причем совершенно неверно ассоциировать геополитическую империю только с вооруженной силой, вооруженным захватом, физическим объединением территории. Империя — это комплексная экспансия (культурная, военная, интеллектуальная, экономическая) некоего пассионарного ядра. При этом значение военных, культурных, экономических и других форм на разных стадиях различно.

Империи изменяются, меняют свои обличья, формы, но только в их рамках происходит безжалостная алхимия истории.

* * *

Баходыр Саидходжаев — мой друг. Я глубоко уважаю и ценю этого человека. Он представитель совершенно новой когорты узбекской интеллигенции. Такие люди несут в себе особую пассионарность нации.

Баходыр — традиционалист. Он предан своей земле, своему народу, его истории, его духовным историческим исканиям.

Баходыр — жесткий, умный, без сантиментов, политик. Он знает правила политической игры, у него четкая система ценностей и целей, есть опыт борьбы, поражений и побед.

Баходыр по сути своей евразиец новой модели. Как представитель континентального евразийского ядра, он заинтересован в сильной, динамичной государственности. Будет ли эта государственность в виде пантюркистской, персидской, советской или китайской модели, он будет тщательно и прагматически взвешивать. В 1991 году Ельцин его предал. В политике предательство не прощается. Но никаких эмоций. В конце концов новая советская империя как русско-тюркский симбиоз была бы для Баходыра предпочтительнее. Почему?

Здесь, в этом евразийском пространстве, многое для него известно: слабости и силы. Там, вовне, неопределенность, познание, новые неожиданные правила и схемы. Здесь один тип устоявшейся политической борьбы, там иной. Здесь баланс сил известен и понятен, там — иное.

Но когда ему в Москве говорят, что Россия обойдется без Средней Азии, он молча уходит. Он мудрый человек, и ему смешно смотреть на деревянных одноминутных болтливых дилетантов.

Россия не меньше нуждается в Средней Азии, чем Средняя Азия в России. Главный источник силы России всегда был в ее целостной разнородности. Становясь одномерной, Россия погибнет.

И Россия, и Средняя Азия находятся в таком геополитическом окружении, которое уважает в конечном счете только силу. Без этой силы сегодняшние друзья могут завтра оказаться злейшими врагами. Поэтому-то и подписали РФ и среднеазиатские республики в середине мая 1992 года договор о коллективной безопасности.

Экономически и Россия, и Средняя Азия пока не могут обходиться друг без друга. Такова история семидесяти лет. Если разрыв будет усиливаться между ними, то негативные последствия в ближайшие 2—3 года будут сильнее чувствоваться в среднеазиатских республиках, но через 5—7 лет уже в большей степени это скажется в Российской Федерации (если она все же сохранится).

* * *

Мы стоим в преддверии нового, опасного, конфликтного периода в глобальной истории. Меняется климат, и очень вероятно, что через 20—25 лет Санкт-Петербург будет затоплен, а основной житницей страны будут не изможденные от засухи черноземные области и края, а Сибирь. Истощается озоновый слой, — и скоро могут начаться странные, совершенно неожиданные миграции испуганных людей. Реальных запасов нефти остается человечеству на 30—40 лет. Загрязнение воздуха и воды осуществляется такими быстрыми темпами, что через 10—15 лет в крупнейших технополисах планеты на улицах можно будет находиться только в противогазах. И это отнюдь не все. Конкуренция за выживание будет усиливаться.

И мы должны быть сильными, ибо в этом мире по-прежнему правит принцип «горе слабому!». Но, с другой стороны, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Все течет...

Каким будет наше общество и государство через десять—пятнадцать лет? Вот кратко наиболее оптимистический (и, может быть, наиболее реалистический) сценарий.

Это государство будет как бы двухуровневым: на одном реализуется функция безопасности, на другом — функции развития.

Сохраняются единые требования к безопасности. Объединенная армия контролирует военно-стратегическое пространство, отвечая за территориальную целостность. В рамках единой доктрины национальной безопасности функционирует механизм согласования стратегических внешнеполитических приоритетов различных субъектов, составляющих это евразийское общество. Армия же является гарантом недопущения перерастания политических противоречий между ними в военную конфронтацию.

В социально-экономическом и культурном пространстве главную роль играют несколько региональных центров — Киев, Ленинград, Москва, Казань, Екатеринбург, Алма-Ата, Ташкент, Новосибирск и Владивосток. Региональные элиты несут ответственность за социально-экономическое развитие. Одновременно могут реализовываться несколько моделей развития: технологического, экологического, «нулевого роста» и т. д. Согласование социально-экономических стратегий происходит двумя способами. Во-первых, в рамках функционирования двухуровневой валютной системы (местная региональная валюта плюс валютная система для всей страны на базе, например, «золотого рубля»). И во-вторых, путем формирования региональными центрами некоего общерегионального центра с четко определенными координирующими функциями только в сфере экономического взаимодействия.

В рамках этого сценария только и возможно найти решение основного мучительного противоречия евразийского государства — сохранение жесткой централизации (в сфере безопасности) с развитием региональной самоидентификации в социально-экономической и национально-культурной сфере.





## *Отечественный архив*

### СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

# ОГОНЬ ПОД ПЕПЛОМ

### ДЕЛО «СИБИРСКОЙ БРИГАДЫ»

Поиски уголовных дел, заведенных ЧК — ОГПУ — НКВД на крестьянских поэтов, близких Есенину и есенинскому окружению, вывели меня к самому младшему наследнику есенинской традиции — Павлу Васильеву, и тут неожиданно на столе появилось дело № 577559, или так называемое «Дело Сибирской бригады».

В марте — апреле 1932 года в ближнем Подмосковье — в Кунцево, Салтыковке, Тайнинке — были арестованы шестеро молодых русских писателей: Николай Анов, Евгений Забелин, Леонид Мартынов, Сергей Марков, Павел Васильев и Лев Черноморцев. Все ордера были подписаны шефом тайной полиции Генрихом Ягодой, что уже свидетельствует о значительности проведенной акции. Это, пожалуй, было одно из самых крупных коллективных писательских дел задолго до 1937 года и потому представляет особый интерес для историков и литературоведов. Конечно, они не были поэтами есенинской школы — скорее, им был ближе Николай Гумилев, ранний Николай Тихонов, ранний Александр Прокофьев. Примечательны фотографии молодых поэтов, сохранившиеся в деле: профиль-анфас, избитые, скуластые, небритые лица, всклокоченные волосы, косоворотки, расстегнутые воротники, на обшлагах пиджаков и пальто тюремные литеры, но больше всего поражают взгляды — недоумевающие, измученные, потухшие...

Обвинение у всех стандартное: «изобличается в том, что состоял в контрреволюционной группировке литераторов «Сибиряки», писал контрреволюционные произведения и декламировал их как среди группы, так и среди знакомых».

По отношению ко всем до суда избрана одна и та же мера пресечения: «Содержание под стражей во внутреннем изоляторе».

Им в то время было по 25—27 лет. Старшему — Николаю Анову — 37, младшему — Павлу Васильеву — 21 год. У всех конфискованы при аресте рукописи, переписка, записные книжки, просто книги, пишущие машинки.

Прежде чем начать публикацию документов, протоколов допросов, стихотворений и писем, обнаруженных в делах, я позволю себе небольшое мемуарное отступление.

Троих поэтов из «Сибирской бригады» года я знал лично — Леонида Мартынова, Сергея Маркова и Льва Черноморцева.

И, однако, странное дело! Все они жили в Москве, но в разговорах со мной ни один из них (а у Мартынова я бывал довольно часто) не рассказал и не вспомнил о делах давно минувших дней — о Николае Анове, о Евгении Забелине, о культе Колчака, которым они жили, о своих ссылках на русский Север и в Среднюю Азию. И, как мне кажется, даже друг о друге они, подельники, не любили вспоминать. Может быть, они знали, кто и что говорил друг о друге на допросах и что писали они в показаниях? Но кроме них, сегодня уже ушедших из жизни, никто не имеет права делать какие-нибудь выводы или заключения о предательстве, о наговорах, о желании облегчить свою участь. Да и впрямую подобных выводов из документов сделать-то нельзя... Остается мне только вспомнить, что за Львом Черноморцевым — маленьким, худеньким старичком-подростком, с глубоко впавшими щеками и глазницами, тянулась какая-то дурная слава, но нам в то время было неинтересно, что там у них произошло в допотопные времена. Помнится только, что поэты старшего поколения — Смеляков, Поделков, Яшин — сторонились этого человека, и каким-то образом их отношение к нему передавалось нам. Помню, как-то при выходе из ЦДЛ он, пьяненький, догнал меня, схватил за рукав, глядя в глаза, что-то пытался рассказать о своей судьбе, но я со смутной брезгливостью сам не знаю почему прервал его исповедь и, спасаясь от неприятных откровенностей, вот-вот готовых излиться из его впалого рта, вскочил в первую попавшуюся машину, оста-

вив маленькую фигурку одну на ночной пустынной площади Восстания. Сейчас я жалею об этом по разным причинам.

Благополучнее всех сложилась из этой бригады судьба Леонида Мартынова. Он в конце пятидесятых годов стал известным поэтом после сборника «Лукоморье», еще через несколько лет был удостоен Государственной премии, молодые поэты набивались к нему на разговоры, изредка он принимал их у себя дома среди коллекций книг, камней, причудливых корневищ. Хорошо помню его жену Нину Анатольевну, которую, как потом я узнал, Леонид Мартынов нашел в ссылке на вологодской земле. О чем мы только не разговаривали с ним — о пятнах на Солнце, о метафизике древнего Египта, о терроре Французской революции,— и ни разу он не вспомнил о своих лишениях, о «памирцах», «сибиряках», Вологде, Средней Азии. Лишь из строчки одного из лучших его стихотворений — «Тишина» можно было кое о чем догадываться: «ОГПУ — наш вдумчивый биограф».

Да. Листаешь дело и видишь — действительно, вдумчивый. Читаю протоколы допросов Мартынова, и многое, непонятное тогда, становится мне понятным: и почему его книга мемуаров называется «Воздушные фрегаты», и почему в этой книге нет ни слова об аресте 1932 г., ни слова о друзьях П. Васильеве, С. Маркове, Е. Забелине — и откуда (видимо, чувство страха владело поэтом до конца), его равнодушие или даже холодное безразличие к крестьянской жизни. Оно мне всегда претило, а с другой стороны, привлекала и завораживала страсть к изображению сильных, мощных, энергичных натур, с пафосом созданных им в книге предвоенных поэм. Супермен, русский конквистадор, сибиряк... «Не упрекай сибиряка, что у него в кармане нож, ведь он на русского похож, как барс похож на барсука»... Строки, восхищавшие меня тридцать лет тому назад, становятся мне до конца понятными лишь после прочтения протоколов допросов Леонида Николаевича Мартынова. Как и его своеобразный футуризм, и социальный оптимизм, и некая органически присущая ему «советскость», замешанная на демонстративном новаторстве, что в конце концов сделало его в какой-то степени официальным поэтом, с поправками на причуды формотворчества и демонстративного интеллектуализма.

Читая размышления Леонида Мартынова о судьбах Сибири, о ее возможной самостоятельности, о развитии на ее просторах мощного русского предпринимательства, можно только подивиться тому, что эти мысли 60-летней давности столь популярны ныне в умах и деяниях нынешних сибиряков.

Надо сказать, что в конце 20-х годов все эти поэты встретились в Новосибирске, где называли себя «памирцами». Но идеологическое давление со стороны партийных и партийно-литературных кругов вытеснило их из Новосибирска, они вскоре переехали в Москву и сплотились в столице в «Сибирскую бригаду».

I

*Из протокола допроса Леонида Мартынова.* 17.8. 1932 г.

«Возродилась наша антисоветская группа осенью 1931 г. На собраниях этой группы я был несколько раз, знаю, что и без меня собирались, так как я часто бывал в отъездах. На собраниях этой группы мы обсуждали произведения членов нашей группы, а также обсуждали ряд политических вопросов и читали советские и контрреволюционные стихи (не для печати). В частности, я читал стихи о Колчаке, о колчаковском поэте Маслове, а также читал стихи Маслова. Привожу отдельные четверостишия из этих произведений.

КОЛЧАКУ

Померк багровый свет заката,
громада туч росла вдали,
когда воздушные фрегаты*
над этим городом прошли.

Их паруса поникли в штиле,
не трепетали вымпела:
«Друзья, откуда вы приплыли,
какая буря привела?»

И через рупор отвечали
таинственные моряки:
«О потонувшем адмирале
не зря вещали старики».

Я помню рейд республиканца:
«Колчак, сдавай оружье нам!»
Но адмирал спешит на шканцы
оружье подарить волнам.

И море страшно голубое,
жить, умереть — не все ль одно!
Лети, оружье золотое,
лети, блестящее, на дно.

Дальше речь идет о приезде Колчака в Сибирь. Его борьба и гибель в снежном море.

Марков читал в группе свои стихи «Адмирал Колчак». Припоминаю отдельные строфы...

Читал также Забелин о Колчаке, но его стихов я не запомнил.

С весны 1931 года наша группа переместилась в общество краеведов.

Записано с моих слов верно и мною прочитано.

*Л. Мартынов».*

*Из протокола допроса от 4.4.1932 года*

«Основным и определяющим в моем мировоззрении — это анархоиндивидуализм. Идеальным типом человека, моим героем был сильный человек, представитель той породы «засухо» и «морозоустойчивых» людей, о которых я говорил в своих предыдущих показаниях и прообраз которого дан в моих произведениях. Естественно поэтому, что основным мотивом моего творчества было оромантизирование сильной, руководимой в своих действиях индивидуальными мотивами личности, где бы я ее ни находил. Идя по этой линии, я неизбежно приходил к романтизированию такого вредного — в особенности в настоящий период — социального типа, как летуна, при анализе образа которого я выпячивал глубоко индивидуальные мотивы, оправдывающие их антиобщественные действия. В основе этих мотивов я усматривал протест раскрепощающейся личности против векового рабства.

Записано с моих слов верно и мною прочитано.

*Л. Мартынов».*

*Протокол допроса Л. Мартынова от 3.4.1932 г.*

«Новая Сибирь, Сибирь будущего, о которой я говорил в моих предыдущих показаниях, — это прежде всего Сибирь, переставшая быть провинцией, переставшая быть колонией.

Это страна, ставшая сердцем мира. Сибирь — все естественные возможности которой развернуты до предела на основе высочайших достижений индустриальной и аграрной техники.

Население этой страны, развернувшее все ее естественные возможности, — это особая порода людей засухо- и морозоустойчивых — в прямом и переносном смысле этих определений. Эта порода людей создается из сочетания высоких социально-психологических и моральных качеств двух основных людских групп.

Во-первых, характеризованное в моих предыдущих показаниях коренное сибирское население и во-вторых — это переселившиеся в Сибирь выходцы из различных народов, населяющих СССР и прилегающие к нему страны. Конечно, эти выходцы из других народов — это наиболее высококачественный элемент этих народов, и его тяготение к Сибири выражает прежде всего недовольство материально-бытовыми условиями, в которых этот элемент пребывал, стремление к большому хозяйственному размаху, выражает большую самостоятельность, инициативу и предприимчивость.

Развертывая все естественные возможности Сибири, эта новая порода людей превращает ее в высокоразвитую аграрно-индустриальную, экономически самостоятельную страну.

Развитие этой страны даст общему развитию всего СССР направление к Востоку, к Тихому и Индийскому океанам. Именно в Сибири и в Средней Азии будут создаваться новые огромные культурно-политические центры, влияние которых будет содействовать освоению Востока и Юга Азии.

Записано с моих слов верно и мною прочитано. На 12-й строке слово вычеркнуто с моего согласия.

*Л. Мартынов».*

*Протокол допроса Л. Мартынова от 5.4.1932 г.*

«Много раз разъезжая по Сибири и Казахстану, я изучал хозяйственно-политическое развитие страны на фактическом материале, на основе непосредственного ознакомления с хозяйственным строительством. Приезжая в Москву и встречаясь с членами нашей группы, я знакомил с виденным и узнанным мною и делился своими оценками и соображениями. Так, знакомясь с колхозами и совхозами, я имел случай убедиться в том, что, укрепляясь в организационно-финансовом отношении, становясь крепко на хозяйственные ноги, колхозы и совхозы вырастали как коллективные собственники, интересы которых иногда не развиваются по линии хозяйственной политики советской власти и вступают в противоречие с нею.

Мне были известны также случаи, когда посланные партией ленинградские пролетарии, укрепив хозяйственно тот или иной непрочный колхоз, начинали выступать против линии колхозсоюза, в защиту интересов коллективной собственности, созданием которой они руководили.

Положительное в этом процессе я видел в том, что дальнейшее укрепление этих коллективных собственников приведет прежде всего к наиболее полному удовлетворению материальных и культурных, бытовых потребностей данного хозяйства.

Необходимо указать, что, говоря о коллективной собственности, я имею в виду не только отдельные с/хозяйственные колхозы и совхозы, но и в целом аграрно-промышленные комбинаты, охватывающие значительные территориальные районы, борющиеся между собой за крупные хозяйственные единицы: ж. д. ветки, оросительные системы, копи, торфяные болота, заводы и т. д.

Эти коллективные собственники заинтересованы в экономической самостоятельности данного (своего) района, и именно на них будут опираться окраины в борьбе с центром за свою экономическую самостоятельность.

Записано с моих слов верно и мною прочитано.

*Л. Мартынов».*

*Протокол допроса Л. Мартынова от 16.4.1932 года*

«В основе идей областничества лежала мысль о невозможности для Сибири развернуть все свои богатства, экономически и политически оформиться в тех условиях, в которых она находится. Поэтому смысл разговоров о независимости Сибири заключается именно в том, чтобы обеспечить условия, максимально благоприятствующие развертыванию всей потенциальной мощи Сибири как по линии природных богатств, так и по линии человеческого материала. Эти условия мною мыслились как обеспечение свободной борьбы свободных предпринимателей и исследователей с дикой мощной природой Сибири на основе применения последних достижений науки и техники, результатом чего должна быть победа и торжество сильнейших. Прообразом такой борьбы сильных может явиться история освоения Америки, в частности история освоения Аляски и Клондайка. Политическое и хозяйственное руководство должно сосре-

* Отсюда Л. Мартынов и взял название книги своих мемуаров, изданных в 1974 г.

дотачиваться в руках людей, проникнутых идеей завоевания и освоения Сибири и представляющих собой лучших и сильнейших индивидуумов, идейно сплоченных и возглавляемых лучшими из лучших, авторитет которых свободно и законно признается остальными. Эти установки вытекают из моих анархо-индивидуалистических убеждений, которые сложились у меня на первых же шагах моей сознательной жизни.

*Л. Мартынов*».

*Протокол допроса Л. Мартынова от 21.4. 1932 года*

«Мое мировоззрение, которое я, может быть, не совсем точно определил, как анархо-индивидуализм, сложилось приблизительно так.

С самых ранних лет я ощущал себя чрезвычайно самостоятельным человеком, не желая терпеть никаких стеснений проявления своей личности.

Революция началась, когда я был двенадцатилетним мальчиком, и, таким образом, ограничения в смысле роста моей свободной личности отпали. Читать я научился лет четырех от роду, и когда было мне лет 8—9, уже вполне определились вкусы. Я высоко ценил Джека Лондона. Я думаю, что Лондон — этот большой художник и несомненно неплохой философ и воспитатель юношества, в особенности для тех времен, — оказал решающее влияние на склад моего миропонимания, мироощущения. Да и сама обстановка Сибири — я, может быть, еще не понимал этого, но чувствовал очень хорошо и ясно, — заставляла меня принимать Лондона за учителя жизни. Во время колчаковской диктатуры я познакомился с Антоном Сорокиным, которому принес первые стихи и рисунки и с некоторыми другими литераторами — Игорем Словниным, Г. Масловым. Большое впечатление произвели на меня в это же время выступления и выставка Давида Бурлюка, который гастролировал по Сибири, читал свои стихи, Маяковского, Хлебникова, Каменского. Словом, я стал футуристом. Мой футуризм не был просто увлечением, он исходил из совершенно определенной основы — основы анархо-индивидуалистической — освободиться от авторитетов, освободиться от «законов прошлого», от «русского духа», от начал, т. е. от «русской культуры» — вернее, русского бескультурья.

Я стремился разрушить и деревню, и (кстати) мне казалось в первые годы революции и Советской власти, что эта власть будет культивировать и поощрять крестьянское бытовое начало.

С первых же лет Советской власти в Сибири меня, как молодого и подающего надежды литератора, стремились «организовать» как редактора, вопрос заключался, следственно, в том, чтоб посадить и заставить работать в газете. Я и так вынужден был работать в газете, потому что литература — это единственное, что я умею, но я боялся за полную свободу в выборе тем и в система работы. Я не хотел сидеть в аппарате и работать по заданиям на текущий день. Я «разведчик», я «конквистадор», открывающий новые Эльдорадо, экономические и политические. За все это меня ругали анархистом и анархо-индивидуалистом и всяко еще. И в самом деле, личную свободу, свободу в выборе направления я ценил превыше всего. На всякую попытку «взять меня в узду» я реагировал негодующими стихами, каковы «Безумный корреспондент», «Летающий подсолнух», «Голый странник» и др.

Свой анархо-индивидуалистический уклон я в значительной степени объясняю тем, что слишком долго оставался в условиях провинции, где не мог направить избыток сил в нужное русло, — газетная работа ограничивалась все теми же районными, краевыми рамками. Рамки теснили. Отсюда гипертрофия личных ощущений, стремление выпячивать личность на первый план, словом, все то, что в конце концов привело к «романтизации летунства», и вообще противопоставление личности всему остальному. Но все это отчасти.

В целом же я стоял на платформе раскрепощения личности и утверждения права сильнейших и лучших на звание «соль земли», думал о «переустройстве общества».

Записано с моих слов верно и мною прочитано.

*Леонид Мартынов.*

Допросил уполномоченный 4-м отд. СПО

*Ильюшенко*».

В деле также цитируются отдельные строфы из стихотворений, которые никогда не печатались ни в каких изданиях Леонида Мартынова.

Колчак сказал: «Здесь скот, руда,
Экономическая база.
Здесь Атлантида, и сюда
Сначала надо водолаза.
. . . . . . . . .
И нет Европ, и нет Америк,
Есть только узкий волчий след,
Ведущий на полярный берег.
. . . . . . . . .
Здесь сохранилась от восстаний
Единственная из корон —
Корона северных сияний.

* * *

Знакомых и друзей, случайно
Явившихся издалека,
Чтоб вместе оставаться в чайной
Степной столице Колчака.
Не пить и не забавы ради
Иные люди шли сюда,
Где проходила по эстраде
Поэтов сонных череда.
Когда перед приходом красных
Сгустилась мгла метельных дней,
Туда пришел Георгий Маслов
Сказать о гибели своей.
Он говорил — зараза липнет,
На всем ировавая печать.
Он говорил — культура гибнет
И надо дальше убегать.
Мечтай наивно о Востоке.
И он ушел...

Георгий Маслов был омским поэтом, печатавшимся в газетах, выходивших при колчаковской директории. Умер в 1920 году. Леонид Мартынов в середине 20-х годов составил «альманах мертвецов», куда вошли стихи колчаковских поэтов, в том числе и стихи Георгия Маслова. Сборник этот до сих пор нигде не обнаружен.

## II

Сергей Николаевич Марков — старик с седыми висками, часто всклокоченными, с крупным носом и подбородком, слегка закинутым кверху, в начале шестидесятых годов частенько захаживал в Дом литераторов. Он оглядывал своим зорким настороженным взглядом ресторанные столики в поисках, куда бы сесть. Я замечал, что абы где и абы к кому он не садился — а только к людям, с которыми мог поговорить. Одним из таких собеседников иногда бывал я. Сергей Николаевич меня знал. Как-то раз я побывал у него дома — заезжал за воспоминаниями Маркова о юношеской жизни в Омске, о том, как молодые поэты, возглавляемые знаменитым по тем временам омским писателем и чудаком Антоном Сорокиным, издевались над наркомом просвещения Луначарским, как-то приехавшим в город. Очерк был очень злой, и Луначарский (правда, под фамилией Богучарский) высмеивался там беспощадно, однако то, что он все-таки был напечатан в «Дне поэзии», который я составлял, расположило Маркова ко мне... И в этот раз, скользнув глазами поверх голов, Сергей Николаевич увидел меня и подсел рядом... Вскоре мы приняли граммов по сто пятьдесят. Марков оживился, помолодел (а было-то ему тогда всего пятьдесят пять или пятьдесят шесть лет — меньше, чем мне сейчас!) и охотно откликнулся на просьбу почитать стихи...

Сначала он прочитал балладу о своей мезенской жизни. Я слышал краем уха, что он туда был когда-то сослан, но за что, надолго ли и в какое время, толком я не знал, а он сам ничего не говорил ни мне, ни другим молодым поэтам. Баллада была о том, как норвежский король Гакон наградил его за случайные сведения о погибшей норвежской экспедиции, которые молодой Сергей Марков опубликовал в архангельской газете. С воодушевлением сверкая глазами из-под колючих бровей, Сергей Николаевич читал нечто чеканное, звенящее, мужественное, киплинговское:

И тех, кто пьет лишь молоко,
Не любит океан.
Мы пили за корабль «Садко»
И за корабль «Руслан»...

Видимо, в этот злачный дом он заходил от одиночества, и когда я и еще кто-то из молодых поэтов, сидящих рядом, начали восторгаться стихами, он растаял и прочитал балладу о белогвардейце, перешедшем границу, которого предала женщина.

Через реку на черной лодке
С подложным паспортом в подметке
Я плыл в Россию, как домой.
Всю жизнь не подводила водка,
Глотал ее, как соль селедка,
Но вот прекрасная красотка
Меня сосватала с тюрьмой.

...А сейчас я листаю уголовное дело «Сибирской бригады» и нахожу в нем упоминание об этой балладе, но вместо слова «красотка» стоит другое, страшное для тех времен слово «сексотка».

Я всегда любил этого поэта за какое-то особое изящество формы. С первых стихов его, прочитанных мною. Надо сказать, что в 1960 году, когда я поступил в журнал «Знамя» (заведовать отделом поэзии), Борис Леонтьевич Сучков, заместитель главного редактора, однажды посоветовал мне: «Позвоните Сергею Николаевичу Маркову, попросите у него стихи...». Сучков сам отсидел в сталинских лагерях лет десять, литературную жизнь тридцатых годов знал хорошо, и его рекомендация была не случайна. Я позвонил Маркову, вскоре получил стихи, прочитал, удивился, насколько они были хороши по сравнению с теми, которые мне приходилось печатать, понес их к Сучкову. Тот тоже прочитал их. Помолчал. Поднял на меня глаза: «Хороший поэт. Оставьте стихи в резерве. Может быть, и напечатаем...». Но ничего из этого не вышло. В программу крайне прагматичного журнала чистая и не зависимая от злобы дня поэзия Маркова никак не вписалась. Главному редактору Кожевникову она просто была не нужна...

Сергея Маркова арестовали позже других, поскольку он был в командировке в Казахстане в Джаркентском районе. На следствие его привезли оттуда, что зафиксировано в документе: «Литер «А» направляется Марков — (с личностью) в Ваше распоряжение (ОГПУ, Алма-Ата) направляется из Джаркента в Москву. «Подписано пом. нач. УСО Гринбаум».

В Москве Марков написал заявление:

«Я являюсь тяжело нервно больным... Во время ареста никто с моей болезнью не считался. Ничего не знал за собой, считаю свой арест недоразумением. Лично не знаю, почему целый месяц никто не сообщил мне мотивов ареста тяжело больного человеке, каким я являюсь.

*С. Марков* 11 мая 1932 г.

Дом ОГПУ Москва».

*Протокол допроса С. Н. Маркова, сов. секретно, 13.5.32 года*

«Полностью сознаваясь в своих антисоветских поступках, я, ничего не скрывая и ничего не утаивая от органов ГПУ, показываю следующее:

а). С конца 1927 года по 1929 состоял в антисоветской группе «Памир».

б). С 1931 года состоял в антисоветской группе «Сибиряков».

в). Написал и декламировал среди членов группы стихотворение «Колчак».

г). Написал, читал на собрании в Доме Герцена стихотворение «Семиреченский тигр», посвященное Троцкому.

Подробно о работе группы «Памир», «Сибиряков», политкредо и политфизиономии членов группы изложу в последующих показаниях.

Записано с моих слов верно и мне прочтено

*Сергей Марков*».

*Из протокола допроса С. Н. Маркова от 20.5.32 года*

«В антисоветскую группу «Памир» я

вступил в Новосибирске в 1928 г. Группа была создана по инициативе секретаря журнала Анова, Мартынова, моей и др. Мы были тогда нелегальной группой».

«В Новосибирске мы потерпели поражение. Меня обвинили, по-моему, без достаточных оснований, в антисемитизме, сняли с работы, и я вынужден был уехать в Ленинград. Из Ленинграда я приехал в Москву в начале 1929 года».

«РАПП нас не включил целой группой, признал нас реакционными, и мы вынуждены были «сократиться» — это было в конце 1929 года».

«Антисоветский тон задавал Анов. С его стороны проводилась определенная антисоветская обработка молодых членов группы. Я лично думал, что он провоцирует, работая агентом ОГПУ, настолько откровенны были его разговоры. Члены группы в большинстве настроены антисоветски...

Записано с моих слов и мне прочитано
*С. Марков».*

К делу приложено никогда и нигде не публиковавшееся полностью стихотворение Сергея Маркова.

ПОЛЯРНЫЙ АДМИРАЛ КОЛЧАК

Там, где волны дикий камень мылят,
Колыхая сумеречный свет,
Я встаю, простреленный навылет,
Поправляя сгнивший эполет.

В смертный час последнего аврала
Я взгляну в лицо нежданным снам,
Гордое величье адмирала
Подарив заплеванным волнам.

Помню стук голодных револьверов
И полночный торопливый суд.
Шпагами последних кондотьеров
Мы эпохе отдали салют.

Ведь пришли, весь мир испепеляя,
Дерзкие и сильные враги.
И напрасно бледный Пепеляев
Целовал чужие сапоги.

Я запомнил те слова расплаты,
Одного понять никак не мог:
Почему враги, как все солдаты,
Не берут сейчас под козырек.

Что ж, считать загубленные души,
Замутить прощальное вино?
Умереть на этой белой суше
Мне, наверно, было суждено.

Думал я, что грозная победа
Поведет тупые корабли...
Жизнь моя, как черная торпеда,
С грохотом взорвалась на мели.

Чья вина, что в злой горячке торга
Я не слышал голоса огня?
Полководцы короля Георга
Продали и предали меня.

Я Вы открывая архипелаги,
Слышал в море альбатросов крик,
Но бессильны проданные шпаги
В жирных пальцах мировых владык.

И тоскуя по морскому валу,
И с лицом скорбленным, как жесть,
Я прошу: «Отдайте адмиралу
Перед смертью боевую честь...»

И теперь в груди четыре раны.
Помню я, при имени моем
Встрепенулись синие нагваны
Остроклювым жадным вороньем.



III

Наибольшее количество страниц в деле представляют протоколы допросов самого молодого и, может быть, самого талантливого из «Сибирской бригады» — Павла Васильева. Интерес ОГПУ к нему и его творчеству скорее всего объясняется тем, что Павел Васильев принадлежал одновременно как бы к двум оппозиционным коммунистической идеологии поэтическим ветвям — с одной стороны, к молодой вольнице сибиряков, а с другой — к группе крестьянских, истинно народных поэтов, объединившей Николая Клюева, Сергея Клычкова, Ивана Приблудного, Петра Орешина.

Допрашивая его, следователи как бы сразу получали информацию по двум направлениям, убивали двух зайцев разом. Вот почему в то время, как все сибиряки прошли два-три допроса, Павла Васильева допрашивали в течение полутора месяцев — с 4 марта по 19 мая 1932 года — семь раз!

Конечно, он сказал на допросах многое. Можно сомневаться в стопроцентной истинности показаний. Может быть, какая-то их часть сформулирована следовательской рукой, но тем не менее следует привести их все-таки в значительном объеме, потому что из признаний Павла Васильева, из характеристик, которые он дает взглядам и убеждениям своих товарищей, вырисовывается объективная картина их отношений к режиму, к политике, к идеологии эпохи.

И не будем строго судить Павла Васильева, памятуя, что в то время ему исполнился всего лишь 21 год.

*Выдержки из протоколов допроса от 4.3.1932 г.*

«На меня действовало преклонение перед Есениным, сила личности, творчества этого поэта на меня действовала так же, как киплинговская романтика Мартынова. По всему этому я стал пить...»

«Опять жажда романтических странствий рванула меня на зиму глядя с блатными до Верхнеудинска, в сандалиях, в рваных резиновых плащах мы ехали с Титовым на Д. Восток. Мы голодали, ехали зайцами, добрались до Благовещенска и там нанялись на золотые прииски. На золотых приисках пробыли мы месяцев пять и уехали в Хабаровск».

«Я уехал дальше в Москву. В Москве я встретился с земляками — с Ановым и Забелиным, с Марковым. Я считал их старшими, механически вошел в группу «Памир». Меня звали «Пашка парень-рубаха», «раскрытая душа», одобрительно хихикали над моим хулиганством. На меня действовало все. И антисоветские разговоры, и областнические настроения, «сибирский патриотизм», так сказать. Мои стихи оппозиционного характера хвалились, и мне казалось, что это традиционная обязанность крупных поэтов. И Пушкин, мол, писал, Есенин писал, все писали... С твердостью говорю, что по-настоящему не верил в то, что писал. Во мне зародились две чувства: с одной стороны — э, все равно! Напряжение, переходящее в безразличие; с другой стороны — ужасное чувство, что я куда-то вниз качусь. Я держал себя безрассудно, мог черт знает что наделать. По-смердяковски. По-хлестаковски, ни во что не веря, без воли, проклиная себя и все на свете. Мое творчество (оппозиционное) висело надо мной как дамоклов меч, грозя унести и придавить меня. Я уже не мог от него отделаться. ОГПУ вовремя прекратило эту свистопляску...»

*Из протокола допроса от 5.3.32 г.*

«Наша антисоветская группа оформилась еще до моего приезда в Москву, то есть в 1928 году, когда она организованно оформилась в виде литературной группы «Памир». В эту группу входили исключительно сибиряки».

*Из протокола допроса 6.3.32 г.*

«...Высказываясь резко о коллективизации, о ликвидации кулачества как класса, Анов часто своими разговорами вызывал гнев и ненависть против существующего строя. Мною было написано стихотворение, в котором имеется следующее четверостишие:

«Рыдают Галилеи в нарсудах,
И правда вновь в смирительных рубашках,
На север снова тянутся обозы,
И бычья кровь (крестьянская) не поднялась
в цене».

Это стихотворение я читал Анову. Он его похвалил. В другой раз, придя к Анову в редакцию «Красная новь», Анов, указав на вывешенные на стене 6 условий тов. Сталина, сказал: «Ко мне не придерешься. Я вывесил шесть заповедей. Сталин пришел, как Моисей с горы Синай. А в общем не стоит выеденного яйца. Вот напиши гекзаметром и зарифмуй эти заповеди. Я тут же сел сразу, написал и показал Анову. Последний захохотал и сказал: «Здорово! Хорошо!». Вообще Анов относится к товарищу Сталину с ненавистью. Называет его разными словами (тупицей, ишаком и т. д.). Считает его злым гением».

*Из протокола допроса от 11.3.32 г.*

«Все члены нашей а/советской группы являются литераторами. Поэты большинство. И прозаики. Часть членов нашей группы писали при Колчаке (Мартынов, Забелин). Или находились под сильным воздействием колчаковских поэтов (Марков)».

«Однажды Анов в редакции «Красная новь» сказал мне и Маркову: «Интересно было бы выдумать какую-нибудь национальность и от ее имени сочинить переводы». Марков сразу ухватился за эту идею и привел примером переводы Малларме и переводы песен западных славян. Я же предложил перевести с казахского. И Мартынову я предложил, поскольку мы хорошо знали казахский быт, нам нетрудно было сочинить пресловутые переводы. И сдать в печать в ГИХЛ. Издательство же эти переводы приняло за подлинные, и в настоящее время сборники печатаются. Эти переводы были частично использованы, в частности Мартыновым, для издевательства по отношению к советской власти. Им вложены в уста казахов следующие стихи:

Она хороша, советская власть,
Много дала казахскому народу
советская власть
Пишет теперь казахский народ
Латинскими буквами наоборот».

*Из протокола допроса от 14.3.32 г.*

«На собраниях нашей антисоветской группы подогревались контрреволюционные и антисоветские настроения. Читал я на собраниях группы одно стихотворенье, в котором под гармонь разговаривает кулак и комсомолец. После читки члены группы говорили: «Насчет комсомольца слабо, ерунда, а вот кулак у тебя здорово: ну-ка наверни!» И я читал. Читал также антисоветские стихи насчет кита, который не мог переварить жида. На этих же собраниях под одобрительный гул всех присутствующих Женя Забелин читал свои к/революционные стихи об адмирале Колчаке. Марков читал контрреволюционные стихи о расстреле большевиками писателя Гумилева, об адмирале Колчаке и о сексотке. Сюжет стихотворенья сексотка таков: присланный для диверсионной работы в СССР белогвардеец влюбляется в одну женщину, которая является секретной сотрудницей ОГПУ — сексоткой. Сексотка предает белогвардейца, и он после допроса расстреливается. Вышеупомянутые стихи создавали определенное к/революционное настроение и окружали романтическим ореолом контрреволюционеров и белогвардейцев».

*Из протокола допроса 26.3.32 г.*

«Раза два случалось, Анов прикидывал: «Сколько из поэтов Москвы имеют еврейское происхождение?», «Паша, — говорил он, — Уткин кто? — еврей. Безыменский кто? — еврей. Алтаузен — еврей. Кирсанов, Сельвинский, Багрицкий, Инбер... — Покончив с иронией, Анов сокрушительно добавлял: — И это великая русская литература! Толстой и Достоевский в гробу переворачиваются! Эх, ребята, ребята, не умеете вы работать. Учитесь у евреев. У них один Уткин выплывает и пять Алтаузенов за собой тянет...»

*Из протокола допроса от 19 мая 32 г.*

«Анов устраивал, как завредакцией «Красная новь», внеочередные авансы членам группы, и действительно, для таких людей, как Андрей Платонов («Впрок»), Анов аванс из земли выскребал. Кстати, Платонова он среди сибиряков всячески популяризировал, называл новым Гоголем».

*Из протокола допроса от 4 марта 1932 года*

Об Анове:

«Паша, — говорил он мне как-то на днях. — Трудно поверить, что я когда-то бегал, размахивал винтовкой, готовый укокошить любого представителя к-р. гидры. А сейчас не верю ни во что и как-то вышел из времени. Я не верю в эту петрушку, которую называют социализмом, ни в 6 условий кавказского ишака, которые а в редакции на стену повесил...»

«Анов издает в «Федерации» книжку

в «Огоньке», ставшую знаменитой среди «сибиряков», — книгу о Днепрострое. Знаменита она тем, что на ее обложке изображены портреты Сталина и Ленина, которые Анов называет «шерочка с машерочкой» и «двуглавым орлом». Анов открыто издевается над этими очерками».

«Анов закоренелый антисемит. Он влияет в этом отношении на всех сибиряков и на всю редакцию. В частности, он пестует личностей вроде Борохвостова».

О Забелине:

«Забелин Евгений Иванович, сын митрофорного протоиерея. Настоящее имя и фамилия Леонид Савкин. Ярый ненавистник советского строя, сторонник диктатуры на манер колчаковской... Автор многочисленных к-р. стихов, как, например, «Адмирал Колчак», «Россия». Отрывок:

«Душа не вынесла, в душе озноб и жар,
Налево — марш и могильному откосу.
Ты, говорят, оплелие папиросу,
Красногвардейцу отдал портсигар.

Сказал: «Один средь провонявшей швали,
На память об убитом адмирале
Послушай, ты, размызганный, возьми..»

Отрывок, показывающий отношение Забелина к французской революции:

«Перед дворцом поруганной вдовы,
Натравленная бешенством Марата,
Топтала чернь осколок головы
И голубую кровь аристократа...»

Об Абабкове:

«Я встречался с Абабковым в Сибири. И из его высказываний помню: «ГПУ — это мясорубка. Раньше оно мололо настоящих к-революционеров, а теперь начало молоть крестьянство. Ведь нужна же ему какая-нибудь работа, не может машина стоять».

О Мартынове:

«Талантливейший и честнейший человек. Романтик. Считает Сибирь незавоеванным краем. Колчака уважает. Ярый враг крестьянства. Сторонник цивилизации на английский манер. Вообще от Англии без ума. Областнические установки».

О Скуратове:

«Скуратов шел со мной и говорил: «Большевистская революция называлась девушкой, но под конец оказалась девушкой попорченной, проституткой. Если бы поднять крестьян, я посоветовал бы им повесить тело Ленина на посмешище».

О Сергее Маркове:

«Сибиряк, писатель, работал в газете «Советская Сибирь» репортером. Изгнан за а-семитизм. Один из коренных памирцев, выступал с платформой «Памира». Публично в доме Герцена, кажется.

В прошлом, по собственным словам, служил ополченцем у генерала Дутова. Из стихов мне известна его поэма «Адмирал Колчак». Энтузиаст колчаковских поэтов. У него на руках есть «Альманах мертвецов», где собраны все стихи колчаковских поэтов. Общее, что объединяет сибиряков, — отрицание политики существующего строя».

«А. Отношение к индустриализации.

Отдельные члены группы считают, что индустрия теперь может быть и будет использована русским фашизмом, который придет на смену в стране большевиков (установка Анова, к ней, по-моему, тяготеет Мартынов). Ерошин же, наоборот, враг индустриализации, за исконную, прекрасную, сытую матушку-Россию.

В. Коллективизация. Все поголовно, за исключением Мартынова, против коллективизации. Мартынов говорит: «Коллективизация — спутник индустриализации. Мужикам так и надо, их прикрепят к земле, и этим самым раскрепостят инстинкт, мешавший им вершить судьбами нашего государства». Все сибиряки считают: «речь идет не о ликвидации кулачества, а о ликвидации крестьянства».

В. Относительно Сибири считали, что она может быть вполне самостоятельным государством: имеет природные богатства — уголь, железо, золото, лес; имеет выход к морю. Были разговорчики о том, что вот, мол, отхватят японцы Сибирь до Урала. Но выводов не делалось никаких.

Г. Отношение к политике партии в области художественной литературы: все абсолютно высмеивали призыв ударников в литературу, говорили о том, что «душится живое слово», «уничтожаются подлинные художники» и т. д. Анов говорил, например: «Развернул я какой-то журнал времен Николашки — вот где демократия, вот где свобода была. Хотя бы половину такой свободы теперь. Теперь, куда ни плюнь, — Бенкендорф».

...Многое не помню, многое забыл, но постараюсь восстановить, достать материалы и изложить в ГПУ совершенно искренно, без всякой утайки».

*Из протокола допроса от 4/III 1932 г.*

«Благодаря участию в антисоветской группе сибиряков, в которой оказывал на меня большое влияние Николай Анов, я докатился до преступных по отношению к пролетарскому государству поступков. Я написал и декламировал ряд похабных антисоветских стихов, за которые достоин всяческого наказания. Осознавая всю глубину моей вины, я с полной искренностью и с полным раскаянием в совершенных мною поступках даю твердое обещание большой упорной работой, творческой и общественной, исправить свои заблуждения. Я прошу позволить мне это.

*Павел Васильев.*

Допросил уполномоченный 4-м отд. СПО ОГПУ *Ильюшенко*».



Две никогда не публиковавшиеся эпиграммы Павла Васильева помещены среди протоколов его допросов.

* * *

О муза, сегодня воспой Джугашвили,
сукина сына.
Упорство осла и хитрость лисы совместил
он умело.
Нарезавши тысячи тысяч петель,
насилием к власти пробрался.
Ну что ж ты наделал, куда ты залез,
Расскажи мне, семинарист неразумный!
В уборных вывешивать бы эти скрижали...
Клянемся, о вождь наш, мы путь твой
усыплем цветами.
И в жопу лавровый венок воткнем.

* * *

Гренландский кит, владыка океана,
Раз проглотил пархатого жида.
Метаться начал он туда-сюда.
На третий день владыка занемог,
Но жида переварить не мог.
Итак, Россия, о, сравненье будет жутко, —
И ты, как кит, умрешь от несварения
желудка.

## IV

Евгений Иванович Забелин (Леонид Савкин), поэт. Из анкеты арестованного: «Отец священник, в прошлом крестьянин», «национальность — великоросс», «недвижимости нет». После отбытия наказания по «Сибирскому делу» практически прекратил литературную деятельность. Лишь после войны им была написана достаточно заметная для тех лет поэма о Сталинском плане преобразования природы.

*Из протоколов допросов Забелина Е. Н.:*

«Происхожу из семьи омского священника Николая Савкина, человека, настроенного антисоветски. При Колчаке я учился в коммерческом училище. В моей семье колчаковщина была воспринята восторженно, как фактор спасения многострадальной измученной родины. Мне тогда было шестнадцать лет. Я считал Колчака вторым Наполеоном и так к нему относился. Расстрел Колчака был мною воспринят очень болезненно. Мною была написана в 25-м году поэма «Адмирал Колчак», в которой я писал следующее:

Сначала путь непройденных земель,
Потом обрыв израненного спуска,
И голубая изморозь Иркутска,
И проруби разинутая щель.

Полковники не слушали твой зов,
Бокальный всплеск укачивал их сонно.
Созвездия отгнившего погона
Им заменяли звезды коньяков.

Свои слова осколками рассыпь
Меж тупиков, сереющих пустынно.
Плюгавое похмелье кокаина
И сифилиса ситцевая сыпь.

Кашмирский полк, поющий нараспев,
Кашмирский полк, породистый
британец —
Обмотки на ногах, у плеч тигровый
ранец,
На пуговицах королевский лев.

Приблизилась военная гроза,
Рождались дни, как скорченные дети,
От них, больных, в витринах
на портрете
Старели адмиральские глаза.

Что ж из того? Упрямо перейду
Былую грань. Истерикой растаяв,
Дрожа слезой, сутулый Пепеляев
Покаялся советскому суду.

Перехлестнул, стянул, перехлестнул
Чеканный круг неоконченного рейса,
Жизнь сволочнулась ртом
красногвардейца
Вся в грохоте неотвратимых дул.

Душа не вынесла, в душе озноб и жар.
Налево марш — и могильному откосу.
Ты, говорят, оплелие папиросу,
Красногвардейцу отдал портсигар.

Дал одному солдату из семи,
Сказал: «Один, средь провонявшей
швали,
На память об убитом адмирале
Послушай, ты, размызганный, возьми!»

Это стихотворение я читал в группе сибиряков, где оно получило полное одобрение. Читал также неоднократно в кругу своих друзей и знакомых. Спустя несколько месяцев после разгрома Колчака я был арестован Губчека по обвинению в распространении антисоветских прокламаций. Спустя две недели я был освобожден за недоказанностью. Приход советской власти мной был воспринят резко отрицательно. Записано с моих слов верно и мною прочитано. *Евг. Забелин*».

Кроме традиционного для «Сибиряков» стихотворенья о Колчаке, к делу Евгения Забелина приложены еще два стихотворения.

### МАРИЯ АНТУАНЕТТА

Влюбленная в красивые слова,
Она глядит спокойно и устало.
Изысканные вьюут кружева,
Павлиний шелк спускает одеяло.
Густых духов жеманный аромат
Напоминает молодость жасмина,
А за стеной наигрывает брат
Бетховена на старом пианино.
О, фрейлины утраченных веков,
Коснеющих над фижмами и пудрой,
Поклонником старух и париков
Маркизом был ваш друг золотокудрый
Вы, улыбаясь, слушаете бред,
Вы смотрите на сумерки без боли.
В последний раз лукавый менуэт
Он танцевал в серебряном камзоле.
К чему скрывать встревоженную
дрожь —
Я все равно за вас не побледнею,
Ведь гильотины выточенный нож
Поцеловал подставленную шею.
Перед дворцом поруганной вдовы,
Натравленная бешенством Марата,
Топтала чернь осколок головы
И голубую кровь аристократа.
Тоска пришла и больше не уйдет.
Опять глаза темнеют от печали.
В ту ночь король взошел на эшафот,
И палачи его короновали.
Осыпалась могильная земля.
Не сберегли придворные поэты
Последние молитвы короля
И локоны своей Антуанетты.
Пусть тонкий хмель сплетается в слова,
Мы юность пьем из полного бокала.
Изысканные вьют кружева,
Павлиний шелк спускает одеяло.

### РОССИЯ

Хватив накипевшего зелья,
Ударив стаканом об стол,
Томится она от похмелья,
Задрав кумачовый подол.
И рот приласкудила рвота,
Башку заломив набекрень.
Кто вымазал дегтем ворота
Курносых ее деревень?
Не батя встречается с батей —

То хлещется юбка в крови.
Ну, девка, теперь забрюхатим,
Ну, девка, теперь не ревн.
Ты, Русь, пестрокрылая птица,
Быстрей бубенцом отзвони.
Тебя октябрили, срамница
Чекистские ночи и дни

«С приездом Анова была по его инициативе организована литературная группа «Памир». Группа объединила исключительно сибиряков. В группу входили Феоктистов, Анов, Марков, Ерошин, Забелин, Вессонов, а позднее Васильев. Мартынова и Абабкова считали в группе заочно, хотя они были в Сибири. В задачу группы входило отторжение окраин Сибири и нацменьшинства (сибирского). Мы считали Сибирь богатой страной, своеобразной, могущей занимать особое место в политическом и экономическом отношении. Мы считали, что Сибири суждено сыграть особую, самостоятельную роль. Отсюда и пропаганда Сибири и сибирского края со всех точек зрения (политической, экономической, экзотической и пр.) в наших произведениях. Легально под маской «Памир» мы выступали лишь один раз в Доме Герцена».

«Вся группа в целом была настроена отрицательно к существующему строю».

«К индустриализации (за исключением Ерошина) все относились положительно, как к моменту, улучшающему национальное положение России».

«Коллективизацию большинство отрицало, считали, что, уничтожая крупного единоличника, сов. власть не создаст ничего».

«Антисемитизм был присущ нашей группе, а слова Анова о «засилии евреев» вызывали к ним ненависть.

Записано с моих слов верно и мне прочитано

*Евг. Забелин*».

«Особо хочу остановиться на «Альманахе мертвецов». Это тетрадь в 30—40 стр., на которой наклеены вырезки стихов колчаковских поэтов (Ю. Сопова, Г. Маслова и др.)

Эти стихи собрал Мартынов и привез в Москву. На группу приносил их Марков и читал стихи. Явно контрреволюционные, написанные сочным языком, производили сильное впечатление, подогревали нас. Многие из прочитанных стихов смаковались. Стихи эти читались для возрождения памяти Колчака и колчаковщины. Нужно добавить, что стихи эти печатались в газетах — яркие, враждебные к советской власти и большевикам, которые в стихах назывались «белыми гориллами».

Эти стихи давали нам к. р. пищу, а Марков и Мартынов брали с них пример. Читались на группе и стихи Мартынова, воспевающие беженок, бежавших из большевистской России, а также стихи Маркова о Гумилеве, расстрелянном большевиками. Сюжет приблизительно таков: «Везут Гумилева в «черном вороне» по Ленинграду, вдали виден Исаакиевский собор, последний оплот Православия, и вот на гранит падают мозги желтым виноградом» *.



V

Анов (Иванов) Николай Иванович. Основатель литературной группы «Памир» в Новосибирске и «Сибирской бригады» в Москве. В 1924 году по постановлению Ленинградского ОГПУ был выслан из Ленинграда в Новосибирск сроком на три года. Достаточно известный конца 20-х — начала 30-х годов прозаик, журналист и издатель. Автор нескольких повестей — «Пыль», «Азия», «Глухомань»

*Из протоколов допросов Н. И. Анова.*

«Вторая моя антисоветская вещь «Азия». Этот роман я написал в Сибири в июле 1928 г.

Я хотел показать азиатчину советского и партийного быта. Все плохо, все никуда не годится. Советская система завела страну в тупик. Хорошо при этой системе живется только приспособленцам, жуликам, ворам. Губернией управляет бывший охранник, прохвост, бывший рабкор устраивает свои темные делишки. Крупный партиец, приехавший из центра, занимается флиртом, партийные работники разлагаются и пьянствуют. Это был пасквиль контрреволюционный от первой до последней строчки».

«Азию» я писал, если так можно выразиться, кровью сердца. Это были мои убеждения, мои взгляды, мои думы. Я писал запоем, я жил только творчеством этой вещи.

1. Я исказил нашу действительность.

2. Я доказывал неправильность политической линии партии в Средней Азии.

3. Я воспевал семиреченского кулака-садовода, которого советская власть в свое время разорила и который получил возможность при нэпе вновь заняться питомником.

4. Я издевался над строительством в Средней Азии «потемкинских деревень».

5. Я сознательно не вывел ни одного положительного героя в романе, чтобы подчеркнуть мрачность советской действительности.

6. Я дал символическое заглавие роману — «Азия», тем самым доказывая, что жизнь в Советском Союзе замерла и остановилась, и единственный просвет впереди — это возможность кулаку вести культурное хозяйство. Остальные герои гибнут. Повторяю, «Азию» я писал со всей душевной искренностью антисоветского человека и произведение получилось антисоветское.

«Азию» в печати не разрешили, но ее я читал литераторам, кроме того, основные идеи, заложенные в «Азии», пропагандировались мной среди членов нашей группы.

Протокол записан с моих слов

*Н. Анов*».

«Одной из моих конкретных а/советских мероприятий было создание нелегальной литературной группы «Памир». Эта группа была мной создана в Новосибирске в начале 1928 года. Мы в основном занялись борьбой с партийностью в литературе».

* Это стихотворение С. Маркова пока нигде не обнаружено.

«Приехал в Москву 7 марта 1929 года. На первом же нелегальном собрании группы решено было легализировать «Памир». «Памир» кончил свое существованье в сентябре или октябре 1929 года».

VI

Самые короткие допросы были у Льва Черноморцева. В сущности, его допрашивали лишь один раз, он получил самое мягкое наказание, и этот факт, по-видимому, давал основания литераторам одного с ним поколения, более или менее сохранившим до 60-х годов воспоминания о уже далеком и полузабытом процессе «Сибиряков», относиться к нему как к провокатору.

*Из протокола допроса Л. П. Черноморцева от 6.5.1932 г.*

«Эта группа представляла собой самое революционное крыло сибирской литературы, к началу 1929 года группа целиком переехала в Москву, где полулегализовалась, а в 1930 году (после роспуска) вошла целиком в нелегальную контрреволюционную группу «Сибирская бригада».

«На собраниях группы при моем присутствии разбирались и уточнялись вопросы текущей политики. В результате пришли к следующему: индустриализация — хорошая штука. Пусть большевики построят побольше и получше, все это будет использовано другим строем, который придет на смену Советской власти. Коллективизация отрицалась. Было решено в творчестве членов группы взять установку на показ гибельности коллективизации, уничтожающей по существу здоровое ядро деревни. Все члены группы были антисемитами. Это выражалось не только в разговорах о засилье жидов в правительстве и литературе, но и писались, как, например, Васильевым, антисоветские стихи и зачитывались среди друзей и знакомых.

Записано с моих слов верно и мне прочитано

*Л. Черноморцев*».

*1 июня 1932 года. Из постановления по делу № 122613.*

«Черноморцева ввиду полного сознания» «освободить из-под стражи под подписку о невыезде за пределы г. Москвы».

П. Васильеву — та же формулировка. Анова (Иванова) Николая Ивановича, Забелина (он же Савкин Евгений Николаевич), Маркова Сергея Николаевича, Мартынова Леонида Николаевича «отправить с первым отходящим этапом в г. Архангельск в распоряжение ПП ОГПУ Северного края сроком на 3 года». Через год Мартынова по его письму (о здоровье) перевели в апреле 33 г. в Ташкент в распоряжение ПП ОГПУ Средней Азии.

Приговор Васильеву и Черноморцеву «считать условным», «из-под стражи освободить».

В деле «Сибиряков», занимающем более 200 страниц, имеются также письма ссыльных с просьбами об облегчении участи, о переводе их в другие места, деловая переписка чиновников ОГПУ, бесчисленное количество справок, запросов, актов...

Поистине, как сказал Мартынов, «ОГПУ — наш вдумчивый биограф».

ВАДИМ КОЖИНОВ

# ИСТОРИЯ РУСИ И РУССКОГО СЛОВА

## Часть первая

### ОТ НАЧАЛА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ДО МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ (VIII—XIII вв.)

И бытие, и сознание любого народа уходит своими корнями в «доисторические» времена, длившиеся тысячелетиями. Это с очевидностью предстает, например, в содержании русского епоса — героических былин, которые являют собой ценнейшую часть начальной стадии развития национальной культуры. Один из ярких исследователей этого эпоса (более известный как создатель выдающихся исторических романов) Дмитрий Балашов полагает, что истоки тех или иных былин восходят еще к V—III векам (или даже к VII (!) веку)[1] до нашей эры, хотя и делает существенную оговорку: «История восточных славян археологами прослежена пока в глубь времени лишь до IV в. н. э. Далее начинается область гипотез» (там же, с. 17).

Русский героический эпос, конечно же, вобрал в себя те или иные образы и мотивы, сложившиеся еще в общеславянскую, праславянскую и даже дославянскую (общеиндоевропейскую) эпохи, то есть за много столетий до того времени, когда эпос этот действительно стал формироваться. Но вместе с тем едва ли можно оспорить, что необходимо все же разграничивать эпос в собственном смысле слова и те элементы сознания и творчества, которые предшествовали его формированию, а войдя в него, обрели совсем уже иной смысл и значение.

Виднейший современный специалист в области исторической теории эпоса, давно вписавшийся во всемирный контекст этой теории, — Е. М. Мелетинский основательно доказывает, что «героический эпос в отличие от народной сказки тяготеет к историческим, национальным, государственным масштабам. Его история тесно связана с процессом формирования народностей и древнейших государств... Эпос... наполнен... патриотическим пафосом. В частности, мифологические образы (по мере того как племенное сознание в связи с этно-политической консолидацией поднимается до государственного и национального) постепенно вытесняются историческими. Поэтому эпос в известном смысле всегда историчен. Даже в мифологических образах эпос выражает народный взгляд на историю...»[2]

Поэтому речь должна идти о взаимосвязи, о единстве понятий (и, конечно, запечатленных в этих понятиях реальностей): 1) героического эпоса как явления культуры, 2) государственности, немыслимой без идеи патриотизма, и, наконец, 3) истории в собственном смысле слова. Рождение героического эпоса нераздельно связано с возникновением государственности (пусть хотя бы в ее зачатках), но ведь и история как таковая начинается только вместе с началом государственности. До этого момента жизнь человеческой общности (племени или даже группы племен) может являться, строго говоря, предметом этнографического, но не собственно исторического знания. Ибо, лишь обретая государственность, человеческая общность становится полноценным субъектом истории, или, если выразиться более торжественно, ее творцом.

Дальнейшее освещение нашей темы — история Руси и русского Слова — не может не быть нераздельно связано с освещением проблемы эпоса, ибо эпос (что можно бы подтвердить бесчисленными ссылками и на факты, и на выводы авторитетных исследователей) — наиболее раннее подлинно существенное воплощение начавшейся истории народа — воплощение ее в слове и, если ставить вопрос более широко, в культуре. Эпос ясно свидетельствует, что история народа началась; но верно и обратное умозаключение — начало истории закономерно подразумевает рождение эпоса.

Когда же началась русская история как таковая? Прежде чем пытаться ответить на этот вопрос, целесообразно обратить взгляд к времени вполне очевидного и мощного проявления русской истории — эпохе Ярослава Мудрого, правившего в Киеве с 1016 по 1054 год (с небольшим перерывом в 1018 — 1019 годах из-за междоусобной войны) и носившего титулы цесаря и кагана, приравниваемые к императорскому. Какова Русь этой эпохи?

Огромная, особенно по тогдашним меркам, государственная территория, простиравшаяся с севера на юг от Белого до Черного моря и с запада на восток от речного бассейна Вислы до Камы. Развитые и прочные международные отношения и связи (что выразилось, в частности, в брачных союзах семьи Ярослава с правящими династиями Византии, Германии, Франции, Англии, Венгрии, Польши, Швеции, Норвегии). Обилие крупных по тем временам городов: Киев, уступавший тогда по величине только византийскому Константинополю и арабской Кордове, а также Чернигов, Переяславль-Русский, Галич, Туров, Владимир Волынский, Полоцк, Витебск, Смоленск, Муром, Ростов, Суздаль, Новгород, Псков, Юрьев (ныне — Тарту), Ладога и другие города (в том числе и отдаленная Тмутаракань у устья Кубани), которые в последнее двадцатилетие правления Ярослава Мудрого были прочно связаны с центральной, киевской властью, осуществлявшей ее волю на окружающих их территориях.

О военной мощи Ярославовой Руси ясно свидетельствует тот факт, что в 1036 году были наголову разбиты напавшие на Киев печенеги — те самые печенеги, которые полтора века со времени их появления в причерноморских степях (889) атаковали многие соседние земли и народы.

Чрезвычайно внушительно культурное творчество этой эпохи. Ведь еще и сегодня покоряют своим величием воплотившие в себе многообразные человеческие усилия и устремления соборы святой Софии в Киеве (1037) и в Новгороде (1050), духовная и просветительная деятельность Киево-Печерского монастыря (деятельность эта ярко воссоздана в составлявшемся начиная с XI века «Киево-Печерском патерике» и «Повести временных лет»), исполненное глубины смысла и совершенства стиля «Слово о законе и Благодати» (1049) митрополита Илариона, проникновенное «Сказание и страдание и похвала святым мученикам Борису и Глебу»[3], которое в определенных отношениях являет собой непосредственный прообраз великой русской литературы XIX века (о чем еще пойдет речь). Наконец, дошла до нас — пусть и с позднейшими наслоениями — воплощенная в слове правовая, законодательная воля эпохи Ярослава, установившая основы государственного, церковного, общественного строя («Правда Ярослава», ставшая фундаментом «Правды Русской», устав о церковных судах и т. п.).

Все перечисленное, разумеется, только часть из того, что представляла собой Русь в середине XI века. Но сотворение зрелой государственности и культуры, а

---

Продолжение. Начало в № 6 за 1992 год.

[1] Балашов Д. М. Из истории былинного эпоса. Святогор. — В кн.: Русский фольклор. Вып. XX. Фольклор и историческая действительность. Л., 1981, с. 20.

[2] Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические памятники. — М., 1963, с. 423.

[3] Иногда это произведение датируют более поздним временем, но один из наиболее авторитетных его исследователей — С. А. Богуславский относил его ко времени Ярослава Мудрого.

следовательно, творчество самой Истории в ее полновесном значении, запечатлелось даже и в названных явлениях со всей осязаемостью.

Более того, эпохе Ярослава присущи не столь уж характерные для русской истории черты «законченности», отчеканенной воплощенности, завершенности. Это было внятно ее современникам. Так, митрополит Иларион в своем «Слове», обращаясь к духу крестителя Руси Владимира, говорит именно о «воплощающем», завершающем значении деяний его сына Ярослава:

> Его ведь сотворил Господь
> наместником тебе,
> твоему владычеству,
> не рушащим твоих уставов,
> но утверждающим,
> не говорящим,
> но свершающим,
> что недокончено тобой
> заканчивающим...
> Он дом Божий великий
> Его Святой Премудрости создал...
> И славный город твой Киев
> величеством, как венцом, облек...[4]

И эта воплощенность эпохи внятно воспринимается нами еще и сегодня, почти через тысячелетие... А ведь между тем, углубляясь во времени от начала расцвета Ярославовой державы (1030-е годы) всего лишь на столетие — да и даже только на полстолетия! — назад, мы не обнаруживаем подобных воплощений, «кристаллов» исторического (государственного и культурного) творчества. И истинное великолепие Ярославовой Руси может показаться возникшим словно бы из ничего — как некое чудо.

Есть, впрочем, «простое» объяснение, особенно характерное для зарубежной историографии: все или почти все историческое величие Руси XI века создано, мол, не «туземцами», а Византией, — как и на целом ряде других территорий вокруг Черного моря, испытавших воздействие этой империи, которая с точки зрения зрелости государственности и культуры не просто превосходила все тогдашние страны Европы и Передней Азии (кстати сказать, Арабский халифат к тому времени уже находился в состоянии распада), но обладала в этих аспектах принципиально иным уровнем, ибо была, в частности, единственной прямой наследницей античного мира.

Роль византийской, или, вернее, восточнохристианской, государственности и культуры в развитии Руси, разумеется, неоспоримо велика. Но нельзя забывать, что в отличие от всех земель вокруг Черного моря, которые входили в Византийскую империю (как Балканы, Крым, Закавказье), Киев отделяло от ее границы шестисоткилометровое пространство. И восточнохристианские ценности не «насаждались» на Руси самой Империей (как в остальных землях вокруг Черного моря), но усваивались, так сказать, по собственной воле Киева. Ярким примером может здесь служить сообщенный «Повестью временных лет» факт: еще в 980-х годах Владимир Святославич, захватив византийский Херсонес (Корсунь), привез оттуда в Киев (хотя это было очень трудоемкое предприятие) и установил в самом центре своего города бронзовые статуи людей и коней (они, по-видимому, были уничтожены в 1240 году монголами).

Стоит сопоставить это с поведением западноевропейских крестоносцев при захвате ими Константинополя в 1204 году — то есть через двести с лишним лет: «...в уничтожении античных бронзовых статуй варварская корысть завоевателей проявилась в полной силе. Более культурные из них, венецианцы, увезли целыми четырех бронзовых коней... и поставили на западном фасаде собора св. Марка... Но еще более ценные памятники... были разбиты и расплавлены впоследствии на монету»[5]. Далее крупнейший византинист подробно рассказывает о судьбе ценнейших памятников, превращаемых в монеты, что, между прочим, давало лишь

[4] Здесь и далее перевод на современный язык В. Я. Дерягина.
[5] Успенский Ф. И., академик. История Византийской империи, т. III. М.-Л., 1948, с. 406.



«ничтожную выгоду». Одни только венецианцы, которых уже коснулись веяния Проторенессанса (вдохновленного, кстати сказать, именно Византией), проявили понимание ценности культуры...

Что же касается присоединенных к Византии земель, непосредственно окружающих Черное море, то, несомненно, сами византийцы (в частности, их многочисленные войска) создавали и тело и душу государственности и культуры. Между тем на Руси воля к созиданию исходила все же от «туземцев», приглашавших тех или иных «специалистов» из Империи (о чем не раз сообщается в древнерусских письменных памятниках) и, с другой стороны, постоянно отправлявшихся в далекие византийские города и монастыри, чтобы брать уроки государственного и культурного созидания.

Ситуация эта в конечном счете вполне подобна той, которая существовала в отношениях России и Западной Европы в XVIII — XIX веках. И до сих пор живуче, особенно за рубежом, мнение, согласно которому новая, послепетровская Россия была-де попросту «пересажена» с Запада. Но сегодня эта «концепция» неспособна выдержать сколько-нибудь серьезное обсуждение...

Столь же легковесны и попытки объяснить самую основу расцвета Руси в первой половине XI века влиянием Византии — влиянием, которое ведь ни в коей мере не сказалось, например, на племенах, обитавших между Русью и Византией, подчас на самой границе последней и имевших с ней длительные взаимоотношения — таких, как приазовские («черные») болгары, печенеги, угры, половцы и т. п. Из этого следует заключить, что Русь только в силу собственного развития, только благодаря определенной зрелости своей собственной государственности и культуры могла полноценно воспринять византийский опыт. Причем необходимо иметь в виду, что восприятие это стало действительно совершаться только с 980-х годов, хотя непосредственные контакты Руси с Византией начались не позднее 860-х годов (то есть ста двадцатью годами ранее).

Однако об этом еще пойдет речь. Итак, очевидная, осязаемая кристаллизация мощной государственности и высокой культуры, присущая Ярославовой эпохе, вроде бы резко контрастирует с образом Руси столетней давности (то есть, скажем, 930 — 940-х годов), от которой до нас дошли только не имеющие четкого, вполне определенного смысла археологические материалы и в значительной мере также смутные устные предания, записанные полтора-двумя столетиями позднее, в начале 1110-х годов (или, по крайней мере, во второй половине XI века) в «начальной» русской летописи. Гипотеза о существовании зачатков летописания еще в конце X века остается гипотезой, — и не очень убедительной.

И все же исторические свершения, явленные на Руси к середине XI века, никак не могли возникнуть на пустом месте. Им неизбежно должно было предшествовать достаточно долгое, деятельное и богатое народное бытие, породившее ту, несомненно, громадную историческую энергию, которая обрела не только «предметное», но и поистине монументальное, сохранившееся и до наших дней воплощение в эпоху Ярослава.

Историография и археология за последние десятилетия во многом расширили и углубили представления о жизни Руси до XI века, — в частности, в том, что подтвердили и конкретизировали немало выдвинутых ранее, но не получивших полного признания воззрений и концепций.

Выше говорилось о несравненной объективности и чуткости исторического мышления Пушкина. Известно, что он внимательнейшим образом изучал и очень высоко ценил «Историю государства Российского» Карамзина. Пушкин рассказывал, как в феврале 1818 года, сразу же после выхода в свет первых восьми карамзинских томов, он «прочел их... с жадностию и со вниманием... Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом».

Но прошло около десяти лет, и 16 сентября 1827 года Пушкин заметил: «удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей «Истории», говоря об Игоре, Святославе. Это героический период нашей истории».

Еще через девять лет, 19 октября 1836 года, Пушкин возражает Чаадаеву, который склонен был отрицать героику ранней русской истории, полемически сопоставляя последнюю с героической «юностью» Западной Европы.

«Это пора великих побуждений, великих свершений, великих страстей у народов... — утверждал в первом своем «философическом письме» Чаадаев. — Это увлекательная эпоха в истории народов, это их юность... Мы, напротив, не имели ничего подобного... Поры бьющей через край деятельности, кипучей игры нравственных сил народа — ничего подобного у нас не было».

Пушкин решительно оспаривает этот «приговор»: «Войны Олега и Святослава...— разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой... деятельности, которой отличается юность всех народов?». И в другом варианте письма Чаадаеву: «Завоевания Олега (Пушкин написал здесь и затем зачеркнул и имена Рюрика и Игоря. — В. К.) стоят завоеваний Нормандского Бастарда [6]... Юность России весело прошла в набегах Олега и Святослава... следствием того брожения и той активности, свойственных юности народов, о которых вы говорите».

Пушкин в силу обстоятельств (официальное осуждение чаадаевского сочинения) не отправил и даже, видимо, не завершил цитируемое письмо, но известно, что он собирался подкрепить свое понимание сторонним, западноевропейским мнением; сохранилась его запись: «Мнение Шлецера о русской истории — NB. статья Чедаева» [7]. Здесь же Пушкин указал ту страницу из введения к трактату А. Л. Шлецера «Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке...» (первый том его вышел в Петербурге в 1809 году в переводе на русский язык), на которой выражено «мнение» германского историка.

Август Людвиг Шлецер (1735—1809) — один из первых серьезных западноевропейских историков Руси, в 1761—1767 годах деятельно работавший в русских архивах. Вернувшись в Германию, он сразу же, в 1767 году, опубликовал работу «Probe russische Annalen» («Опыт о русских летописях»), некоторым положениям коей придавал столь существенное значение, что через тридцать пять лет процитировал их во введении к своему главному труду «Nestor...» (1802). Одно из этих положений и выделил Пушкин в русском издании «Нестора» как многозначительное мнение иностранного историка. Шлецер писал, что начальная история России «чрезвычайно важна по непосредственному своему влиянию на всю прочую, как европейскую, так и азиатскую, древнюю историю» [8].

Так полагал германский историк, обладавший преимуществом не только стороннего, то есть объективного, но и (это необходимо осознать) первооткрывательского — с точки зрения Запада — и еще не затемненного всякого рода предубеждениями взгляда на историю Руси. Но правильнее будет оставить решать вопрос о важности «непосредственного влияния» русской истории на развитие других стран и Европы, и Азии самим этим странам, то есть их историкам. Хочу подчеркнуть другое: история Руси действительно с самого ее начала была тесно сплетена с историей и соседних, и более или менее отдаленных (как та же Византия) стран и народов. Это сплетение, эта связь наглядно выступает, о чем уже шла речь, в эпоху Ярослава, но она стала существеннейшей реальностью русской истории гораздо раньше, уже в IX веке.

Дошедшие до нас сведения различных источников дают все основания утверждать, что государственность Руси почти с самого своего рождения выходит на широкую мировую арену, на простор тогдашней западноевразийской Ойкумены — от Скандинавии до Багдада и от Испании до Хорезма. И это, без сомнения, определило последующие судьбы Руси, и в частности ту ее величавую державность, которая столь явственно воплотилась в бытии и сознании Ярославовой эпохи.

Когда митрополит Иларион говорил в 1049 году об Игоре, Святославе и Владимире, что они «не в худой и неведомой земле владычествовали, но в Русской, что ведома и слышима всеми четырьмя концами Земли», — это было не просто риторическим оборотом, но констатацией реального положения вещей, сложившегося к началу XI века.

---

[6] Нормандский Бастард — внебрачный сын норманна (то есть в древнерусском словоупотреблении — «варяга») Роберта Дьявола, Вильгельм Завоеватель (1027—1087), ставший в 1066 году королем Англии.

[7] Пушкин А. С. Полное собрание сочинений, т. 12. М., 1949, с. 208.

[8] Шлецер А. Л. Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке, сличенные, переведенные и объясненные. Ч. 1. СПб., 1809, с. XXXIV.



## 1. НАЧАЛО РУСИ

Согласно современным представлениям, славянские племена, ставшие основой Руси, к VIII веку расселились на землях от нижнего течения Днепра до Ладожского озера [9] (оно называлось тогда Великое озеро Нево, а река Нева понималась как своего рода устье этого озера). Существует целый ряд гипотетических концепций, которые по-разному решают вопрос о том, откуда и начиная с какого времени пришли или (есть и такая — ныне, пожалуй, наиболее влиятельная версия) возвратились после долгого отсутствия на эту покрытую лесами, а в южной своей части лесостепную равнину основные насельники Руси.

Однако для изучения нашей темы нет необходимости в освещении этой этнической предыстории; достаточно того, что не позже VIII века (с чем, кажется, соглашаются сегодня все специалисты) основное население будущего русского государства разместилось вдоль указанной линии юг—север и осваивало земли к западу и востоку от этой линии.

Главное движение шло по речному пути (по воде или вдоль берегов): Днепр — верхнее течение Западной Двины — Ловать — озеро Ильмень — Волхов — Ладога. На этом, по тогдашним меркам, гигантском, более чем тысячеверстном (учитывая кривизну рек и волоков) пути возникали древние селения, сравнительно быстро ставшие укрепленными городами, — Канев, Переяславль Русский, Киев, Вышгород, Чернигов, Любеч, Смоленск, Витебск, Новгород, Ладога (или Невогород) и др. В X веке эта основная дорога восточнославянского расселения предстала как «путь из варяг в греки»; следует отметить, правда, что еще ранее, уже в IX веке, сложился «путь из варяг в арабы», Волжский путь [10].

Ко времени прихода славян северную часть этой территории населяли финно-угорские племена, срединную — балтские, южную (лесостепные земли) — тюркские и иранские. Однако нет сведений о значительных и острых конфликтах между пришедшими или же вернувшимися сюда славянами и этими племенами, что может иметь основательное «экономическое» объяснение. Славяне были, как это доказано в последнее время, прежде всего земледельцами и — что нераздельно связано с этим главным занятием — скотоводами (см. хотя бы коллективный труд «Очерки русской деревни X—XIII вв.». — М., 1950). Между тем тогдашние финно-угры и балты занимались преимущественно охотой, рыболовством и собиранием природных плодов, а тюрки и иранцы — кочевым скотоводством. И несовпадение жизненно необходимых «экономических» интересов во многом ослабило возможные столкновения разных племен.

В высшей степени характерно, что государственность, складывающаяся на этой территории, с самого начала была и воспринималась ее создателями как многонациональная, или, точнее, многоэтническая. В знаменитом летописном тексте о «призвании варягов» утверждается: «862 год... Сказали руси (то есть в данном случае «варягам». — В. К.) чудь, словене, кривичи и весь: земли наша велика и обильна, а власти [11] в ней нет. Приходите княжить и володеть нами» [12]. Не будем пока касаться вопроса о достоверности и конкретном смысле этого предания; заметим только одно: финские племена чудь и весь выступают в нем как совершенно равноправные инициаторы создания государственности (чудь вообще стоит здесь на первом месте!). И пусть даже перед нами легенда; сообщение летописца (в котором, без сомнения, так или иначе сказались общенародные представления) ясно выражает мысль о том, что его страна по самой своей сути — страна многонациональная. И различные племена и народности совместно действуют в ее истории.

В записи под 907 годом в «Повести временных лет» сказано, что князь Олег идет на Царьград, взяв с собою «множество варягов, и словен, и чуди, и криви-

---

[9] См. итоги изучения этой темы в труде: Седов В. В. Восточные славяне в VI—XIII вв. — М., 1982.

[10] См. новейшее исследование этой проблемы: Дубов И. В. Великий Волжский путь. — Л., 1989

[11] Традиционный перевод летописного «наряд» словом «порядок» вызывает сомнение: вернее перевести словами «власть» или «правление», ибо далее говорится: «Да пойдете княжить и володеть нами».

[12] «Повесть временных лет» здесь и далее цитируется в переводе Д. С. Лихачева

чей, и мерю (финское племя. — В. К.), и древлян, и радимичей, и полян, и северян...» и т. д. Или в записи под 985 годом: «Пошел Владимир на болгар (речь идет о Волжской Булгарии. — В. К.) в ладьях... а торков (южнорусский тюркский народ. — В. К.) привел берегом на конях». Такого рода факты постоянны и типичны в истории Руси.

Важно добавить к этому, что люди самого разного этнического происхождения не просто участвовали в истории Руси, но и входили в круг наиболее влиятельных лиц государства. Опираясь на дошедшие до нас свидетельства, М. Б. Свердлов писал о «иноязычной знати» Древней Руси: «На то, что не только младшая, но и старшая дружина (то есть немногие наиболее знатные сподвижники князя. — В. К.) в XI—XIII вв. были открытыми социальными группами, в которые входили представители разных народов Восточной Европы, указывают имена... (Георгий Угрин, Бяндюк, Кунуй, Улан, Анбал Ясин, Чудин, Тукы, Кульмей, Торчин, Шварн, Василий Половчин, Олбырь Шерошевич и другие), причем некоторые из них жили на Руси во втором поколении (Иванко Захарич Козарин, Матвей Шибутович, Юрий Толигниевич)... Основой высокого положения этих людей была служба князю» [13].

М. Б. Свердлов исходит из достоверных письменных источников и поэтому говорит о времени, начиная с XI века, но присутствие людей различного происхождения в высшей сфере власти имело место с самого начала, с рубежа VIII—IX веков.

Многонациональная государственность Руси, как обоснованно показали новейшие исследования, начала складываться значительно — на целое столетие или около того — раньше, чем полагало большинство дореволюционных историков, положения которых тем не менее продолжают иметь хождение до сих пор. Я имею в виду, в частности, что дата призвания варягов (862; — при всех различных толкованиях самого этого летописного текста — считалась и нередко продолжает считаться начальной датой русской государственности в собственном смысле слова; ей предшествуют, так сказать, уже как бы чисто мифические — «Гостомысловы» и «Киевы» (от князя Кия) — времена.

Между тем достоверно известно, например, — согласно «Анналам» франкского епископа и поэта Пруденция (умер в 861 году), — что официальные послы из северной Руси [14] еще в 838 году — то есть за четверть века до даты призвания варягов — прибыли к византийскому императору Феофилу, правившему с 829 по 842 год. И особенно важно отметить, что сам факт столь далекого посольства несомненно подразумевает достаточно развитую государственность.

В самое последнее время, в 1970—1980-х годах, целая плеяда плодотворно работающих археологов и историков обосновала убеждение, что первый исток государственности Руси пробился еще в VIII веке в устье Волхова, в Ладоге [15].

Этот древнейший (примерно 750-е годы) из известных нам город Руси (до новейшего времени существовало неверное представление о глубокой древности Новгорода, который на деле не старше начала или даже середины X века — то есть на два столетия моложе Ладоги [16]), в котором уже в IX веке была воздвигнута каменная крепость (совсем недавно открытая и, из известных нам, первая

[13] Свердлов М. В. Генеалогия в изучении класса феодалов на Руси XI—XIII вв. — Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XI. Л., 1979, с. 232—233.

[14] О том, что посольство было именно из северной Руси, пойдет речь ниже.

[15] Речь идет о таких исследователях, как О. И. Давидан, И. В. Дубов, А. Н. Кирпичников, Г. С. Лебедев, Д. А. Мачинский, Р. С. Минасян, В. А. Назаренко, Е. Н. Носов, С. Н. Орлов, В. П. Петренко, Е. А. Рябинин и др.; см., например, сборники статей и материалов: Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего средневековья. — Л., 1982; Новое в археологии Северо-Запада СССР. — Л., 1985; Средневековая Ладога. Новые археологические открытия и исследования. — Л., 1985; Историко-археологическое изучение Древней Руси. Итоги и основные проблемы. — Л., 1988 и др., а также книги названных исследователей.

[16] См., например: Янин В. Л., Колчин Б. А. Итоги и перспективы новгородской археологии. — В кн.: Археологическое изучение Новгорода. — М., 1978, с. 5—56. Правда, еще в IX веке существовало поселение, выражаясь современным языком, городского типа на острове вблизи Новгорода, получившее впоследствии название «Рюриково городище». Но это не Новгород (который, вполне вероятно, был наименован «Новым городом» в сравнении с этим, более ранним). Во всяком случае, предание о том, что Рюрик в середине IX века основал именно Новгород, на деле возникший значительно позднее, — вымысел новгородских летописцев. См. обо всем этом превосходное исследование: Носов Е. Н. Новгородское (Рюриково) городище. — Л., 1990.



по времени на Руси), с самого начала стал узлом «широких, евразийского масштаба торговых и культурных связей» («Средневековая Ладога...», с. 4), простиравшихся от западноевропейских земель до арабского Востока, — что прочно удостоверено археологическими исследованиями монет и предметов прикладного искусства. Наконец, в этой северной Руси, как явствует и из западноевропейского (германского), и из восточных (арабских и персидских) источников, не позднее 830-х годов, а вероятнее всего, ранее, существовал правитель, принявший высокий титул кагана (что будет объяснено в дальнейшем).

Но государственность Руси складывалась несколько позже и на юге, в Киеве. Еще сравнительно недавно князь Кий считался, по сути дела, легендарной фигурой, вымышленной для того, чтобы «объяснить» происхождение названия города Киева. Но это соображение явно несостоятельно, ибо именами их созидателей-князей был назван целый ряд городов — Владимир (Волынский), Ярославль, Юрьев (по христианскому имени Ярослава), Владимир-Залесский (его основал Владимир Мономах) и т. д. Впрочем, в новейших работах Кий не только был признан реальным лицом, но и резко «удревлен» — помещен — как и основание города Киева — в VI или даже V век! Полная несостоятельность такой датировки показана в статье И. П. Шаскольского «Когда же возник город Киев» [17].

К сожалению, И. П. Шаскольский не принял во внимание опубликованную еще в 1960 году работу М. Н. Тихомирова «Начало русской историографии», в которой убедительно датировано время правления Кия.

Известно, что хронология истории Руси IX—X веков в начальных летописях вызывает великое множество сомнений. Но в летописной хронологии есть и более надежный пласт — постоянно сопоставляемые с историей Руси даты византийской истории тех времен, которая, вполне понятно, излагалась в имевшихся в распоряжении русских летописцев византийских хрониках (некоторые из них были к XI веку уже переведены на церковнославянский язык) с гораздо большей хронологической точностью, нежели история Руси (поскольку ее события IX—X вв. были известны летописцам XI — начала XII века только по устным преданиям). Из сопоставления с историей Византии и исходил М. Н. Тихомиров:

«Новгородская I и Устюжская летописи, — писал он, — относили годы жизни Кия к периоду царствования Михаила в Византии, так как первые сведения о Руси, найденные в византийских хрониках, касались царствования Михаила (842—867 гг. — В. К.). Однако такое сопоставление было сделано не очень грамотными компиляторами, в силу чего матерью императора Михаила названа Ирина, а не Феодора». Но, продолжает М. Н. Тихомиров, «спутать имена Феодоры и Ирины было не так просто, и можно предположить, что путаница произошла оттого, что именно Ирина упоминалась в первоначальном тексте... К ее времени первоначально приурочивали рассказ об основании Киева... Этим отдаленным временем для летописца было царствование императрицы Ирины, то есть примерно 780—802 гг.» [18]. Добавлю от себя, что императрицы Ирина (правила в 780—802-м годах) и Феодора (842—856) могли быть «перепутаны», в особенности потому, что обе славились как «иконопочитательницы», решительно отвергнувшие «иконоборчество».

В упомянутой выше статье И. П. Шаскольского доказывается, что археологические исследования позволяют датировать основание Киева (в частности, окружавший древний город глубокий ров на Старокиевской горе) именно концом VIII века (с. 71); город и был, по мысли И. П. Шаскольского, создан «формирующимся южнорусским государственным образованием конца VIII — начала IX в.» (с. 72).

Исходя из этого, начало государственности (а следовательно, и самой истории) Руси следует датировать рубежом VIII—IX веков, притом истоки ее пробиваются и на севере и на юге Руси. Последующее развитие показывает, что северный исток был, так сказать, сильнее, ибо именно оттуда пришла и прочно утвердилась в Киеве династия Рюриковичей.

В июне 1868 года Тютчев, который великолепно знал историю и вместе с тем обладал уникальным, «вещим» историческим чутьем, писал, проплыв на паро-

[17] В кн.: Культура Средневековой Руси. — Л., 1974, с. 70—72.

[18] Тихомиров М. Н. Русское летописание. — М., 1979, с. 52, 53.

ходе по Волхову от Ладоги до озера Ильмень: «Весь этот край, омываемый Волховом, это начало России... Среди этих беспредельных, бескрайних величавых просторов, среди обилия широко разлившихся вод, охватывающих и соединяющих весь этот необъятный край, ощущаешь, что именно здесь — колыбель Исполина»...

В дальнейшем будут так или иначе очерчены этапы истории Древней Руси, и в частности, последовательность основных княжений. Но все же целесообразно наметить предварительно главные вехи. Правда, сразу же встает вопрос об отсутствии выверенной хронологии, точного знания о времени правления ранних князей. Известный историк А. П. Новосельцев писал недавно, что в истории Руси имеет место «ненадежность летописной хронологии практически до времен Владимира и даже отчасти первых лет его правления. На это неоднократно обращали внимание исследователи, однако из-за ограниченности параллельных материалов серьезных попыток исправить летописную хронологию, по сути дела, не было»[19].

Уже шла речь о времени правления летописного князя Кия (конец VIII — начало IX века). Известно, что затем в Киеве правили его потомки, а, по видимому, в середине IX века с севера пришел и стал князем Аскольд (более туманна фигура князя Дира, который был или соправителем Аскольда, или же княжил в другое, хотя и близкое, время). Далее, опять-таки с севера, пришел Олег, объединивший Ладожскую и Киевскую государственность.

Что касается Ладоги, то там, как известно из германской хроники того времени, уже в 830-х годах существовало достаточно развитое государство во главе с русским **каганом** (см. об этом ниже), а не позднее середины IX века правил известный всем князь Рюрик, от которого и пришли в Киев Аскольд и затем — согласно летописной дате, в 882 году, — Олег. Образ Олега в летописях явно «раздваивается»: он предстает то как воевода, то как верховный правитель, великий князь; есть в летописях различные даты и обстоятельства смерти Олега (вероятнее, двух людей с одним именем) и т. п. Ко всему этому мы еще вернемся, пока же выдвину гипотезу, что был Олег, правивший в конце IX — начале X века, и другой Олег, чье правление приходится на 920—930-е годы.

Далее перед нами предстает уже вполне «достоверный» князь Игорь, погибший в конфликте с древлянами в 945 году и оставивший молодую вдову Ольгу и малолетнего сына Святослава. Правителями становятся и Ольга (скончалась в 969 г.), и — по мере взросления — Святослав, погибший от руки печенегов в 972 году. Затем власть переходит к его старшему сыну Ярополку, а примерно с 980 года — к младшему Владимиру, правившему до своей смерти в 1015 году.

После краткого правления Святополка Ярополчича, вошедшего в историю под прозванием Окаянного, начинается эпоха Ярослава Владимировича Мудрого (скончался в 1054 году) и его сменявших друг друга сыновей Изяслава, Святослава и Всеволода (последний умер в 1093 году). Затем киевским князем становится сын **старшего** из сыновей Ярослава Мудрого (в чем выражается начавшийся с Ярополка Святославича древнерусский порядок престолонаследия), Святополк Изяславич (1093—1113)[20], а вслед за ним — сын младшего Ярославича, Всеволода, Владимир Мономах (1113—1125), которому наследуют его старшие сыновья Мстислав (1125—1132) и Ярополк (1132—1139). Младшего же сына Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, «оттесняют» от киевского княжения сначала внук Святослава (сына Ярослава Мудрого) Всеволод Ольгович (1139—1146), а вслед за ним — сын Мстислава (старшего сына Мономаха) Изяслав (1146—1154). Только после смерти Изяслава Юрий Долгорукий становится киевским князем. Но до этого он более пятидесяти лет княжил на севере, в Ростово-Суздальской земле, и его сын Андрей Боголюбский, избравший в качестве своей резиденции недавно основанный в этой земле город Владимир, после кончины отца, в сущности, переносит туда из Киева столицу Руси, где он и правит с 1157 до 1174 года. Его сменяет во Владимире младший сын Юрия Долгорукого, Всеволод Большое Гнездо (1176—1212); далее правит сын последнего, Юрий, погибший в битве с монголами в 1238 году...

Таковы основные правления первых четырех с половиной столетий истории

[19] «Вопросы истории» 1991, № 2—3, с. 5.
[20] Здесь и далее — годы правления.



Руси, в течение которых «центр» перемещался из Ладоги в Киев, а из Киева — во Владимир.

В первые два века так или иначе выделяются фигуры Рюрика, Аскольда, Олега (хотя, по-видимому, под этим именем «скрыты» два человека), Ольги, Святослава, Владимира Святого; в XI — начале XIII века — Ярослав Мудрый, Святослав (Ярославич), Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо (из них Ольга, Святослав, Владимир Святой, Ярослав, Владимир Мономах и Андрей Боголюбский могут быть причислены к **великим** историческим деятелям).

Наметив эту историческую перспективу протяженностью в четыреста пятьдесят лет, и, если измерять иначе, в **пятнадцать** человеческих **поколений** (рамки поколения — 30, максимум 35 лет), вернемся к началу истории Руси.

Возникновение государственности Руси совпало — и это, несомненно, имело для нее огромное значение — с исключительно деятельной и напряженной эпохой в истории всей западной части Евразии. Территорию, на которой на рубеже VIII — IX веков начала складываться Русь, со всех сторон окружали тогда чрезвычайно энергичные и активные исторические силы.

К северо-западу от нее находился словно извергающий человеческую лаву викингов вулкан тогдашней Скандинавии; их походы в Западную Европу начались в 793 году, а в Восточную — еще ранее, не позже 750-х годов[21].

К западу от Руси в течение 770—800-х годов была создана гигантская империя Карла Великого — от Пиренеев до Эльбы и Дуная, от Балтики до Средиземного моря.

К югу, в Византии, правила властная и целеустремленная императрица Ирина, сумевшая в 787 году победить разлагавшее империю иконоборчество (правда, после окончания ее правления оно вновь возобладало до 843 года) и собиравшаяся вступить в брачный союз с Карлом Великим, чтобы восстановить поистине вселенскую Империю (в границах Рима эпохи его расцвета); дворцовый заговор оборвал в 802 году ее начавшие осуществляться замыслы.

К востоку от Руси на рубеже VIII—IX веков достигал своего высшего могущества Хазарский каганат; именно в это время фактический его повелитель каганбек Обадий сделал иудаизм официальной, господствующей религией, после долгих войн было установлено определенное равновесие с сильнейшим южным соседом, Арабским халифатом — где, кстати сказать, правил именно в это время, в 786 — 809 годах, один из самых великих халифов, Харун ар-Рашид, — и границы Хазарского каганата простерлись от Кавказа до Камы и Оки и от Урала до Крыма.

С этими историческими силами — языческой Скандинавией викингов, христианской Византийской империей и иудаистским Хазарским каганатом (а через них — опосредованно — и с Арабским халифатом) ранняя история Руси самым что ни на есть тесным образом связана, и можно с полным правом утверждать, что русская государственность и культура сформировались в сложнейшем и мощном магнитном поле, создаваемом этими силами, их «пересечением», — поле, в котором и сама Русь развивалась как постоянно возрастающая сила, столь монументально представшая позднее — в эпоху Ярослава.

IX—X столетия — это время самого широкого выхода Руси на тогдашнюю мировую арену, — выхода и в прямом, буквальном смысле слова, ибо в течение этих двух веков десятки или даже сотни тысяч людей (это отнюдь не преувеличение) из Руси побывали в соседних и более далеких странах в составе войск, посольств, торговых товариществ.

Определенный, хотя и далеко не полный свод известий о «походах» Руси представлен в трактате В. Т. Пашуто (часть трактата написана А. П. Новосельцевым). Ссылаясь на различные источники, историк показывает, что после общеизвестных походов на Константинополь в 860 году и в начале X века Русь вступила в союзнические отношения с Византией, и, скажем, «в 911—912 гг. отряд из 700

[21] См. новейшее исследование проблемы: Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. — Л., 1985.

русских воинов участвовал в походе византийского флотоводца Имерия против арабов на Крит... в 934 г. 7 судов с русскими (415 человек) находились в эскадре из 18 судов патрикия Косьмы, которого император Роман послал в Лангобардию (то есть Северную Италию. — В. К.); в 935 г. ...они же в составе эскадры протоспафария Епифана ходили к берегам южной Франции». В 949 г. «император Константин Багрянородный... имел 629 русских... на 9 судах в неудачной экспедиции на Крит»; позже «русское войско участвовало в 960—961 гг. в отвоевании Никифором Фокой о-ва Крита у арабов... В неудачной экспедиции византийцев в 964 г. на о-в Сицилию также участвовало русское войско...» и т. д.

С другой стороны, уже в 860-х годах арабы озабочены «действиями руссов в южном Прикаспии», то есть на иранском берегу; в 909—910-х годах большой русский отряд на судах направился (разделившись) и к юго-западному, и к юго-восточному побережью Каспийского моря. Крупные походы Руси сюда же состоялись и в 940-х, и в 980-х годах [21]. И это, конечно, только часть дошедших до нас сведений о «выходе» Руси вовне, на мировую арену, в IX—X веках.

Это время принципиально отличается от позднейшей эпохи, начавшейся при Ярославе Мудром, когда Русь, напротив, явно сосредоточивается на внутреннем развитии, перестав постоянно и интенсивно выходить за свои пределы. Более того, всего через столетие после кончины Ярослава Мудрого это нарастающее сосредоточение на внутреннем развитии привело к предельно выразительному итогу: перемещению столицы, «центра» Руси в ее, условно говоря, географический центр — во Владимир на Клязьме, отстоящий от Киева на тысячу верст к северо-востоку. Но об этом еще пойдет речь в дальнейших главах книги. Сейчас нам важно установить, что присущие эпохе юности Руси (IX—X столетия) «выходы» за свои пределы в XI веке становятся крайне редкими, а в XII веке, по существу, прекращаются.

Очень характерно, например, что всем известный поход Игоря Святославича на половцев в 1185 году, в продолжение которого его войско прошло от тогдашних границ Руси не более чем полторы — две сотни верст, изображается в «Слове о полку Игореве» как далекое путешествие: «Дремлет в поле Ольгово хороброе гнездо. Далече залетело!» Между тем в IX—X веках русские воины не раз отправлялись в тысячекилометровые походы на юг в Византию, на восток, к границам Ирана и Хорезма и т. д.

Дело, конечно, не только в самих походах как таковых. В течение IX—X веков Русь как бы вбирала в себя опыт и энергию всего окружающего ее мира, что, например, рельефно выразилось в вошедшем в «Повесть временных лет» предании о «выборе» русскими веры, выборе из четырех религий — мусульманства, иудаизма, западного христианства и, наконец, восточного, православного христианства.

Есть основания утверждать, что «выход за пределы», столь характерный для Руси IX—X веков, обусловлен и недостаточной еще «обжитостью» своей — своей на грядущее тысячелетие — земли (вспомним, что славянские племена окончательно поселились на Руси, возможно, только в VIII веке и уж никак не ранее VI—VII вв.). Имеино это просматривается в летописных сведениях о князе Кие (рубеж VIII—IX веков) и, позднее, о Святославе. Рассказав о хождении Кия к «царю» в Царьград, летописец добавил: «Когда же возвращался, пришел он на Дунай, и облюбовал место, и срубил городок невеликий, и хотел сесть в нем со своим родом, да не дали ему близживущие; так и доныне называют придунайские жители городище то — Киевец» (как указал, комментируя этот текст, М. Н. Тихомиров, городок Киев продолжал существовать на Дунае еще в XV веке).

Через полтора столетия с лишним, в 967 году, и Святослав «сел княжить» в болгарском Переяславце (Малый Преслав) на Дунае, а возвратившись в 969 году в Киев, как свидетельствует летопись, заявил: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце... туда стекаются все блага: из Греческой земли — золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, мед и рыбы».

---

[21] См.: Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. — М., 1968, с. 62, 65, 68, 69, 99, 100, 103.



Ясно, что такого рода стремление не могло бы возникнуть даже уже у сына Святослава Владимира (не говоря о внуке Ярославе), несмотря на то, что князь Владимир побывал и в Скандинавии, и на Каме, и на Северном Кавказе, и в Галиции, и в Крыму.

Но до Владимира Русь находилась как бы в поре юношеских странствий — несмотря даже на то, что к тому времени закрепились узловые пункты ее исторического бытия — и Киев, и Ладога, и более поздние Новгород, Смоленск, Ростов, Чернигов и др.

И нельзя не отметить, что мотив дальнего странствия красной нитью проходит через русский былинный эпос, а в отдельных случаях речь идет даже и о поселении в чужой далекой стране. Так, о былинном князе Волхе Всеславьевиче говорится, что он, завоевав «Индейское» царство, «тут царем насел». Правда, это именно отдельный мотив. Илья Муромец, например, которому царь Константин Боголюбович (в отличие от князя Владимира) с великой честью предлагает остаться в Царьграде в качестве воеводы, решительно отказывается, и

...поехал тут Ильюшенька во Киев-град.

Но тема постоянных дальних походов и путешествий, повторяю, пронизывает былинный эпос, воссоздавая, без сомнения, историческую реальность Руси IX—X веков.

Выше говорилось о Ярославовой Руси, воплотившей себя в сохранившихся отчасти и до наших дней зодчестве в изобразительном искусстве, в обилии значительных городских поселений и выдающихся памятниках письменности, — между тем как от предшествующих времен до нас дошли только записанные позднее устные предания, разрозненные иноязычные свидетельства и нуждающиеся в сложной археологической дешифровке остатки материальной культуры. Однако совместная работа историков и археологов доказывает (особенно в последние десятилетия), что IX—X столетия были для Руси периодом исключительно масштабных и энергичных исторических деяний (походов, битв, переселений и т. п.), были истинно героической эпохой. В этих деяниях и выковались основы государственности Руси, окончательно сформировавшейся при Ярославе. И вполне основательно было бы даже без тщательного изучения проблемы предположить, что эти два столетия прямо-таки должны были породить и какие-либо подлинно весомые явления культуры, хотя и, по всей вероятности, не опредмеченные ни в письменности, ни в иных «очевидных» воплощениях.

*Продолжение следует*

# Лев Николаевич ГУМИЛЕВ

15 июня 1992 года, не дожив всего нескольких месяцев до своего восьмидесятилетия, скончался Лев Николаевич Гумилев — мыслитель, историк, гражданин.

О каждом ушедшем стоит сказать надгробное слово. Но память о Льве Николаевиче необходима не только и даже не столько ради него; она необходима всем нам, ибо он был человеком редкостного, подлинно героического духа. Ему, сыну расстрелянного в 1921 году русского поэта, трижды — начиная с юных лет — пришлось входить в адские ворота ГУЛАГа. Лишь в возрасте 34-х лет он смог окончить университет и только на пятом десятке — отдать себя делу своей жизни. И все же высший героизм его духа выразился не в преодолении тяжких испытаний, но в том, что с его уст никогда не срывались жалобы на судьбу. Лев Николаевич не забывал, что его трагедия — не личная, а всенародная. И он не твердил, подобно многим другим, что страдал «безвинно». Он гордо знал о своей благородной вине перед насильниками и разрушителями России. И, как ни поразительно, основы его мысли об истории сложились именно в ГУЛАГе. А в промежутке между «сроками» он — и это тоже было предметом его гордости — сражался на Великой Отечественной.

Вокруг его книг и статей (публиковавшихся и в «Нашем современнике») идут и будут идти споры — уже хотя бы потому, что он, сын Гумилева и Ахматовой, являл собой и ученого, и, пожалуй, в равной мере — поэта. И многое в его трудах стоило бы воспринимать как вдохновенные образы русской и мировой истории, а не как рассудительный анализ ее событий и явлений. Многочисленные ученики и последователи Льва Николаевича (среди них — Дмитрий Балашов, Гелиан Прохоров, Юрий Бородай, Александр Панченко, Александр Шенников) чаще всего идут своими собственными путями, но все же именно у Гумилева они учатся самому главному.

Это главное — полная истинного мужества и отваги духовная воля, обладая которой, человек, познающий историю, включается в само творение истории, вносит в нее свой собственный вклад. Лев Николаевич Гумилев — выдающийся деятель не только нашей исторической мысли, но и самой нашей истории. И Россия его не забудет!

РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА «НАШ СОВРЕМЕННИК»

# ДНЕВНИК СОВРЕМЕННИКА



АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

*Россия: попытка самопознания*

СТАТЬЯ I

## РУССКИЕ И ВЛАСТЬ

(УТРАЧЕННАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ)

Тысячелетняя парадигма несвободы; лживый, подобострастный народ, достойный тиранов, которые им управляли; страна, получившая идеал свободы от Запада и погубившая его; государство, опасное для человечества,— это лишь сотая доля того, что приходится слышать и читать о России. Не просто бранные эпитеты — идеологические клише, стереотипы, намертво прикипевшие именно к нашей земле. Не важно, что в Азии сотнями расстреливают оппозиционеров, не важно, что в Латинской Америке один диктатор сменяет другого,— в Лондоне и Нью-Йорке, Токио и самой Москве человек, открыв газету и прочитав о стране рабов, сразу понимает: речь о России.

Наше сознание отравлено мыслью о государственной неполноценности собственного народа. Не только глотающие газетную наживку обыватели — интеллигенция в массе своей приняла приговор: тысячелетняя раба. Приняла не сегодня и не вчера, мы, кажется, рождаемся с мыслью о русском рабстве. Как легко возникают, как охотно поддерживаются разговоры о полицейском характере э т о й страны. Не понимают: э т а страна — наша.

Впрочем, в подобных разговорах охотно делают исключение для себя, для своих. Скажите человеку: «холоп»,— оскорбится, но шутку о народе, привыкшем к порке на конюшне, охотно поддержит. Что вы хотите, так принято. Поголовно убеждены: иной взгляд невозможен. В разговоре с известным теоретиком культуры я позволил себе усомниться в пресловутой русской покорности — собеседник попросту отказался обсуждать вопрос. Дал понять, что принял мою точку зрения за проявление вопиющего невежества.

Подобный взгляд на отечественную историю, на наш национальный характер постоянно подпитывается «авторитетными свидетельствами». Обычно используют заурядные публицистические тексты (отечественного сочинения и западные). Однако порою появляются публикации авторов действительно серьезных. И тогда не эмоция, не предрассудок — особая историософская концепция приоткрывается перед нами.

Одна из первых в этом ряду — статья Георгия Федотова «Россия и свобода» («Знамя», № 12, 1989). В семнадцатистраничном эссе, написанном в 1945 году, заключена квинтэссенция идей, растворенных в целом море современной советологии. «Темное царство» — вот имя России, во всяком случае в московский и петербургский периоды ее истории (для Киева и Владимира автор сделал исключение). «Самая деспотическая монархия в Европе»,— уточняет философ. «Влияние татарства», «духовное монгольское завоевание» — бичует он.

Обличению подлежат все — от царя до народа. Первый — деспот, не связанный ни законом (как западный монарх), ни обычаем (в отличие от восточного владыки). Но более всего достается последнему — простому народу. Он «не нуждается» в свободе, «более того, ее боится». «Он не пожелал воспользоваться самоуправлением, которое предлагал ему сам царь...»

Федотов настолько увлекся обличениями, что не заметил очевидной несогласованности тезисов. Как же так: царь—деспот, пострашнее тиранов Востока,— предлагает подданным самоуправление... Ну да в сочинениях о России любое лыко оказывается в строку, только бы кололо, и побольнее!

В чем же основная вина русских? Они поддержали национальное государство. Создали могущественную империю. «Он (народ.— А. К.) сделал свой выбор между национальным могуществом и свободой. Поэтому он несет ответственность за свою судьбу».



Перед судом предстает отечественная культура. Автор отмечает уникальное культурное единство, выработавшееся в России. «От царского дворца до последней курной избы московская Русь жила одним и тем же культурным идеалом, одними идеями». Он отмечает, что «это единство культуры сообщает московскому типу его необычайную устойчивость». Признает: уникальная общность сохранилась — в глубине народа — и после Петра, едва ли не до самой революции.

Что же, тем хуже для русской культуры! «Гоголь и Достоевский были апологетами самодержавия, Толстой — анархистом, Пушкин примирялся с монархией Николая». Философское эссе напоминает политический донос. Мелькают имена Сурикова, Мусоргского. Возникает роковой термин: «черная сотня». Оказывается, «для московского уха он должен был звучать, как для Токвиля «демократия». И тут же — молниеносное сопоставление, проецирующее русскую историю на сиюминутную политическую конъюнктуру: «Черная сотня есть русское издание, или первый вариант национал-социализма».

Единственный слой, не внесенный в проскрипционный список,— интеллигенция (как красноречиво здесь исключение из ее рядов Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Мусоргского, Сурикова — цвета отечественной культуры, обвиненного в связях с народом!). «Весь драматизм российской политической истории выражается в следующей формуле: политическая свобода в России может быть только привилегией дворянства и европеизированных слоев (интеллигенции)».

Однако народ, по Федотову, неизменно противостоял носителям идеала свободы, а в годы революции уничтожил их: «Вся созданная за 200 лет Империи свободолюбивая формация русской интеллигенции исчезла без остатка. И вот тогда-то под нею проступила московская тоталитарная целина».

Вывод прост: не поддаваться иллюзиям, неизбежно возникающим в ходе совместной с СССР борьбы западных демократий против фашизма. Переориентировать «цивилизованный мир» на противоборство с московским тоталитаризмом. И в заключение — «демократические идеи Запада импортировать москвичам».

Если бы не подпись, можно было бы подумать, что это — А. Янов или А. Синявский-Терц. Неудивительно, что читатели-патриоты после публикации в «Знамени» записали Федотова в русофобы. Однако зрелые труды философа, в частности о русской святости, убеждают в его любви к родине. Эссе, напечатанное в «Знамени»,— явление все-таки более сложное, чем бытовая русофобия нынешних советологов. Тут первородный грех интеллигентского сознания. Грех, который сам философ всю жизнь стремился искупить. У Федотова есть блистательно и гневно написанная работа, так и озаглавленная — «Трагедия русской интеллигенции». Корень ее философ видит в беспочвенности этого слоя. На века отчеканил: «Беспочвенность есть отрыв: от быта, от национальной культуры, от национальной религии, от государства, от класса, от всех органически выросших социальных и духовных образований».

Читая эссе «Россия и свобода», сталкиваешься с той же самой беспочвенностью, которую Федотов мучительно осознавал как трагедию. Становишься свидетелем духовного поражения мыслителя, не сумевшего до конца изжить собственную беспочвенность. Он оказался бессильным заглянуть в сокровенную глубину народного бытия, и оно осталось непознанным, чужеродным для него.

Автор вынужден пользоваться готовыми схемами, стереотипами. Потому-то так легко спутать эссе Федотова с сочинениями Янова и Синявского. Разумеется, основываясь на стереотипах, к оригинальным выводам не придешь. Статья Федотова изначально запрограммирована на воспроизведение идеологических клише. Одна из немногих откровенно слабых работ этого самобытного мыслителя.

Но публикаторов меньше всего заботило его реноме. В их выборе сказывался типично марксистский подход к философии как прикладной дисциплине. Неудивительно — четыре года назад вопросы публикации философского наследия решались не где-нибудь, а в Политбюро ЦК КПСС. Необольшевикам, вылупившимся из гранитной скорлупы горбачевского ЦК (как и полагается, напоследок они развалили его), статья показалась политически актуальной. Поэтому ее извлекли из забвения и напечатали колоссальным тиражом в миллион экземпляров (другие, наиболее зрелые работы философа, в том числе и «Трагедия русской интеллигенции», опубликованы позднее, в основном в академических изданиях с небольшими тиражами).

Идеологам перестройки срочно требовалось освятить свое детище авторитетом свободной мысли. Федотов — один из многих, кого и с п о л ь з о в а л и для своих целей. Верховные публикаторы сочли — и не без основания,— что, если принять взгляд на историю России как на тысячелетнее «темное царство», где люди не знали свободы, следует принять и все их собственные деяния по сокрушению «парадигмы несвободы», как витиевато выразился один из членов Политбюро.

Спешили потому, что боялись. Ломая идеологическую скорлупу, перестройщики невольно способствовали пробуждению народа. Пока расходились первые трещины, можно было ловко дозировать информацию. Этим, как видим, и пользовались. Но уже надвигалась вся громада русской мысли — философской, политической, исторической. Она с неизбежностью должна была захватить широкого читателя, разбудить самосознание народа.

Мы помним, как в том же ЦК пытались помешать публикации «Истории государства Российского» в журнале «Москва». Помним, как узким кругом проверенной номенклатуры хотели ограничить распространение сочинений В. Ключевского и С. Соловьева. И все-таки Россия начала узнавать свою историю. Тысячелетнюю историю славы, а не позора. Свободы, а не рабства. Чести и милосердия — не подлости и не корысти.

Страна «тысячелетнего рабства» — *единственное* государство Европы, за всю свою историю *не покорившееся* ни одному завоевателю. Не было ничего подобного Гастингсу (1066 г.), с которого началась история Великобритании, построенной завоевателями-норманнами на развалинах английских королевств. Ничего сравнимого с арабским покорением Испании (VIII—XI вв., окончательное освобождение — XV в.). Россия не знала национальных трагедий, подобных сражениям под Пуатье (1356) и Азенкуром (1415), отдавшим Францию во власть англичан, и поражениям под Седаном (1870) и Парижем (1940), дважды бросавшим трехцветное галльское знамя под сапоги немецких солдат. Не было у нас и мира, подобного Вестфальскому (1648), который на столетия затормозил образование единого государства в Германии.

А ведь мы воевали не меньше, чем гордые европейцы. В среднем два года войны на один год мира (по подсчетам Ивана Ильина). Батый, Тамерлан, Карл, Наполеон, Гитлер — перед ними трепетало человечество. Но ни один из них не сумел покорить Россию. Даже Батый — на сожженных и разграбленных равнинах высились незавоеванные Новгород и Псков.

Россия умела сберечь свободу не только для себя,— для других. За последние два века Россия *трижды* спасала Францию. Первый раз, когда Александр, сокрушив Наполеона, не дал европейским стервятникам растерзать страну. Второй — в 1916-м — армия Самсонова была брошена на гибель, чтобы оттянуть силы немцев и спасти Париж. И, наконец, победа в 45-м! Но и Германию «московиты» освобождали от тех же наполеоновских солдат. Проливали кровь за Австрию. О балканских странах и Румынии напоминать излишне: Россия добыла и отстояла их независимость.

Эта страна — гарант европейской свободы, этот народ, не покорившийся никому,— есть ли в них хоть капля рабства?

Или же и впрямь, как утверждают русофобы,— военная империя, крепкая силой, а не правдой, дисциплиной, а не духом, страхом, а не смелостью. Выносливы, ибо трусливы; стойки, ибо безгласны,— мотив, звучащий с XV века, — сочинения Иоганна Герберштейна. Его отголоски слышатся и у Федотова.

Какое-то время, оглушенные ложью, обрушившейся со всех сторон, мы не решались дать ясного ответа на эти обвинения. Смущала напористость противников, их многочисленность («не целый свет, но целый ад!» — поистине, слово поэта—пророческое), громкие имена.

И вот наконец к нам дошли книги, к которым мы можем обратиться со своими недоумениями, страхом, надеждами. Через десятилетия, через рогатки цензуры — сначала партийной, а теперь «демократической» — дошли. Русская мысль воссоединяется со своим народом.

Николай Лосский — один из самых строгих и ясных умов России. Полная противоположность размашистости Н. Бердяева и своеволию В. Розанова, уже знакомых отечественному читателю. Классическая методология, восходящая еще к Аристотелю. Тем ценнее его объективные свидетельства.

«К числу первичных свойств русского народа, вместе с религиозностью, исканием абсолютного добра и силой воли, принадлежали любовь к свободе и высшее выражение ее — свобода духа»,— читаем в работе «Характер русского народа».

Разумеется, сочинения, проникнутые таким настроем, не печатаются в миллионнотиражных журналах. Публикаторы не решились даже вынести «опасный» заголовок на обложку: сборник, изданный в 1991 году, назван по заглавию другой включенной в него работы — «Условия абсолютного добра».

Свободолюбию Лосский посвятил особую главу. Он приводит многочисленные свидетельства иностранцев, восхищавшихся духовной раскрепощенностью русских. Среди них оригинальностью и глубиной выделяется мнение прибалтийского немца Вальтера Шубарта: «Русскому и вообще славянам свойственно стремление к свободе; не только свободе от ига иностранного народа, но и к свободе от оков всего преходящего и бренного». Сопоставляя русских со своими соотечественниками, Шубарт признает: «Среди европейцев бедный никогда не смотрит на богатого без зависти, среди русских богатый часто смотрит на бедного со стыдом. В русском живо чувство, что собственность владеет нами, а не мы ею, что владение означает принадлежность чему-то, что в богатстве задыхается духовная свобода».

Вслушаемся в свидетельство, дошедшее до нас через много десятилетий. Сейчас русских стараются научить завидовать богатым. Ломают лучшее, что было в народной душе. И кощунственно нарекают это свободой.

Духовную раскрепощенность Лосский видит и в типично русской борьбе с мещанством. Он показывает, как самых заядлых петербургских «западников» отталкивало стремление «жить как все», столь распространенное в Европе.

Даже в отрицательных качествах нашего национального характера (а философ не скрывает их) он умеет раскрыть отблеск — пусть искаженный — духовного огня. В том же стократ заклейменном и осмеянном самодурстве. «Как ни странно,— проницательно замечает Лосский,— в таких поступках выражается примитивная форма любви к свободе. У грубых эгоистических натур свободолюбие выражается лишь в требовании: «Моему нраву не препятствуй».

Но если примитивные натуры стремятся к свободе произвола, то людям совести и ответственности знакомо добровольное самоограничение — во имя высшей свободы. Не уразумев этого, не понять истории России.

Лосский как бы принимает от Федотова тезис о народной поддержке самодержавия. Кстати, вполне возможно, что он был знаком со статьей Федотова и отталкивался от нее,— работа «Характер русского народа» написана в 1957 году. Но Лосский не спешит осуждать русских за поддержку монархии. Как и подобает ученому, он рассматривает явление *всесторонне*. И вот к какому выводу приходит: «Искание абсолютного добра и связанное с ним служение высшему началу побуждает целые слои русского народа подчинить свою свободу государству, как необходимому условию обуздания зла».

Итак, не рабство, но жертвенность *во имя свободы*. В числе сословий, возвысившихся до подобного самоограничения, философ называет духовенство, военных, купечество.

В то же время Лосский подчеркивает — Русское государство не отличалось мрачным деспотизмом. «В числе многих парадоксов русской жизни один из самых замечательных тот, что политически Россия была абсолютной монархией, а в общественной жизни в ней была *бытовая демократия*, более свободная, чем в Западной Европе» (мы еще проиллюстрируем этот поразительный тезис данными историков).

Своеобразие государственного устройства России отмечает и другой выдающийся мыслитель, экономист и социолог Питирим Сорокин. И характерно — его основополагающая статья «Основные черты русской нации в XX столетии», написанная в 1967 году, на родине опубликована в сравнительно малотиражном академическом сборнике («О России и русской философской культуре». М., 1990).

Сорокин декларирует: «Энергия и изобретательность этой нации в политической и военной областях выразились в ее способности устанавливать политический режим, наиболее подходящий для защиты своей независимости и национальных ценностей, а также в способности изменять существующий режим, в случае потери его жизнеспособности, на более подходящий, отвечающий изменившимся условиям».

Как это не похоже на инфернальное тысячелетнее «темное царство»! Конечно, и это только *слово против слова*, но за словом Г. Федотова стоит лишь эмоция эссеиста, тогда как суждение П. Сорокина обусловлено опытом социолога и экономиста. Что же до эмоций, то у Сорокина, казалось бы, мало оснований относиться к своей родине с какой-либо сентиментальностью. Если Федотову позволили мирно уехать из Советской России, то Сорокина, пригрозив смертью, выслали под громогласные проклятия вождя мирового пролетариата.

Кстати, саму революцию П. Сорокин рассматривает не изолированно — как явление сугубо русское, объясняемое тяжелым национальным наследием (такой взгляд ученый с брезгливостью характеризует как «пропагандистский стереотип»),— а в контексте грандиозной катастрофы традиционной «культурной суперсистемы». «В настоящее время Советский Союз, Запад и все человечество находятся в состоянии, возможно, величайшего кризиса в истории человека,— пророчески заметил он.— Этот кризис угрожает самому существованию и, возможно, творческой миссии человека на этой планете». Сорокин расшифровывает: «...Чудовищный упадок христианства... кризис моральных установлений, социальных институтов...» «В России,— признает исследователь,— этот упадок происходил острее и сильнее, чем на Западе, но существенно не отличался от западного».

Читатели могут оценить, насколько такой широкий подход к проблеме плодотворнее и научнее изолированного рассмотрения «русской несвободы». Незашоренность взгляда позволяет избежать пристрастности, вольного или невольного противопоставления России всему миру, который априорно трактуется как «свободный» — в противовес «деспотичному» «московскому царству».

Осмысление русской государственной традиции на широком фоне сопоставления монархического и республиканского правосознания содержится в работах выдающегося философа и правоведа Ивана Ильина. Прежде всего в цикле статей «Наши задачи» и в монографии «О монархии и республике», опубликованной недавно в журнале «Вопросы философии» (№№ 4—5, 1991).

Монархическая традиция для Ильина — не особый русский путь (хотя автор утверждает, что именно и только он пригоден для нашей страны). Это *первый* путь человечества, его поистине царская — в прямом и переносном смысле — дорога, ведущая из глубины тысячелетий. С ней связаны выдающиеся исторические свершения, расцвет мировых культур, триумфы искусства и науки.

Монархическое правосознание Ильин характеризует как *творческое*. Поясняя: «Единство народа требует зрелого, очевидного, духовно-волевого воплощения: единого центра, лица, персоны, живого единоличного носителя», философ утверждает, что к такой персонификации способны лишь «художественно одаренные народы». И прямо называет в этой связи русских: «...В России потребность в олицетворении... религиозно подлинна и художественно непоколебима».

Представление о «пассивной приниженности граждан в монархическом государстве» исследователь резко определяет: предрассудок. «Лояльность и дисциплина,— поясняет Ильин,— могут быть приняты добровольно и свободно, и тогда о рабстве говорить совсем непозволительно».

Характеризуя правосознание монархиста, Ильин пишет: «Жизнь для него не служба, а служение; не покорность, а творчество; не погрязание в раболепном безволии, но дело активной ответственности перед Государем...» Монархист, по словам ученого, расширяет «личный интерес до размеров общегосударственного», углубляет «личное правосознание до царственной глубины».

Мощными штрихами Ильин воссоздает величественный образ подлинно государственного человека — он «потенцирует» свою гражданскую личность, требуя от нее всенародности». Со страниц монографии встает исполинская фигура — именно таким привыкла видеть человека отечественная философия. Но в отличие от расхожих концепций в исследовании Ильина личность не противопоставлена государству, она включена в его живое единство, реализует в нем свои силы!

И это не абстрактная схема. Исследова-

тель указывает на эпохи, когда она осуществлялась в истории. В том числе — и быть может, всего полней — в истории России. Ильин напоминает о грандиозных свершениях Петра, о славных победах над соединенными силами всей Европы. Русское правосознание предстает как воплощение монархического, этого вознесенного на вселенскую высоту идеала. Ученый усматривает «выражение русского национального самосознания» в характеристике, данной историками Петру Великому: «У него было два главных побуждения: неослабное чувство долга и вечно напряженная мысль об общем благе отечества, в служении которому и состоит этот долг».

Однако поистине русская душа — загадка. «Оправданная» Ильиным как свободная и дисциплинированная «государственница», она не желает умещаться и в эти рамки. Да, был Петр, подчинивший свою жизнь и жизнь огромной страны служению имперской мощи. Но было и широкое народное противодействие Петру, были подвижники, из дальних монастырей приходившие в Москву, чтобы бросить в лицо императору: «Антихрист!». Европа не раз со страхом взирала на деяния грозного народа-воителя, народа-государственника, но случалось, и верхушка империи трепетала перед народом-бунтовщиком.

Исследователь, столь же глубоко, как Иван Ильин, понимавший характер русского человека,— Константин Аксаков приходит к прямо противоположному выводу. В работе «О внутреннем состоянии России» (она не переиздавалась почти 100 лет) он утверждает: «Русский народ есть народ не государственный». Поясняет — «не стремящийся к государственной власти, не желающий для себя политических прав». Он подкрепляет это суждение историческими ссылками, в частности на избрание Михаила Романова: «...Что сделал этот могучий народ, побежденный при Царе и боярах, победивший без Царя и бояр?.. Избрал Царя...»

К. Аксаков, так же, как И. Ильин, считает, что монархия — государственное устройство, наиболее пригодное для России. Однако он вкладывает в эту формулировку совершенно иной смысл. Народ возлагает бремя государственности на монарха, с тем чтобы, освободившись от невыносимой ноши, посвятить себя делам земли — утверждает К. Аксаков. Того же взгляда придерживались и другие славянофилы, но именно в работе Аксакова родилась чеканная формула изначальной двойственности русской жизни: Государство и Земля.

«Отделив от себя правление государственное, народ Русский оставил себе общественную жизнь и поручил государству давать ему (народу) возможность жить этой общественной жизнью. Не желая *править*, народ наш желает жить, разумеется, не в одном животном смысле, а в смысле человеческом. Не ища свободы политической, он ищет свободы нравственной, свободы духа...»

Два начала — государственное и народное — связывает «общественное мнение». Аксаков отмечает, в сущности, те же факты, что и Федотов: «Нет ни одной попытки народной принять какое-нибудь участие в правлении». Но в отличие от Федотова автор видит, какой колоссальной силой обладало, во всяком случае в Московской Руси, «общественное мнение», без нравственной санкции которого немыслимо было существование устойчивой государственной власти. «Не правительственные меры предосторожности удерживали и удерживают порядок в России, а дух народный не хочет нарушать его,— без этого обстоятельства не помогли бы никакие стеснительные меры, а скорее послужили бы поводом к нарушению порядка».

Признаюсь, испытываешь трепет, читая эту расшифровку поэтического: «Народ безмолвствует». Она производит тем большее впечатление, что в XX веке история дважды подтверждала справедливость слов Аксакова. Дважды — без видимых причин и предпосылок — рушились казавшиеся незыблемыми устои державы (второе крушение — коммунистического Союза — произошло на наших глазах). Правительственные меры — в последний раз это были усилия Андропова — оказывались, на удивление, неэффективными. В чем причина? Дух народный отлетел от мощных государственных форм!

Справедлива и мысль о том, что энергия русского народа находит выражение прежде всего в общественной жизни. Какие величественные фигуры породило это смиренное, по мнению верхоглядов, царство! Бунтарей и святых, политиков и художников. Русское искусство — как высшее достижение человечества, совершеннейшее воплощение духовной свободы — было признано всем миром, как только он получил доступ к этому бесценному наследию.

Так кто же прав: Ильин или Аксаков? Уникальность русского опыта в том, что отвечать на этот недвусмысленно сформулированный вопрос следует — оба.

Русская душа меж «двух бездн». Это общеизвестно. Но почему же, когда говорят о нашем правосознании, суждения однозначны? Если раб — то уж вечный раб. Монархист — так «жизнь за Царя». Бунтовщик — непременно Пугачев или «пострашнее Пугачева».

А между тем русское сознание развивается между двумя полюсами. Аксаков обозначил основную оппозицию: государство — земля. Скажем более современно: государство и общество.

Революционные кризисы XX столетия показали, какое напряжение накапливается между ними. Но в здоровые эпохи они дополняют друг друга, взаимодействуют. Переход от одного к другому происходит постоянно и *пластично*.

Пластичность — характернейшая черта русского характера. В искусстве это особенно заметно. Несравненная пластичность нашего балета, нашей поэзии общепризнанна. А ведь это лишь наглядное воплощение пластичности русской души.

Рассмотрим основные оппозиции в народном правосознании.

**Беззаветное служение государству — и уклонение от службы.** В моменты опасности государство и народ — единый монолит. Этого никак не могли взять в толк завоеватели, даже наиболее умные из них. И постоянно разбивали лоб (Наполеон, Гитлер). Как же так: государство раздирают внутренние противоречия, кажется — это колосс на глиняных ногах, легкая добыча смелого полководца. И вдруг — гранитная скала без единой трещины.



Государево дело — война, говорил народ. Именно в военных испытаниях государство обретало для него реальный, полнокровный смысл. Становилось *его* державой. Показательно изменение самоназвания в эти периоды. До середины XX века крестьяне в быту называли себя в основном по деревне — мы отрадненские, петровские. Оказавшись далеко от дома, именовали себя по губернии (области) — вятские, костромские. И лишь в годы войны державной медью звучало: мы — русские.

Конечно, дело не только в самоназвании. Оно показывает, какую территорию человек сознает как *свою*, родную землю. У мужчин — защитников Отечества — кругозор был несравненно шире, а среди женщин еще я застал тех, кто, переселившись в другое село, вздыхал: тут я на чужбине...

Кончалась война — и народная энергия уходила из государственного организма, растекаясь по огромному телу страны, животворя тысячи малых родин. И тогда не было на свете человека более негосударственного, чем русский. Даже теоретик народной монархии — Иван Солоневич не без простодушного лукавства признавался, что если царь призовет его на службу, первым побуждением будет — уклониться. Как у любого русского, прибавлял он.

Другая оппозиция: **охранительная психология — анархическое бунтарство.** В конце XIX века те же самые крестьяне, что недавно сдавали полиции пропагандистов, подстрекавших к смуте, хватались за дубье и жгли господские усадьбы.

Можно предположить, что в подчеркнутой охранительности («мы против властей не бунтуем») народ инстинктивно искал противоядие от анархического безудержа, который ощущал в своей душе. До сих пор — спросите людей из народа,— что необходимо для государства? Тут же ответят: порядок, твердая рука. Верхогляд оценит: рабская психология. Но вспомните, как былинные богатыри заботились о том, чтобы *сдержать* свою силу.

Жесткая государственная система — как вериги на искушаемой буйством плоти. Народ зачастую *сам* желал власти, способной обуздать его своеволие. Н. Лосский в работе «Характер русского народа», иллюстрируя эту мысль, приводит забавный рассказ: «В Петербурге весной таял лед на Неве, и переходить реку по льду стало опасным. Градоначальник распорядился поставить полицейского на берегу Невы и запретить переход по льду. Какой-то крестьянин, несмотря на крики городового, пошел по льду, провалился и стал тонуть. Городовой спас его от гибели, а крестьянин вместо благодарности стал упрекать его: «Чего смотрите?» Городовой говорит ему: «Я же тебе кричал».— «Кричал! Надо было в морду дать!».

Приведя цитату, я подумал, что иностранцы, пожалуй, воскликнут: ну вот, очередное проявление русского рабства—де-



же мыслитель не придумал лучшего аргумента, чем кулак городового! Иностранцы предпочитают не рисковать без нужды. И вразумление кулаком для них дико. Да только у русского мужика масштаб не тот, он не только на невском льду своевольничает. Так-то, рискуя, прошел он от океана до океана — территорию, на которой уместится вся Европа с Северной Америкой в придачу. При этаком размахе необходимо, чтобы его что-нибудь сдерживало. Либо Тихий океан, вставший на его пути в Америку, либо — на худой конец — тот же городовой...

Мы рассмотрели наиболее очевидные, с первого взгляда заметные оппозиции. Другие коренятся в глубине народной психологии и требуют внимательного изучения.

**Почитание власти уживается в русской душе с философским пренебрежением ею.** Сдернутые с голов шапки, спины, склонившиеся в поклоне перед всяким чином,— казалось бы, вот оно, зримое воплощение русской приниженности. Так и трактовали эти сцены западные наблюдатели, охотно занося их в свои путевые дневники. Как удивились бы они, узнав, что крестьяне стремились всячески уклониться от любой должности, которая повышала их ранг и обеспечивала почтительное отношение окружающих! Охотно лезли наверх самые пустые, лишенные внутреннего достоинства люди. Василий Белов запечатлел в «Канунах» характерный образ Игнашки. Именно такие не только не стеснялись демонстративно оказываемого им почета — нуждались в нем и требовали его.

Другие понимали: власть — зло. Необходимое, и тем не менее — зло. «...Ничего истинно справедливого все равно не придумать» — это мысль Блеза Паскаля, наиболее оригинального и глубокого из европейских мыслителей. Вершинное достижение западного сознания. У нас эта истина была открыта каждому мужику.

Когда власть на них все-таки возлагали, они отказывались пользоваться ею. Достоевский сообщает в «Дневнике писателя», что крестьяне, выбранные присяжными в суде, поначалу выносили одни оправдательные приговоры. И лишь потом начали назначать наказания, уразумев, что тем самым облегчат душу преступника, который, если бы его оправдали вчистую, мучился бы угрызениями совести.

Непривычно? Сложно? Не вписывается в общепринятые понятия, импортированные к нам с Запада и уже усвоенные нами? Но это исторический факт. Более того — коренная черта национальной психологии.

От власти стремились уклониться, иной раз откупиться. Ее охотно возлагали на людей чужих, в том числе на иностранцев. Легенда о призвании варягов показательна как психологический феномен, даже если исторически не вполне достоверна. Да разве дело только в Рюрике и Труворе? А Довмонт — легендарный псковский князь? Приглашение польского королевича Владислава на трон в XVII веке? Немцы по крови на императорском троне?

Волнения начинались тогда, когда претендент отказывался принимать православную веру. Почему? Да потому, что по опы-

ту Украйны знали: чья власть — та вера. Спасались, что иноверный царь перекрестит народ. Только этого. Т о л ь к о  э т и м он мог оказать сколько-нибудь серьезное воздействие на своих рассеянных по бескрайним просторам подданных. Возможность какого-либо иного давления сверху была незначительной. А во всех иных случаях пусть играет скипетром. Это мог быть подросток — как и з б р а н н ы й  н а р о д о м Михаил. Или блаженный — как любимец народа Феодор. А еще лучше — иностранец. Его не жалко!

Ибо принявший на себя зло — жертва. Это прекрасно показал выдающийся исторический писатель Дмитрий Балашов в романе «Бремя власти». А жертву, согласно архаическим представлениям, следует не только жалеть — ублажать. Ей поклоняются. Она — искупление наших грехов. Залог нашего нравственного освобождения.

Но и еще сложнее, артистичнее это удивительное отношение к власти. **Почтение, подчас раболепное, к сану сочетается с затенной насмешкой над его носителем.** Тут особенно наглядно в з а и м о д е й с т в и е полюсов, «бездн». Одна открывается, просвечивает в другой! Возьмите древнейшие свидетельства народного духа — былины. Поразительное сочетание поклонов, этикетных фраз и едкой насмешки над князем. Как в былине «Бунт Ильи Муромца против Владимира» — расправляясь с очередной партией княжеских слуг, Илья с издевкой говорит князю:

Как ты, Владимир-князь
стольне-киевский!
Как у тебя слуги есть пограбители,
Нисколько не стоят да за Киев-град,
Как все у тя были да изменщики.

Насмешливость, как отмечалось многократно,— характерная черта русского человека. Насмешливость над возгордившимся своим рангом — особенно. Народ создал целое художественное действо — «царевы игры», где власть монарха подвергалась откровенному осмеянию. Каждый мог назвать себя царем и требовать соответствующих почестей. И кто же, ко всеобщему удовольствию, спешил воспользоваться возможностью? Конечно же, городские дурачки...

Любопытно, что порою эта злая, но точная карикатура проецировалась на государственную жизнь. В Смутное время один из бесчисленных самозванцев вступил во главе отряда на пограничные с Польшей земли. В первой же деревне он грозно вопросил: признаете, что я ваш спасшийся царь Дмитрий? Крестьяне в замешательстве молчали. Самозванец витиевато выругался: неужели не признали?! «Признали, признали, прости, батюшка»,—хором ответили собравшиеся.

Сторонний наблюдатель опять брезгливо сморщит нос: никакого достоинства. Однако когда другой, более удачливый самозванец — во главе несравненно более сильного войска — попробовал покуситься на подлинно ценное: веру,—те же мужики выбросили его из Кремля на съедение бродячим псам. Если же какой-то озорник, не отличающийся к тому же умом, хочет, чтобы его признали государем, то связываться с ним бессмысленно. Проще кивнуть: признали...

Титул, звание, ранг — в России, как и на Западе, за них нередко платили жизнью. И все же отношение к ним было более сложным, чем в Европе. С одной стороны, европейцев смешили исступленные споры бояр за место за столом. С другой,— русские, не желавшие сидеть хоть на место ниже, чем их деды и прадеды, иной раз без видимой причины отказывались от громкого имени, знатного рода и «растворялись» в народе. Так кончается повествование о любимом герое Руси — былинном богатыре Илье Муромце:

Илья-то тут — и был, и нет —
Нет ни вести, ни повести,
Ныне и до веку.

В средние века от мирской славы спасались в монастыре. Образец духовной литературы, удивительно поэтичное «Житие Михаила Клопского», рассказывает о том, как этот новгородский святой, придя в монастырь, скрывал свое высокое происхождение.

В более поздние времена культурной Россией овладевает идея странничества. И что же — рождается слух, будто император Александр Благословенный, державный повелитель Европы, инсценировав в Таганроге свою смерть, отправился странствовать в Сибирь. Легенда — утверждают историки. Но уход графа Льва Толстого— реальность.

А главное: как легко приняло русское сознание легенду об императоре-страннике. Словно так именно и должно было случиться. Так и должно поступать. Сравните: для европейца потеря титула и власти — жизненная катастрофа. Об этом «Король Лир» — пожалуй, самая пронзительная и трогательная из трагедий Шекспира. Вчерашний властитель, в бурю в открытом поле проклинающий свою судьбу, Лир предстает новым Иовом, живым воплощением страдания. А в России никто не увидел ничего особенного в том, что вчерашний победитель Наполеона сменил мантию на мужицкий армячок и принялся мерить версты — в зной, в дождь, в холод. Россия не Англия за год не пройти.

Уходили не только странствовать. Уходили в себя. Это тоже особая грань в отношениях русского человека и государства. Во времена, когда каждый шаг регламентировался властью, люди отправлялись в путь к головокружительным вершинам духа. Там они были неуязвимы.

В самом деле: в чем всевластие государства? Во власти над жизнью и свободой граждан. Однако в разгар кровавого пира, устроенного ЧК в России, последователь Н. Федорова В. Муравьев обращается не к кому-нибудь — к главному палачу Л. Троцкому с проповедью научного воскрешения мертвых! Что сделаешь с таким народом!

Тюрьма? Но вот в 1937 году во Владимирской тюрьме философ и поэт Даниил Андреев пишет вдохновенную апологию самого причудливого из странствий — путешествия в глубины духа:

Ты осужден. Молчи. Неумолимый рок
Тебя не первого привел в сырой острог.
Дверь замурована, но под покровом тьмы



Нащупай лестницу не ввысь,
но в глубь тюрьмы.
Сквозь толщу мокрых стен,
сквозь крепостной редут
На берег ветреный ступени приведут.
Там волны вольные!
Отчаль же, правь, спеши!
И кто найдет тебя в морях твоей души!

Мы хотели рассмотреть психологию народа. Его национальное правосознание. Однако нельзя не сказать и о том, как оно проявлялось в характере самого государства. Он также определялся рядом оппозиций.

**Неограниченная власть и ответственность.** «...Возлагает на монарха полноту ответственности»,— характеризует монархию И. Ильин. Да, закон не обязывал властителя отчитываться перед кем бы то ни было. Обычай был более требовательным. Царь в ответе перед Богом за всех своих подданных. «Слышите, цари и князи, и разумейте, яко от Бога дана бысть держава вам, яко слуги Божии есте... Убойтесь серпа небесного и не давайте воля зло творящим человеком»,— безжалостно поучал властителей Иосиф Волоцкий, которого принято считать идеологом московского самодержавия.

Царь отвечал перед собственной совестью. Интересна дневниковая запись Александра I, где древняя заповедь самоконтроля, восходящая к Ивану Калите, выражена слогом европейских сентименталистов: «Ты спишь, презренный, а ведь куча дел тебя ожидает! Лень — вот твое достояние! Ты пренебрегаешь своими обязанностями, а тысячи несчастных страдают, пока ты валяешься на перинах!» Достаточно вспомнить деятельность самого Александра, Екатерины II, Петра, чтобы понять: это не пустые слова.

Наконец, монарх отвечал перед подданными. Причем в России эта ответственность была серьезнее, я бы сказал, страшнее, чем в самых свободолюбивых странах Запада. Там выбранный президент отвечает за неуспехи креслом. У нас царь нередко отвечал головой. Петр III, вздумавший своевольно отдать Пруссии плоды победы елизаветинских солдат,— убит. Павел I, чье сумасбродство серьезно подорвало национальные интересы,— убит. Николай I, проигравший Крымскую кампанию, покончил жизнь самоубийством. Если это легенда, она лишний раз показывает, что общественное мнение считало е с т е с т в е н н о й подобную плату за национальный позор.

Кстати, коммунистические власти по-своему использовали эту традицию. Со свойственной им смесью коварства и низости они назначали ответственными за провалы политики мертвых вождей и выдавали их на всенародное поругание.

Следующая оппозиция: **жесткая централизация власти — свобода на местах.** История местного самоуправления России совершенно не изучена. А между тем она богата фактами удивительными!

Спросите любого о времени самого мрачного произвола, вам укажут на эпоху Ивана Грозного. Однако, по справедливому замечанию историка Николая Носова, XVI век «породил в России не только опричнину и крепостничество, но и земское учредительство и земские соборы». В академическом исследовании «Становление сословно-представительных учреждений в России» историк приводит интереснейшие документы, заставляющие по-новому взглянуть на эту эпоху.

**Свод законов** — Судебник 1550 года ставил «наместников и волостелей (государственных чиновников на местах.— А. К.)... под прямой и очень жесткий контроль со стороны земских властей». Носов отмечает, что они выступают «как защитники местного населения, нарушение прав которого влечет за собой столь неприятные последствия для кормленщиков (чиновников.— А. К.) в виде штрафа за бесчестье и обязанности возместить пострадавшему его иск в двойном размере».

Вот вам и эпоха мрачного произвола! Такое демократическое устройство не было известно и в Европе. «Все мирские власти... выбирались на общем сходе членов общины,— разъясняет известный историк Н. Покровский — На мирском сходе слово имел каждый... Община строго контролировала действия тех, кто управлял ею или представлял ее финансовые, экономические и прочие интересы во внешнем мире...» Ученый подчеркивает: «Весь строй русской сословно-представительной монархии... базировался на определенных формах сотрудничества с общинными организациями» («Новый мир», 1989, № 8).

Конечно, я не ставлю под сомнение столь хорошо известные факты — опричнину, казни опальных бояр. Хочу лишь подчеркнуть, что и самые деспотичные правители не решались затронуть толщу народной жизни. Не смели посягнуть на основные права населения. С другой стороны, и посадские люди, проявляя внешне подобающее смирение, не позволяли властям ущемлять свои жизненные интересы. Как только они затрагивались, ни о каком смирении не могло идти и речи. И если царь Иоанн еще внушал людям почти мистический страх, то Алексей Михайлович не раз был вынужден спасаться бегством от разгневанных москвичей. Например, после повышения цен на соль. Безбожное вздувание цен наказывалось народом жестоко — бояр, инициаторов такой политики, не спасали даже кованые двери царского дворца. Их выволакивали на площадь и убивали.

Еще одна оппозиция: **закоснелая бюрократия — «фамильярность» связи монарха и подданных.** Ильин отмечал, что монархическое сознание «склонно переносить строй семьи в государство». Семейное начало было настолько сильно, что заглушить его не удалось даже всемогущей бюрократии. Мы рассматривали работу К. Аксакова «О внутреннем состоянии России». Это записка, представленная Александру II при его вступлении на престол. Характерно обращение к императору: «Ты вступил на престол. Эти первые минуты драгоценны и важны не только для Тебя, но и для Твоих подданных... Всю истину о России, как я ее понимаю, считаю я долгом сказать Тебе, Государь, сказать со всею силою правды».

Эксцентричная выходка оторванного от жизни книжника? Нет, так обращались к царям Пушкин, Державин, Ломоносов. В свою очередь и монархи стремились (хотя бы внешне) поддерживать традицию неформального общения с подданными. Причем не только с дворянством. Долгие годы существовал обычай раз в году открывать Зимний дворец для всех жителей столицы. Устраивали бал, на котором первые лица державы танцевали вместе с крепостными!

Разумеется, эта система, как и всякая государственная система, была далека от идеала. Однако она имела драгоценное свойство органичности. Она вырастала из живых импульсов народного сознания, идущих от одного его полюса к другому. И пока не утратила пластичности, действовала эффективно.

Но на роковом рубеже XX века пластичность теряется. Внутренние связи окостеневают. Государственный организм становится недееспособным. Кризис завершился катастрофой 17-го года.

После революции новая власть попыталась отчасти реставрировать государственное устройство. Но сознательно отказалась от взаимодействия между полюсами системы. Взяв все полномочия, которые народ по традиции предоставил им, новые хозяева не дали ему самостоятельности в общественной жизни, в «делах земли». Лишь в годы войны были раскупорены артерии государственного тела. Затем их вновь перекрыли. Естественные реакции народного организма подавлялись жестоко. Русских хотели отучить от любви к свободе. От мысли о свободе.

На изломе традиции началось ее вырождение. Лишенная живого «кровообращения», система привела к торжеству бюрократии (без прежней «фамильярности» отношений подданного с властителем), жесткой централизации (без былой свободы на местах) и т. д. В жизни общества возобладали апатия, конформизм, озлобленность. Чем это кончилось, мы видели — катастрофой конца восьмидесятых.

И теперь наблюдаем усилия властей построить государственность, целиком заимствованную у Запада. Горбачеву не удалось изменить генетический код народа — публично сокрушаются... Новые правители пытаются завершить то, что не удалось их предшественнику. Хотя, если вдуматься, изменить генетический код народа — это убить его.

Речь о существовании нации. Тем важнее вспомнить опыт русской свободы.

---

***ВПЕРВЫЕ В РОССИИ***

## Из наследия митрополита Вениамина
## Никогда не публиковавшаяся книга «О вере, неверии и сомнении»

Владыка Вениамин — в миру Иван Афанасьевич Федченков, крестьянский сын, монах, богослов, удостоенный сана святителя, венчающего земную иерархию Церкви. В 1903 году Иван Федченков окончил в Тамбове духовную семинарию. По окончании Санкт-Петербургской духовной академии он — профессорский стипендиат на кафедре библейской истории, а в 1909—1911 годах иеромонах Вениамин — личный секретарь архиепископа Финляндского и Выборгского Сергия (Страгородского) — будущего Патриарха. В 1911—1913 гг. — ректор Таврической духовной семинарии, в 1913—1917-м — ректор Тверской. От клириков Тверской епархии избран членом Поместного Собора Православной Российской Церкви, участвовал в выборах Патриарха Тихона, отстаивал единство Церкви. В феврале 1919 г. — епископ Севастопольский. В 1920 году стал епископом армии и флота Белой армии в Крыму. Владыка Вениамин принимал активное участие в подготовке Всезарубежного Церковного Собора, управлял православными приходами в Карпатской Руси. Позднее, в Сербии, епископ был законоучителем в Русском и Донском кадетских корпусах, настоятелем Русской церкви. Некоторое время преподавал в Парижском богословском институте. Из-за разрыва между Московской патриархией и митрополитом Евлогием, создавшим институт, вынужден покинуть преподавательскую работу. В 1930 г. владыка основал в Париже приход Московской патриархии — Трехсвятительское подворье. С 1933-го — временный экзарх Московской патриархии в Северной Америке. Здесь во время войны бывший епископ Белой армии организует помощь Красной армии. Зимой 1945 г. побывал в России, а в 1947 году вернулся на Родину. После нескольких лет епископства в Прибалтике владыка Вениамин был назначен на кафедру в Ростове-на-Дону, а в 1955—1958 гг. возглавлял Саратовскую епархию. Умер Вениамин в 1961 году 4 октября.

**Верность Церкви, глубокое знание человеческой души в ее трагических состояниях, сложный жизненный путь Вениамина стали основанием драгоценного духовного опыта, которым владыка делится с нами в книге «О вере, неверии и сомнении».**





# КРИТИКА



М. КОВРОВ

## «Сидя в театре, я чувствую себя счастливым»

(П. А. МАРКОВ)

Билета у меня не было, но я надеялся на свою хитрость. Партократы или демократы раскопают или придумают какой-нибудь факт, окончательно разоблачающий противную сторону, все побегут к экрану телевизора проследить за развитием событий, а я осторожно проберусь сквозь встречный телевизионный поток, проскользну в театральный подъезд и незаметно пристроюсь где-нибудь в первом ряду.

Статья будет называться «Три сестры» Юрия Погребничко». Ни о Погребничко, ни о его сестрах в ней не будет, конечно, никаких упоминаний. Таким образом я проучу этих нахалов, которые ставят Чехова, ничего не понимая в Чехове.

Накрапывал дождь. На дворе была весна 1992 года. Оставалось только решить, о чем будет статья.

Из театрального подъезда валил дым. Конечно, это можно было предвидеть. Существует старая добрая традиция ставить пьесы Чехова, не читая их. В наше время хорошим тоном считается знание писем Чехова. Погребничко не читал и писем. 4 декабря 1901 г. Чехов писал жене: «Я все боюсь, как бы не загорелось у вас во время 4-го акта «Трех сестер» — ужасная толкотня и чепуха на сцене». Предупреждение Чехова осталось неуслышанным, и висевшее на стене ружье через 90 лет выстрелило.

До чего огнеопасна эта пьеса! Чехов писал ее в Ялте в 1900 году. В это время в Ялте сгорел театр — тот самый, в котором он впервые видел на сцене свои пьесы «Чайка» и «Дядя Ваня», поставленные Художественным театром и привезенные им в Ялту специально для Чехова.

Досадно. Хотя почему я должен был догадаться, что ружье выстрелит именно сегодня?

Я огляделся по сторонам. Примет, кажется, не было. Мне стало грустно; приметы, конечно, были, но я их не видел...

Смотреть спектакль совершенно необязательно. Достаточно того, что я видел декорации к нему на обложке театрального журнала. Тем более что собственно о спектакле я писать не собирался. Статья с названием «Три сестры» Юрия Погребничко» целиком будет посвящена театральной критике. Я проучу этих нахалов, которые пишут о Чехове, ничего не понимая в Чехове.

Статья уже начала складываться и мне нравилась. У статьи уже было начало: «Лев Николаевич Толстой очень любил критиков. Что ни критик, удивлялся он, то непременно умный, интеллигентный человек». По-моему, очень хорошее начало для статьи. Первое предложение напоминает о Хармсе, второе — о Гоголе. Никто и не догадается. Ни того, ни другого никто не читал. А кто читал,— либо умерли, либо расстреляны.

Статья еще не была написана, точнее, были написаны только упомянутые первые два предложения, как откуда-то снова возник Ю. Погребничко. Восстал из пепла. Они играли «Трех сестер» в студенческом клубе. Педантизм застойных лет привел меня в первый ряд клуба МГУ.

Декорации были совершенно не похожи на те, что на журнальной обложке. Те, по-видимому, сгорели.

Перед началом спектакля в фойе я купил книжку Д. А. Пригова. Зачем я буду писать статью о театральной критике? Лучше я напишу о Пригове. Пригов мне нравится, а театральная критика — нет. Лучше я буду писать о том, что мне нравится.

Дмитрий Александрович Пригов — поэт. Он написал стихотворение, вобравшее в себя всю гамму чувств, переживаемых страной в связи с кончиной очередного Генерального секретаря ЦК КПСС.

О, страна моя родная!
Понесла ты в эту ночь
И не сына и не дочь,
А тяжелую утрату!
Понесла ее куда ты?

Дмитрий Александрович не остановился на достигнутом и в 1987 г. объявил об изобретении им нового жанра. Он стал

писать как бы идеологические призывы типа: «Если ты растоптал гнездо птицы, если ты помял траву, как ты после этого можешь глядеть в лицо твоей матери?» И развешивал это на деревьях. В определенный день Дмитрий Александрович видит — бежит к нему на улице человек. По-видимому, хочет закурить. Дмитрий Александрович говорит: «Я не курю». А человек: «Можете пройти? У меня к вам вопросы». Дмитрий Александрович прошел, и его отвезли в 15-ю психиатрическую больницу, где он пробыл некоторое время. Состоялся консилиум, где сидело 15 врачей, и председательствующий, доктор Дорн, заслуженный врач республики, сказал: «Нам часто приходится работать с творческими людьми, а мы не очень осведомлены о современном искусстве. Расскажите, пожалуйста, о концептуализме».

Дмитрий Александрович объяснил, что концептуализм родился на Западе. Основным пафосом и драматургией произведений концептуализма является взаимодействие языка описания и предмета описания. В русской культуре язык описания превалирует над предметом. И даже его подменяет. Русское культурное сознание не привыкло рефлектировать по поводу самого себя. Ему проще всего признать концептуализм как нечто бредовое и не относящееся к сфере культуры. В настоящее время концептуалистов осталось четыре человека. Все они живут в Москве.

Обсуждение было оживленным. В конце концов определились три точки зрения. Доктор Львов настаивал на том, что Пригов — обыкновенный симулянт. Новый жанр, который он изобрел, просто украден им у Чехова. («Кто изменяет жене или мужу, тот, значит, неверный человек, тот может изменить и отечеству!» — говорит чеховский герой Илья Ильич Телегин по прозвищу Вафля.) Нападки на русскую культуру — сознательная продуманная тактика, уменьшающая вероятность обнаружения подобных краж. Немедленно выдворить из больницы. Оштрафовать. Квалифицировать его действия как мелкое хулиганство.

Доктор Астров возражал доктору Львову. Он считал, что мы имеем дело с тяжелой формой вялотекущей шизофрении. Ограниченным людям очень тяжело жить. Они раздражаются. Раздражение переходит в болезнь. И вот неожиданно для окружающих пациент объявляет себя концептуалистом. Он даже не подозревает, что Гоголь и Чехов были концептуалистами. Но не развешивали бумажек и не выступали перед консилиумами с лекциями. Рекомендуется хорошо пролечить пациента. Провести полный курс лечения. Привлекать за мелкое хулиганство нежелательно. Тонкие структуры поэта могут отреагировать на это как на преследование инакомыслия, и болезнь может обостриться.

Старейший доктор 15-й больницы Иван Романович Чебутыкин сказал, что не нужно все усложнять. Случай вялотекущей шизофрении налицо. Однако нет никаких оснований считать, что болезнь перешла в хроническую фазу. Весьма вероятно, что мы имеем дело с острым начальным периодом. Судя по стихам, Дмитрий Александрович — поэт серьезный, тотально-серьезный, зверино-серьезный, учительски-серьезный. Отсюда — бумажки на деревьях. Острое шизофреническое желание самовыразиться. Да поэт просто обалдел от свалившейся на него славы!.. Проведенного курса вполне достаточно. Поэта можно выписывать. Рекомендовать продолжить наблюдение.

Вновь пригласили Дмитрия Александровича и попросили почитать стихи.

Послушали, похлопали, извинились, отпустили.

Настоятельно рекомендовали почитать «Мертвые души». С точки зрения председательствующего, Евгения Сергеевича Дорна, наиболее эффективным терапевтическим средством (учитывая склонность пациента к рефлексии) явилось бы чтение поэмы Некрасова «Рыцарь на час».

И пожелали доброго здоровья.

Через некоторое время Дмитрия Александровича вызвали в милицию и отдали все его бумажки.

Поэт был в экстазе. Его преследовали, как Сахарова, сажали в психиатрическую больницу. Впереди были интервью независимым газетам, журналам, радиоголосам. В общем, это было настоящее счастье.

Статья должна получиться хорошей.

Спектакль же был обыкновенный.

На столе лежал труп барона. Актер произносил текст роли, отстукивая чечетку затылком по столешнице. Периодически на стол вскакивала Ирина и говорила о своей тоске по труду, размахивая руками как чайка крыльями. Подполковник Вершинин, когда-то бывший влюбленным майором, пристально вглядывался в своих офицеров Родэ и Федотика, мучительно вспоминая, кто из них Маша, а кто Ирина или Ольга. На сцене лежало бревно, взятое напрокат из санкт-петербургских спектаклей Л. Додина и Э. Кочергина. Никто не знал, что делать с этим бревном. Потом барон догадался и постучал по нему: «Вот дерево засохло, но все же оно вместе с другими качается от ветра. Так, мне кажется, если я умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе. Как это бревно».

В конце спектакля актеры хором спели «По долинам и по взгорьям».

В общем, спектакль был обыкновенный. Почти с самого начала было ясно, что это пародия на знаменитый, как сейчас принято говорить, «классически совершенный» спектакль Художественного театра, поставленный Немировичем-Данченко в 1940 году. Запись этого спектакля на радио существует и действительно производит удручающее впечатление. Особенно эта тоска по труду в исполнении П. Массальского и — частично — А. Степановой. В спектакле Ю. Погребничко звучит запись более мощного исполнения роли барона В. Качаловым и потому более ярко выявляющая фальшь этого спектакля.

Имя Качалова окружено ореолом. Великий русский актер. Кумир русской интеллигенции.

Что такое русская интеллигенция? Ну... скажем... это... например, Чехов... Цветаева... Платонов. Кстати, все они хорошо знали Качалова. Был ли Качалов их кумиром? Вряд ли. Марина Цветаева, например, считала, что хуже Качалова читать стихи невозможно. И не только стихи.

Как известно, Станиславский делил актеров на две категории: тех, которые любят себя в искусстве, и тех, которые любят искусство в себе. Качалов был иногда тем, иногда другим. Если, например, сравнивать Качалова с такими разными актерами, как Михаил Чехов, М. Яншин, Ю. Кольцов, то здесь схема Станиславского работает в полную силу: последние в чистом виде были актерами, выше всего ставящими искусство в себе. У них вы никогда не встретите ложной патетики, на которую сбивался Качалов. Он очень часто олицетворял собой лже-МХАТ. Он был кумиром той русской интеллигенции, кумирами которой впоследствии стали М. Шатров, М. Захаров, О. Басилашвили.

Вы можете представить себе Чехова или Цветаеву на трибуне митинга или с плакатом о защите ценностей перестройки? Я — нет.

(Одновременно понятен и восторг зрителей того знаменитого спектакля. В то время на сценах театра им. Вахтангова и Большого драм. театра в Ленинграде шла пьеса В. Киршона «Большой день» — о будущей войне. Война начиналась рано утром и заканчивалась в тот же день, вечером, поражением противника на его территории. Боевые действия танков и авиации осуществлялись на сцене при помощи команд и нажатия кнопок.)

Уровень исполнительского мастерства старого МХАТа и, главное, сложность драматургии Чехова произвели шоковое впечатление на многих зрителей. В школе они проходили другого Чехова.

Мхатовский спектакль 1901 г. был реакцией актеров и режиссеров на текст близкого и дорогого им автора. Никто не думал об идейном стержне.

Через сорок лет все стало сложным: начинали с определения зерна будущего спектакля. Что вызывало тоску чеховского пера? Действительность тускла. Труд не приносит чеховским героям удовлетворения. Жизнь не сделала этот труд таким, каким он стал уже через 15—20 лет советской власти, и нет никакой надобности уходить в мечтания, в тоску о лучшей жизни. Итак, зерно «Трех сестер»: мечта, тоска о лучшей жизни, чувство долга.

Так говорил Вл. И. Немирович-Данченко во вступительном слове перед началом репетиций спектакля в 1939 году. Он только, кажется, забыл сказать, что Чехов написал водевиль.

Однако Немирович-Данченко, руководивший МХАТом после смерти Станиславского, конечно, не был так прост.

Он говорил: я не навязываю. Может быть, там будет видно, будет проясняться и нечто другое. Посмотрим. Может быть, нам не удастся. Кто-то другой сделает нечто неожиданное, смелое, верное, чего мы угадать не можем. Мы должны попробовать. Посмотрим, что из этого выйдет. Он давно уже жил и знал, что это так и есть. И они знали. Некоторые из актеров, уже прошедших школу у Станиславского, были настолько внимательны к тексту, что играли, по существу, неизвестную пьесу никому не известного автора. Провалы спектакля принимались критикой «на ура», достижения вызывали неприязнь. «Трудно представить себе, что этому Вершинину Чехов доверил свои дорогие и сокровенные мысли».

Спектакль не укладывался в рамки «нового» мышления. Похоже, что Чехов в спектакле дал бой этому мышлению и проиграл. Спектакль был объявлен классически совершенным. П. Марков объявил, что МХАТ воскресил Чехова, предвидевшего будущее. Под будущим он понимал настоящее.

Итак, Чехов проиграл. Но бой был!

Отступление шло по всему фронту.

Какое удовольствие смотреть на Белокурова и Грибова в ролях Чичикова и Собакевича. Прекрасные актеры, великолепные роли, изумительный текст (инсценировка М. Булгакова) и, наконец, гениальный автор — Гоголь.

Классическое совершенство.

Когда же смотришь на Топоркова и Тарханова, то ничего этого нет. Здесь, кажется, торгуют мертвыми душами... Они отчетливо представляют, что делают. Угрожать разоблачением этому Чичикову бесполезно. Если Грибов — Собакевич на мгновение забывает или делает вид, что забывает о том, что торговля идет мертвыми душами, то Тарханов даже вида не делает. Он точно знает, что они мертвые. В исполнении Топоркова и Тарханова есть что-то сверхъестественное, мистическое. Неестественная естественность.

Топорков и Тарханов репетировали эти роли со Станиславским.

Отступление шло по всему фронту.

После восемнадцатилетней изматывающей окопной войны Вершинин, получив подкрепление, вновь бросил свой полк в атаку. На вид подкрепление было неказистым и хилым (ввод Кольцова на роль барона), однако это «чуть-чуть» решило исход сражения. В. Попов — Ферапонт, В. Орлов — Кулыгин, М. Болдуман — Вершинин и Ю. Кольцов — барон объединенными усилиями нанесли такой сокрушительный удар мечтам, тоске о лучшей жизни и чувству долга, что эти «души прекрасные порывы», несколько раз бесполезно всколыхнувшись,— всегда, когда на сцену в роли Вершинина выходил Массальский, старательный копиист великого, несравненного Качалова,— растворились в других спектаклях.

Освободив пространство сцены, команда Вершинина создала беспрецедентные условия для других исполнителей.

«Среди них — ослепительная Юрьева (Маша). Актрису такой выразительной силы напрасно было бы искать на многих сценах мира. Ее чарующие черные глаза буквально приковывали к себе зрительный зал» (Р. Шидловский)

А я бы добавил: не менее блистательная Ростовцева (Наташа). «Страшная мещанка»? «Шершавое животное»? Ничего подобного! Это же Чехов! Очаровательная, тонкая, легко ранимая женщина. Недаром ее так любил умный и интеллигентный молодой человек, играющий на скрипке.

Так же, как и в 1901 г., спектакль возникал как непосредственная реакция на чеховский текст. Но теперь это были не начинающие актеры-любители, а мастера, прошедшие школу Станиславского. Актеры освободились от заданности. Царил дух свободы. И... впервые игрался водевиль. Правда, сами актеры этого не знали.

«Чайка» и следующие пьесы написаны после Сахалина, где он «видел все».

«Душные казармы для семейных я не забуду никогда»,— это предложение он убрал из текста «Сахалина». И многие другие. Считал такого рода упоминания о себе неуместными. Убраны также «пророческие» слова, поучающие интонации. Чехов и раньше считал, что водевиль хорошая штука, но после Сахалина любая пьеса, которая могла быть поставлена в столицах и иметь успех, воспринималась Чеховым не иначе как водевиль. Другого жанра в драматургии не существует.

Если мы вспомним, что спектакли в «Глобусе» начинались в два часа дня, так как могли идти только при дневном освещении, что зрителями были портовые моряки, бродяги, завсегдатаи пивных, таверн и других подобных заведений, те, которых мы сейчас называем «бомжами», что для человека с положением посещение театра считалось неприличным, что роли Джульетты и Офелии исполнялись мужчинами, что во время представления среди публики разносили еду и напитки, что после представления двое актеров в мужских костюмах и двое — в женских платьях исполняли разнообразные танцы, то может возникнуть сомнение в том, что водевиль родился во Франции: все пьесы Шекспира, несомненно, водевили.

Чехов — Суворину: «Писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же, и Вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель... каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас».

Таким писателем, каждая строчка которого пропитана сознанием цели, был Толстой.

Они плохо понимали друг друга. Чехов так и не прочитал трактата Толстого об искусстве. Он судил о нем по выдержке, напечатанной в «Новом времени», и беседе с Толстым в клинике, где лежал Чехов. Сделал вывод, что Толстой — просто сердитый старик. Странным образом не понимая, что такой человек, как Толстой, вряд ли бы ограничился повторением того, что все умные старики разводили на бобах во все века. И уж совсем не подозревая об изматывающем споре Толстого с Н. Ф. Федоровым.

Толстой и сам чувствовал, что Чехов не понимает его.

Однако... Чехов — М. О. Меньшикову:

«Я ни одного человека не люблю так, как его»;

«Я боюсь смерти Толстого»;

«Пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, наглое и слезливое, всякие шершавые, озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени».

Не слишком ли энергично для Чехова?

И вот Толстого нет. Нет и Чехова. И, как сказал поэт, «все разрешено». Наглые пошлячества и озлобленные самолюбия вышли на первые роли.

Молодой гений в «Независимой» газете наконец-то имеет возможность сказать, что славянофилы — проповедники зоологического национализма, что Чехов с его гоголевской неспособностью к самостоятельному творчеству — трусливый, занудливый и аккуратный идиот Беликов, человек в футляре, а он — автор этих открытий (от догадки всё замирает внутри) — настоящий Лев Толстой. Попрана историческая справедливость: издан в 90 томах не тот Толстой. («Независимая газета», 18.04.91).

Бывают же счастья!

Мы видим, как энергично мог реагировать в таких случаях сам Чехов.

Английский актер и режиссер Питер Устинов вспоминает: «Я часто просил своего дядю, известного художника Бенуа, рассказать о своих встречах с Чеховым». Бенуа говорит Питеру: почему ты не спрашиваешь обо мне? Чехов умер, а я еще жив. Спроси что-нибудь обо мне. В очередной раз на вопрос Устинова о Чехове Бенуа отвечает: «Чехов был очень нетерпим. С ним невозможно было говорить о политике. Его высказывания были столь резки, что многие не выдерживали и выходили из комнаты. Не спрашивай больше меня о Чехове».

Чехов — Суворину: «Кто искренне думает, что высшие и отдаленные цели человеку нужны так же мало, как корове...»

Когда Кольцов в роли барона говорит о страстной жажде жизни, борьбы и труда,— невероятна естественность его интонаций. Необъяснимая тихая радость разлита в сердцах зрителей, слушающих монотонный, бесцветный голос Кольцова.

По-видимому, такой властью может обладать только такой актер, который «видел всё». И который точно знает, что «никакая литература не может своим цинизмом перещеголять действительную жизнь».

Когда же Качалов или Массальский в роли барона Тузенбаха-Кроне-Альтшауэра говорят о страстной жажде жизни, борьбы и труда, то зрители видят высокий строй чувств Качалова и Массальского, их веру в жизнь и в ее светлые минуты, их веру в человека, в хорошие стороны его души, все то, о чем Чехов ясно и недвусмысленно сказал: это не воззрение, а монпансье.

Чехов — Суворину: «Фальшь была именно в том, что я как будто кого-то хочу своим «Сахалином» научить и, вместе с тем, что-то скрываю и сдерживаю себя. Но как только я стал изображать, каким чудаком я чувствовал себя на Сахалине и какие там свиньи, то мне стало легко, и работа моя закипела».

Попов, Орлов, Болдуман и Кольцов изображали таких чудаков, каких я, например, не видел нигде и никогда.

Этот спектакль существует в записи. В Японии. На гастролях (декабрь 1958 г.) японцы сняли его подробно, многими камерами. В том же году его видел Питер Брук. «Вы открыли Лондону настоящего Чехова — во всем его богатстве, во всех переплетениях лирики, комедии и трагедии». И сейчас в постановках П. Брука мы видим отблески того спектакля.

Чехов — В. Э. Мейерхольду: «Красотами и силою голоса и речи не жертвуйте такой мелочи, как акцент. Не жертвуйте, ибо раздражение в самом деле есть только деталь, мелочь».

Если Качалов еще баловался «красотами», то уже следующие поколения — Яншин, Попова, Орлов, Кольцов, Болдуман, Алексеев, Ленникова, Ростовцева и многие (действительно — многие) начисто лишены самолюбования.

Как-то Яншин писал в газетной заметке: «Я играю Телегина и слышу взволнованный отклик зрительного зала на каждую реплику».

Я видел этот спектакль много раз и свидетельствую: на каждую! Буквально на каждую.

Здесь, в этой цитате, никакого самолюбования. Констатация факта.

Акцент существует там, где есть внутренняя жизнь.

Ю Мильтинис любил повторять, что великим мастерам сцены чуждо тщеславие. В его театре актеры не выходят на авансцену после спектакля, нет их портретов и в фойе.

В товстоноговском «Дяде Ване» торжествует не акцент, а прием.

«Товстоногов хорошо осознает один из важнейших, но далеко не всегда соблюдаемых законов современного спектакля: он неназойливо, но властно умеет заставить зрителя полюбить основных героев, органично найдя зерно их жизненной и сценической привлекательности. Товстоногов наделяет эти образы неотразимым человеческим обаянием» (П. А. Марков).

В соответствии с этим законом К. Лавров играет чеховского Астрова как секретаря парткома: добрым, строгим, твердым, отзывчивым. Кристально честным. Ровное течение текста прерывается прорвавшейся взволнованностью, которой герой якобы не может сдержать. «Красота!» — крик. «Неравнодушен я к ней!» — крик. «Я люблю лес!» — опять крик.

Телевизионный вариант этого спектакля — очень тяжелое зрелище, перемежаемое «красивыми» кадрами с Еленой Андреевной вместо рекламы. Ей говорят: «Какая вам лень жить»,— и она потягивается.

Про Марию Васильевну говорят, что она идиотка, и актриса так и играет ее идиоткой.

Махровый наигрыш Е. Лебедева. Назойливость приемов. Такое впечатление, что актер не знает: пошлого человека нельзя играть пошло. Это ведь так легко — выставить на сцену мелких людей.

То же самое и у Басилашвили. Не мягкость и деликатность, а раздражение, о котором писал Чехов Мейерхольду. Тривиальное раздражение, скорее даже — злоба.

И это — не трактовка роли. Посмотрите на Басилашвили на заседаниях Верховного Совета РСФСР. Та же истерия и злоба.

Живое чувство актрисы Т. Бедовой, играющей роль Сони в этом спектакле, только подчеркивает общую грязь тона.

Чехов — Суворину: «Актрисы милый народ... у них есть благородство, которого нет у актеров. У мужчин, служащих святому искусству, нет чистоты душевной. В их словах, взглядах и поступках много лакейского. Впрочем, не у всех».

О. Басилашвили — ученик П. Массальского.

Если в «триумфальном» спектакле Товстоногова «Горе от ума» убрать текст-плакат перед началом спектакля, который должен был свидетельствовать о «вольномыслии» постановщика, а также фокус, проделываемый С. Юрским, держащим руку в пламени свечи, спектакль рухнет. Товстоногов и Лавров предложили «новое толкование» образа Молчалина. Но это были слова, мысль, не реализованные в спектакле и роли. Да и сама мысль, само «новое толкование» являются простым заимствованием у Станиславского и Топоркова.

Товстоногов определял принцип «классически совершенного» спектакля «Мещане» как «демонстрацию бездуховности героев» (?!) «Только как бы внутри этого заданного общего закона было допустимо актеру оправдывать поступки своего персонажа».

Какая духота в этом «классически совершенном» театре!

Логическим следствием этих «принципов» и явился спектакль «Дядя Ваня».

А мы удивляемся: откуда эта «демонстрация бездуховности героев» на наших сценах?

Откуда эта тихая ненависть, пронизывающая спектакль ЦАТСА «Павел I» или спектакль Вильнюсского театра «Христос и антихрист»?

После товстоноговского «Дяди Вани» спектакль Погребничко кажется прекрасным.

Открытая влюбленность в Чехова.

Внимательность к его пожеланиям: четыре молодых интеллигентных женщины.

Какие мужественные, великолепные офицеры у Погребнички! Как легко и приятно женщинам в этом спектакле чувствовать себя женщинами!

Праздник театра!

Они тоже (как и у Товстоногова) существуют внутри заданного общего закона. Они тоже несвободны. Но это та несвобода, которая — дороже свободы. Не-

свобода-любовь. Любовь к пьесе, автору, его героям.

Открытый, жизнерадостный смех зрителей в зале.

Мне кажется, что А. П. Чехов был бы в восторге от этого спектакля.

Особенно бы ему понравился танец Маши и Вершинина. Незнакомая ему высокая поэзия пионерских костров и прощального бала «Оптимистической трагедии».

Жаль только, что В. Воробьев в роли Прозорова чуть-чуть напоминает Н. Хмелева в фильме «Человек в футляре». Этот фильм и эта злополучная роль многие поколения отвратили от Чехова.

Но Антон Павлович сказал бы: «Воробьев играет чудесно! Лучше, чем я написал». И еще ему бы понравилось, как актеры носят военное платье.

Мне же кажется лишней политизированность спектакля.

Это можно объяснить, но нельзя принять.

Актеры и режиссер подсознательно чувствовали, что они не могут играть эти роли, эту пьесу.

Книппер — Чехову. 29 января 1901 г.: «Генеральная прошла хорошо. После моего прощания с Вершининым с Савицкой по окончании акта сделался прямо нервный припадок, она все кричала, что нельзя так сильно играть и нельзя писать таких сцен, таких слов. Я, глядя на нее, принялась вторично было вопить, но меня убрали в другую уборную».

Так играли водевиль в начале века.

И еще: их смущало, что у них нет своего Сахалина.

Правда, у них есть «перестройка».

Но «перестройка» — у всех. Одна на всех.

Личная драма выливается в истерику: большевики!

Это они уничтожили трех сестер и любимый ими мир героев Чехова!

Срубили вишневый сад!

Так появляются пресловутые «По долинам и по взгорьям».

Но вот они все-таки поставили «Трех сестер».

И нашли мир Чехова в себе.

А «По долинам и по взгорьям» — остались.

Это рождает тревожное чувство. Вспоминается одухотворенное лицо молодого актера театра-студии «Современник» Олега Табакова в роли Фрица Вебера на сцене концертно-театрального зала гостиницы «Советская». Слеза на щеке.

Проходят годы. Народный артист СССР, профессор О. Табаков вспоминает о самом счастливом мгновении своей жизни: он и другие «взломщики тишины» Е. Евстигнеев, М. Козаков, О. Ефремов, Г. Волчек поют «Интернационал» вместе с Е. Фурцевой и М. Шатровым.

В едином порыве.

И та же слеза на щеке.

О. Ефремов: «Вы знаете, какие спектакли «Современника» для меня были самыми дорогими? Трилогия «Декабристы», «Народовольцы», «Большевики».

Не хотелось бы, чтобы у прекрасного молодого актера Никиты Логинова была такая судьба.

Чтобы он впоследствии вспоминал, как они в трудные дни были вместе со всей страной. Что в спектакле «Три сестры» они положили на сцене бревно, которое всем мешало. Это было то самое кремлевское бревно, которое еще хранило тепло ленинского плеча.

Надежда, по существу, одна: Чехов поможет. У «Современника» был другой репертуар. Играя постоянно Валентину М. Рощина, актеры теряют квалификацию и уже не в состоянии играть Валентину А. Вампилова.

Ощущение своей несостоятельности, невозможности сыграть Чехова, а только пародию на чеховские спектакли, ощущение трагичности этого состояния, пронизывающее весь спектакль, дает шанс на спасение актерам и зрителям.

Театр «Современник», театр им. Ленинского комсомола — это другая культура.

Последовательно внедряя постановочные принципы Товстоногова, М. Захаров превращает свои спектакли в разноцветную брокерскую голосню, переходящую в непрерывный вой. В этих условиях актер, играющий главную роль, обычно не понимает даже приблизительного смысла произносимого им текста. Монологи обычно препарируют, но даже и в сокращенном виде, как отмечено с сочувствием критикой, они являются неодолимым препятствием для речевых и душевных свойств исполнителей.

Однако следует признать, что опыт М. Захарова, создавшего свой театр для определенной категории зрителей с аналогичными душевными свойствами, заслуживает внимания специалистов.

В 1973 г. главный режиссер театра им. Ленинского комсомола М. Захаров сформулировал свою задачу следующим образом: «Как организовать актеров, чтобы они сумели властно и даже, если хотите, агрессивно атаковать зрителей, ПРЕВРАТИВ ИХ В ЕДИНЫЙ КОЛЛЕКТИВ».

Этот театр М. Захаров возглавил не случайно. К тому времени он уже поставил «ТЕМП-1929» Н. Погодина в театре Сатиры и «Разгром» А. Фадеева в театре им. Маяковского. Впереди — интенсивная работа вместе с М. Шатровым и О. Янковским над образом Ленина. Вообще его больше всего волнует проблема вожака большого партийного коллектива.

«Меня, как художника и человека, больше всего привлекает в истории России как раз та неисчерпаемость ее духовных потенциалов, резервов, перед которыми становятся в тупик зарубежные историки».

Которые не поняли главного: «нравственных резервов, таившихся в недрах советского народа, взращенных партией, всем советским государственным и общественным строем» («Комсомольская правда», 28.12.73 г.).

И вот наконец режиссер добился главного: стал народным депутатом СССР по списку театрального союза, сопровождает Президента в его зарубежных поездках.

Здесь он идет по пути, указанному старшими товарищами. На учредительном съезде союза театральных обществ СССР Г. А. Товстоногов говорил о М. С. Горбачеве: «Как режиссер, я профессионально не мог не следить за тем, что мы, профессионалы, называем вторым планом жизни человека. И во время беседы в этом втором плане я почувствовал такую неистребимую любовь к нашему народу...» («Советская культура», 9.12.86).

На прошедшем съезде Союза театральных деятелей РСФСР захаровы играли ключевую роль. Это был их съезд. Съезд победителей. На нем не было Т. Дорониной, которая непременно сказала бы, что она думает о победителях; В. Андреева, раздражающего хотя бы тем, что первым поставил «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова — лучший в 70-е годы спектакль. На съезде вообще не было инакомыслящих.

Доклад М. Ульянова был «многосторонен».

«Противопоставить докладу другую, столь же глобальную позицию было практически невозможно» («Советская культура», 26.10.91).

Итак, М. Ульянов: «В эти шесть лет свободы в нашем обществе произошла трагедия. Люди узнали, поняли, ощутили и с великой горечью убедились в том, что более 70 лет мы шли по трагически неверному пути... Получается, что мы, целый народ, может быть, за исключением действительно считанных единиц, как стадо овец, шли, завороженные красивыми словами, в тупик... Это же национальная трагедия. Это поражение целой культуры. Но ничего не поделаешь... Жить-то надо...»

И захаровым нужен именно такой «председатель».

По замыслу «победителей», съезд должен был завершить процесс, который режиссер А. Васильев называет смертью русского театра.

И в этом режиссер Васильев не прав.

Русский театр — это Малый театр. Александринский театр. Островский в Малом театре.

«Мертвые души» Станиславского.

Толстой. «Воскресение» Немировича-Данченко, «Плоды просвещения» Кедрова, «Власть тьмы» Равенских.

Наконец, Чехов. В. Н. Попова, Яншин, Орлов, Болдуман, Кольцов, Попов, Ленникова в пьесах Чехова. Они изменили наши представления о театре. В их театре полнота сценической жизни являлась следствием полноты внутренней жизни каждого актера.

«Братья и сестры» Ф. Абрамова в санкт-петербургском Малом театре.

А. Васильев, кажется, никогда не ставил ни Островского, ни Толстого, ни Чехова и поэтому вряд ли представляет себе, что такое русский театр. Спектакли А. Васильева — это всего лишь остроумные реплики В. Славкина (псевдоним Галки Галкиной) на театральные темы.

Собственные проблемы, попытка скрыть от себя свою неспособность поставить Чехова или, упаси Боже, Платонова выливаются у А. Васильева в банальные запугивания. Его выступления на ТВ производят крайне тяжелое впечатление распада.

С русским театром все в порядке.

Гоголь, Островский, Толстой, Чехов на долгие годы (думаю — навсегда) определили его уровень. Освоение Платонова и Цветаевой — впереди. Пример абрамовских «Братьев и сестер» напоминает нам о величии русского театра.

Эстафета передается из рук в руки.

В записи на пленке, в «Царе Федоре», вы видите Орлова и Болдумана рядом с Москвиным. Зуева еще в 1918 году играла вместе со Станиславским. В «На дне» мы видим рядом с Качаловым Орлова и Попову.

Станиславский, Москвин, Качалов были лично знакомы с Чеховым, Толстым, общались с ними.

В 50-х—60-х годах Ленникова играла в «Чайке» с Болдуманом и Яншиным, в «Дяде Ване» — с Поповой, Орловым, Яншиным и Поповым.

«Слушайся Александра!» В. Н. Поповой было таким потрясением, которое оставило неизгладимый след в жизни актеров и зрителей этого спектакля.

Иванова, Юрьева, Максимова, Ростовцева, Алексеев, Чернов, Топчиев играли вместе с Орловым, Поповым, Болдуманом, Кольцовым, Зуевой в «Трех сестрах». Ленникова и Ростовцева в «Вишневом саду» играли с Яншиным и Поповым.

Эстафета передавалась из рук в руки. Основательно. В течение, по крайней мере, двух десятилетий совместного общения на сцене.

«— Ирина! Я не пил сегодня кофе. Скажешь, чтобы мне сварили».

Р. В. Максимова, исполнительница роли Ирины в этом спектакле, сейчас играет на сцене Художественного театра. Но в каждой ее роли, в каждом движении, в каждой интонации не могут не присутствовать следы этой сцены в исполнении актера Художественного театра Юрия Кольцова.

Пастернак любил говорить, что не существует плохих или хороших стихов, а существуют плохие или хорошие поэты. Строка или стихотворение существует только в системе мышления.

Когда я утверждаю, что Попова, Ленникова, Болдуман, Кольцов, Орлов, Попов, Яншин — великие, непревзойденные актеры, то имею в виду вот это конкретное соображение, высказанное Пастернаком, а именно: что эти актеры могли существовать на сцене в системе мышления Чехова. Вот в этой сложности, многозначности, многосмысленности. Основные достижения в мировом театре в нашем веке в первую очередь связаны с именем Чехова.

Эта история началась в конце прошлого века. В среду, 14 октября по старому стилю. Цыганка: день бери нечеткий, цифру срединную.

Большой театр давал «Корсара», Корш — пьесу «Измаил» (седьмое представление), Интернациональный (ныне — театр Маяковского) — оперетту «Любовь, веселье и вино». В саду «Эрмитаж» — «Царь Федор Иоаннович» (первое представление),

в Немецком клубе — маскарад с участием трех шансонеток.

День был нечеткий. В 12 часов дня хоронили Павла Егоровича Чехова, 73 лет.

Сын Павла Егоровича, известный беллетрист, на похоронах не присутствовал. Доктора того мнения, что в Крыму придется провести ему еще не одну зиму.

Погода в Ялте великолепная. Стоят теплые, совершенно летние дни и только по утрам бывает прохладно. Здесь, в Ялте, на Речной улице, он вспоминает репетицию «Царя Федора», ровно месяц назад, 14 сентября. Тронула интеллигентность тона. Повеяло чем-то настоящим, хотя играли не великие таланты. Ирина великолепна. Голос, благородство, задушевность... Федор — Москвин плоховат. Вишневский и Лужский хороши, Артем чудесен. Но лучше всех Ирина. Если бы остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину.

В 7 часов вечера, после китайского гонга, звучат первые такты увертюры, специально сочиненной г-ном Ильинским для первого представления.

Зал был неполон. 17 пустующих мест. Артисты — одетые, загримированные, собираются на сцене. Станиславский неожиданно пляшет вприсядку под увертюру. Бледное мертвенное лицо. Испуганные глаза. Потом закроется у себя, плачет от обиды и беспомощности.

Евгения Яковлевна возвращается с похорон в Мелихово. Здесь обычно в десять расходились спать. Тушились огни. Все в доме затихало. Только слышно было негромкое и монотонное чтение молившегося Павла Егоровича.

Павел Егорович с детства знал грамоту, пел по нотам, играл на скрипке, писал картины, руководил церковным хором. С трудом в течение 16 лет выплачивал вторую гильдию, ради детей, чтобы к ним лучше относились в гимназии. Сам крепостной, выкупленный отцом в 16 лет, всем своим детям стремился дать образование. Так же как и его отец Егор Михайлович, крепостной крестьянин Чертковых, давший максимально возможное для крепостных образование всем трем своим сыновьям.

Анатолий Эфрос о Чехове: «У него была ужасная семья. Как же это он научился быть таким нежным, скромным и возвышенным?!» («Литературная газета», 26.05.82).

В гимназическом сочинении Чехова «Киргизы» сдержанность тона, короткие, скупые фразы позднего Чехова. Стиль дневника Павла Егоровича.

Газета «Новое время» в номере от 14 октября писала об успехе «Царя Федора» в петербургском Литературно-артистическом кружке. В том же номере помещена анонимно статья Николая Федоровича Федорова «Разоружение».

Это был самый обычный день. Такой же, как сегодня.

---

## *Круг чтения*

---

### ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ

# ИЛИ ВСЕ НАПРАСНО...

### (СБОРНИК «ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ». ВЫПУСК ШЕСТОЙ И... ПОСЛЕДНИЙ?..)

Как-то с месяц назад я позвонил в журнал, в котором имею честь состоять членом редколлегии, и выслушал от редактора вполне обычное по нынешним временам сетование: бумаги нет, денег взять негде, подписчиков второй раз за год трясти стыдно — да и что всё на них вымещать: они за безумие правительства не ответчики. А так как это подлинно в каждом втором журнале, то я с досадой и посоветовал: а вы объединитесь — да умолкните, не издавайтесь! Чего унижение-то от распоясавшихся бумажных предпринимателей терпеть! Глядишь, правительство и спохватится — что оно сделало с родной культурой. Редактор даже засмеялся моей наивности: «Да они только того и ждут! Иначе бы для чего выкидывать культуру в базарный ряд, где она обязательно сдохнет или предаст себя, пустившись во все тяжкие, так что ее уже и культурой язык не повернется назвать».

Страшно это говорить, страшно слушать, но если голову под крыло не прятать, то без труда увидишь, что, подлинно, не было еще в русской истории времени, когда бы культура так нарочито и планомерно приводилась к гибели. И причина понятна: культура пошлости процвести не даст, бесстыдству не позволит безнаказанно торжествовать, называть ложь правдой не позволяет. И тут уж метод обращения с ней у наших циничных государственных законодателей прост: чтобы культура не путалась под ногами и не вязала рук нравственной традицией, — пусть-ка вот на рынке с поставщиками порнографических листков поборется: поглядим, на что предприниматели бумагу охотнее дадут и что окажется доходнее. Не победят — значит, не очень и нужны, и жаловаться некому. И рук марать не надо, чтобы репрессиями теснить, — сами не выберутся.

Результат не замедлил сказаться. Первыми умолкли христианские газеты (ни одного номера не вышло в этом году из тех газет, которые мы выписали на псковские храмы, — ни «Путь», ни «Христианин», ни «Воскресная школа»), потом угроза нависла над старыми журналами с устойчивой репутацией, которые тоже надеялись сохранить высоту тона и чистоту позиции: сбилась с шага «Москва», вышли из графика «Слово» и «Литературная учеба», истощились до тетрадочек сдвоенные детские журналы. По одному стали уходить из жизни альманахи и те периодические сборники, которые всегда были как будто не на виду и порой казались и впрямь не самыми важными, но которые, как теперь открывается, лучше всего отражали общую картину, выявляли глубинные токи процесса, определяли их на внешне произвольном и хаотическом пути современной литературы. Я говорю о не появляющемся более «Контексте» и еще числящемся в издательских планах, но на глазах отодвигающемся в совершенно неразличимую туманность сборнике «Писатель и время».

Убеждать теперь в пользе тех или иных изданий кого бы то ни было странно. Какую власть и для кого имеет теперь аргументация? Власть умерла не только на самом верху, она и на всех срезах живет одним днем и одним идолом — сиюминутной выгодой: только бы день простоять да ночь продержаться, как писал дедушка нашего вице-премьера. Они тогда жили так, и сегодня их знамя вполне то же — все революции шьются на одну колодку. И я хочу поглядеть шестой прошлогодний выпуск сборника «Писатель и время» не для того, чтобы доказывать, что прекращать такой сборник грех, а, может быть, чтобы по-человечески проститься, если издательство не устоит, и этот выпуск окажется последним.

Рецензии тут не получится. Заметили, что рецензии вообще стали исчезать с журнальных и газетных страниц? Они хороши и естественны в здоровые дни, когда люди читают книги бескорыстно и смотрят их на лотках без нынешней хищной или ленивой, какой-то порченой любознательности. Рецензия — дело спокойное, любящее, неторопливое — от сердца к сердцу, как переглядка взаимно понимающих друг друга людей в предчувствии радости. А какая сегодня радость?

Мелькнет ее свет на минуту в дивном осколке шмелевского «Рождества», выбранного составителем, но тут же будет оборван началом следующей страницы: «То, что мы в развалинах и на краю гибели, — ясно всем». Это начнет предъявлять счет реальности беспощадный Д. М. Балашов в статье «Кто мы и куда идем?» Эти же вопросы и с тою же резкостью будут задаваться Ю. Бондаревым, В. Гусевым, В. Астафьевым. Несоединимо различные равно стилистикой и способом мысли (громоздкое «стратегическое» барокко Бондарева еще тяжелее в соседстве с легким, каким-то палаточно-походным «тактическим» стилем Гусева), они тем не менее вполне едины в существе задеваемых проблем. То, что сборник сдан в набор по осени 1990 года, конечно, сказывается — нынче платье обстоятельств меняется очень скоро, — но горькие основы нравственных требований писателей к реальности делаются только острее и звучат мучительнее. И чем больше меняется внешность обстоятельств, тем болезненнее нерешенность позабытых живых основ. Человек будто без конца переезжает с места на место и на время готов обмануться новизной обстановки как собственной переменой, но чуть поглубже в себя заглянет, так со злой тоской и увидит, что не только не подвинулся душой, а как бы еще и спятился во что-то постыдно темное, душевно отупелое.

Тем и нехорош писатель и вечно неудобен любому правительству, что он этот обман непременно откроет и вернет человеческую систему координат. Можно гордиться человеческой историей, украсившей свои хроники великими победами в несчетных войнах, но можно поглядеть на мир астафьевскими глазами, и от гордости останется один пепел: «...пятнадцать тысяч войн, происшедших на земле, восемь миллиардов людей, сгоревших в военном смерче — ...это страшное проклятие земное и небесное существу, которое употребило разум свой не по велению Божию.., исказив лик свой и запакостив планету, которой он недостоин...» И прав будет не гордый историк, а усталый художник, бросивший человеку это тяжкое и справедливое обвинение.

В самом деле: сколько недавно мы и американцы перепилили ракет под восторг телевизионных комментаторов! А ведь по-крестьянски-то рассудив, это не то что показывать, а прятать бы да стыдиться. Вложить великие теоретические умы в разработку, инженерные — в воплощение, прекрасные человеческие руки — в строительство, миллиарды денег отнять у своих детей, перевести все это в устрашающее железо, а потом на глазах миллионов взять и выкинуть все это в помойное ведро, зачеркнув и обессмыслив труд и жизнь огромного числа людей. Такое человечество следовало бы держать в сумасшедшем доме за хорошими засовами. Без труда поймешь «инопланетян», которые нам днву даются и

при первом нашем приближении «бегут» сломя голову, — кому же под силу уразуметь «гордого» нынешнего человека? Так что срыв Астафьева, жалеющего, что Бог наделил человека разумом и дал ему свободу воли, каковой человек не умеет распорядиться иначе, чем во зло, вполне понятен.

Тут ему неожиданно вторит Шолохов, воскрешенный воспоминаниями сына. Много мы в последнее время говорим о Михаиле Александровиче и уже вполне размыли его реальный образ настойчивым подозрением в адекватности его гения. А между тем достаточно вот этих немногих страниц, чтобы увидеть настоящий масштаб этого художника старой закалки. Всякая мысль о коллективизации, культуре, «типологии» родного деспотизма тут не холодным умом смоделирована и не из учебника взята, а пережита всей болью зорко внимательной жизни. Вставной бы главой все это в «Поднятую целину»! То-то была бы глава — вся книга вверх ногами! Вот хватка настоящего-то реалиста, на минуту оставившего страх подневольности. Одной такой главы довольно, чтобы вопрос об авторстве «Тихого Дона» перестал быть проблемой: «Вот, скажем, «Вся власть Советам». А кого в Советы?.. Думаешь, кто-то знал ответ? «Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов» — вот и все. Но это, милый мой, на плакатах хорошо. На стенки вешать да на митингах таскать. А ты с этим в хутор приди, к живым людям. Рабочие там, понятно, не водились. Крестьяне? Крестьяне — пожалуйста, сколько хочешь, все — крестьяне. Кто же будет от них депутатом? Если их самих спросить? Да уж, конечно, не дед Щукарь. И не Макар с Разметновым, которые и семьи-то собственной сложить не могут, в собственных куренях порядка не наведут. И в хозяйстве они не черта не смыслят, потому как не имели его никогда. Казаки им так и скажут: вы, мол, братцы, двум свиньям жрать не разделите, потому что больше одной у вас сроду и не бывало, — какие же вы для нас советчики? А яков лукичей да титков — нельзя. Советы и создавались, чтобы их как класс...» И так, слово по слову, писатель узким и неизбежным путем приведет прямехонько к Сталину и такой же неизбежной смерти, выведенной из задуманного блага, и читатель смятенно остановится, не умея выбраться из загадки, как художнику выжить с таким знанием и как самому человеку развязать им же связанные узлы.

Вообще никогда в предшествующих сборниках горечь не прорывалась так настойчиво и единодушно у самых разных авторов. Время очень обнажило человека, и оказалось, что гордиться нам, несмотря на то, что мы только это и делали десятилетия напролет, особенно нечем. И коли потребуется благой пример или утешающее воспоминание, мысль писателей не вокруг себя и не в нынешнем дне ищет, а неизменно поворачивается назад. А. Савеличев бережно и печально воскрешает свое вологодское детство и отрочество, страшную и вместе с тем счастливую пору, когда беда еще крепила, а не разрушала человека, и будила в нем не ожесточение, а сострадание. В. Астафьев хоть на минуту, но позовет бабушку Катерину Петровну и около нее отмякнет сердцем, В. Солоухин неожиданно найдет ободрение в чужих краях, где русские люди часто больше берегут Россию в душе, чем мы, грешные.

Но как ни копят старые художники свет, а тьма все равно в книге перевешивает. И мысль редко в образном платье ходит и редко отдается героям. Все писатель сам норовит сказать. «Душа не терпит», как наши бабушки говорили. Б. Василевский вообще печатает в сборнике род философского дневника. И слава Богу, не извиняется за него, а то у нас всегда как писатель за афоризм или дневниковую запись возьмется, так искраснеется весь и со всех сторон оговорками себя обставит, хотя уже после В. В. Розанова должно бы вроде быть ясно, что это самый дорогой и желанный читателю «жанр». Есть тут у Василевского, как часто в таких случаях бывает, и «отходы», одна игра ума, вроде: «Да, государство у нас правовое. Качаем друг у друга права, а работать некогда...», — но есть и по-настоящему глубокие замечания: «Мы не правовое государство, мы государство в е я н и й. Каждый раз все новых и новых веяний». Таких точных попаданий множество, и они хороши даже не самой своей зоркостью, а тем, что легко зажигают собственную читательскую мысль, показывая ей примеры огранки и оформления случайных явлений.

Одно наблюдение мне кажется особенно существенным. Василевский уклонился от всестороннего его осмотрения, да нам и всем мужества не хватает, хотя проблема растет час от часу: «То, что мы сейчас толкуем как «национализм», определяется как «национальные разногласия», уходит, мне кажется, в непостижимую глубь времени, в историю, но даже не в историю политического и экономического соседства и даже не в историю распрей, войн и прочих взаимных обид, а в еще более древнюю — в историю р а з л и ч н ы х отношений: например, к дереву, к солнцу, воде, траве, к отцам, зачатию и роду...» И позднее опять, как больной зуб: «И только одно до сих пор под запретом: национальные проблемы. Хоть и толкуем сейчас о них, кажется, вовсю, а до конца никто не высказывается. Б о и м с я. Чего? Неизвестно. Есть какой-то, не столько даже внешний, сколько наш собственный, внутренний запрет. Много тут древнего, тайного, заповедного».

А уж земля по окраинам полымем горит, и внутри уже огоньки пошли перебегать — татары, башкиры, а мы все никак не решимся напрямую заговорить, — все боимся, что никак в мешке еврейскую тему не удержать. А чего ее удерживать — она не больнее других. Все мы теперь словно без Родины остались — такой общей эмигрантской тоской и неуверенностью потянуло, чего уж дальше-то свои болезни прятать и притворяться единым здоровым народом.



Не случайно, наверное, поэтому с такой остротой воспринимается философский отдел сборника. По объему он не превышает иные разделы, но по качеству мысли, по грозной ее концентрации загораживает все. Все тут одно к одному: и то, что мысль взята самая русская, животрепещущая, плавящаяся, магматически жаркая, и то, что сердце читательское оголено как в никакой другой час, так что всякое слово мыслителей ищет немедленного ответа, поступка, поведенческой реакции. Будь моя воля и сохранись у нас, как во времена господина Белинского, обыкновение переписывать цитаты страницами, я переписал бы эссе А. Ф. Лосева «Жизнь» от слова до слова, чтобы опять вместе с читателем торопиться пестрить поля восклицательными знаками. Скажите, как устоять перед вот такой мыслью: «...или есть что-нибудь над нами родное, великое, светлое, общее для всех, интимно-интимно наше, т. е. Родина, или — жизнь наша бессмысленна, страдания наши неискупаемы и рыданию человеческому не предстоит никакого конца».

Действительно, не оттого ли мы так неискупаемо страдаем сейчас, что нет над нами этого «интимно-интимно нашего», что оно как-то незаметно оказалось расхищено, переведено в умозрение, искусно сплетено со злыми страницами истории и умело выплеснуто с этими самыми страницами, как младенец с водой? Нашими же руками выплеснуто, так что и винить некого. Не хватило нам ума и мужества и сейчас не хватает ясно разделять сознанием Родину и делá своевольных узурпаторов и хищников, Родину и паразитирующую пошлость, нарочито стремящуюся заполнить границы родного и тем уничтожить их. Нет у нас ясного сердца, которое без риторики, одной сыновней гордостью повторило бы за Лосевым: «Благодарный гражданин любит свою Родину так же не за то, что она везде и всегда, во всем и непременно велика, высока, богата, прекрасна и пр. Нет. Мы знаем весь тернистый путь нашей страны; мы знаем многие и томительные годы борьбы, недостатка, страданий. Но для сына своей Родины все это — свое, неотъемлемое свое, родное; он с этим живет и с этим погибает, он и есть это самое, а это самое родное и есть он сам...» И опять, опять как заклинание твердит ученый (в осажденной Москве 41-го года, лишенный крова, в очередной раз после лагеря лишенный библиотеки): «У кого есть Родина, тот, умирая если не за нее, то хотя бы — только в ней, на ней, умирает всегда уютно, как бы ребенок, засыпая в мягкой и теплой постельке, — хотя бы эта смерть была и в бою, хотя бы это и была смерть летчика, упавшего с километровой высоты на каменистую землю. Только Родина дает внутренний уют, ибо все родное — уютно, и только уют есть преодоление судьбы и смерти».

Разве мы умираем «уютно»? Не только в чужих землях, как наши, преданные нами дети в Афганистане, или сейчас на Кавказе, или в Молдове, не умея, не успевая ни осознать, ни даже почувствовать Родины, но и сами мы — у себя ли дома, в России? Разве мы чувствуем это преодолевающее смерть сродство? И значит — страшно вымолвить — у нас вот-вот не останется Родины. А ведь это, кроме всего, еще великая, мало обдуманная нами мысль — о Родине как лоне, как прообразе вечности, как отмене смерти.

Понятно, почему в скобках среди других настойчивых размышлений Лосева его вдова А. А. Тахо-Годи выделяет и такое: «Знание и наука как вечная молодость». Это было знание на своей земле, в плоти Родины, знание слитно живое, подлинно, как зеркало вечности, так любимое Лосевым в теории всеединства почитаемого им Соловьева.

В сборнике есть статья и о самом Соловьеве. А. Гулыга с изумлением отметил в ней, что о всеединстве-то мы еще говорим, но о его великом синониме для Русской земли — о соборности, без которой не держится ни философия Соловьева, ни само наше национальное сознание, не только помалкиваем, но умудрились миновать его даже в четырехтомном словаре Ожегова, не говоря уже об испуганно однообразных философских справочниках. Это многое объясняет в нашей сегодняшней болезни. Такая забывчивость даром не проходит, потому что тут не слово забывается, а душа народная.

Нечистый план сиюминутности, поощряемой самости, неслыханно разлившейся пошлости и как никогда укрепившегося невежества затопил сегодня общественное сознание с небывалым размахом. Казалось, новое знание вооружит и укрепит нас, вернет нам полноту Родины. С лучшими из соотечественников это так и происходит, но словно в отместку громадной встречной волной покатилось массовое, технически отлично вооруженное газетно-радио-телевизионное бесстыдство, пожирая прежде всего молодое сознание и опустошая его подменной поверхностью выветрившихся понятий. Слово «соборность» возвращено в наши словари, но не слово ли только, не один ли уже ничего не говорящий сердцу звук?

Отец Павел Флоренский, о котором в сборнике превосходно пишут его достойные внуки, еще в 1917 году с горечью сетовал в одном из писем: «Все, что происходит вокруг нас, для нас, разумеется, мучительно. Однако я верю и надеюсь, что, исчерпав себя, нигилизм докажет свое ничтожество, всем надоест, вызовет ненависть к себе, и тогда, после краха всей этой мерзости, сердца и умы уже не по-прежнему, вяло и с оглядкой, а наголодавшись, обратятся к русской идее, к идее России, к святой Руси... Я уверен, что худшее еще в п е р е д и, а не позади, что кризис еще н е миновал. Но я верю в то, что кризис очистит русскую атмосферу...» И тогда худшее было впереди, и сегодня оно по-прежнему впереди, и мы вновь, ничему не выучившись, по-старому «вяло и с оглядкой» обращаемся к «идее России», не разглядев, что идея России есть та самая «пневматосфе-

ра, которая вовлечена в круговорот духа» и которая есть условие нашего нормального существования. А мы до того испортили легкие, что воздуха-то уж совсем нет, а мы все притворяемся живыми и даже осмеливаемся звать себя наследниками старорусской культуры. А наследники-то — это ведь не те, кто проматывает нажитое не ими, а те, кто вслед идут.

В очерке П. Палиевского о Розанове меня не случайно задела одна мысль, которая у Палиевского прошла стороной, вскользь, будто общеизвестная, а во мне горит занозой. Он там пересказывает знаменитую запись Розанова из «Апокалипсиса нашего времени» о «железном занавесе», опустившемся над Россией, над русской историей, и говорит, что в этой записи «и революция представлена в истинном размахе, и действительный конец русской истории, как отдельной, собственно русской, и поведение людей, которых Розанов именует «публикой».

Вот это, подчеркнутое-то мною, — это что? Не есть ли совершившееся в 1917 году действительно конец «собственно русской» истории? Не отрезал ли впрямь «железный» розановский занавес родную старую Россию от сегодняшней необратимо? Не потому ли мы и мучаемся и никак не свяжем никаких нитей и не оттого ли и рассыпались так и опять «в два, от силы в три дня», как некогда Россию, рассыпали огромное государство, что живем давно уже не в родной русской истории, а в бесплотном вязком тумане подменных, только с виду похожих на исторические реалии понятий?

Мысль так оцарапала, что другие, тоже важные наблюдения Палиевского (хотя бы о том, что мы до сих пор не обдумали «обыденного сознания» Розанова, то есть, по существу, самих себя не обдумали) показались меньше этой главной: собственно русская история закончилась. Одному оставаться наедине с такой мыслью было бы очень тяжело, и я поторопился еще раз посмотреть весь сборник, все его материалы — от деревенских и усадебных путевых очерков А. Арцибашева и В. Рогова до статьи С. Хоружего о тоже позабытом теоретике всеединства — Л. П. Карсавине и до собственных статей В. Розанова и П. Флоренского, и в конце концов сам же сборник всем духом своим, всею пестрой, неравноценной полнотой и ободрил меня.

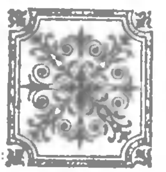
Нет, как ни тяжек «железный» розановский занавес, а не вовсе он упал и не вовсе русская история оборвалась. Мы много говорим теперь (как Гусев внутри этого сборника) об остановке культурного процесса, а значит, об утрате мировоззренческого единства, об остановке сердца самой жизни, потому что все это связано. Немудрено и на историю посетовать, потому что это в прошедшем смутные времена хороши для художника и историка, а для жизни в них они мало годятся и больше похожи на болезнь времени, на немой прочерк. Вот и доходит мысль до обрыва.

Но, слава Богу, сборник с его бессознательным стремлением обнять и удержать остатки нашей обносившейся цельности еще свидетельствует о сопротивлении жизни. Составитель книги В. Стеценко (вся эта серия — его достойное, мало оцененное за суетой дело), казалось, только отбирал наиболее интересные работы года, а это сама жизнь защищалась, обнаруживая свое истончившееся, но все теплящееся кровообращение. И если вернуться к настойчивым мыслям А. Ф. Лосева о Родине, то сборник дает повод ободриться, что, как ни хоронят нынче Россию свои и чужие могильщики, как ни торопятся наши власти вычеркнуть ее из мировой истории, а она все еще спасает свой народ, все еще вяжет сеть жизни, все простирает свой милосердный покров над русской культурой.

Упасть-то занавес упал и историю повечил, но просвет «с той стороны» все пробивается полоской живого огня. Хватило бы только ума хоть сейчас понять, что свет этот не пресекся только на ширину оставшейся в живых Церкви и только с опорой на нее и может быть вновь поднят.

Пока впереди все только еще темнее, чем сейчас, но вот и такие малые, пропущенные без внимания явления, как этот сборник, еще хранят от уныния и безверия и лучше всякого безвольного мечтания о грядущей России подкрепляют инстинкт национального самосохранения.

*Псков.*



## ПУБЛИЦИСТИКА "НАШЕГО СОВРЕМЕННИКА" до конца 1992 года и в 1993 году

Рубрика *"НАЦИОНАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА"* – аналитические статьи о современном общественном положении в России, исследования стратегических интересов нашей страны, принадлежащие известным ученым и военачальникам, выступления наших политических деятелей и беседы с ними. Серия новых статей Александра Дугина.

"Круглые столы" по актуальным вопросам жизни России. В ближайших номерах читайте: "круглый стол" российских предпринимателей "Дело против смуты", среди участников которого президент концерна "Гермес" Валерий Неверов, президент правления Русского национального банка Владимир Степанов, вице-президент Фонда развития предпринимательства Анатолий Максимов.

Рубрика *"ГЕОПОЛИТИКА"* – рассмотрение ситуации в России под углом поиска ее естественных союзников в мире и выявления ее стратегических противников, анализ положения дел на территории исторической России, исследование феномена "исламского фундаментализма", а также геополитической концепции "атлантизма" и "нового мирового порядка" в свете евразийской сущности России, труды видных геополитиков, в частности Карла Хаусхофера и Драгоша Калаича.

Рубрика *"ЗАРУБЕЖНАЯ МЫСЛЬ"* – актуальные для нас сегодня работы крупных зарубежных философов, экономистов и культурологов, статьи теоретиков европейского движения "новых правых". В частности, мы предполагаем представить вашему вниманию публикации: "Империя" Юлиуса Эволы, "Кризис современного мира" Рене Генона, "Бедняк – главное действующее лицо истории" Педро Нуньеса и др.